И. И. ЕФИМОВ

# НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

ЛЕНИЗДАТ



И. И. ЕФИМОВ

# НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

Лениздат · 1990

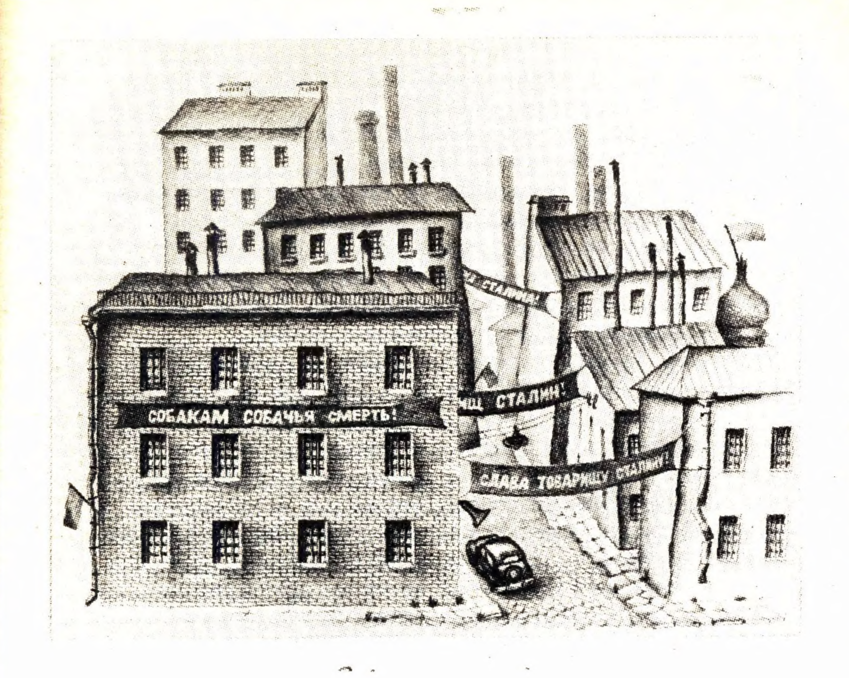
63.3(2)
Е91

Редактор С. А. Прохватилова

Е $\frac{0503020000—041}{М171(03)—90}$ 15—90



ISBN 5-289-00720-2




# Часть первая

## Глава первая

Та память вынесенных мук
Жива, притихшая, в народе,
Как рана, что нет-нет и вдруг
Заговорит к дурной погоде.

А. Твардовский

### Под колесами истории

Тяжелая дремота после очередного «ночного бдения» была прервана знакомым лязгом ключа в железной двери. «По ком из нас соскучилось тюремное начальство?» — подумалось каждому из обитателей камеры, и наши головы машинально повернулись в сторону звука. Все четверо, мы настороженно поднялись.

Несмазанные петли взвизгнули, дверь приоткрылась, и в нешироком ее проеме возник уже знакомый надзиратель в темно-синем мундире и такого же цвета брюках на-

выпуск. Держась одной рукой за притвор, а другой опираясь на косяк, он молча осмотрел нас всех, потом негромко спросил, уставясь на меня:

— Который из вас Ефимов Иван Иванович?

Я сделал робкий шаг вперед.

— Выходите из камеры,— так же негромко сказал он и отстранился от прохода, придерживая дверь.

Превозмогая нестерпимую боль во всем теле и оглядываясь, я перешагнул порог. Два моих товарища вновь усаживались на недавно помытый пол. Третий сел на занятую им задолго до нас железную койку.

«Куда? Зачем?— гадал я, пока надзиратель запирал дверь.— Уж не на свободу ли?» Сердце мое колотилось.

— Следуйте за мной,— равнодушно сказал надзиратель и неторопливо зацокал своими подковками по стальным плитам гулкого пола, направляясь к видневшемуся сквозь полумрак просвету перехода. С середины этого перехода было видно почти все огромное чрево тюрьмы. Справа и слева — стены красного кирпича, двери в три яруса, стальные галереи на прочных кронштейнах. За галереями натянуты широкие сетки, чтобы кому-нибудь из арестантов не пришло в голову перемахнуть через перила. Стальные лестницы-трапы с широкими ступеньками соединяют этажи с вестибюлем, по которому мы шли. На галереях кое-где маячили фигуры надзирателей. Сквозь застекленную часть крыши-потолка едва пробивался наружный свет. Теперь от административного корпуса нас отделял только длинный проход. В его начале и конце — стальные решетки с калитками, и у каждой из них тоже стоял надзиратель.

— Веду по вызову начальника,— сказал мой проводник.

Миновав последнюю калитку, которая тут же была заперта за нами, мы вошли в освещенный солнцем просторный коридор, и проводник указал мне на обитую темным дерматином дверь с медной табличкой «Начальник».

Мы вошли в небольшую приемную. Надзиратель покашлял, как бы прочищая горло, и робко нажал кнопку звонка. Услышав глухое «Войдите», он осторожно отворил дверь и пропустил меня вперед.

— Ефимов доставлен по вашему приказанию!

— Хорошо,— сказал начальник тюрьмы.— Подождите в приемной, я позову, когда будет нужно.

Надзиратель вышел и плотно прикрыл дверь.

Начальник Старорусской межрайонной тюрьмы Воронов сидел за широким, старинной работы письменным

столом и насупясь глядел в мою сторону. Какое-то время мы молча созерцали друг друга, как бы не узнавая. Результат этого созерцания был явно не в мою пользу. Я отвел взгляд и уставился в зарешеченные окна, чуть затененные занавесками.

Окна выходили на набережную Полисти, и по другую ее сторону буйно росли ивы и тополя. Их густые кроны, чуть тронутые осенним багрецом, были залиты неярким солнцем бабьего лета.

С Вороновым мы были знакомы чуть ли не с весны 1932 года, когда я вместе с другими преподавателями межрайонной совпартшколы ходил обедать в милицейскую столовую, где кормили намного лучше, чем в общих городских столовых (карточная система на продукты питания еще не была отменена). Работника НКВД Воронова я встречал и на собраниях городского партхозактива. Иногда заглядывал он и в редакцию «Трибуны», где я заведовал партийным отделом без малого три года. Да и вообще в нашем небольшом городе начальники и газетчики были друг у друга на виду...

Осмотревшись вокруг, я невольно начал искать стул, чтобы сесть: ноги нещадно ломило, и мне казалось, что они вот-вот подогнутся и я упаду на пол. Лицо мое, сильно опухшее от ночных допросов «с пристрастием», все еще горело, а в теле чувствовалась страшная усталость, как после тяжелой физической работы.

— Зачем вы объявили голодовку, Ефимов?— спросил наконец Воронов, поднявшись со стула и продолжая внимательно оглядывать меня.

— Затем, что у меня нет другого способа протестовать против беззаконий, которые здесь творятся.

— И вы полагаете, что следователи оставят дело незаконченным?! Но это же не способ! Голодовкой вы ничего не добьетесь.

— Подскажите мне иной способ.

— Я вам не подсказчик. А умереть вам все равно никто не даст, а уж я — тем более: за жизнь заключенных в тюрьме отвечаю в первую очередь.

— За свою жизнь я сам отвечу, а вот вы ответьте мне: за что почти каждую ночь меня истязают следователи? За что заставляют стоять навытяжку целыми ночами?! Бьют кулаками, ногами... И это методы следствия? У вас не следователи, а палачи и садисты!

Воронов давно уже вышел из-за стола и, заметно волнуясь, ходил по ковровой дорожке от стола до двери и обратно, поскрипывая сапогами. При моих последних

словах он вдруг остановился, как будто споткнулся, и возбужденно воскликнул:

— Тихо! Тихо, Ефимов! Попридержите язык, не забывайтесь! Вас допрашивают работники, поставленные Советской властью. И учтите: вы в тюрьме, а не на митинге.

— Я ни в чем не виноват перед Советской властью,— уже без запальчивости сказал я.— И никому не дано права избивать заключенного!

— Покайтесь по совести во всех прегрешениях, подпишите протокол — и следствие будет закончено.

— В каких прегрешениях? Вы словно с луны свалились! Ведь мы знаем друг друга более пяти лет, вы слушали мои публичные выступления, читали в «Трибуне» мои статьи и фельетоны. Что в них грешного и преступного? А протокол мною подписан на первом же допросе, еще при следователе Громове. Чего еще от меня нужно?!

— Не ваше дело выбирать следователей,— отрубил Воронов.— Громов отстранен от следственной работы за нерадивость и отсутствие принципиальности и бдительности...

Я замолчал, поняв бессмысленность дальнейшего спора. Мы находились в неодинаковом положении, и спор был бесполезен. Ясно было только одно: Воронов нисколько не лучше моих ночных мучителей. Их цель — ради своей карьеры любой ценой «выкорчевывать» несуществующую крамолу. Такова общая установка.

Выдержав тяжелую паузу и снова сев за стол, Воронов вкрадчиво заговорил:

— Неужели вы не понимаете, что попали под колесо истории? Неужели вам хочется быть раздавленным?

— Пусть мне честно скажут, в чем я провинился перед историей...

— Вам уже сказали и записали!

— Мне сказали и записали столько нелепицы, что ум за разум заходит. И почему именно я должен попасть под колесо истории, а не этот карьерист Бложис?!

— Не трогайте товарища Бложиса, гражданин Ефимов,— подчеркнуто официально ответил начальник,— ему доверяет партия, он заслуженный работник районного комитета!

— Он клеветник и негодяй! И только вы не хотите понять, что он политический авантюрист! Не хотите понять или вам невыгодно понимать, гражданин начальник тюрьмы?!

Эти мои слова задели Воронова. Он снова вышел из-за стола, молча прошелся по кабинету и совершенно другим тоном сказал:

— Вы напрасно пыжитесь, Иван Иванович. Это совсем ни к чему. Я вас великолепно понимаю и сочувствую вам, но все же решительно советую вам отказаться от объявленной голодовки.

— Спасибо за совет, но лучше будет, если вы оставите меня в покое. Ведь голодуете не вы...

— Ну хорошо! В покое так в покое!— мстительно сказал он и, подойдя к своему креслу, нажал на столе кнопку звонка.

Неслышно, как призрак, в дверях появился темно-синий мундир.

— Отведи заключенного в девяносто шестую!— приказал Воронов и, больше не глядя на меня, сел к столу.

Придерживаясь за стены, я понуро заковылял по тому же переходу в знакомый «вестибюль». Поднявшись по гулкому трапу на галерею второго яруса и дойдя до крайней двери перед окном, мы остановились. Конвоир отомкнул безликую дверь и впустил меня в пустую камеру. Дверь гулко закрылась, щелкнул замок, и я оказался в одиночке.

От двери до окна четыре шага, четыре метра. От одной стены до другой — два с половиной. Итого в камере десять квадратных метров. Чуть меньше той, откуда увели меня к начальнику. «Площадь завидная при нашей коммунальной тесноте»,— невольно подумалось мне. Голые, недавно побеленные стены, покрытые на уровне человеческого роста масляной краской, нигде ни единой царапины. Такой же белизны и потолок, в центре которого наглухо вделана и защищена сеткой электрическая лампочка. Справа от входа, у стены, на полу стоит двухведерная, коричневая от соленой ржавчины пустая посудина, параша, прикрытая квадратным куском толстой потемневшей фанеры...

Выбрав угол справа от окна, я с трудом, как больной старик, сполз вниз и вытянулся на голом, чисто помытом дощатом полу.

В этот первый день моей официальной голодовки никто меня не тревожил, и лишь перед отбоем отворилась дверь и незнакомый надзиратель бросил в камеру светло-синий холщовый матрац, солома в котором давно вся изломалась и превратилась в труху. Даже при легком встряхивании матрац дымился прогорклой пылью.

В камере было тихо так, что можно бы услышать летящую муху, но мух не было. До меня здесь, несомненно,

кто-то томился совсем недавно — такие же, как и я, несчастные, но теперь их куда-то переселили. Зачем? Ах да, чтобы изолировать, чтобы я не подавал дурного примера другим! Так здесь поставлено дело.

Всю ночь я провел в непривычном одиночестве, ежечасно просыпаясь в ожидании вызова на допрос. Невольный страх перед новым избиением в следовательской все время терзал меня, держал настороже в моем тревожном полусне. И все же я выспался и отдохнул...

Около полудня, когда на правой стене показалась солнечная полоса, из окна с воли донесся приглушенный звук человеческих голосов. Любопытство побеждает боль, и я не без усилий поднимаюсь с пола. Крутой срез кирпичного подоконника доходит мне до груди, и, чтобы посмотреть вниз, я берусь обеими руками за нижние переплеты рамы, в которой нет почему-то трех стекол, и подтягиваюсь к оконному проему. Занятия в юности на трапеции, турнике и брусьях оказались полезными — я даже ухитряюсь кое-как, одним боком, присесть на неудобном подоконнике, ухватясь одной рукой за наружную, тоже без двух стекол, железную раму.

Внизу, на довольно просторном треугольнике тюремного двора, прогуливаются заключенные. Они ходят непрерывной цепочкой по замкнутой дорожке, заложив руки за спину и соблюдая между собой установленное правилами расстояние в два-три шага. Некоторые тихо переговариваются, но смысл их разговоров до меня не доходит. Многие курят. Иные, подняв лицо кверху, жмурятся от осеннего солнца.

Политических, «врагов народа», в этой цепочке нет. Прогулки им строжайше запрещены. Здесь гуляют только «друзья народа»— грабители, растратчики, отпетые хулиганы, расхитители казны, дельцы, спекулянты и прочие нарушители законов.

Руки мои устают уже через минуту, и я опускаюсь на пол. Практически я голодую уже пятый день. Первые дни у меня было полное отвращение к тюремной безвкусной баланде, а ночные вымогательские допросы вовсе убивали аппетит и так изматывали, что, возвращаясь под утро в камеру, я с усилием съедал лишь порцию черного хлеба, тюремную пайку, запивая ее водой.

Я снова сажусь на синий тюфяк и, прислонясь к холодной стенке, с грустью ощущаю, как вместе со временем медленно и неуклонно тают силы. Напрягая память, я пытаюсь восстановить события последних недель и месяцев этого страшного 1937 года...

## В черных списках «врагов народа»

Одиночество способствует раздумьям. Я долго и мучительно ломаю голову над вопросами, ответа на которые не нахожу. Кому была необходима такая пожарная спешка с моим исключением из партии? Чем она вызвана? Кому я стал поперек дороги?..

Обстоятельства первого дня по возвращении из отпуска снова и снова, как кольцо киноленты, проносятся в моей голове.

Придя утром в редакцию, я прежде всего был удивлен какой-то несвойственной нашему коллективу атмосферой замкнутости, настороженности и отчужденности. В ответ на мои радостные приветствия — молчаливый кивок или короткое, торопливое рукопожатие, как будто все куда-то спешили или решали какую-то трудную и неотложную задачу.

Постучав и толкнув дверь редакторского кабинета, где стоял и мой письменный стол, как теперь уже его заместителя, я с удивлением увидел за редакторским столом не флегматичного и всегда любезно-спокойного Василия Григорьевича Мирова, а всегда хмурого и неприветливого Бложиса, заведующего отделом агитации, пропаганды и печати райкома партии. Я поздоровался, протянув ему руку. Он молча и как-то неохотно подал мне свою, холодную и вялую, и тут же быстро выдернул. Поначалу я не обратил на это особенного внимания, зная его малосимпатичную натуру. Но когда я, все еще в приподнятом настроении, вернулся к своему столу и скинул пиджак на спинку стула, Бложис вдруг сказал, напирая на официальное начальственное «вы»:

— К работе я вас не допускаю, Ефимов.

Нелепое распоряжение Бложиса было столь неожиданным, что в первое мгновение показалось мне шуткой. Отпирая ящики стола, я все еще благодушно и полушутя спросил его:

— Почему и с каких это пор наш уважаемый Бложис стал распоряжаться в редакторском кабинете?

— Мирова нет и еще долго не будет,— ответил он с явным злорадством,— и по решению бюро райкома я исполняю обязанности редактора.— Его разного цвета глаза следили за мной.

— А где же Миров? Ведь его отпуск был в июне — июле!

— Миров арестован,— отрезал новый редактор.

— Вот тебе раз! За что же и когда?— с недоумением и испугом уставился я на Бложиса, перестав возиться с замками.

Не глядя в мою сторону, он все так же мрачно буркнул:

— Органы разберутся без нашей помощи...

— Но почему же органы? Разве работники редакции не должны знать, в чем обвиняется их ответственный редактор?!

— Работники редакции осведомлены, а вам знать совсем необязательно... И нечего волноваться: зря у нас не арестовывают.

— Но почему вы мне запрещаете работать? Я все же официальный заместитель редактора!

— Да, но есть важные причины для запрещения... На вас в райком поступили компрометирующие материалы, и до рассмотрения их и решения райкома по этому вопросу я не могу позволить вам заниматься журналистикой в районной газете... И на этом давайте закончим беспредметный спор.

— Я что же, и с работы уволен?

— Пока еще нет, но вы номенклатура райкома и сами понимаете, что без его санкции я не допущу вас к работе.

— Но ведь это незаконно!— воскликнул я с возмущением.— Решения райкома еще нет, и ваши действия я вправе считать самоуправством. Как-никак, а я пока еще член райкома!

— Вы, Ефимов, рассуждаете так, как будто только сегодня в партию вступили! Вы что, партийных порядков не знаете?

— Знаю я эти порядки не хуже вас, но я решения не знаю!

— Решение будет. Сегодня. В двенадцать часов соберется пленум, а пока можете считать себя свободным. Кстати, и времени до пленума осталось немного.

И я, как оплеванный, ни на кого не глядя, покинул редакцию...

Никогда мне не забыть гнетущей, вымученной обстановки на этом заседании поредевшего за лето пленума райкома. Среди присутствующих я не видел многолетних его членов — второго секретаря Васильева, заведующего райземотделом Тарабунина, арестованного еще по весне, комиссара полка Лозовского. Что-то не видно и председателя исполкома райсовета Кузьмина. Неужели тоже арестован? А теперь вот исчезли куда-то и редактор Миров, всегда сидевший скромно и незаметно на заднем ря-

ду со своей неизменной записной книжкой, и директор Рамушевской МТС Каншин...

Из тридцати с лишним членов райкома, избранных на последней партконференции, здесь присутствует менее двадцати человек, и каждый пугливо и недоверчиво поглядывает на товарищей, как бы спрашивая: «Цел? Еще не ошельмовали?»

Вместо старого чекиста Лохова, бывшего начальника РО НКВД, рядом с первым секретарем Аполоником сидел за столом уже новый начальник, бывший заместитель Лохова, кооптированный в состав райкома молодой Бельдягин, пожалуй, самый оживленный и деятельный из всех, очевидно по причине неожиданно привалившего ему повышения.

Открыл заседание Аполоник. Не сказав даже обычного теплого слова «товарищи», он начал непривычно сухо и ни к кому не обращаясь, как в пустоту:

— На повестке дня у нас два вопроса: о ходе осенних полевых работ и персональное дело Ефимова. Есть предложение вопрос о Ефимове рассмотреть первым. Возражения будут?

Последовало тяжелое молчание. Все притихли, даже не двигаясь, стараясь не смотреть в сторону секретаря, и лишь Бложис, присевший сбоку для ведения протокола, едва слышно промолвил:

— Возражений нет.

— Хорошо. Тогда слово по делу Ефимова предоставляется начальнику районного отдела НКВД товарищу Бельдягину.

Упитанный, самодовольный Бельдягин неспешно поднялся, быстро загнал за спину, под ремни, складки новенькой, тонкого сукна гимнастерки, чуть подвинул на ремне кобуру с пистолетом и важно вынул из лежащей перед ним папки исписанный лист бумаги.

— В органы поступили материалы об антипартийной и антисоветской деятельности Ефимова, о его явно несовременном мировоззрении и связях с врагами народа...

При первых же словах докладчика среди сидящих послышался шепот, краем глаза я заметил удивленные и недоверчивые взгляды в мою сторону. Глаза директора курорта Шаранина, большевика с 1906 года, с которым я, как с отцом, не раз делился своими радостями и горестями, как бы спрашивали меня: «Неужели и ты, Иван, объявился врагом народа?»

Я оцепенел, казалось, вся кровь бросилась мне в голову. Что такое он мелет? Какая деятельность? Что за

подлые шутки?! Наконец, не выдержав всей оскорбительности, а еще больше — нелепости того, что говорил в эту минуту Бельдягин, я вскочил со стула и крикнул, перебивая его:

— Не слишком ли много вы настряпали врагов, уважаемый товарищ Бельдягин? При таком усердии скоро среди актива района не останется ни одного вне подозрений!— И, вспомнив события последних месяцев, я заговорил о беззакониях, творимых ведомством Бельдягина.

Но тут встал и громко застучал карандашом по графину Аполоник, призывая к дисциплине, и я сел, горя от возбуждения.

— Вот, полюбуйтесь, товарищи,— продолжал Бельдягин, сделав театральный жест в мою сторону и победоносно оглядывая присутствующих.— Это же явная вылазка классового врага, врага народа! Ибо только они не доверяют работе органов НКВД, возглавляемых выдающимся сталинским наркомом товарищем Ежовым! Мне думается, тут вопрос предельно ясен и едва ли требуются еще какие-либо доказательства антипартийности Ефимова. С такими концепциями ему не должно быть места в рядах нашей партии. И я предлагаю его исключить!

— Кто хочет высказаться? Есть ли вопросы?— обратился Аполоник к собравшимся, глядя куда-то поверх голов, между тем как ретивый выявитель классовых врагов достал из кармана платок и, утерев вспотевший лоб, сел.

И вновь последовала томительная тишина. После столь весомого заявления начальника сурового органа пролетарской диктатуры ни у кого не было охоты вылезать со своими сомнениями. Многие понимали, что обвинение попросту состряпано. Ничего конкретного по существу не могло и быть: за пять с половиной лет совместной работы в районе я был у каждого как на ладони. Но не согласиться с Бельдягиным... Это означало навлечь на себя беду. Молчание затягивалось, гнетущая тишина становилась невыносимой.

— Разрешите мне?— подал наконец голос все тот же невозмутимый Бложис, вставая.— Я несколько лет наблюдаю за лекторской и вообще пропагандистской работой Ефимова. И по тому обилию политических ляпсусов, какие он допускал в своих докладах и лекциях, прихожу к выводу, что они не случайны.

— Вы что ж, на всех его лекциях и докладах присутствовали или он сдавал вам в письменном виде?— не удержался кто-то от ехидного вопроса.

— Лекций его я не слушал и в письменном виде не получал,— хладнокровно ответил Бложис и продолжал:— Эти ошибки замредактора газеты представляют собой определенную систему во взглядах, чуждых нашей партии на современном этапе, противоречащих теоретическим установкам товарища Сталина, особенно в вопросах классовой борьбы... Я считаю, что это не просто ошибки, а именно антимарксистская система в мировоззрении, несовместимая с дальнейшим пребыванием Ефимова в партии. Поэтому я решительно поддерживаю предложение докладчика.— Он сел и снова уткнулся в протокол, торопясь записать свою речь.

Возмущению моему не было предела. Я весь внутренне дрожал, мне хотелось кричать, взывать к истине, протестовать против нелепого фарса. Я встал и поднял руку, но вдруг почувствовал, что потерял дар речи. С нестерпимой болью сглотнув жесткий комок, внезапно подступивший к горлу, я в бессилии сел. И в ту же минуту меня осенило, что здесь я не смогу что-либо изменить. Меня ждало заранее подготовленное решение, которое уже держал в руках Бложис, по сути уже изложив его в своем выступлении.

— Поступило предложение исключить Ефимова из рядов ВКП(б) и освободить от обязанностей заведующего партийным отделом газеты «Трибуна»,— сказал Аполоник, вставая.— Товарищ Бложис, зачитайте проект нашего решения.

Не скрывая удовольствия, Бложис прочитал отпечатанный на отдельном листе текст, слово в слово схожий с терминологией его выступления. Затем Аполоник спросил:

— Имеются ли возражения против данной резолюции? Возражений нет?! Считаю вопрос решенным!— еще громче сказал секретарь райкома, явно спеша поскорее со мной разделаться.— Ефимов,— протянул он руку,— отдайте ваш партийный билет, и прошу выйти...

Не помню, как я вышел из райкома и побрел куда-то. Хотелось только одного — скрыться с людских глаз, уединиться, остаться один на один с незаслуженной обидой.

Я долго стоял на мосту через Полисть, не слыша ни тарахтения тележных колес по дощатому его настилу, ни разговоров спешащих куда-то прохожих, которым я, очевидно, мешал, сгорбясь над перилами. Я тупо глядел на речную рябь, по которой августовский ветерок местами разбрасывал рассыпное серебро. Чувство ре-

альности куда-то исчезло. Минутами мне думалось, что вдруг совершится чудо и кто-то из товарищей, увидев меня из райкомовского окна, выскочит с незакончившегося заседания, взбежит на мост и крикнет: «Ефимов! Ваня! Вернись, мы же пошутили! Что же ты, чудак, быстро ушел,— шуток не понимаешь?»

Увы, кошмар пронесшегося заседания подсказывал, что это была далеко не шутка и что я обязан во что бы то ни стало восстановить свое честное имя и до последнего бороться за него! Но как бороться? Против чего или кого, когда в докладе и решении не приведено ничего такого, что надо было бы опровергать, ни одного факта или примера, по которому можно было бы доказывать голословность обвинения... Одни общие фразы, и больше ничего. Но фразы такие, что сразу убивают или сшибают с ног. Понимай их как хочешь... Но защищаться надо. Райком — это не вся партия!

Взглянув еще раз на здание райкома, словно чтобы получше его запомнить, я перешел мост и побрел по набережной. Не помню, куда брел, сколько времени сидел со своими думами на скамейке под сенью ив, почти над самой водой...

— Добрый день, Иван Иванович!— вдруг услышал я знакомый приветливый голос и обернулся.

Оказалось, что я сижу напротив опрятного, утопающего в зелени домика Василия Кузьмича, метранпажа нашей типографии. Здесь, на этой скамейке, мы не раз сиживали с ним, когда вместе возвращались с ночных дежурств в издательстве после окончательной сверки текста газеты и запуска ее в печать. Кузьмич вступил в партию в семнадцатом, было ему под шестьдесят. Он принадлежал к породе трудолюбивых людей. Умный, добрый, он привлекал к себе каждого, кто его знал. Многое он повидал на своем веку, о многом знал не по учебникам политграмоты, и беседовать с ним было всегда одно удовольствие.

Бывший наборщик издательства П. П. Сойкина в Петербурге, а затем в Ленинграде, четверть века протанцевавший за наборными кассами, он поселился в Старой Руссе лет десять назад из-за своего ревматизма.

— Не будь здешних чудодейственных грязей, лежать бы мне на Волковом кладбище вместе с дедами,— не раз говорил он, нахваливая всем и каждому целебную силу наших минеральных источников.

Увидев меня на знакомой скамейке в рабочее время, он пересек проезжую часть набережной и бодро подо-

шел ко мне. Вид у меня, как видно, был такой, что он участливо спросил, как обычно в рифму:

— Что это, Иваша, мрачна душа ваша?

— Исключили из партии, Василий Кузьмич.

— За что же, когда? На каком собрании?

— Сам не знаю толком за что... часа два назад. Райком исключил и с работы под зад коленкой.

Потрясенный Кузьмич глубоко вздохнул, помолчал и присел, чуть потеснив меня на скамеечке. Потом тихо сказал:

— Что же это такое творится вокруг... Уехать бы тебе, Иван Иваныч, на время, пока не поздно. Как бы не было хуже... Что слышно о редакторе?

— Ничего я не знаю, Кузьмич. Да меня ведь и не было здесь, вчера только из отпуска, и вот такая беда...

— Говорю, уезжай в Ленинград! «Где Ефимов?»— «Нету». На «нет» и суда нет... А там, глядишь, и восстановят потихоньку... Ленинград, он вовеки Ленинградом и останется. Сходишь в Смольный, в обком. Там правду должны любить. Старички против совести не пойдут, а старички там, наверно, еще не все вывелись...

Кузьмич, пожалуй, был прав. Позднее я узнал, что если работники НКВД не заставали арестуемого дома, вторично они, как правило, не приезжали. Стоило мне в тот же вечер уехать в Ленинград и задержаться там у родни, возможно, и пронесло бы, возможно, мне и не выпало бы столько горя и бед. Но я был еще наивен и излишне доверчив. Да и не по душе мне был такой план.

— В Ленинграде не пропишут... Да и не кругло получается, Василий Кузьмич, вроде побега...

— Да ведь, не ровен час, ночью схватят и упрячут в тюрьму! А в Питере временно проживешь и без прописки. Эко дело! Смотри, как с Васильевым-то круто повернули: вывели из состава бюро, сняли с секретарей, а ночью увезли, вроде как украли, и никто не знает, за что и куда дели...

— Но Васильева обвинили в тесной связи с врагами народа...

— С какими врагами? Может быть, с такими, как ты или Арский? Или Тарабунин? Да все они такие же враги, как я падишах аравийский!— разволновался Кузьмич.— Послушать их,— он мотнул головой в сторону центра, и я понял, что он имеет в виду райотдел НКВД,— послушать их, так скоро здесь и честных людей не останется... Уезжай, тебе говорят, а то увезут ночью, как Лобова и Арского, как всех других увозили, и поминай как зва-

ли...— Он переменил положение на скамейке и притянул меня к себе.— Нонче волна какая-то пошла на аресты. Что-то опять наверху палку перегнули. Врагов напридумывали. Схлынет волна — глядишь, и опять пойдет посуху... А сейчас ведь и арестуют запросто, Иван.

— За что же меня арестовывать?

Старик еще ближе наклонился ко мне и сердито заговорил вполголоса:

— А из партии исключили за что, ты знаешь? Это тебя-то! И почему исключал райком без решения общего партийного собрания газеты? Или уж и Устава партии нету? Уезжай, тебе говорю, пока не поздно! Береженого бог бережет...

— Нет, Кузьмич, никуда я не побегу, и бежать мне от своей власти некуда. А вот вывести на чистую воду кой-кого надо, непременно надо.

— Как же это ты выведешь, Аника-воин, с чьей помощью? Что ты, декабристское общество соберешь? Ведь тебя теперь и на работу-то никуда не примут, голова садовая!..

— Нет, Кузьмич, я остаюсь в Руссе, и ничего со мной не случится! Мы еще повоюем...

— Эх ты, вояка... С кем ты надумал воевать-то, с кем?— сделал он упор на последнее слово.

И тем не менее совет мудрого старика показался мне навеянным трусостью. Я молча поднялся, наскоро попрощался с ним и пошел через дорогу. Пройдя шагов десять, оглянулся. Кузьмич все еще стоял у скамейки и с укором смотрел в мою сторону.

— Возьми адресок, Иван, и прямо на станцию! Есть у меня друзья за Нарвской заставой, в обиду не дадут...— с печалью в голосе крикнул он мне вслед.

Не получив ответа, он с досадой махнул рукой, сгорбясь, перешел дорогу и скрылся за калиткой в зеленом палисаднике.

Дома в это неурочное время я, к счастью, никого не застал. Я сел за стол и написал апелляцию в обком. Написал много и обстоятельно, слова находились легко и текли сами собой без обычных «сочинительских» усилий. Не переписывая, я запечатал письмо и отнес на почту. Надежда на справедливость не покидала меня, хотя состояние души было все еще тягостным. Сознание не хотело мириться с происшедшим. Я как будто потерял что-то очень дорогое, очень важное в жизни.

Был уже вечер, а я все шагал по улицам и переулкам. Иногда присаживался на свободную скамейку и все

думал, думал... А подумать было о чем. Во-первых, с исключением из партии я автоматически лишался своей любимой работы, терял профессию, приобретенную опытом и образованием, терял потому, что она неразрывно связана с моей партийностью. Правда, я могу работать в редакции и рядовым сотрудником или инструктором, которому необязательно быть коммунистом. Но... но тут появляется «во-вторых». Пока я не буду восстановлен в партии, отношение ко мне повсюду будет, как ко всякому «бывшему», настороженное, подозрительное. И в чьих-то списках я буду числиться на учете...

Вернулся я домой уже около одиннадцати часов вечера. Я старался не выдать себя, бодрился, но, видимо, это не очень-то у меня получалось. Как обычно, первой это заметила мать.

— Что с тобой, сынок? Ты весь будто побелел, кровинки в лице нет. На работе что-нибудь не заладилось или обидел кто?

Присев к обеденному столу рядом со мной, она положила свою теплую ладонь мне на голову, как это делала всегда в трудные минуты жизни, желая утешить. В небольшой квартире все уже разбрелись по своим углам, лишь жена что-то делала на кухне. Трехлетний Юрка спал в комнате бабушки. Три малолетние племянницы из Ленинграда вместе со своими мамами, моими сестрами Полей и Машей, находились на веранде, где тоже было тихо. Каждое лето они гостили у нас, а завтра должны приехать в отпуск и два наших зятя.

Из кухни пришла жена и поставила на стол тарелки с запоздалым ужином. Заметив, что мы сидим пригорюнившись, она с тревогой спросила:

— О чем засекретничали? Почему оба пасмурные?

— Меня исключили из партии,— еле выдавил я.

— Когда? За что могли тебя исключить?

— Восстановят!— убежденно и ласково сказала мать, даже не спросив о причине такого несчастья.— Видно, ошибся кто-то. Тебя не могут исключить, разве только партию насильно оторвут от тебя... Это совсем невозможно!

Будто предчувствуя беду, в столовую вошли сестры, тихо прикрыв дверь на веранду.

— Что тут у вас произошло?— спросила старшая, запахивая на себе халат.

— Ванюшку из партии исключили,— через силу ответила мама.

— На каком основании? За что?

— А теперь и ни за что исключают,— сказала мать.—Исключат, а потом восстановят... Ну и год выдался! Ни в какой семье покоя нет, везде ищут супротивников.

Все чувствовали, что слова матери сказаны больше для утешения семьи и что сама она совсем не уверена в благополучном исходе.

— Главное, чтобы врагом народа не объявили, нынче это запросто,— сказала младшая сестра Маша.

— Ну какой же он враг народа? Чего это ты, глупая, выдумываешь? Кто же тогда друг, если уж мы враги?!—с небывалой силой сказала мать.

— Ладно, завтра все утрясется,— силился я улыбнуться, поднимаясь. — Пора спать, утро вечера всегда мудренее.

— А поужинать-то? Обедал, поди, давно?— задерживала мать, цепляясь за пиджак.

— Какой уж тут ужин, мама. В Калужине не ужинают. Завтра мужики приедут из Ленинграда, вот тогда и поедим с удовольствием... На вокзал надо будет ехать, благо я теперь и от работы свободен.

— Как так свободен? Тебя что же, и уволили? Почему? За какую провинность?— опять посыпались вопросы.

— Да вы не беспокойтесь, все уладится... Мое дело не такое уж безнадежное, чтобы о нем беспокоиться,— бодро говорил я, хотя на душе у меня, как говорится, кошки скребли.

Я снял и повесил пиджак на обычное место. Потом не спеша вышел в коридор, где на летнюю пору, из-за тесноты, я ставил себе раскладушку.

Вскоре вся квартира затихла.

## Ночные призраки

Предчувствие новой беды не покидало меня. Еще с час я ворочался на своей неудобной постели, все чего-то ожидая. И только забылся в тревожном полусне, как был разбужен звонком у парадного входа. На продолжительный перезвон быстро вышла мать, как будто дежурила у двери в прихожей, и, пройдя мимо меня к наружной двери, включив свет, спросила:

— Кто там?

— Откройте, из НКВД,— ответил голос из-за двери.

За эти секунды я успел натянуть брюки и рубашку и начал зашнуровывать белые парусиновые туфли, бывшие

в те годы модными. Между тем мимо перепуганной матери прошли трое оперативников, один из них, незнакомый мне старший лейтенант, остановился возле меня, и спросил:

— Гражданин Ефимов?

— Да, это я.

— Зайдемте в квартиру.

Все мы вошли в столовую, где мать уже успела зажечь свет. Из двери на веранду немедленно появились мои любимые сестрички, и в комнате стало совсем тесно...

— По какому праву беспокойство в ночное время?— нелепо спросил я гостей, уже догадываясь, зачем они пришли. Стрелка настенных часов показывала час ночи.

— Вот ордер на обыск и арест,— тихо сказал старший и подал мне маленькую желтоватую бумажку.

На фирменном бланке в четверть писчего листа, именуемом ордером, подписанным начальником НКВД Бельдягиным и районным прокурором Бурыгиным, уже третьим по счету прокурором за этот год, повелевалось произвести в квартире обыск и арестовать меня «за контрреволюционную деятельность, направленную на срыв мероприятий партии и Советского государства». По самой верхней, чистой кромке ордера было приписано: «Согласовано. Секретарь РК ВКП(б) Аполоник. 22.08.1937 года».

Все ясно. Оформлено по всем правилам...

— Что там написано, что так долго читаешь?— спросила мать, кутаясь, как от озноба, в старый серый полушалок. Из глаз ее текли слезы.

— Да так, ничего особенного,— выдавил я из себя.— Приглашение в тюрьму.

Мать охнула, грузно опустилась на край разобранной постели. Жена плакала не стесняясь, ухватясь за дверную штору, а сестры всхлипывали.

Между тем ночные пришельцы, давно уже привыкшие к своим неблаговидным обязанностям, к чужим слезам и к чужому горю, делали свое дело. Старший, сев за стол посередине комнаты, уже разложил свои бланки, второй остался на стреме в прихожей, в которую выходила дверь и от соседей. Третий сразу же подсел к моему письменному столу и стал открывать ящики, не спеша обшаривая их и выкладывая все бумаги на стол. Найдя в боковом ящике дегтяревский браунинг, он умело передернул его, разрядил и сунул к себе в карман.

— А запасные патроны где?— обернулся он ко мне.

— Где-то внизу. Стреляться я не собирался, иначе сделал бы это до вашего прихода.

— Приступаем к общему обыску,— сказал старший, успев между тем заполнить начальные строчки протокола обыска и подходя к книжному шкафу.

— Да чего у нас искать-то? Живем у мира как на ладони,— возмутилась мама и сразу перестала плакать.

В гнетущей тишине начался повальный обыск — явление небывалое и совершенно не знакомое никому и поэтому особенно страшное. Был перерыт письменный стол, все его семь ящиков. Из вороха бумаг, черновых записей и записных книжек были извлечены две дорогие мне объемистые папки. Это был мой личный архив с документами, справки с разных работ, характеристики, мандаты различных конференций и совещаний, курсов и сборов, в том числе и первого сбора отряда ЧОН. Самым бесценным документом там был гостевой билет на день закрытия XVI съезда партии. Он был дан на троих, но я сохранил у себя, так как мне он достался в последнюю очередь. Это было 13 июля 1930 года, в день, когда мы, группа студентов Ленинградского комвуза, должны были выехать на хлебозаготовки в Центрально-Черноземную область, в Воронеж.

Все это накопилось у меня за пятнадцать лет комсомольской и партийной работы. В эту же папку оперативник вложил и удостоверение об окончании Коммунистического университета, и воинский билет старшего политрука роты, и паспорт, впервые полученный пять лет назад, в год введения паспортной системы.

Вторая, не менее пухлая папка содержала многочисленные вырезки из газет и журналов — мои заметки начиная с 1925 года, статьи, очерки, фельетоны, рецензии...

Из битком набитого книжного шкафа была вынута каждая книга и брошюра и встряхнута за корешок — не выпадет ли из них какой-нибудь улики в моей «вражеской деятельности», не обнаружится ли там крамольных сочинений и недозволенных рукописей. Знали бы они, как тщетны и нелепы были их поиски!

Впрочем, не так уж и тщетны! В качестве «крамолы» были изъяты и приобщены к делу всем известный роман Бруно Ясенского «Человек меняет кожу», затем толстый учебник политической экономии под редакцией профессора Кофмана и «Введение в философию диалектического материализма» советского философа академика

Деборина. Улов был явно мал, я видел это по разочарованной мимике агентов, но помочь им ничем не мог. Я лишь мельком подумал, что Деборин тоже кому-то помешал...

— Разрешите открыть?— спросил у мамы третий уполномоченный, показывая на платяной шкаф, у которого она все это время молча сидела как замершая, с ужасом наблюдая за происходящим.

— Открывайте!— воскликнула мать, встав со стула.— У нас ничего не запирается! Обыщите все до нитки, ироды, пусть все знают, что у моего сына совесть чиста и никаких закоулков там нету!

— Не мешайте, гражданка, мы найдем, что нам надо...

— Мы вам не помешаем, а вы, молодые люди, нам уже помешали! Что же, у вас днем времени не хватает, если по ночам рыскаете, людей пугаете... Матери-то есть ли у вас?

— Не надо, мама, успокойся,— обнял я и снова усадил в сторонке мою несчастную старушку.

— Мы делаем свое дело, порученное нам государством,— сказал ей агент, открывая дверцы шкафа, а затем и нижние бельевые ящики.

— Оно и видно, что государству делать нечего, как только наряжать по ночам вот таких проворных лоботрясов!— не успокаивалась мать, вообще-то не очень говорливая.— Другого дела себе не сыскали...

— Замолчите, гражданка Ефимова!— сказал старший.— А вы действительно мешаете нам!— обернулся он к моей жене и сестрам, молча и ошарашенно глядевшим на ночных гостей.— Я настаиваю, чтобы вы все вышли и не отвлекали нас. Чем скорее закончим, тем лучше будет для всех.

Все, кроме матери, вышли, а говоривший стал помогать другому коллеге трясти одежду и белье.

На полу скоро вырос ворох недавно выглаженного белья, еще не утерявшего запаха реки,— женского, мужского, детского, встряхнутого и смятого. Глядя на все это, мать опять не сдержалась и завсхлипывала от обиды и незаслуженного унижения...

После того как в занимаемых нами комнатах все было перевернуто вверх дном, пересмотрены и перещупаны все кровати и вся мебель, к более чем скромным «вещественным доказательствам» прибавилась лишь большая пачка писем друга моей молодости Лени Истомина. Очевидно, она соблазнила чекистов тем, что на

многих письмах стояли иностранные штемпели и адреса отправки: Генуя, Лондон, Гамбург и другие портовые города Европы, куда заходил теплоход «Бела Кун», на котором плавал рулевым мой верный товарищ. «Тут пахнет связью с иностранной разведкой»,— думалось, наверное, сыщикам, когда один из них передал эту связанную шнурком пачку старшему для занесения в протокол обыска.

В четвертом часу все было закончено, увязано, подписано, и мне предложили одеться.

— Что взять с собой из вещей?— спросил я.

— Ничего не надо,— ответил старший лейтенант.— Едва ли вы там долго пробудете, а на пару суток много не потребуется.

Будучи, видимо, достаточно опытным в таких делах, он уже понимал, что я совсем не то, на что рассчитывало его начальство. И я, поверив ему, надел лишь пиджак, сунул в карман пачку «Беломора» и тридцатку денег. Зайдя в спальню, простился с женой, поцеловал Юрку, затем попрощался с мамой и сестрами и в окружении стражей вышел на крыльцо.

Насильственное расставание с родными и домом посреди глухой ночи было полно тяжелой печали. Слезы и всхлипы жены и сестер, раздирающие душу тихие, как по покойнику, причитания матери до сих пор звучат в моих ушах горестным воспоминанием. Поцеловал еще раз всех, вышедших вслед за мной, и, поторапливаемый нетерпеливыми пришельцами, зашагал в темноту.

После уютного яркого света квартиры августовская ночь поначалу показалась особенно темной. Кругом было тихо и безветренно — все как бы притаилось, суля мне впереди одни лишь тяжкие испытания...

«Черный ворон», легковая машина НКВД, стояла за углом дома напротив. Ее блестящий глянцевый черный лак мерцал в мерклом свете лунной ночи. Старший группы со связкой книг и документов под мышкой открыл передо мной заднюю дверцу машины и тихо предложил мне садиться. Очнувшийся от сна шофер включил внутренний слабый свет. Справа и слева от меня разместились двое остальных, захлопнулись дверцы, и старший, севший рядом с шофером, велел трогать. Я успел оглянуться на высокий серый силуэт нашего дома, различимый на фоне темнеющего курортного парка, и в последний раз увидел на крыльце неподвижную группу самых близких мне на свете людей.

Машина глухо заурчала, выкатилась на булыжную мостовую и, подпрыгивая на неровностях, понеслась в сторону тюрьмы...

Так в ночь на 23 августа тридцать седьмого года, на тридцать первом году жизни, была беспричинно сломана еще одна человеческая судьба. И, увы, судьба еще одной советской семьи.

# Глава вторая

По духу времени и вкусу
Я ненавидел слово «раб»:
Меня позвали в Главный штаб
И потянули к Иисусу.

А. Грибоедов

## Старорусская тюрьма

Остаток ночи я провел в приемнике тюрьмы — специальной камере, куда привозят арестованных, только что взятых из дому. Пол был цементный, и я вышагивал по нему от стены к стене или из угла в угол. Иногда опускался на корточки, то и дело поглядывая на окно, решетки и переплеты которого все отчетливее проступали на фоне предрассветного неба. Воспаленный мозг сверлили одни и те же навязчивые мысли: за что? Кому нужна была моя немедленная изоляция от общества? Выходит, все товарищи, которых я хорошо знал, арестованные доселе как враги народа, так же невиновны перед Родиной, как и я?

Раздумья были мучительны своей бесплодностью. Ничего не понимая в случившемся, я не мог и ответить ни на один вопрос. До сих пор я воспринимал жизнь, с ее успехами и недостатками, как активный созидатель «великой армии труда», вторая же, оборотная сторона действительности, с арестами, тюрьмами, лагерями и страданиями людей, ни в чем не повинных и ставших жертвами мошеннической тайной политики, была мне до глупой наивности неведома, как она неведома многим и многим другим простым советским людям.

Часов в восемь, когда я все же задремал, в приемник пришли два надзирателя в темно-синих поношенных мундирах. Они тщательно обыскали меня, отобрали деньги, брючный ремень, очки, срезали боковые пряжки у пояса брюк и выдернули из туфель шнурки.

— Зачем? Почему?

— Так полагается.

— Но как же брюки?

— Не свалятся. В крайности будете придерживать.

— Но ведь я не уголовник!

— Тут все одинаковые. Делаем по инструкции.

— Но очки почему отбираете?

— Не положено. Вышивать здесь или читать не придется, писать тоже, а следователя и прочих разглядите.

— Но мне разрешено взять с собой деньги!

— А что вы здесь купите на них без ведома следователя? Вот когда будет разрешено ими пользоваться, тогда деньги переведут на тюремный ларек и там будете отовариваться.

— А скоро ли? У меня и папирос только одна пачка осталась.

— Когда закончится следствие. Тут не по сигаретам меряется время, а по ходу дела...

Логика была железной, а такая логика рассуждений не терпит.

Службисты перещупали каждую складку на одежде и белье, пересмотрели мундштуки каждой папиросы. Отобрали карандаш, завалявшийся в одном из карманов, взяли записную книжку, всегда бывшую со мной, с массой записей (которая потом так и пропала, как и все остальное, отобранное в приемнике), перочинный ножик и наручные часы.

Тюремщик куда-то унес отобранные у меня вещи и отвел меня в баню, из которой мне велели выйти уже в другую дверь. Здесь мне вручили белье и костюм с густым запахом карболки, еще горячие от вошебойки и навсегда испорченные. Затем снова куда-то повели: чистилище было лишь преддверием тюрьмы.

С того часа и все последующие годы я мог передвигаться с одного места на другое только в сопровождении и с позволения вооруженного охранника или часового.

Миновав длинный переход, в начале и в конце которого были решетчатые стены и в них такие же калитки, через которые нас пропустили, просмотрев сопроводительную, я увидел наконец и само чрево тюрьмы, куда, как говорят в народе, вход для всех просторен и широк, но выход откуда чрезвычайно узок...

Старорусская тюрьма, вероятно, была такой же, как и все тюрьмы матушки Руси, подробно описанные русскими каторжанами и писателями-декабристами, а также

Достоевским, Чеховым и другими. Но уже лет десять — с тех пор, как был закрыт журнал «Каторга и ссылка»,— о тюрьмах и местах заключения в нашей печати больше ничего не писалось...

— Пошли,— сказал мой новый охранник,— нечего рассматривать, тут не цирк. Наглядитесь еще.

И мы двинулись по гулкому полу к одной из камер первого этажа. Против каждой светила лампочка в стальной сетке. И повсюду, куда только ни проникал мой наметанный глаз газетчика, была идеальная чистота. Как в известной песне каторжан Александровского централа:

Подметалов там немало —
В каждой камере найдешь.

И почему все мне здесь с самого утра твердят, будто я прибыл сюда надолго? Как будто никого из ошибочно арестованных не выпускают на волю! Странно это все.

В камере, куда впустил меня проводник и где я прожил первые пять, самых памятных для меня, дней, уже находились трое. Из-за пережитых событий я весьма смутно помню своих первых товарищей по несчастью. Двое из сидевших на полу выглядели измученными, с запавшими глазами, они недоверчиво молчали, и лишь третий, встретивший меня ироническим возгласом «Добро пожаловать!», невольно сохранился в памяти,— видимо, по закону контраста.

Это был упитанный торговый работник, привлеченный за жульничество и растрату и уже ждавший суда. С воли ему приносили обильные передачи с продовольствием, которое хранилось им в объемистой авоське, подвешенной к решетке окна за форточкой. Запомнился он потому, что мы почти всегда видели его жующим, чавкающим, рыгающим от обилия съестного, как будто он нажирался для убоя. И все это совершалось на глазах полуголодных соседей, которым он ни разу не предложил ни крошки из своих неисчерпаемых запасов. Таких людей я еще не встречал в своей жизни.

Койка в камере была в единственном числе, и занимал ее растратчик, «друг народа и Советской власти», как ворчали мои соседи на полу. Сидя на ней и посматривая в мой угол, он вдруг изрекал, не переставая жевать:

— Тоже контрик? Враг народа?! Много вас нынче расплодилось. Но товарищ Ежов поубавит. Он вам добавит и свободы, и прав... Значит, по пятьдесят восьмой упарили? Тяжелая статейка — политическая, хотя в Уго-

ловном кодексе притаилась. Долгонько будете баланду хлебать.

В первые же часы мои бескоечные товарищи поведали, что во время следствия арестантов нередко бьют, что допросы политических ведутся только по ночам, чтобы тем самым как можно скорее измотать нервы, расслабить психику и волю, подорвать стойкость и упорство.

— Школа нелегкая, хотя и нехитрая. Да вы и сами скоро все узнаете и прочувствуете. Узнаете и о «собачьей стойке»...

Неприятные пояснения моих камерников я слушал скептически, не желая верить ничему дурному и противозаконному. Я пытался их опровергать, защищая гуманность нашей следственной практики.

— Погоди, покажут тебе гуманность, товарищ бывший партиец!— издевательски скалил зубы растратчик.

— Да вы совсем еще карась-идеалист,— заметил мне сосед по полу.

— А вас пытали?— спросил я торговца.

— А зачем меня пытать, я же не политический. Я — бытовик! Пока было можно врать — врал, держался, а потом признал... Против документальных доказательств не попрешь...

— Обмануть не удалось?

— Не удалось,— без особого сожаления признался бытовик.— Козыри у них сильные в руках... А против вашего брата у них козырей никаких нет. Вот и выколачивают признания, кто как умеет — кулаками или еще чем,— трезво и неглупо разъяснил бывший торговец.

Меня лишь удивило в его деле одно: почему всех этих растратчиков судят только за растраты и не применяют закона против расхитителей социалистической собственности? Разве товарные ценности на складах и в магазинах не являются социалистической собственностью?

## Первый допрос

Уроки мои в этой мрачной школе, поначалу несложные, начались в первую же ночь по водворении в камеру. Только я стал засыпать после почти суток волнений и тревог, проведенных без сна, как вдруг загремела дверь и громко позвали:

— Ефимов, на допрос!

Выйдя из камеры, я увидел старшего лейтенанта, производившего арест. Он довел меня до зарешеченного прохода, а затем, отпустив надзирателя, молча повел меня один. Мы поднялись на второй или третий этаж и оказались в обычном учрежденческом коридоре с дверьми по обеим сторонам. Позднее я узнал, что следственные комнаты находились в верхних этажах административного корпуса, выходившего одним фасадом на набережную, а другим — во внутренний двор тюрьмы.

Оперативник постучал в одну из дверей и пропустил меня вперед. В небольшой комнате за простым столом сидел средних лет мужчина в штатском костюме.

— Привел вам Ефимова Ивана Ивановича, товарищ Громов,— сказал мой спутник, поздоровавшись со следователем.

— Спасибо,— без особой охоты ответил сидевший и внимательно поглядел на меня.

Громову было не более сорока лет, но в его темных волосах проглядывались седые пряди. Строгое безулыбистое лицо с наметившимися на переносье и у губ складками показалось мне знакомым. Наверное, я видел его на одном из партсобраний райотдела весной. Да, кажется, в день перевыборов партийного бюро, и сидел он тогда почти в последнем ряду. Возможно, приходилось встречать и на улицах: город был невелик.

Расписавшись в какой-то бумаге, он проводил оперативника до двери, потом прикрыл ее и сел за стол, предложив мне тоже садиться.

— Не удивляйтесь процедуре,— сказал он.— В этих местах так заведено: производивший арест работник должен лично передать мне подследственного...

— Чтобы, не дай бог, не подменили?— с каким-то облегчением заметил я и расслабился.

— Глупость, конечно, но от формализма никуда не денешься... Мне поручено вести ваше дело, и я надеюсь на вашу полную откровенность.

Меня поразили открытость и простота его манеры держаться, и прежде всего отсутствие того литературного образа, который нередко рисуют нам писатели в книгах о чекистах.

Громов достал из своей папки бланки протокола и, записав с моих слов анкетные данные, отодвинул бумаги.

— Вам известно, в чем вы обвиняетесь?

— Понятия не имею, если не считать общей формулы, изложенной в ордере на арест.

— Формула устрашающая, слов нет, поэтому я и прошу вас рассказать о себе подробнее.

Биография моя была несложной. Крестьянин-бедняк из многодетной сиротской семьи, в силу этого вынужденный пойти в пастухи с тринадцати лет. С шестнадцати лет в комсомоле, с девятнадцати — в партии большевиков. По профессии политпросветработник, преподаватель ленинизма и политической экономии, селькор с ранних лет, газетчик. Рассказывать, в сущности, было нечего, да и что мог поведать о себе тридцатилетний молодой человек, воспитанный уже при Советской власти? Жизнь, по сути, еще только начинается...

Громов то и дело переспрашивал меня о последних годах жизни и о работе, о взаимоотношениях с работниками райкома партии. Я отвечал довольно подробно.

— А теперь расскажите, как была вами напечатана в газете заметка под заголовком «Дело Тухачевского потрясло весь пролетарский мир».

Мне не пришлось напрягать память: злополучная история случилась два месяца назад.

— В середине июня, после процесса над изменниками Родины Якиром, Тухачевским и другими, в подборке откликов и заметок селькоров с общих собраний и митингов трудящихся района была действительно набрана и заметка с упомянутым заголовком... Вы должны знать, что все материалы в газетах располагаются строго по отделам, по тематике. Во главе отделов имеются начальники, а у них — сотрудники, инструктора и множество добровольных корреспондентов в лице селькоров. Материал для каждого номера готовится отделами согласно плану. Часть его пишут сотрудники, они же обрабатывают селькоровские или рабкоровские заметки, если те достойны общественного внимания. Указанная вами заметка тоже была подготовлена каким-то отделом и набрана. Затем ее заверстали в газетную полосу, и среди прочих она оказалась на столе дежурного по номеру для правки перед сдачей номера в печать.

— Вы читали тот номер?

— Да, я.

— И вы заведомо пропустили такой заголовок для печати?

— Почему заведомо? Заглавие было дано автором. Я просто не нашел в нем ничего предосудительного...

— «Предосудительного»!— иронически повторил Громов, как бы передразнивая меня.— А где же была редакторская бдительность, политическое чутье коммунис-

та? Вы не нашли тут ничего особенного, а вот люди нашли... Нашли ведь?

— Нашли-то нашли, да так ли уж я повинен? Вместе со мной газету просматривал цензор Васильев, он и предложил изменить заголовок. Я согласился и тут же на полосе закрестил его и заменил другим.

— А если бы Васильев тоже не заметил или ничего бы не сказал вам?

— Заметка пошла бы в печать в том виде, в каком была набрана.

— Значит, вы тогда и сами согласились, что такой заголовок аполитичен, не отвечает духу времени?

— А с чего было не соглашаться и против чего, в сущности, спорить? И так ли велика моя провинность, товарищ следователь? Ошибка здесь не столько политическая, сколько стилистическая... Цензор возражал лишь против слова «потрясло» и просил заменить его словом «возмутило» или каким-то другим, что по сути одно и то же. Потрясти может и гнев, и злость, любовь и ненависть, восхищение и ревность в равной степени. Разве это не так?

— Значит, с «потрясением» газета не выходила?

— Нет,— покачал я головой.— Вышла без «потрясения».

— А как же в документе, имеющемся в деле, сказано, что была заметка с таким заголовком, и на этом основании вам вменяется в вину сочувствие врагам народа.

— Автор документа, мягко выражаясь, вводит в заблуждение. Возьмите подшивку «Трибуны» за июнь и убедитесь, что я прав.

— Хорошо, я проверю. А какие у вас были основания требовать пересмотра приговора Военной коллегии Верховного суда по данному делу о казни преступников?

— Не было этого!

— Вот тут написано...

Я уже понял, чей донос он цитирует, и, потеряв выдержку, перебил следователя:

— А там не написано, что я собирался убить семерых членов Политбюро из шестизарядного пистолета, который был изъят при аресте?

— Хорошо, что вы не утратили в тюрьме чувства юмора, Ефимов, но боюсь, что шутками вам не отделаться. С законом шутки плохи.

— Готов отвечать по всей строгости закона...

— Теперь скажите,— продолжал Громов после записи в протокол,— было у вас основание считать невиновными

Лобова и Арского, бывших работников редакции, когда вы выступили на партийном собрании в их защиту?

— Я и теперь не откажусь снова выступить, потому что я уверен в их невиновности.

— Разве вы не знали, что они осуждены как враги народа?

— Они такие же враги народа, как, например, моя неграмотная мать или я сам. А если я в чем-нибудь уверен, то готов защищать свою веру до последних сил. Кроме того, меня возмущало то, что их исключили заочно, даже не дав им возможности объясниться. Все ведь было сделано заочно... по-воровски. Об этом я и сказал. Я знал их обоих как хороших партийных газетчиков... Кроме того, два года назад я давал рекомендацию Лобову при его переводе в члены партии. Какие же они враги? Я полагаю, их кто-то оклеветал, а следствие поверило клевете...

Громов долгим придирчивым взглядом посмотрел на меня, и в глазах его промелькнул еле уловимый знак одобрения. Затем он снова заглянул в синюю папку и сурово произнес:

— Вам вменяется в вину восхваление Бухарина!

Ошарашенный этой новой нелепостью, я пожал плечами.

— Я вам поясню. Три года назад после одной из ваших лекций в городском театре вам был задан вопрос, где и как работает Бухарин. И вы дали о нем хвалебный отзыв.

Силясь припомнить обстоятельства трехлетней давности, я уловил наконец несложную суть вопроса.

— Дело было в том, что тогда, в тридцать четвертом году, Бухарин подписывал газету «Известия» в качестве ее главного редактора, что легко проверить по газетной подшивке...

— Все помнят и без подшивки...

— Быть может, не все помнят или не хотят помнить? На должность главного редактора «Правды» или «Известий» назначаются обычно проверенные работники, старые большевики ленинской закалки, с большой теоретической подготовкой. И обязательно по решению Политбюро ЦК и лично товарищем Сталиным. Да что тут рассказывать, товарищ Громов! Вы должны помнить, как на одном из пленумов в тридцать четвертом году, где обсуждались нападки на Бухарина, сам Сталин громогласно сказал, что «Бухарина мы в обиду не дадим!». Конечно, так подробно по этому вопросу я тогда не говорил, а без лишних слов сказал, что коль Бухарин подписывает своим именем столь ответственную центральную газету, значит, он на своем

месте и его работой ЦК удовлетворен... Кто же мог знать, что через три года Бухарин окажется в опале?

Снова пристально посмотрев мне в глаза, Громов сокрушенно вздохнул и покачал головой. Потом записал в протокол. Интерес к моему делу у него явно угас. Вялыми жестами он стал собирать разложенные по столу бумаги.

— На этом и закончим сегодняшний допрос. Подпишите вот здесь, здесь и здесь,— устало сказал он и, подойдя к двери, вызвал дежурного надзирателя.

Я подписал протокол в трех местах, где мне было указано.

— Отведите Ефимова в камеру.

Чуть замешкавшись, я спросил:

— Вы сказали — закончим сегодняшний допрос. Значит ли это, что мне предъявят новые обвинения? И как понимать, судя по сегодняшним вопросам, формулировку обвинения в ордере на арест?!

— Ничего я сказать вам не могу, кроме того, что уже сказал. Идите, Ефимов!— устало ответил Громов, вытирая лицо и шею белоснежным платком.

Вернувшись в камеру, я был окрылен светлой надеждой, что очень скоро, может быть завтра, я покину это мрачное узилище и в моих воспоминаниях сохранятся лишь отрывочные и туманные сведения о порядках тюремной жизни, и останется она для меня такой же тайной, какой представляется и по сей день миллионам неискушенных наивных людей...

Сокамерникам своим утром я сказал:

— Что же вы наврали, товарищи хорошие? Никто на допросе и пальцем меня не тронул.

— Значит, тебе повезло... А кто допрашивал?

— Следователь Громов.

— О таком не слыхали. Это кто-то из старых следователей. Значит, тебе просто счастье подвалило. А эти новые, курсанты, которые нас допрашивали, только кулаками и расследуют... Под счастливой звездой ты родился.

## В «ежовых рукавицах»

На следующую ночь меня вновь вырвали из сна и повели знакомым путем. Но в следственной за столом сидел уже не Громов. Навстречу мне поднялся молодой, лет двадцати пяти, здоровяк в форме, но без знаков различия и с не-

брежно расстегнутым воротом гимнастерки. Сердито посмотрев мне в глаза и не представившись, он вдруг ни с того ни с сего заорал:

— Так ты ни в чем не повинен, вражеское отродье?!

— В чем дело? Почему такой тон?— удивился я.— Вы меня с кем-то путаете! Где мой следователь Громов?

— Будь спокоен, сталинские чекисты как-нибудь не спутают! Умеем отличать друзей от темных гадов! А твой покровитель и защитник Громов сам скоро будет припухать там, где и ты кормить вшей будешь, контрреволюционная сволочь!— Потом, как бы опомнясь, добавил:— Садись!— и указал на табуретку.

Его хулиганское обращение возмутило меня до глубины души, и в то же время я подумал: «А где же Громов? Отстранили за мягкотелость и либеральничание с врагами народа? А может быть, больше, чем отстранили, если этот наглец говорит о нем в такой хамской форме? И откуда он взялся? В райотделе эта физиономия мне ни разу не встречалась...»

Бросив иронический взгляд на мои белые туфли, новый следователь приступил к делу.

— Ну, рассказывай, курортник, о своей вражеской деятельности против Советской власти...

При этих словах он вынул из ящика стола знакомую мне папку. Увидев на столе свое «дело», я несколько приободрился и успокоился.

— Мне больше нечего рассказывать, кроме того, что показал вчера и что записано в протоколе допроса.

— То было вчера, и об этом забудь! Вчера ты недурно выкрутился, а сегодня номер не пройдет. Говори все, как попу на духу!

— Сказать мне больше нечего, и что это за форма допроса? Кто вам дал право?!— воскликнул я, все более закипая.

— Скажешь, гад, все скажешь! Мы тебе покажем и форму, и право!— На глазах наливаясь злостью, следователь вскочил из-за стола.

Я тоже поднялся, весь дрожа от возмущения.

В эту минуту дверь без стука распахнулась, и в камеру вошел рослый молодец в такой же, защитного цвета, форме. Холодно покосясь в мою сторону, он спросил моего следователя:

— Ну как, Петро, поддается или упирается?

— Молчит, гад, целочку из себя строит!— метнул в меня уничтожающий взгляд Петро.— Ничего, мы из него

вытрясем все, что нам надо! Раскроется шкатулочка, дай только срок.

— А что ты с ним амуры разводишь?!— подзуживал вновь пришедший. Затем он повернулся ко мне:— Ты попал в «ежовые рукавицы» и не думай, что вырвешься из них целехоньким... Так что лучше уж без боя признавайся начисто в своей антисоветской деятельности!

— Мне не в чем признаваться. О какой еще деятельности вы говорите? Вчера я сказал все.

— Скажешь, вражина, все скажешь! Признаешься!

— В чем я должен признаваться?

— Говори, с кем был связан!— рявкнул Петро, попрежнему стоя в двух шагах от меня.— Куда засунул инструкции правотроцкистского центра? Где прячешь переписку с врагом народа Бухариным? Кто давал задание оплакивать в газете врага и изменника Родины Тухачевского?!

— Какую переписку? Какие инструкции? Это какой-то бред!

— Молчать, паразит, нам все известно, все!

— Если известно, так чего домогаетесь? Предъявите доказательства, улики, и дело с концом!..

— Да проучи ты его, Петро! Покажи ему наши доказательства, коли он в них сомневается!— услышал я надменный голос зашедшего мне за спину приятеля моего следователя. И в тот же миг он с силой толкнул меня в спину двумя руками.

Качнувшись вперед от неожиданности, я потерял равновесие и стал падать в сторону Петра, невольно схватившись за него. А тот только этого и ждал... С силой оттолкнув от себя, он стал остервенело бить меня кулаками по лицу, норовя попасть в нос, ударять в живот.

— За что, за что бьете? Это же разбой! Я буду на вас жаловаться!— едва успевал я выкрикивать, прикрываясь от ударов. Я не мог понять, откуда в нем такое остервенение, я ведь совершенно незнакомый ему человек.

— Жалуйся, падаль, жалуйся!— повторял Петро, наступая.

Тяжело дыша, едва держась на ногах, я, чтобы не упасть, привалился спиной к стене. Из разбитого носа текла кровь, заливая подбородок и капая на туфли. Возмущение мое в эту минуту было сильнее боли и страха. Жгучая ненависть к этим специально обученным опричникам обуяла меня, отключая сознание. Мои мышцы напряглись, резкая боль в животе словно отступила, и, когда распаленный боем Петро снова подскочил ко мне, я изо всей силы

ударил его кулаком в подбородок. Да так, что у него лязгнули зубы, а у меня заныли на сгибах пальцы...

Не ожидая ничего подобного, истязатель мой отшатнулся, задрав голову и хватаясь за подбородок. Он наверняка упал бы,— мой удар был сильнейшим,— если б дородный сподвижник вовремя его не поддержал. Выпрямившись, следователь сплюнул кровь и ошалело посмотрел на меня. Случившееся ими не планировалось, не входило в их программу и было неслыханной дерзостью. Оба они на минуту опешили...

— Ты на кого руку поднимаешь, вражья душа?!— первым заорал помощник Петра.— На Советскую власть замахиваешься, бухаринский выродок?!— И он бросился на меня.

— Бей его в зубы, Сеня!— призывал сзади Петро, все еще сплевывая кровь.

Но невиданная сила бешенства еще не отпустила меня, я увернулся и подскочил к столу. Схватив табуретку, я поднял ее над головой и закричал:

— Палачи! Бандиты! Фашисты! Не подходить!

Оба хулигана трусливо отпрянули и выхватили пистолеты.

— Убьем, как собаку, и отвечать не будем! Товарищ Сталин спасибо скажет!— пригрозил Семен.

— Брось табуретку, сволочь, и становись в угол!— потребовал Петро.

Услышав имя Сталина, я опустил табуретку на пол: плетью обуха не перешибешь... Вспотевшие сообщники, попрятав оружие, загнали меня в угол за раковину; тяжело дыша, сели к столу и закурили.

— Ты слышал, Петро, как этот гад нас фашистами обозвал?! Это надо обязательно записать в протокол...

— Сними с него стружку потолще, Сеня, сбей с вражины лишнюю прыть.

Усердный Сеня насупился, быстро подошел ко мне и, замахнувшись правым кулаком в лицо, которое я машинально прикрыл, сильным обманным ударом левой ниже живота свалил меня с ног... На какое-то мгновение у меня помутилось сознание, и будто сквозь сон я услышал:

— Так-то лучше... Подвинь его к раковине и ополосни малость. Пускай очухается!

Холодная вода, которой не жалея поливали мою голову, вернула мне чувство жестокого бытия.

— Что, гузно собачье, будешь говорить?— нагнулся надо мной Петро, угрожающе похлопав по своему карману.

— Стреляй, говорить мне не о чем.

— Ладно, поглядим, какой ты храбрый! Не хочешь говорить своим поганым языком — заговоришь ногами... Становись лицом в угол, троцкистская собака! Потанцуешь всю ночь у стенки, ан к утру заговоришь... В угол!!! — повторил он повелительно.

С усилием я поднялся с пола и почувствовал, что намокшие от воды брюки не держатся на мне и ползут вниз. Посмотрев на брючный пояс, я увидел, что крючок вырван с мясом и висит на петле. Не хватало и пуговицы.

— Что, потерял?— не сдержав смеха, спросил Петро.

Сеня тоже посмотрел на меня и захохотал:

— Это у него оборвалось, когда я подтаскивал его за гашник ближе к раковине. Тяжелый, как бугай, никакой крюк его не выдержит!

— Ничего, мы из него вытряхнем все сочинские запасы,— опять со злобой засмеялся Петро, нащупывая припухлость на подбородке.— Без крючков и пуговиц нам будет сподручнее: меньше руки свои поганые будет распускать, за штаны будет держаться.

— А может, добавим ему, Петя? Посмотри, шея какая: отожрался, как боров, на подачках своих шефов — бухаринских ублюдков.

— Успеем добавить и завтра. Пусть потанцует с ноги на ногу парочку ночей со штанами в руках. Сговорчивее будет. Нам не к спеху...

«Неужели убьют?— в страхе подумал я.— А что, в сущности, помешает им прихлопнуть меня под горячую руку? Пристрелят и напишут, что я на них покушался: у Петра и свидетель есть, и распухший подбородок».

Ясно было одно: мне никто и ничто не поможет в этом вертепе, кроме собственной выдержки и самообладания. Передо мною были вымуштрованные, прошедшие специальную школу потрошители, вымогатели и вышибалы. На курсах им наверняка вбивали в головы, что классовый враг хитер и изворотлив и что признания виновности следует добиваться любыми способами и средствами... Но какой же я враг? И как доказать, что я врагом никогда и не был? Где же Громов? Неужели отстранен? За что? За то, что не бил и не калечил? За то, что доложил начальству о бессмысленности моего ареста и беспочвенности обвинения? Эти и другие мысли проносились в моем разгоряченном мозгу. Кровь из носа сочиться перестала...

— Ну, будешь давать показания?— раздался басок накурившегося следователя.— Молчишь, вражья морда? Ну тогда стой, контра, авось одумаешься и заговоришь!

Избитый и униженный, я простоял остаток ночи в углу. Были минуты, когда разум терялся и подгибались колени. Болела голова, ныло в животе, но вся боль побоев к утру переместилась в ноги, только в ноги.

В камеру меня ввели перед самым подъемом, а когда его объявили, я не мог встать от невыносимой усталости. Один из моих молчаливых товарищей по несчастью, увидев синяки и распухшую физиономию, тихо спросил:

— Все-таки крестили?

Я молча кивнул.

— Крепись, приятель, и нас причащали,— успокоил второй, поднимаясь с пола.— Кто допрашивал? Неужели вчерашний?

— Двое кабанов каких-то. Фамилий подлецов не знаю. Петром да Сеней друг друга звали...

Удивительное дело: насколько мои друзья были сдержанны вчера, после первого моего допроса, настолько сегодня они проявляли заботливость и внимание, готовые всячески помочь мне...

— Выходит, того мирного следователя уже убрали.

Завмаг отреагировал на этот разговор по-своему:

— Гуманность доказывали представителю районной газеты!— и полез к форточке за своими запасами.

— А чем мутузили?

— Кулаками, ногами...

— Валенком не пробовали?

— Каким еще валенком? Что это, шутка?

— Плохи, брат, на следствии шутки: засунут в носок старого валенка-чесанка фунтовую гирьку и дубасят по чем попало. И взвоешь от боли, и вроде бы без последствий: синяки заживут, а кости целы... И ведь придумают же, изуверы. Главное, где эту гирьку откопали, фунтовую с ушком?..

— То-то лафа нынче бытовикам: меня на допросах никто и пальцем не тронул,— подмигнул бакалейщик.

— А что, товарищи, если в тюрьму затребовать прокурора? Неужели он обо всем знает и разрешает это беззаконие?

Надо было видеть, как оживился наш завмаг при упоминании прокурора. Он бросил на койку авоську с харчами, театрально встал посреди камеры и начал манипулировать толстыми пальцами, подсчитывая прокуроров Старорусского района.

— Прокурор Захаров,— загнул он палец,— еще с весны снят, а за что? Законность соблюдал, ордеров на аресты не хотел подписывать... Прокурор Аргунов,— загнул он второй палец,— двух месяцев не усидел после Захарова: тоже снят за попустительство врагам народа. Теперь законы блюдет Бурыгин, а кто такой этот бурыга? Он вот где у Бельдягина сидит!— И вдохновленный оратор сделал неприличный жест.— Они все теперь в штаны наклали, как бы самим не сесть. Эх, если бы и Бурыгина сняли!— с затаенной надеждой вздохнул завмаг.

— Купец-то, пожалуй, прав. Требовать сюда прокурора — напрасные рыдания. Прокурор, если он и придет, ничем нам не поможет. Еще и хуже будет. Они теперь там все заодно, ведь они защитники, а мы враги. Ни у кого из теперешних законников правды не добьешься.

— Значит, терпеть?— спросил я.— Долго ли будем терпеть?

— А что же остается делать? На стенку не полезешь...

— Терпи, казак, атаманом будешь!— ухмыльнулся торговец.

После так называемого завтрака я сидел на полу и ломал голову над нелегкой задачей — как, из чего сделать к брюкам завязку, чтобы на допросе не держать их в руках. Ведь иголки с ниткой здесь не выпросишь.

— Трусы есть?

— Есть трусы. А что?

— Выдерни из них тесемку или резинку и сделай две завязки,— услышал я дельный совет.— Будут лупить — так хоть лицо прикроешь двумя руками или сдачи дашь, если смелость еще осталась...

— А я одному сегодня дал!

— Да что ты говоришь?

И я без особой охоты рассказал вчерашний, вернее, сегодняшний эпизод.

— Ну, хвала тебе, брат. За всех спасибо. Хоть одному да съездили в рыло... Но они тебе не простят...

— Неужели опять будут бить?

— Будут причащать до тех пор, пока не добьются своего. Подпишешь все — и бить перестанут.

— А вы разве подписали?— спросил я советчика.

— Сначала порыпался, а потом подписал...

— Не совершив ничего? Признались врагом?

— А что же делать? Ждать, пока совсем изувечат: начисто выбьют зубы, отобьют почки, печень, измурыжат так, что и мать родная не узнает? Ведь у них какая логика — раз попал сюда, значит, виноват. Каждый думает,

что он и есть настоящий чекист, а как же могут ошибаться настоящие чекисты? И ведь бьют за что? Ищут истину? Нет, бьют, чтобы ты признал, что ты действительно виноват. Дожимают до вины. Иначе нельзя. Так нá же, возьми мою подпись и подавись ею, паразит несчастный! Собственные зубы и почки мне дороже твоей дерьмовой бумажки...

— Но если их обвинения взяты с потолка?

— Ну и что? Разве мало невиновных ишачит в лагерях? Вот так мучаются здесь, а потом от безысходности и подписывают все, что требуется...

— А дальше что?

— А дальше? Решение «тройки»— и каторга. Эх, если бы знать за что... Вот когда старых революционеров и вождей наших теперешних при царе ссылали — это было понятно.

Вопросы оставались безответны. Всего двое суток я в тюрьме, а открылось мне столько, сколько, кажется, и за всю жизнь не узнал бы. Неужели и Арский с Лобовым согласились признать предъявленные им обвинения? Видимо, так оно и было.

### Выход один — голодовка

Две последующие ночи меня допрашивали почти так же: сначала тренировочный бой да матюги, затем мертвая стойка в углу. Вымогательская тактика Петра не отличалась особым разнообразием.

Иногда он уходил к своему соседу Сене или в другие пыточные, чтобы набраться опыта и поделиться своим. Дверь он оставлял умышленно полуоткрытой, и тогда до моего слуха доносились крики истязуемых и знакомая мерзкая брань опричников. Оставшись один, я иногда садился на пол, отдыхал несколько минут, чутко прислушиваясь.

Но однажды, едва я опустился на пол, разъяренный следователь, как видно воровски наблюдавший за мной в щель между косяком и дверью, вдруг ворвался в камеру, подлетел ко мне коршуном и, пнув сапогом, заорал на весь коридор:

— Я тебе дам садиться, контра! Стоять, гад ползучий!

На третью ночь во время допроса в комнату снова зашел дородный Сеня и, подойдя к столу, с важностью заявил:

— Вскрывается совершенно новое в делах твоего журналиста! Сегодня я узнал, что Васильев наконец заговорил и признался, что твой подопечный Ефимов тоже входил в их вредительскую группу и выполнял свою черную роль в редакции.

— Да? Вот это уже разговор!— оживился Петро и так же важно спросил:— Ну и что же показал бывший второй секретарь райкома и первая контра в районе?

— Показал самое главное — что Кузьмин и он сам работали не в одиночку. У них тут в районе была целая вредительская банда, в которую входило более двух десятков этих подонков вроде Ефимова...

Заявление Сени знаменовало собою поворот от грубых мордобоев к более продуманным провокациям, чего я так или иначе ожидал. Еще до моего отпуска и ареста по району распускались слухи о якобы существовавшей в районе мифической организации и что будто возглавлял ее кто-то из руководителей исполкома. Не многие, разумеется, верили в эту чепуху. Я догадывался нюхом газетчика, что слухи эти распускались теми же работниками райотдела, чтобы создать повод для карательной деятельности. Теперь я воочию убеждался в этом...

В сообщении Сени новым для меня могло быть только то, что Иван Семенович Васильев еще жив и сидит где-то здесь же и его терзают покруче меня, добиваясь ложных, вымученных показаний. Но я знал Васильева хорошо: этот кремень, этот строгий к себе и другим партийный работник не даст сломать себя, не клюнет на провокации и не возьмет на себя несовершенной вины...

— Что ты теперь скажешь, бухаринский холуй, а?— обратился ко мне мой мучитель.— Или опять будешь финтить и отрицать свою вину перед партией Ленина — Сталина?

— Это же липа от начала до конца. Никакой организации не было и нет. Это провокация. Я требую очной ставки с Васильевым!..

— Так ты, гадина, еще в провокации нас подозреваешь!— заорал Петр, загоняя меня пинками в спасительный угол, где я был защищен с боков и тыла.

— Очную ставку захотел? А вот этого ты не хочешь?— И он хулигански показал себе ниже живота.— Признавайся, пес вонючий, выкладывай все карты! Говори, кто возглавлял антипартийную группу в редакции «Трибуны»?! Кто еще, кроме Арского и Лобова, в нее входил? Свили там теплое гнездышко, змеи подколодные! Да мы здесь тоже не мух ловим и не пальцем сделаны!

И на этот раз ничего от меня не добившись, Петро тяжело сел, а я продолжал молча стоять, боясь пошевелиться. А провокатор Сеня, сидя на краю табуретки с папиросой в зубах, подначивал:

— А ты бей его, Петро, бей по кишкам, не ошибешься!

— Кишки, видать, у него жирные, непробивные...

— Тогда погрей его валеночком — сразу пузыри пустит...

— Валенок занят: Скуратов им работает, у него рука слабая... Да ничего, я его и без валенка доведу до нормы.

— И то сказать, ученого учить — только портить.

Сеня недовольно раздавил окурок и вышел.

А мой «друг», не спеша докурив «беломорину», повел наступление в ином направлении:

— Признавайся, где план работы вашей преступной троицы?! Теперь ясно, почему ты защищал на партсобрании этих выродков: ты боялся разоблачения. Ворон ворону глаз не выклюет!

Я тоже решил действовать иначе:

— А как, позвольте узнать, ваша фамилия, гражданин следователь?

— Что, жаловаться собрался? Вали, жалуйся! Ковалев моя фамилия! Слыхал? Ковалев! Только из могилы жалобы что-то не доходят!— уверенно добавил он.— В угол! И будешь стоять до полного прояснения своих грязных делишек!

Под утро четвертой ночи онемевшие ноги сами собой подкосились, и я свалился на пол.

— Вставай, вставай, падаль, нечего прикидываться!— накинулся Ковалев, пинками норовя попасть в живот.

Встать я не мог и, предпочитая эти побои, лежал и только прикрывал наиболее уязвимые места... Ковалев понял мои нехитрые уловки и начал пинать в голову, стараясь все же не проломить ее.

— Встанешь, бухаринский паразит!— задыхаясь, шипел он надо мной.— Встанешь! И весь начисто признаешься!

С невероятным усилием, опираясь о стены и цепляясь за раковину, я все же поднялся, но, постояв с полчаса, снова как мешок рухнул на пол... Я терял сознание, но издевательства не прекращались. Каждый раз на голову и грудь опрокидывалась кружка воды, и мытарская стойка возобновлялась...

В эти пыточные дни я не раз вспоминал слова своих товарищей по камере, сказанные ими в первые часы моей тюремной жизни. Который-то из них упомянул о «соба-

чьей стойке». Тогда я все эти разговоры о гестаповских методах следствия воспринял как человек, всю жизнь видевший одну сторону медали, не думая об обратной. «Собачью стойку» среди прочих элементарно грубых способов следствия надо считать самым простым и вместе с тем самым результативным способом сломить волю. Удобство его для истязателей состояло в том, что этот метод не оставлял никаких следов насилия на случай возможных проверок по жалобам. А результат его в большинстве случаев был положительным: подследственный подписывался под любым придуманным для него обвинением...

Я не знал, что делать. Есть ли какой-нибудь способ для избавления от мук, помимо подписания ложных показаний? Я ломал голову в мучительных раздумьях, пока наконец не вспомнил о голодовке, успешно применявшейся русскими революционерами.

Ведь если эти звери грозят смертью, то не все ли равно, сколько дней я еще проживу? И не лучше ли умереть, не сподличав против самого себя? Что такое голодовка для заключенного? Это его последний и единственно возможный протест против безумного извращения следственной практики.

Чьей практики? Практики советских органов? Неужели советских? Чем-то все это напоминает фашистскую практику, если верить нашей прессе и книжкам о фашизме. А может, какие-то бандиты из Наркомвнудела узурпировали Советскую власть и тайно совершили государственный переворот, уничтожив всех, кто установил ее и отстоял? Но как же они тогда прикрываются и клянутся именем Сталина?

После этих раздумий я отказался утром принимать пищу и объявил голодовку, а через какое-то время был вызван к начальнику тюрьмы и от него угодил в одиночку — камеру № 96.

...Жизнь в тюрьме идет своим чередом. В первый день моего одиночества, то есть наутро, пожилой надзиратель открыл дверь и, поглядев на меня, негромко сказал:

— Выходите на оправку.

Нехотя поднимаюсь со своего «пуховика» и выхожу на галерею. Она против моей двери углом поворачивает к туалетам, но по нашей стороне в нужник я иду один. На противоположной стороне второго и третьего этажей, соблюдая строгую очередность, торопятся в свои туалеты

заключенные. Этажные надзиратели выпускают на оправку только по одному. Это делается для того, чтобы заключенные разных камер не перезнакомились друг с другом и не обменялись новостями.

Под бдительным оком надзирателя я добираюсь до нужника, смачиваю под краном все еще воспаленное лицо холодной водой и, не вытираясь, поскольку нечем, волочусь обратно, за непроницаемую дверь.

В тот день меня никто не трогал.

## Еще один допрос

Внезапный лязг железной двери после полуночи и голос надзирателя пробудили меня от тяжелого сна.

— Поднимайтесь, Ефимов!

— Куда подниматься? Кто вызывает?

— К следователю на допрос.

— Но я объявил голодовку!

— Ничего не знаю. Провожатый ждет, выходите!

Неужели и голодовка не ограждает арестантов от произвола? Неужели и она оказалась вне закона? А может, хотят объявить о прекращении следствия, о дарованной наконец свободе? Но почему же посреди ночи, в жуткой следовательской, куда ведет меня провожатый? Нет, не то...

По гулкому в ночную пору настилу галереи и трапу иду за своим спутником, озираясь по сторонам. Вижу, как ведут еще кого-то на допрос, а навстречу нам из левого крыла два надзирателя волокут, подхватив под мышки, полубесчувственного человека. Гремит стальная дверь, и жалкого «врага народа» выдворяют в камеру, чтобы поочухался после очередной, видимо неудачной, обработки.

Каждую ночь после отбоя и до утренней зари ни на минуту не прекращаются допросы «с пристрастием» — следователи все ищут виновников хозяйственных неурядиц, а также несуществующей «крамолы». Предчувствие новых издевательств наполняет меня тоской и боязнью, хотя от природы я не трус и бог силой не обидел.

Ковалев с засученными для устрашения рукавами встретил меня, как всегда с издевкой:

— Что, наш бедненький Ефимов голодовочку объявил? Протестовать вздумал? На нашу баланду обиделся? Издохнуть хочешь, ничего нам не открыв? Сталинских чекистов провести хочешь, поймать на милосердии? А когда

ты вредил и подличал, о каком милосердии думал? Не выйдет, тварь поганая! Через задницу кормить будем, кишки отобьем, все равно заставим признаться, все карты выложишь! Садись!!

Сдерживая внутренний протест, я осторожно сажусь.

С видом заговорщика Ковалев выдвинул ящик стола и, заглянув в свои записи, спросил:

— А где наш бедный кролик был первого декабря тридцать четвертого года?

— Какое это имеет отношение к делу? И почему я должен помнить каждый прожитый день?

— Ага, увиливаешь, подлюга? Запамятовал, бандит, где находился в тот черный день?

— Бросьте паясничать! Шерлока Холмса из вас все равно не получится. Давайте уж лучше кулаками, и никакой фантазии не требуется...

— По харе ты еще схлопочешь, за нами не пропадет, а вот где ты был в день убийства Кирова, вражина?

Так вот какую гнусность собираются еще мне приписать — участие в убийстве нашего незабвенного Мироныча. Мне захотелось выдернуть из-под себя табуретку и бросить ее в башку этому недоноску.

А он тем временем, вперив в меня торжествующий взгляд, жадно ждал ответа.

— Что, черная душа, память отбило?

Вспомнить! Во что бы то ни стало вспомнить! И пусть это будет моей пощечиной по сытой физиономии опричника. С усилием напрягаю память, лихорадочно перелистывая календарь прожитых лет, месяцев, недель... Лето 1934 года, осень, ноябрь... Вот! Вспомнил!

— Я был в то время в райцентре Лычково.

— В каком еще Лычкове? Что ты крутишься, как угорь на сковородке?

— Я говорю, как было.

— Врешь, вражина, врешь! Ты был в тот день в Ленинграде и в качестве связного зиновьевцев дежурил у Смольного! Вспомнил?

Меня трясло, как в лихорадке, от возмущения. Не знаю, где я находил силы, чтобы не взорваться.

— О моей поездке в Лычково есть отчет в архиве райкома партии и в Ленинграде. К отчету приложен список коммунистов-заочников, студентов Ленинградского отделения Института заочного обучения партактива, участников семинара. Они, вероятно, еще живы и подтвердят, где все мы были в тот печальный день. Тогда я работал по совместительству преподавателем политэкономии и ле-

нинизма в этом институте, а в райкоме — инструктором по пропаганде. По записям в табеле и отчету о командировке можно точно установить, когда и сколько дней я там находился. Мы разъехались только пятого декабря. Вот это и запишите.

Похоже, следователь был не столько обескуражен моим ответом, сколько озлоблен моим спокойствием. Мое поведение вывело его из себя.

— Ты все сочиняешь на ходу! Я и проверять не стану! Встать, мерзавец!— И новый шквал отборной брани пронесся по комнате, стены которой, имей они уши, потрескались бы от стыда.

Иссякнув наконец, Ковалев с минуту молчал, шагая от стены до другой. Затем, будто бы вспомнив что-то, достал из ящика стола с десяток отобранных при обыске писем моего друга Леонида Истомина и, подойдя ко мне, неожиданно ударил меня этой пачкой по распухшему носу.

— Из Роттердама от врага народа Троцкого писулечки шифрованные получал?! Инструктировался?! Ты думаешь, что только вам, говенным конспираторам, известно, где окопался ваш главный пес Иуда Троцкий? Говори, сволочь, каким шифром пользовались?

Все это было за гранью терпения.

— Какой шифр? Какие инструкции? Что за грязная провокация!

— Молчать, гадина, сгною в карцере!

— Не трогайте моего друга! Он старый комсомолец, не чета вам, ищейкам-молокососам!

— Знаем мы ваших старых комсомольцев! Убийца Кирова Николаев тоже был старым комсомольцем... И тоже был Леонидом! Говори, вражина, признавайся! Подписывай, пока я с тобой не расправился!

Чувствуя, что я насквозь вижу его неуклюжие козни, Ковалев все более разъярялся. Неудачи его, казалось, нисколько не смущали, и он упорно, как бык, гнул свое.

— Говори, подлюга, где находится этот твой тип Истомин? За границей? Работает связным у Троцкого?

— Не знаю.

— Знаешь, все знаешь! Говори!

Я молчал. Не хватало еще того, чтобы друга моей юности схватили и мучили эти звери ни за что ни про что...

Так ничего и не добившись, Ковалев накинулся на меня с кулаками. Ни сопротивляться, ни защищаться я просто не мог из-за апатии и бессилия и после нескольких его ударов в живот растянулся на полу.

— Что, гад, не выдержал голодный желудок? Пузо ослабло?— Он крутился надо мной, как собака, выбирая, за что еще куснуть, и кричал:— Встать! Встать! Встать!.. Ты нам еще про Васильева и Шатрова расскажешь! Заговоришь же ты наконец, контрреволюционная сволочь?!

Он кричал и бил ногами, норовя попасть ниже живота, а я, сжавшись в клубок на полу, старался плотно прижимать руками колени к груди...

Очнулся я от холодной воды, которая лилась мне на голову. Как видно, Ковалев немало потрудился, приводя меня в сознание. Едва я открыл глаза, как он вызвал охранника, и тот поволок меня в камеру.

— Пусть поочухается, а завтра все скажет,— напутствовал он моего провожатого, говоря это скорей для меня.

Но мне уже было все безразлично...

Это был последний день допросов «с пристрастием». Ковалева я больше никогда не видел.

## Визит начальника тюрьмы

Наконец-то, кажется, наступила пора блаженства. Целых пять суток меня никто не вызывал и не тревожил. Мордобойный мастер больше не напоминал о себе, и я понял, что его приструнили. За время ночных допросов и голодовки я страшно устал и ослаб физически и духовно. Казалось, на мне не было места, которое бы не кричало болью. Одно лишь сознание работало с необычайной ясностью.

Через несколько дней под сумерки в камеру пришел Воронов. Я сидел на матраце, припав к стене, и молча смотрел, как он что-то сказал надзирателю и как тот прикрыл за начальником дверь. Я попытался встать, но Воронов великодушно разрешил сидеть.

— Здравствуйте, Ефимов!— сказал он, как прежде, по-приятельски, стараясь казаться приветливым, и подал мне руку.

Я протянул ему свою, уже потерявшую загар и ослабевшую. Оглядев камеру и окно с несколькими выбитыми стеклами, он нахмурился и, повернувшись ко мне, спросил:

— Надеюсь, это не ваша работа?

— Я не хулиган,— сказал я.— Стекла выбиты, вероятно, давно. В камере блеск навели, а вот про стекла забыли.

— Никто тут особого блеска не наводил, а за стекла я кой-кого взгрею... Но дело не в этом, Иван Иванович. Меня привело сюда совсем другое.

Воронов обернулся в поисках табуретки, но ее не было. Сидеть мне в таком случае было просто неприлично. Оттолкнувшись от стены, я поднялся и встал около тюфяка.

— Да вы сидите, сидите...

— Ничего, я уж отдохнул.

— Ну хорошо, я ненадолго... Я пришел все с тем же предложением о прекращении голодовки... Поверьте мне,— поспешил он, видя, что я собираюсь отвечать ему отказом.— Поверьте, она ничего вам не даст. Я же опытнее вас в этих делах и старше на десяток лет...

Не понимая еще, почему я должен довериться начальнику тюрьмы, и не зная о служебных взаимоотношениях его со следственной частью, я спросил:

— Как это ничего не даст? Неужели у нас не стало ни власти, ни законов, кроме всесильного НКВД со сворой безнаказанных насильников?!

Воронов замахал на меня руками, косясь на дверь:

— Замолчите, что вы говорите! Как вы можете делать такие выводы и обобщения!— И уже тише добавил, подойдя ближе:— Если даже вы и правы, голодовка вам не поможет, прошу вас, кончайте это дело, вредное к тому же.

Он помолчал, прошелся раза два от окна до двери и обратно, щегольски поворачиваясь на каблуках начищенных до блеска сапог, потом остановился против меня и продолжал с деланным волнением, плохо маскируя свою хитрость:

— Поймите меня правильно, Ефимов, я не хочу вам ничего плохого. Я хочу лишь сказать, что вашу голодовку следствие и прокуратура расценивают не иначе как антисоветское выступление против следствия, как попытку запутать и отодвинуть его.

— Я совершенно ни в чем не виновен! За что меня мучают?

— Я верю вам, но помочь ничем не могу, кроме как советом прекратить голодовку... Кстати сказать, о вызове вас на допрос во время голодовки я узнал только вчера. Это явное нарушение законности, и Ковалев получил строгое предупреждение от своего начальства за самоволие...

И еще хочу сказать, что умереть вам никто не даст, и в первую очередь я сам.

— А вы-то здесь при чем?

— А при том, что вы неграмотны в этих делах, Иван Иванович! Если вы будете и дальше продолжать голодовку, вас будут кормить искусственно и насильно. Я сам приду сюда или в тюремную больницу и вместе с медиками буду вас кормить... Поняли, наивный вы человек? За жизнь заключенных отвечаю в первую очередь я, как начальник тюрьмы, и не допущу ничьей смерти от голодовки. Неужели вам это не ясно?

Мало-помалу мною овладевала внутренняя борьба. С одной стороны, я понимал, что Воронов лукавит, руководствуясь чисто личными мотивами, с другой же стороны, мне все более становилось ясным, что, к сожалению, он говорит чистейшую правду: голодовка может быть на руку только следствию и во вред мне.

Умирать я не собирался — это было бы поражением. Надо бороться, бороться до конца. Впереди, очевидно, меня ожидают еще неведомые испытания, и, чтобы достойно их встретить, нужно быть бодрым и сильным, а я так некстати совершенно ослаб. Вспомнились мне и брошенные Ковалевым слова о кормлении через задний проход...

С неожиданной ясностью я понял вдруг, что совершил грубейшую ошибку, поддавшись чисто литературным книжным идеалам, в то время как ситуация, в которой я оказался, была далеко не книжной.

— Хорошо, я прекращаю голодовку...

— Слава богу! Наконец-то послушались голоса разума!— облегченно вздохнул Воронов и достал из нагрудного кармана специальный бланк об отказе от голодовки. Он заполнил его на неровном подоконнике.— Подпишите этот документ, и я сейчас же распоряжусь, чтобы вас хорошенько накормили, конечно с учетом вашего голодного желудка...

Мне стало не по себе. Хотелось завыть от обиды, от того, что я по-детски ослаб, что семидневная голодовка заканчивается ничем! Что начальнику тюрьмы я позволяю играть на моей слабости. Противоречивые чувства — страх допросов и еще не сломленные гордость и достоинство — терзали меня.

— Подождите, начальник,— оттягивал я время,— подписать я всегда успею, а можете вы обещать, что меня не будут больше бить на допросах?

— Неужели вам не понятно, Ефимов, что начальник тюрьмы сам лицо подчиненное, следователи мне не подчиняются. Все только от вас будет зависеть...

— Хорошо, я вам верю,— решил я польстить Воронову.— А можете вы вызвать ко мне в камеру прокурора?

Он сделал нетерпеливое движение и нахмурился:

— Это зачем же?

— Хочу рассказать ему про безобразия, о которых он, видимо, не знает.

Воронов лишь на секунду смутился — он был готов на любое обещание, тем более что прокурору и без меня было хорошо известно, что делается за тюремными стенами.

— Даю слово, Ефимов, что эта просьба будет исполнена.

— Честно?

— Честное слово начальника тюрьмы!

— Еще один уговор: разрешите мне свидание с матерью или женой. Они, бедные, вероятно, каждый день томятся у тюремных ворот и добиваются встречи со мной.

Воронов растерялся.

— Подследственным вообще не положены свидания,— сказал он.

— Я это знаю, как знаю и то, что следствие по моему делу закончил еще Громов... Но оно почему-то продолжается... Я очень прошу вас устроить мне встречу в вашем кабинете и в вашем присутствии.

Мое предложение было явно нахальным: не так уж велика моя персона в районном масштабе, чтобы начальник межрайонной тюрьмы хлопотал за меня и устраивал свидания в своем кабинете! В этих стенах томился не один десяток работников покрупнее меня — не только из Старорусского района, а и из Поддорского, Демянского, Лычковского, Валдайского и других. Воронов притворно почесал затылок и сделал страдальческую улыбку.

— Разве здесь что-нибудь утаишь, хотя бы и у меня в кабинете. Впрочем, попробую устроить вам одно свидание с матерью, если, конечно, удастся. А теперь подпишите, и дело с концом,— сказал он, заторопившись.— Извините, Иван Иванович, дела!

Я подписал бумагу.

Простившись с необычайной теплотой, он поспешно вышел.

Вскоре началось мое приобщение к пище — вначале легкой, в виде кашицы на воде с каплей масла, чтобы не

испортить желудка, а затем к обычной баланде, то есть воде с кашицей.

Подписывая бланк о прекращении голодовки, я, конечно, ни минуты не сомневался, что начальник не выполнит ни одного из своих обещаний. Но не в его интересах, чтобы скандал с голодовкой вышел за пределы тюрьмы. Это могло стоить ему карьеры. Не все ли ему было равно, как утихомирить взбунтовавшегося арестанта.

# Глава третья

Память, как ты ни горька,
Будь зарубкой на века.

А. Твардовский

## Сладость тюремной баланды

Одиночество мое длится уже дней десять после того, как я прекратил голодовку. Неужели Ковалев всерьез от меня отступился? Как хорошо отдохнулось за эти дни, как хорошо спалось по ночам, с каким наслаждением пил я дневную тюремную тишину! Как приятно не видеть и не слышать бандитствующего Петро, рассудительно-циничного Сеню, скользкого, налимообразного Воронова.

Часто я вспоминал последнее свидание с ним, когда он вымогал отказ от голодовки... Стыд собственного поражения все еще мучил меня. Вместе с тем я все более отчетливо понимал, что дальнейшая голодовка не сулила мне ничего хорошего, только череду новых унижений и, может быть, даже полное расстройство нервной системы. В тридцать один год сойти с ума и валяться в сумасшедшем доме?! Во имя чего?

Распухшие ноги почти не болели и принимали все более нормальный вид. Но, увы, тюрьма есть тюрьма, а человек всегда будет верен своей природе.

Едва начал я забывать об изнурительных допросах, как на меня обрушилась новая мука: к тоске по воле, к думам о пережитом прибавилось неутолимое и всепоглощающее чувство голода. Истощенный за дни голодовок и нервного напряжения организм теперь нуждался в компенсации, а ее не было.

Дневную порцию хлеба в пятьсот граммов, которой на воле хватило бы на два дня, здесь я мог съесть за од-

ну минуту. Эту пайку, получаемую по утрам вместе с кипятком, я старался есть как можно медленнее, скрупулезно деля на три равные части: на утро, полдень и вечер. Надо ли говорить, что ни хитрости, ни уловки делу не помогали. Меряя шагами камеру, как зверь клетку, я не мог отвести алчущего взгляда от лежавшего на подоконнике куска и в конце концов съедал его задолго до намеченного часа.

Чего только не надумает голодный человек! То мне казалось, что оставленный кусок усохнет, уменьшится в объеме или потеряет питательность, то что вдруг, по моему недосмотру, его склюет воробей, иногда прилетавший к окну за крошкой, или что кусок сдует ветром. И прости-прощай тогда моя мечта насладиться его сказочным вкусом...

Да мало ли что придет в голову человеку в одиночке, когда хочется есть! Все мои голодные обоснования приводили к тому, что хлеб держался на подоконнике не долее чем полдня. Но съедалась эта порция всегда с удовольствием и небывалым искусством и фантазией: то маленькими кусочками, прижатыми языком к нёбу, то кусочками покрупнее, зажатыми за щеку в ожидании, когда они хорошенько намокнут и можно будет прососать их, как нектар, сквозь стиснутые зубы, то сразу большими кусками, то долго и тщательно пережеванными.

Увы, результат был один и тот же: потребность в еде не уменьшалась, наоборот, по мере выздоровления алчный червь голода точил меня все острее. Этому способствовала и понижающаяся с каждым днем температура воздуха, особенно перед рассветом, когда пустая камера наполнялась сентябрьской свежестью, а накрыться было нечем. Видимо, Воронов так никого и не взгрел за невставленные стекла.

Самым мучительным в эти дни было мое несчастное воображение, неуемно работавшее вокруг одного-единственного предмета — вокруг еды. В тончайших подробностях вспоминались мне любимый борщ со сметаной, жареная картошка с котлетами, пироги с сушеными белыми грибами и луком, макароны с мясом, гречневая каша со шкварками.

А какой вкусной представлялась мне простая, еще теплая, мягкая сорокакопеечная французская булка, ароматный запах которой я совершенно отчетливо представлял и обонял, и он переворачивал все мои внутренности. И мне представлялось в те минуты, что я мог бы

съесть этих булок несчетное число! И даже без крепкого сладкого чая!

«Желудок должен быть полон — вот в чем дело!»— однажды решил я и начал заполнять его кипяченой водой, которую всегда запасал утром и днем, храня на полу в двухлитровой алюминиевой миске, куда мне наливали баланду. Баланда была невкусной, но объемистая миска вылизывалась мною так чисто, что кипяток оставался совершенно прозрачным.

В первые дни я даже обрадовался открытию: кипяток заменял недостаток в хлебе и приварке, но вскоре он же явился и новым моим врагом. Ноги начали опять пухнуть, а в отсвете оконного стекла, которое служило иногда в качестве зеркала, я видел чужое, давно не бритое, с набухшими подглазниками, одутловатое лицо — лицо утопленника...

Надзиратели, снисходительно оставлявшие в камере недозволенную миску с водой, укоризненно покачивали головой: им-то хорошо было известно, к чему приводит излишнее ее потребление...

## Таинственные надписи

И страшно хочется курить. По мере восстановления сил это желание стало вторым после желания есть. Хоть бы разок глотнуть, хоть бы понюхать только запах табака, все равно какого. В поисках следов курева обыскал всю камеру, все щели и закуточки, изучил дверь, окно и междурамье в надежде найти хотя бы застарелый окурок!

Лежа на «пуховике», мечтательно вспоминаю счастливые табачные дни, лучшие из которых связаны с ленинградскими папиросами «Нева», «Пушка», «Беломорканал». Ах как хороши были папиросы «Нева», вконец испорченные, а потом и вовсе снятые с производства в первые годы реконструкции!

— Нельзя ли покурить, махорочки на завертку?— униженно прошу иногда у надзирателей.

— Курить тут не положено...

— Нет у меня, не курящий!

Иной из дежурных понимающе смотрит на меня и схватится было за карман, но, осознав, что находится на службе и не должен нарушать порядок, чтобы не ли-

шиться должности, вздохнет, оглянется и нестрого скажет:

— Не могу я вам дать, не могу!— И от досады, что не может, сердито захлопнет дверь.

В ожидании часа прогулки заключенных уже знакомым приемом подтягиваюсь к окну и осторожно прилепляюсь на косой подоконник. В тюрьме предусмотрено все, чтобы не только чувствовать себя изолированным от общества и человеческой жизни, но и всечасно ощущать ее, тюрьмы, неудобства.

Прогулочный двор представляет собой треугольную площадку с зеленым газоном посередине. Общая длина прогулочной дорожки, окружающей газон, едва ли превышает сотню метров. Она посыпана песком вперемешку с кирпичной крошкой и поэтому всегда притягивает своим цветом.

Еще до выхода заключенных во дворе появляется десятка полтора надзирателей в темно-синих мундирах, с кобурами на широких ремнях. Рассыпавшись редкой цепочкой по периметру тропы на определенном расстоянии один от другого, они останавливаются как вкопанные, зорко осматривая все окна в ожидании «прогульщиков».

Арестанты высыпаются из тюрьмы шумливым скопищем откуда-то справа от меня, из дверей первого этажа, и идут по дорожке вначале веселой толпой, но минуту спустя, под лай надзирателей, разбираются в цепочку, замолкают и, заложив руки за спины, следуют один за другим с интервалом метр-полтора. Если иной раз между ними зайдет разговор и они машинально сблизятся, нарушив установленный разрыв, сразу же раздастся несколько лающих окриков темно-синих мундиров:

— Не заходить!

— Отойти на дистанцию!

— Кому говорят?!

И снова устанавливается чинный порядок. На солдафонских лицах охранников появляется примитивная спесь, а широко расставленные ноги и кобуры на ремнях утверждают власть над людьми.

В движущейся молчаливой цепочке насчитываю около сотни мужчин, средний возраст которых не более тридцати лет. Следствие по их делам закончено, и они «блаженствуют» в ожидании суда. Они уже имеют право на переписку и свидания с родными, на получение передач с продовольствием и вещами. Все они — так называ-

емые бытовики: воры, мошенники, казнокрады, растратчики, бандиты, насильники, шулера и т. п.

Но нет среди них ни одного бездарного администратора, тупого ответработника, партийного чинуши, которых ни в чем нельзя ни упрекать, ни подозревать. Все они на своих постах, хотя тюрьма давно по ним плачет.

Среди гуляющих нет и политических, «врагов народа». Прогулок им ни при каких обстоятельствах не положено.

Я дотягиваюсь одной рукой до самой решетки и пытаюсь подать знак. Кто-то из проходящих близко видит меня, мои жесты, мимику, понятную всем курильщикам, и, поравнявшись с окном, тихо говорит:

— Подожди до завтрева...

И тут же грозный окрик одного из темно-синих:

— Не переговариваться!

— В карцер захотели?!

Но сигнал бедствия принят. Окрыленный надеждой, срываюсь с окна и продолжаю начатое с вечера занятие: вспоминаю стихи, которые учил в школе, читал, слышал по радио, со сцены. Учил и декламировал сам, будучи избачом и руководителем драмколлективов. Эх, получше бы память! Черт бы подрал изувера Ковалева, лупившего по голове!

Нет, врешь, Петро, память мою ты еще не отбил! И вот в полшепота я читаю стихи Кольцова, Лермонтова, Пушкина.

Что, дремучий лес, призадумался,
Грустью темною затуманился?
Знать, во время сна к безоружному
Силы вражии понахлынули.
С богатырских плеч сняли голову —
Не большой горой, а соломинкой...

...Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, гения и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда,— все молчи!

За Лермонтовым следует Некрасов:

Волга, Волга, весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...
Где народ, там и стон, эх, сердечный,
Что же значит твой стон бесконечный?..

После стихов берусь за прозу: Тургенев, Гоголь, Толстой, Чехов. Силюсь вспомнить толстовскую сцену поко-

са в усадьбе Левина, по-новому дивясь поистине гомеровской силе Льва Николаевича...

Вспоминаю затем наиболее трудные формулы из политической экономии, крылатые выражения Маркса, уничтожающие ленинские остроты против меньшевиков-оппортунистов...

Утомившись, снова начинаю мерить тихими шагами камеру. Теперь у меня новое занятие — я изучаю стены, к которым до того не было никакого интереса.

Сидел же здесь кто-нибудь до меня? Не может быть, чтоб не осталось какого-нибудь следа. Не могла же эта камера пустовать при такой скученности в тюрьме?

Невысокие стены горят поверху синеватой белизной, а ниже их салатовая краска не успела потерять своего блеска. Сантиметр за сантиметром, как криминалист, исследую пространство в пределах досягаемости и ничего не нахожу.

«Не может быть, чтобы не было никаких знаков!»— говорю себе в каком-то странном азарте. Подхожу к одинокой параше, машинально отодвигаю ее с места ногой и, присев на корточки, ощупываю глазами неисследованный участок стены. Что это? Под тонким слоем светло-зеленой краски видны еле приметные царапины, образующие какие-то буквы. В пытливом возбуждении подскакиваю к дверному глазку: не слышно ли близко шагов надзирателя? На галерее обычная предобеденная тишина. В накрепко запертых камерах люди или дремлют, или негромко переговариваются, и эти еле уловимые звуки рассеиваются бесследно в пустом тюремном амфитеатре. Надзиратели, как видно, где-то сошлись группой и покуривают после прогулки.

Возвращаюсь к параше и сажусь на пол, все более углубляясь в изучение иероглифов. Сомнений нет: это надписи, сделанные, очевидно, острым осколком оконного стекла и совсем недавно закрашенные. Краска втянулась в царапины и высохла, но углубления букв проступили вновь, хотя о некоторых можно лишь догадываться.

Повозившись минут десять в реставраторских усилиях, я почти на ощупь разбираю наконец первую строчку: «За что меня бьют П Л».

Кто такой «П Л» и когда написаны эти жуткие слова?

Вторая надпись дается уже легче: «Сегодня опя били вал П Лоб». Кто же такой этот бедняга «П Лоб»? Дух исследователя овладевает мною со всей силой. Изучив последнюю надпись, почти у самого плинтуса, я прочи-

тываю в порыве интуиции: «И вы звери умрете и будь вы прокляты Павел Лоб».

Ошарашенный, долго сижу на полу возле жестянки, не чувствуя ее запаха и холодея, словно предвижу новые испытания.

Мысли постепенно обращаются в недавнее прошлое. Неужели это тот самый Павлуша Лобов, за которого я заступился на том злополучном собрании в редакции? Жив ли он сейчас? А если жив, значит, прошел уже свое страшное чистилище? А где Арский? Миров? Если следователь связывает меня воедино с ними, значит, они прошли через пытки, которые ждут и меня?

Лобов пишет, что его били валенком... С той самой фунтовой гирей внутри... Где их всех учили, наших палачей, в какой высшей школе? Не могли же они сами все это придумать?

Пусть же бьют, негодяи! Авось не выбьют душу. Вырвавшись на волю, я добьюсь правды. Надо беречь силы. С этой мыслью я возвращаюсь на свое ложе и, чтобы не думать о куреве, о хлебе, о еде, заставляю себя еще раз пережить закрытое партийное собрание в «Трибуне», на котором исключили из партии Арского и Лобова, чьи имена попали в мое следственное дело...

## Тени «черного ворона»

Как-то в понедельник в середине мая Миша Арский, секретарь редакции и всеобщий наш любимец, вдруг не вышел на работу. Для всех это было ЧП, так как Арский разве что не ночевал в редакции, и, если его не было на месте, это значило, что он вышел в наборную поругаться с метранпажем. Сколь рано ни придешь, а он уже сидит за своим длинным столом, рядом с кабинетом редактора, просматривает отпечатанные на машинке листки ТАССовской информации, прикидывая, что выбросить и что оставить.

Михаил Павлович Арский, как и редактор Миров, старше меня лет на пять, коммунист с 1927 года. Ни в какой отдел он не входил и как ответственный секретарь подчинялся только редактору и его заму. Все его звали просто Мишей или Палычем. Всякий входящий устремлялся прежде всего к секретарскому столу — за самыми последними известиями.

— Тише, тише, товарищи!— осаживал он миролюбиво своим мягким баритоном.— Редактор еще не читал, а вы хватаете.

— А ты не подхалимничай перед редактором!— обычно шутил я, пробегая по строчкам наиболее интересных листков.

— При чем тут подхалимство? Порядок есть порядок!

И вдруг неслыханный случай — Арского нет на месте, Арский не пришел на работу. Дежурный по редакции, приходивший к семи утра принимать по радио сводки ТАСС для районных и областных газет и уходивший отдохнуть после сдачи их секретарю, на этот раз в растерянности толкался у двери с табличкой «Редактор» и не знал, что ему делать.

— А домой ему звонили? Может, заболел?— спросил Миров, бегло просматривая принятую от дежурного пачку листков.

— Дважды звонили, но никто не отвечает...

— Пошлите кого-нибудь на квартиру.

Посланный на дом молодой хроникер Козловский вскоре вернулся и сообщил, что ночью Арского увезли на «черном вороне».

— Как увезли? На каком основании?!— наперебой спрашивали мы Козловского.

— Ничего не известно, дома никого нет,— словно чему-то радуясь, говорил Козловский.— Соседка сказала, что рано утром жена Арского ушла в НКВД наводить справки и еще не вернулась. А насчет «черного ворона»— так о нем всему городу известно, разве только кроме редактора газеты...

— Что за чертовщина!— И Миров, не заходя в кабинет, снял телефонную трубку секретаря райкома, в то время как все мы замерли в тревоге.— Алло! Товарищ Лохов? Здравствуйте, Павел Семенович! Миров говорит... Да, Миров... Ты не скажешь мне, за что арестовали Арского? Как, как? За какие связи? Ах, родство... Знакомство? Что Лобов? Лобов с утра должен быть в районе! Как, неужели и Лобов тоже?

Миров положил трубку, и мы вошли в кабинет, не закрыв двери. Перед столом редактора сгрудились почти все сотрудники. Длинный и близорукий ветеран редакции Михайлов, завсельхозотделом, тянулся позади всех голов, боясь пропустить что-нибудь.

— Оба арестованы,— глухо сказал Миров, подходя к своему креслу. Его доброе и всегда спокойное лицо покрылось вдруг малиновыми пятнами.

Что же все-таки случилось? Что сказал Лохов? За что арестовали сразу двоих? Миров опустился в кресло и с минуту молчал.

— Никаких подробностей Лохов не говорит. Сказал лишь, что против обоих есть какие-то материалы, уличающие их в связях с врагами народа... Чего-то он не договаривает.

— А что он может сказать по телефону?

— Да, верно. Ну что ж, подождем.

К концу дня просочились кое-какие подробности: Арский оказался не то родственником, не то старым другом ленинградского скульптора Томского, будто бы на днях арестованного, а Паша Лобов якобы когда-то, на заре туманной юности, примыкал к комсомольской оппозиции... Проступки не столь уж важные, и причины для ареста, да еще ночного и с обыском, казались нам ничтожными.

Работалось в тот день плохо. После обеда Миров поднялся и решительно сказал:

— Пойдем в райком, Иван, выясним. Нечестно будет оставлять в беде хороших ребят.

Бложис встретил нас с мрачной подозрительностью.

— Вам лучше знать, за что арестовали воспитанных вами работничков!— Его тон не предвещал ничего хорошего.

— Почему нам лучше знать?— взволнованно забасил Миров.— Мы не сыскное бюро, а орган райкома! Должны же меня хотя бы проинформировать из райотдела: ведь как-никак, а Лобов и Арский наши товарищи, коммунисты, работники районной газеты!

— Нам тоже пока ничего не известно, но коль скоро их арестовали, то, наверное, не зря! И вам следует все учесть и принять соответствующие меры...

— Соответствующие чему?

— Мне вас учить, товарищ Миров? В партии не может быть места врагам народа! Ясно вам это?— И Бложис принялся что-то искать в ворохе бумаг на столе, давая понять, что разговор окончен.

А Миров еще топтался на месте.

— Врагам, конечно, не может быть места в партии, но откуда они вдруг взялись?

— Пойдем к Аполонику,— потянул я Мирова за рукав.

— Аполоника нет в райкоме,— не поднимая глаз от бумажек, буркнул культпроп.— Да он вам ничего нового и не скажет.

Нет, секретарь райкома мог сказать многое, если бы захотел! В те годы уже была заведена новая мода — особые секретные списки на коммунистов, в чем-либо провинившихся в давности и попавших на заметку или в чем-то подозреваемых. Помнил я о них еще с 1933 года, с периода обмена партийных документов и чистки, когда однажды при мне тогдашний секретарь райкома Иван Федорович Шатров достал из стола какой-то довольно большой список и просматривал его. В то время я работал секретарем парткома 4-го фанерного комбината. Против фамилий в этом списке были примечания такого рода, как «исключен из партии тогда-то», или «был причастен к зиновьевской оппозиции», или «происходит из непролетарского класса».

Это были еще не досье, а просто списки ответственных работников и даже рядовых коммунистов, которыми по каким-либо причинам заинтересовались добровольные «радетели» и привлеченные осведомители. Об этих тайных списках было известно узкому кругу лиц, нет сомнения, что в них оказались и я, и мои товарищи.

Злополучные списки время от времени передавались в НКВД «для профилактической проверки». В 1937 году эта проверка многим стоила долгих лет заключения и лагерей...

Много времени спустя, вспоминая эти списки, я задумался: кто из моих «доброхотов» мог быть на моей очередной лекции о международном положении, когда мне задали вопрос о Бухарине? Кто из них целых три года помнил мой ответ или тогда же, после лекции, донес в райком? Значит, я был уже не просто в списках, а на меня была уже заведена отдельная папочка-досье, куда до времени подшивались доносы, нужные и ненужные,— авось со временем пригодится...

Это были еще не проскрипции, как в Древнем Риме, но дело, видимо, клонилось к ним, и на основании их, как мы узнаем двадцать лет спустя, составлялись длинные списки ленинских соратников для ликвидации их «по первой категории». Утверждались эти списки Сталиным, или Молотовым, или обоими одновременно...

---

Партийное собрание в редакции, созванное по предложению райкома, состоялось через день. Выступавший на нем инструктор райкома Пустовойтов призывал собравшихся к революционной бдительности, повторяя давно известные всем призывы и лозунги из речи Сталина:

— Пора разбить и отбросить прочь прогнившую теорию затухания классовой борьбы на данном этапе. Надо быть бдительными, товарищи, и не давать возможности пролезать классовому врагу в наши ряды! А вы утратили революционную бдительность и допустили проникнуть в редакцию агентам классовых врагов, пролезть в самое сердце нашего органа, районную газету! Как это понять, товарищи?! Надеюсь, вы дадите здесь оценку своему ротозейству!

Особенно ретиво выступал Аркадий Козловский, недавно прибывший к нам из Ленинграда молодой кандидат партии. Но, кроме общих слов и пустых, трескучих фраз, он также ничего не сказал, закончив выступление дежурным предложением — исключить Лобова и Арского из партии как «врагов народа».

Я и так с самого начала собрания кипел от возмущения, но после выступления Козловского буквально взлетел на трибуну.

— Что мы знаем о Лобове, товарищи?— начал я.— Знаем, что он деятельный и активный во всех начинаниях коммунист, в прошлом хороший комсомолец. Из Института журналистики, который он окончил три года назад, получена похвальная аттестация. За время совместной работы в газете мы знаем каждый шаг и каждое сказанное им, написанное им слово. Это боевой и инициативный газетчик-коммунист... И что же, в сущности, меняется от того, что он будто бы, как нам говорят, был причастен к комсомольской оппозиции? Но ведь за это нельзя сажать в тюрьму! Это не по-ленински! А всеми уважаемый Миша Арский, проработавший здесь более пяти лет, в том числе три года на посту ответственного секретаря редакции? Что плохого знаем мы о нем? Где доказательства, что он троцкист или что дальняя родня его или друг юности будто бы враг народа? Мы ничего толком об этом не знаем, у нас нет доказательств их виновности перед партией, не следует и торопиться с исключением. И можно ли судить их заочно? По Уставу ли это? Арест по одному лишь подозрению или по непроверенным данным еще не может служить основанием для лишения наших товарищей партийного билета. Это мы

всегда успеем сделать, когда вина их будет доказана следствием...

Сотрудник промышленного отдела Данилкин выступил в духе Козловского, а наборщик Карелин поддержал меня.

Речь молодого коммуниста Гудкова состояла в основном из вопросов:

— Классовой борьбе, значит, не будет у нас ни конца ни края? И никогда, значит, она не потухнет? Вроде известной пословицы: чем дальше в лес, тем больше дров... Или, как говорится, носить нам и не переносить и таскать нам не перетаскать, так, что ли? А как же быть со здравым смыслом? Вот товарищ инструктор призывает усилить борьбу с классовыми врагами, а я, честное слово, товарищи, ни разу еще в глаза не видел ни кулаков, ни подкулачников, ни троцкистов, ни бухаринцев, ни каких-то там оппортунистов. Хоть бы разок на нынешнего классового врага поглядеть, не могут же они все начисто затаиться. И все время меня призывают к бдительности, всечасно я должен подозревать своих товарищей. А когда же работать, если всечасно подозревать? Прошу ответить товарища из райкома...

— Надо читать товарища Сталина, Гудков, а не разводить здесь свою аполитическую демагогию!— выкрикнул из президиума Пустовойтов.

Потом выступил наш уважаемый Василий Кузьмич:

— Насчет родственников я скажу так: Карл Маркс был сыном адвоката, Фридрих Энгельс и сам состоял в фабрикантах, значит, оба вроде бы не пролетарского происхождения, Владимир Ильич, как известно, сын директора народных училищ по всей Симбирской губернии, тоже, значит, из дворян, а не из простых. Иосиф Виссарионович хоть и сын сапожника, а по образованию из духовной семинарии, значит, вроде как из духовенства, из зажиточных. Яков Михайлович Свердлов — сын ремесленника-лавочника из Нижнего Новгорода, значит, из мелкой буржуазии, а Куйбышев — сын царского полковника, это как изволите понимать? Сергей Лазо — сын крупного молдавского помещика, а Вячеслав Михайлович Молотов — из пермских мещан.

Из пролетарского-то роду один, кажись, Ворошилов еще и держится. Так что, товарищи, насчет родственников, дядьев или там отцов полегче бы надо. А что сам-то он стоит, этот деятель, если родственников пооткинуть,— вот как судить надо. Да ведь товарищ Сталин нам и сказал: сын за отца не ответчик!

По-молодецки поправив усы, Василий Кузьмич бодро оглядел всех и вернулся на место. Раздались несмелые хлопки. Пустовойтов встал и посмотрел на всех тяжелым, пронизывающим взглядом:

— Есть предложение, товарищи, обойтись без аплодисментов. Нельзя превращать партийное собрание в обывательские рассуждения или воспоминания древних стариков.

— А наш Василий Кузьмич не такой уж и древний,— послышалось из глубины помещения.

— Все равно, древний или не древний, а надо, товарищи, держаться принципиальности,— строго ответил инструктор.

Слово взял редактор газеты. Мирова обязывало к выступлению и его служебное положение.

— Товарищи сослуживцы!— начал он не спеша, тепло посмотрев в глаза каждому.— И вы, товарищ Пустовойтов. Я не могу не заметить, что нынче настойчиво и грубо проводится вредная для дела тенденция подозрительности и нагнетания безотчетного страха на всех работников... Не понимаю, чего нам бояться? Странно, что эту тенденцию больше всего нагнетают из райкома. А в чем, в сущности, дело?— снова обратился он к Пустовойтову.— Вы хотите, чтобы люди не ошибались, а разве в природе такое возможно? Давайте честно разберемся, в чем повинны Лобов и Арский. Да, в сущности, пока еще ни в чем, их вина не доказана, а то, что нам известно, это не довод, чтобы калечить им жизнь. Повинен ли Арский в том, что его друг юности скульптор Томский якобы уличен во враждебности? А Лобов? Даже если его былые симпатии к комсомольской оппозиции будут доказаны, достаточно будет и строгого выговора... Надо беречь своих товарищей, иначе перебьем все наши кадры. А кому это надо? Только врагам нашим.

Разумная речь Мирова успокоила всех присутствующих. Лица сотрудников просветлели. Переговариваясь полушепотом, но все более смело, люди заулыбались друг другу.

— Рано возрадовались, товарищи журналисты,— начал сурово Пустовойтов, подходя к трибуне. Глядя куда-то поверх голов, он возвысил голос до фальцета:— Недавно прошедший мартовский Пленум ЦК нацелил партию на искоренение классовых врагов и вредителей всех мастей! К этому призывает вся наша пресса, все формы массовой агитации! А чем занимается редактор Миров?

Разве не защищает он классовых врагов своим беспринципным выступлением? Кто дал вам право, товарищ Ефимов, и вам, товарищ Миров, сеять здесь свои сомнения в правильности мероприятий органов НКВД? Неужели вы не читаете газет, которые то и дело публикуют сообщения о раскрытии вражеских гнезд и процессах над ними? Не вы ли должны в первую очередь поддерживать товарища Сталина, который теоретически доказал, что классовая борьба не затухает, а возрастает?! А чему здесь учат редактор и его заместитель? Либеральному отношению к кадрам, нацеливают вас на вредные сомнения! Наши славные чекисты сами разберутся, в чем вина Лобова и Арского, а ваше дело одно — исключить без сомнений!

Само собой разумеется, что после столь грозного окрика решение могло быть одно: Арского и Лобова исключили из партии подавляющим большинством. Пятеро из восемнадцати присутствовавших воздержались.

— Итоги вашего собрания будут особо обсуждаться на бюро райкома,— сказал инструктор, запихивая в портфель черновик протокола.— О воздержавшихся будет еще особый разговор.

— Что вы грозитесь, товарищ Пустовойтов?— осадил его Миров.— Ведь я все же член бюро райкома!

Ничего не сказав в ответ, Пустовойтов быстро исчез.

...И вот я в тюрьме, а Миров неизвестно где. Говорили, что выехал куда-то из Руссы за неделю до моего возвращения из отпуска, стало быть, не арестован, как пугали меня следователи. Впрочем, допускаю, что уже арестован...

«Сегодня, быть может, покурим!»— сказал я себе утром следующего дня, с нетерпением ожидая часа прогулки. Встав вплотную к окну, я весь превратился в слух и внимание.

Справа поле моего зрения ограничивал второй корпус с тремя рядами зарешеченных окон. С левой же стороны, за кирпичной стеной тюрьмы, простирался пустырь, отгороженный, видимо, как нейтральная зона, ветхим дощатым забором. За ним шла дорога, а за дорогой были видны огороды. Только через три года я узнал, как часто на ту дорогу приходила моя мама, подолгу глядя в многочисленные провалы окон за черными от пыли решетками, отыскивая глазами то заветное, в котором ей так страстно хотелось увидеть сына.

Иногда ей мерещилось, что она видит меня, и слезы горькой радости текли по ее лицу, а рука тянулась для приветствия. Но каким-то неведомым чутьем старушка догадывалась, что показавшееся желтое пятно не было лицом сына, и медленно уходила она с пустыря, вновь и вновь толкаясь в тюремную приемную.

— Подследственным свидания и передачи запрещены,— отвечали ей всякий раз, и, не видя белого света, брела она домой, чтобы завтра и послезавтра прийти снова...

А в середине зимы она услышит:

— Ефимов выбыл с этапом. Вашу передачу он получил.

— И повидаться с матерью не дали, ироды!— скажет она перед захлопнувшимся оконцем приемной. И более никогда не придет на Соборную сторону.

...Снизу доносится знакомый звук отворяемой где-то двери, и я слышу голоса заключенных, вытягивающихся «по ранжиру» на тропинке. Я немедленно взбираюсь на скошенный подоконник, забывая, что меня может застукать надзиратель. Жажда добыть курева так сильна, что мне не до осторожности.

И тут же я слышу окрик с вышки:

— Марш от окна!

— Пули захотелось? Стрелять буду!

Всполошилась и дворовая свора.

Но страха у меня нет. Я весь внимание, будь что будет...

Ура! Вчерашний доброжелатель уже заметил мои знаки, и не проходит минуты, как через решетку с мягким жужжанием влетает спичечный коробок, легко стукается об уцелевшее стекло внутренней рамы и рикошетит в угол между рамами. Достать его дело секунды, и вот я сажусь на пол, с нетерпением, но бережно раскрывая драгоценную передачу, и нахожу в ней четыре кусочка газеты, три спички и махорку на три цигарки, а при экономии и на четыре, но уже без спички.

Богатство, о котором нельзя было и мечтать! Кто он, этот добрый человек, не забывший о моей вчерашней просьбе?

Через несколько минут я уже опьянен затяжками крепкого табака и так блаженствую, растянувшись на пыльном мешке, что на какое-то время забываю о своей судьбе.

Как мало нужно человеку...

## Боги жаждут!

Вволю накурившись, я снова предался воспоминаниям о недавнем прошлом, силясь осмыслить его.

12 июня. Этот день, как и прочие, начался для нас с беглого просмотра только что отпечатанных листков информации, лежавших на столе у нового секретаря редакции Леонова, недавнего инструктора отдела торговли райкома.

Едва я вошел в «предбанник», то бишь комнату секретаря перед кабинетом редактора, как почувствовал, что что-то случилось.

— Что за похоронное настроение?— спросил я.

— Вот именно — похоронное,— ответил кто-то из товарищей.

Миров был тут же. Он был рассержен и мрачен. Точно таким же я видел его четыре месяца назад, когда внезапно умер от паралича сердца Серго Орджоникидзе, или совсем недавно, когда мы прочли в хронике «Правды» о странном самоубийстве начальника Политуправления Красной Армии Яна Гамарника...

Василий Григорьевич стоял у стола Леонова, держа в руке длинный узкий листок. Я заглянул в него через плечо редактора.

— Опять процесс,— сказал он своим тихим и какимто сипловатым голосом, как будто в горле у него застрял кусок ваты.— Кто бы мог подумать, что такие исторические люди вдруг окажутся на скамье подсудимых как изменники Родины?

Он передал мне листок и, непривычно сгорбясь, отчего его невысокая фигура стала еще ниже, отошел к окну. Мои товарищи, уже узнавшие эту жуткую новость, подавленно молчали.

Это было сообщение Верховного прокурора Вышинского. В нем говорилось о том, что дело арестованных в разное время Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и Путны расследованием закончено и передано в суд. Указанные лица обвиняются в нарушении воинского долга, измене Родине, измене народам Советского Союза, измене Красной Армии.

Все обвиняемые признали себя виновными полностью. Их дело рассматривалось 11 июня 1937 года на закрытом заседании Специального судебного присутствия Верховного суда СССР под председательством Ульриха. В состав присутствия входили: замнаркома обороны

Алкснис, Маршалы Советского Союза Буденный и Блюхер, начальник Генштаба Шапошников, командующие войсками округов: Белорусского — Белов, Ленинградского — Дыбенко, Северо-Кавказского — Каширин и командир Кавказского казачьего корпуса Горячев.

Специальное присутствие приговорило всех обвиняемых к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение.

Едва я дочитал это ошеломляющее сообщение, как в комнату вбежал дежуривший у приемника Ваня Гудков и подал новые листки только что полученных новостей.

— Вот приказ наркома обороны, одобряющий решение суда о расстреле изменников.

Длинный риторический приказ наркома словно хлестал всех отточенными фразами, как будто его готовили загодя:

...Бывший замнаркома Гамарник — предатель и трус, побоявшийся предстать перед судом советского народа, покончил самоубийством...

Бывший замнаркома Тухачевский, бывшие командующие округами Якир и Уборевич, бывший начальник Военной академии имени Фрунзе Корк, бывший заместитель командующего округа Примаков, бывший начальник управления по начальствующему составу Фельдман, бывший военный атташе в Англии Путна, бывший председатель Центрального совета Осоавиахима Эйдеман... все они оказались изменниками Родины, шпионами, нагло поправшими Сталинскую Конституцию.

Мировой фашизм и на этот раз узнает, что его верные агенты — Гамарник и Тухачевский, Якиры и Уборевичи и прочая предательская падаль, лакейски служившая капитализму, стерта с лица земли, и память о них будет проклята и забыта. Нарком обороны Клим Ворошилов.

Так вот и сказано не по-русски: «Память о них будет проклята и забыта».

Мы были как в столбняке. Лишь Аркаша Козловский реагировал иначе, с непонятной резвостью он вдруг воскликнул:

— Наконец-то, гады, попались и понесли кару!

— Может быть, и так, а поверить все же трудно,— нерешительно заметил кто-то.

— А чему тут не верить? Все яснее ясного,— продолжал Козловский.— Слышали: все подлюги признали себя виновными!— Он потряс листочками информации и

решительно положил их перед Леоновым, как бы желая немедленно видеть их напечатанными.

— Так оно и есть, тут обсуждать нечего,— поддержал Аркашу Молотков, выполнявший обязанности Лобова.— Товарищ Сталин еще не ошибался.

Всегда тихий завсельхозотделом Михайлов, почесывая за ухом тупым концом карандаша, задумчиво сказал, ни к кому не обращаясь:

— Все же странно, как это вдруг стали врагами, предателями весь генералитет, будто сговорились. Ведь они же герои гражданской войны!

— Творческий марксизм в условиях капиталистического окружения — это вам не тротуар Невского проспекта!— вдохновенно изрек Аркаша.

— Да заткнись ты со своим творчеством!— сказал ему кто-то за моей спиной.

— Так-то под любую пакость марксистскую базу можно подвести!— вдруг воскликнул Михайлов.— А где доказательства?— уставился он на Аркашу.— Где отчет о судебном процессе? Каковы показания свидетелей? О чем говорил защитник? В приказе наркома нет обвинений, одни лишь лозунги!

— Для врагов народа защитников захотели,— многозначительно ухмыльнулся Козловский.

— Я к тому говорю, что ведь и у врагов народа для суда какие-то конкретные преступления должны быть! Нельзя же просто подойти к кому-нибудь, ткнуть пальцем в грудь и сказать: «Вот он — враг народа, я знаю его, берите, судите и казните его!»

— Наверное, было не так...

— По сообщению выходит так: одни утверждения без всяких доказательств. А в результате — расстрел... Я человек беспартийный, может быть, чего и недопонимаю в высокой политике, но тут всякому придет в голову вопрос: почему все так скоропалительно, тайно, сурово?

Козловский что-то еще хотел сказать, но смолчал, а Михайлов махнул рукой и пошел в свой отдел, ни на кого не глядя.

Миров, как и мы, с одобрением смотревший на Михайлова, вдруг неестественно для себя заторопился:

— Давайте приниматься за дело, товарищи,— и посмотрел на свои ручные, величиной с детское блюдце, часы, предмет наших постоянных шуток.

— Разрешите, Василий Григорьевич, провести политинформацию минут за десять?— обратился к нему наш

партийный секретарь Королев, заведующий промышленным отделом.

— По-моему, мы этим сейчас и занимались,— ответил редактор.

— А что тут особенно распространяться!— опять прорезался Козловский.— Дело совершенно ясное: давно пора было выкорчевать из Главковерха всех этих типов с иностранными фамилиями.

— Сам-то ты уверен в том, что говоришь?— спросил я.— Как это у тебя все просто, как на базаре: тут морковка, там редиска.

— Я-то уверен, товарищ Ефимов,— вызывающе ответил Козловский.— А вот кто из нас не верил, что Арский и Лобов враги народа? А оказалось, что враги! Сидят в тюрьме как миленькие.

— Ну, это еще не резон. Мы знаем немало случаев, когда арестовывали совсем безвинных...— сказал я.

— Вечно у вас свое собственное мнение! Вы с ним как-нибудь беды наживете!

Я укоризненно посмотрел на Козловского и пошел вслед за Мировым в кабинет.

В эти тяжелые минуты меня тянуло к Мирову, как к родственной душе. Усаживаясь за свой стол, стоящий по диагонали напротив стола редактора, я снова заговорил:

— Одно меня удивляет в этом деле: как мог Ворошилов, работая рука об руку с Гамарником, Тухачевским и Якиром, как он мог просмотреть и не увидеть их измены за многие годы? Ведь это же противоестественно! Этих людей все считали истинными героями. Просто не укладывается все это в моей голове, Василий Григорьевич!

— Много тут неясного, Иван, очень много. Более двух десятилетий честного служения нашему делу. Никто никогда не был замешан ни в одной антипартийной оппозиции, ни в одной группировке, каких было немало на нашей памяти. И все прославленные имена... Неужели ни Буденный, ни Блюхер, ни Белов не усомнились в их виновности? Право, не верится, что сам Ворошилов оказался таким близоруким, темным слепцом...

— А может, Климент Ефремович сомневался в их виновности? Но почему же он тогда согласился на их столь поспешную ликвидацию?

— Все, все тут, Иван, затемнено какой-то непроницаемой мглой, окутано тайной...

Кто-то позвонил по телефону из города. Невидимый автор упрашивал Мирова поместить какую-то статью в завтрашнем номере.

— Завтра не получится: много официального материала... А вот послезавтра мы ее тиснем... Поместим, не волнуйтесь...

— Рассматривая все эти события на общем фоне,— продолжал Миров, кладя трубку,— нельзя не заметить общей тенденции, отчетливо выпирающей за последние год-два,— это приписывание всех наших ошибок и неудач проискам врагов и недоброжелателей...

Я хотел было возразить, но он сделал нетерпеливый жест:

— Подумай хорошенько, потом скажешь. Только за последние полгода ты сам лично написал десяток передовиц, и редкая из них не затрагивала темы так называемой бдительности, не так ли?

— Верно, не буду отрицать.

— А твои обзорные статьи в разделе «Партийная жизнь» разве не проникнуты тем же духом всепроникающей бдительности? Ну а если заведующий партийным отделом задает тон, то другим авторам сам бог велел... А сколько статей в период отчетно-выборной кампании партийных органов за своей подписью ты дал в этом году об одном только районном отделе НКВД?

— Две или три.

— Три! И помнится, в одной из них ты критиковал коммунистов-чекистов за близорукость, за то, что в их аппарате находили место якобы классово чуждые элементы?

— Так говорили сами работники на собрании, при мне. А упомянутый факт я весь выписал из их стенгазеты.

— Вот именно, сами... Гляди, как бы эти «сами» не начали сводить с тобой свои счеты... Впрочем, все это слишком сложно, противоречиво и пахнет самой настоящей кровью... Да, да, пахнет кровью, Иван! Ведь если целых два года сеять и сеять навязчивые лозунги бдительности, то, значит, должна быть и обильная жатва! И не кажется ли тебе, что лозунгом бдительности кто-то весьма ловко пользуется в качестве дымовой завесы для того, что делается сегодня — хватать и уничтожать неугодных людей? Бдительность! Бдительность! Бдительность! А против кого, в сущности? Где они, эти классовые враги? И это ли не требование все новых и новых жертв? Боги жаждут! Боги жаждут, Иван Иванович!

— Не понимаю ваших богов, Василий Григорьевич,— сказал я в смущении и растерянности.

— Боги Кремля жаждут крови!— сказал он с силой.— Помнишь ли ты роман Анатоля Франса «Боги жаждут»? Якобинская диктатура жаждала крови знати для того, чтобы закрепить завоевания революции, утвердить у власти третье сословие. Якобинцы во Франции были святые люди, сама революция. Чистейшие боги революции направляли их карающий меч...

Я слушал Мирова не перебивая.

— А наши кремлевские якобинцы?— продолжал он после небольшой паузы.— Чьи головы они рубят? Кто у нас противится Советской власти? Коллективизация закончена блестяще. Кулаки раскулачены и сосланы в Сибирь, успешно налаживается колхозная жизнь. Что ни день — победы и успехи. Не кажется ли тебе, Иван, что лозунг бдительности, доведенный ныне до абсурда, необходим нашим кремлевским Робеспьерам для утверждения личной диктатуры, для узурпации государственной власти?! Правда, у Маркса был остроумный девиз: «Подвергай все сомнению!» Но не можем же мы, черт побери, сомневаться в себе самих! Ведь это же бред сивой кобылы!

Долгое время я сидел как потерянный. Гневной тирады Мирова я сначала не понял, настолько она была неожиданной по историческому сопоставлению. «Боги жаждут»— как дико звучала крылатая фраза Анатоля Франса, и где? В кабинете редактора районной советской газеты! И как непривычно смущала она меня...

В кабинет без стука вошел Козловский.

— Разрешите, товарищ Миров, дать материал о Тухачевском древним корпусом и на первой полосе?

— А кто запрещает?

— Да Леонов что-то крутит. Говорит, что у него по плану на первой полосе подборка о завершении весенних полевых работ, что это важно. А древний корпус съедает много места...

— Ладно, мы это еще обсудим. Скажите Леонову, чтобы он зашел ко мне с планом первой и второй полос... Как там?— меняя тему, спросил он, когда Козловский уже взялся за скобку двери.

— Дискутируют втихую! А как же — крупная сенсация!

— Да, сенсация. Траурная...

— Кто чего заслужил, то и получает. А эти гады, видно, натворили немало, если всех под расстрел подвели! Ну, ничего, товарищ Ежов свое дело знает!

Козловский вышел из комнаты, Миров поднялся, притворил за ним дверь и с глубоким презрением сказал:

— У него редкая способность пьянеть даже от помоев. Мелкий человечишка, но боюсь, что дорогу себе пробьет...— Потом, повернувшись ко мне и что-то вспомнив, сказал:— А на тебя он зуб держит! Гляди, как бы не укусил, пользуясь моментом...

Миров, очевидно, имел в виду события прошлого лета, когда я приютил у себя на квартире Аркашу, приехавшего из Ленинграда и не имевшего первое время своего жилья. Прожил он у нас почти три месяца на положении полного иждивенца, пока мать моя категорически не отказала ему в благотворительности. Скрепя сердце Аркаша покинул обжитой угол с харчами и затаил на меня обиду.

Предупреждение Мирова оказалось пророческим. Едва ли не в тот же день Козловский написал на меня донос, и лишь спустя девятнадцать лет я прочел в своем следственном деле рядом с доносом Бложиса его пасквиль. «Ефимов,— писал Аркаша,— высказывал враждебное недоверие решению Особого совещания и подбивал всех сотрудников требовать расследования и пересмотра дела Тухачевского и других...»

Не так уж глуп оказался Аркаша Козловский. Торил, торил-себе дорогу, улавливал время...

## Глава четвертая

Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей.

Н. Тихонов

### Маринка

Вышагивая изо дня в день по вытертому до блеска некрашеному полу я вспомнил слова известного декабриста Зубкова, оставившего свои воспоминания о тюрьме и ссылке. Томясь много лет в одиночке, он с горечью писал: «Придумавший одиночное заключение — подлый

негодяй: это наказание не телесное, но духовное, и тот, кто не сидел в одиночке, не может себе представить этой изуверской пытки».

Одиночество и вообще тюремное заключение у нас начиная с середины тридцатых годов было поистине изуверским еще и потому, что ни книг, ни газет и никаких письменных принадлежностей заключенным не выдавалось и с собой брать не разрешалось. Абсолютное большинство томящихся здесь и во всех тюрьмах страны были окрещены «врагами народа», а между тем народ едва ли знал о преступлениях хотя бы одного из них. Да и сами «враги», как правило, не подозревали до вызова к следователю, в чем их вина.

Для политических заключенных, начиная с декабристов, этих ярых врагов самодержавия, и в тюрьмах создавались терпимые человеческие условия. Нас же содержали хуже, чем скотину, и это скотское существование людей мыслящих было нестерпимым.

Хоть бы рукоделье давали, псы окаянные! Одиночество в абсолютном безделье, с бесконечными думами для трудового человека тянется невыразимо медленно. Чего только не передумаешь за длинный день? А сколько их впереди и когда наступит конец полузвериному томлению?

Более или менее было ясно одно: пока я подследственный, мне все запрещено. Пока я не соглашусь с тем, что предъявил в обвинении Ковалев, ни передач, ни свиданий и никакого послабления мне не будет. А выпускать из тюрьмы, как видно по всему, не собираются.

Но почему одиночка? Большинство подследственных сидит в общих камерах. Значит, у следствия что-то не склеивается — сколотить группу из ответственных работников не удается. И одиночка им уготована в качестве наказания за стойкость и отказ подписать протокол.

Изо дня в день шагая по камере и поглядывая в разбитое окно, я видел, как приближается осень с ее холодами; затем придет зима, первая зима печальной неизвестности. Как там дома мать, жена, сынишка? Как запасут овощей, дров, подновят зимнюю одежду? А сам я? Неужели вот так и встречу зиму, в легком костюмчике и парусиновых туфлях?

Хоть бы какой звук отрадный донесся с воли, хоть бы воробей залетел за решетку...

Весна в этом году была ранней и теплой, но и осень наступила также рано. В первых числах октября вдруг выпал обильный снег, покрывший ничейный пустырь за

стеной. На фоне снежной белизны и почерневших кустов виднелись с особой отчетливостью скорбные силуэты женщин за ветхим забором. Само собой разумеется, что среди этих молчаливых теней не было жены того завмага, которого я знал в свои первые тюремные дни. С ним-то все в порядке, он ходит на свидания и прогулки, нагоняя себе аппетит...

Однажды какое-то безотчетное предчувствие или услышанный с воли крик заставил меня, не досчитав очередной тысячи шагов, подбежать к окну и вцепиться в оконную раму. Бросив взгляд на пустырь, я поразился до крайности: почти посредине ничейной земли между забором и каменной стеной стояла на лыжах девочка лет десяти и, приложив козырьком ко лбу руку в красной рукавичке, внимательно смотрела на нашу стену.

Она поворачивала головку то к нашему, то к противоположному корпусу, силясь кого-то разглядеть. Иногда она оборачивалась куда-то назад, к той части дороги, которая мне была не видна, или к пролому в заборе, и, сигналя кому-то, отрицательно разводила руками, как бы говоря, что ничего не видно.

Потом я отчетливо услышал окрик с невидимых постов:

— Назад, девочка!

— Не разрешается сюда заходить!

— Уходи, говорят тебе!

И вслед за тем откуда-то правее и выше меня послышался чей-то громкий, отчетливый и удивительно знакомый мне мужской голос:

— Маринка, Маринка! Я вижу тебя, вижу!

— Па-а-а-па!— отчаянно закричала девочка, вся подавшись на этот зов.— Где ты, папочка? Я не вижу тебя, совсем не вижу, па-па!

— Здесь я, Маринка! Вот моя рука, вот она!!!

Вслед за этим до боли знакомым криком прогремел вдруг предупредительный выстрел часового.

Девочка вскрикнула, выронила из левой руки лыжные палки, затем торопливо подняла их и, оглядываясь, убежала из сектора обзора...

Все это — и появление девочки, и крики, и выстрел — произошло в течение какой-нибудь минуты, и вновь наступила щемящая тишина, как будто ничего и не случилось. Но в груди моей поднялась целая буря чувств. Я все не мог оторваться от окна, с тоской рассматривая одинокий лыжный след на тюремном пустыре.

В голове моей лихорадочно проносилась одна догадка за другой.

Кто кричал из окна тюрьмы? Почему этот голос так знаком? Кого высматривала девочка, названная Маринкой? И как она попала именно сюда, в эту опасную зону? Кто подсказал ей, что именно отсюда лучше всего можно было рассмотреть окна наших одиночек?

Старорусская тюрьма, если смотреть на нее с высоты птичьего полета, по форме представляла собой «пифагоровы штаны»: два ее корпуса торцом сходились под углом наподобие развернутого циркуля в третий и более широкий административный корпус, которым она выходила на набережную реки Полисти. И если наружные стены всех этих корпусов можно было как-то рассмотреть, обойдя тюрьму по контуру, то две внутренние стороны двух корпусов, отходящих от главного, были видны только с того охраняемого пустыря, на территорию которого каким-то чудом и попала девочка.

Упорно и настойчиво начал я вспоминать и сопоставлять разрозненные факты и события... У кого же из моих знакомых и товарищей, сидящих здесь, есть дочь по имени Марина? Круг близких знакомых был невелик, и я с разочарованием убедился, что Маринки в этих семьях нет... И вдруг меня словно осенило! Ведь это же, вероятно, дочка Александра Михайловича Кузьмина!

«А вот это моя любимая дочурка Маринка!» — вспомнил я слова Кузьмина, с гордостью и отцовской лаской сказанные им, когда я был у него на квартире весной перед поездкой в район.

Кузьмин очень любил свою семью, и я слышал, что первыми словами, сказанными им агентам Бельдягина в день ареста в своем исполкомовском кабинете, были:

— А как же теперь будут жить мои дети без меня? Кто о них позаботится без отца?

Когда к нему в первый раз пришли люди, неведомо кем наделенные большей властью, чем он, председатель исполкома райсовета, Кузьмин был уже уверен, что рано или поздно арестуют и его: настолько тесно связали его имя с неладами в сельском хозяйстве, а также и с именем заврайзо Тарабунина, недавно арестованного как вредителя и «врага народа». Вполне естественно, главной его заботой была семья: что станется с ней?

Мало-помалу сомнения мои разрешились: на запретном пустыре появилась именно Маринка, дочка Кузьмина. И голос был его, это точно! Но как она попала сюда? Кто мог надоумить ее прийти на это пустынное место,

которое так хорошо просматривалось из камер нашего ряда? Память моя заработала с новой силой.

...Дня четыре назад под вечер меня водили в баню. Надзиратель ввел в раздевалку, дал нужные указания банщику-арестанту и вышел. Раздеваясь умышленно медленно, я внимательно приглядывался к молодому парню, имевшему, очевидно, небольшой срок за хулиганство,— он молча ожидал, когда сниму одежду, чтобы нацепить ее на крюк и повесить в дезкамеру. Его широкое лицо не выражало ни обычного надзирательского презрения, ни подозрительности, и мне все больше хотелось заговорить с ним. К счастью, молчание нарушил он сам:

— Враг народа?

— А что, заметно?

— Только врагов народа, которые на особом режиме, водят в баню по одному... Из одиночки?

— Угадал. А много таких?

— Не так уж много, но есть...

— Разве враги народа только в одиночках сидят? Ты, брат, что-то завираешь...

— Нет, в одиночках только особо важные, упрямые. А так их в общих набито дай бог...

Ему явно хотелось поговорить, как хотелось дать мне понять и значимость занимаемой им должности: не каждому, не каждому подневольному выпадает честь быть тюремным банщиком, а значит, быть в курсе всех наших дел.

По лицу его было видно, какие противоречивые чувства борются в нем: и тщеславное желание похвастаться своей осведомленностью, и непреодолимое любопытство к очередному «одиночнику», и страх перед наказанием, если администрация узнает о его болтливости. Поэтому говорил он отрывочно и тихо, между делом постоянно оглядываясь на дверь.

— Что слышно с воли?— спросил я, не спеша передавая ему свои шмутки.

— Идут аресты... Каждый день обмываем новеньких, привозят и группами, и по одному... Группами — это из других районов,— пояснил он,— целыми пачками их сюда доставляют.

— А здесь что слышно?

— Сегодня ваших на процесс повели...

— Каких наших? На какой процесс?!— оторопел я.

— Ну, тех, из «Заготзерна»... Вредителей...

— А ты не знаешь кого-нибудь из них? Слышал хотя бы одну фамилию?

— Слыхал, как одного называли Ивановым, а другого... Давай, давай, не задерживайся!— вдруг совершенно иным тоном и нарочно громко сказал он, и я понял, что в предбанник кто-то вошел.

— Почему долго копаетесь? Тут вам не домашняя ванна!— Это был мой проводник.

— С брюками у меня нелады, начальник,— заискивающе сказал я.— Еще на допросе пооборвались все пуговицы на штанах, и все никак не могу наладить это хозяйство без иголки. Вот, спрашиваю у товарища, не может ли он помочь моей беде...

Надзиратель что-то проворчал в ответ и ушел, а я заторопился в мыльную, пожав на ходу руку парня, когда он совал мне мыло.

Значит, думал я, шумиха о вредительстве в Старорусской межрайонной конторе «Заготзерно», поднятая газетой в свое время, доведена до «дела»: Иванов и его подчиненные арестованы, во всем «признались», и вот теперь —«открытый судебный процесс». Бельдягин небось рад, что и ему удалось сколотить «процесс» по примеру его порховских и новгородских коллег.

Вспомнив о коротком разговоре с банщиком и об Иванове, я предположил, что Кузьмину как-то удалось передать записку домой с теми, кого увезли на процесс. Тайно переходя из рук в руки, записка была вынесена за пределы тюрьмы, кому-то незаметно передана или «обронена» на улице, подобрана добрыми людьми и доставлена куда надо.

Другого, более реального способа связи с волей при установленном для нас режиме я не представлял. Только таким путем мог уведомить Кузьмин домашних, где он сидит и куда нужно прийти, чтобы он мог увидеть дочь на прощание.

## В гостях у Кузьмина

Александр Михайлович прибыл в Руссу примерно в одно время со мной, был избран председателем исполкома, а вслед за тем и членом бюро райкома. Этому высокому и плечистому мужчине с добрым и вместе с тем строгим лицом, украшенным по тогдашнему обычаю каштановыми усами, было около пятидесяти. Я, работ-

ник районного масштаба, естественно знал Кузьмина лучше, чем он меня... Ближе нас свел случай.

По директиве из области совхозы и колхозы должны были закончить весенний сев к 5 мая. И наверняка закончили бы, если бы первомайские праздники не совпали с повсеместным празднованием христианской пасхи. Колхозники открыто поговаривали, что уже устали от спешки и хотят отдохнуть денек-другой вместе с трудящимися всего человечества. Однако, как известно, один хороший весенний день во время пахоты и сева год кормит, и потерять его — преступление; естественно, что весь партийный актив города безвыездно находился в деревне, добиваясь завершения полевых работ.

В праздничный день 2 мая я должен был выехать в отдаленный колхоз как уполномоченный райкома, и дело стало за немногим: не было попутной машины. На трех редакционных велосипедах наши инструктора уже неделю колесили по сельским дорогам из деревни в деревню, ежедневно сообщая по телефону новости, а другого транспорта в редакции не было. Пёхать за двадцать километров — перспектива не из завидных, и вдруг спасительное известие: в нужном мне направлении идет легковая машина исполкома. Едет на ней сам Кузьмин.

Часа в два он позвонил мне:

— Выходи к подъезду, мы сейчас подкатим.

Через пару минут я уже садился на заднее сиденье черной, видавшей виды исполкомовской эмки, а Кузьмин говорил:

— Заедем ко мне домой, пообедаем, а потом захватим еще Соколова, часов в пять будем там, где нужно. Дороги всюду просохли, и мы мигом докатим.

В квартире нас встретила его жена, невысокая, с хорошим русским лицом, одетая по-домашнему. Едва мы успели войти в столовую, как из соседней комнаты выскочила девочка лет десяти и, подпрыгнув, как козленок, повисла на могучей шее отца.

— Ах ты, егоза-стрекоза!— расплылся он в широчайшей улыбке, целуя девочку в голову.— Это моя любимая дочурка Маринка,— добавил он, повернув ко мне счастливое лицо.

— Только одна?

— Дочка одна, а парней двое. Потому и люблю, что одна.

Он снял пиджак и пошел на кухню мыться, а Маринка, схватив полотенце, побежала вслед за ним.

Я остался один. Столовая, судя по всему, служила и гостиной, и приемной, и рабочим кабинетом. Из столовой две двери выходили в соседние комнаты. Не скрою, меня тогда поразила скудность обстановки: неказистый обеденный стол посредине и еще один письменный стол — у окна, полдюжины стареньких стульев, этажерка с книгами, платяной шкаф двадцатых годов, а за ним, в углу, на подставке допотопный патефон. «Небогато живет глава Советской власти»,— невольно подумалось мне.

Над диваном в одной общей рамке за стеклом висели семейные фотографии. На одной из них в кресле сидел бравый кавалерист с коротко подстриженными усами. Руки его опирались на эфес шашки, стоящей меж колен, а рядом с ним стояла молодая женщина с застывшим лицом в длинном черном платье с белой опушкой по вороту.

— Это, брат, я! Можно узнать? Или скис за временем?!— весело сказал Кузьмин, возвращаясь в комнату.

— Это когда же вы?

— Давно, брат! Видишь погоны на плечах? Значит, еще в германскую... Еще холостым был.

Действительно, на могучих плечах просматривались погоны, в которых мое поколение видело символ старой царской армии, сорванный бурей революции. Правый погон пересекала портупея.

— В старой армии пробухал всю войну. В пятнадцатом ранило под Перемышлью, а на долечивание, то бишь на побывку, отпущен домой из госпиталя. Родом я из-под Вырицы, что под Ленинградом, и вот, помнится, сестра моя уговорила съездить в Питер сфотографироваться на память. Это вот она рядом.

— И в гражданской участвовали?

— А ты как думал? Ведь я в партии с четырнадцатого года и к тому же кадровый военный и ровесник почти всем нашим маршалам... Как началась гражданская, так до самого конца и трубил.

— Судя по погонам, у вас было какое-то звание?

— Младший унтер-офицер. Заметил, что на шашке темляка нет? В офицерские школы даже в годы войны из мужиков никого не принимали... А с восемнадцатого и по двадцать первый был комиссаром полка в Конной армии.

Все это он рассказывал не спеша, изредка посматривая то на часы, то на стол, на который Ирина Ивановна

с Мариной подносили из кухни праздничную снедь. Потом в квартире раздались новые голоса, и в столовую вошли еще два члена семьи.

— Это вот старший, Михаил,— знакомил меня Кузьмин со своими отпрысками.— Скоро кончит восьмой класс, ну и верзила растет! Чемпион борща и каши!— с гордой ноткой в голосе продолжал он, любуясь высоким и застенчивым парнем в спортивном костюме.

— В кого же, как не в тебя, ему высокому-то быть,— сказала Ирина Ивановна, вытирая ножи и вилки.

— Да уж, видно, в меня... А это вот Ленька, четвертый класс кончает... Академик! Семья, брат, большая, и жить трудновато. Люди, поди, говорят, председатель исполкома — первейший богач, как сыр в масле катается, власть в районе! А эта власть получает в месяц меньше директора педтехникума. Тысяча целковых — не велик оклад... Вот социализм построим — и жить будет легче. А что обстановка у нас неказистая, так ведь не в ней счастье! Верно, Ириша?

— Надо бы хуже, да некуда,— не соглашается с ним жена.

— А куда нам с мебелью деваться? С собой возить? Я шестнадцать лет, сразу после гражданской, на председательской работе — сначала волостного, а потом районного Совета — и уж в третий раз меняю местожительство... Партии виднее, ну и еду туда, куда нужно. Где уж тут кочующему табору обстановка! Есть где сидеть да спать — вот и хорошо... У нас тут почти все казенное.

— Как на постоялом дворе...— с иронией говорит жена, а дети смеются, быстро поедая все, что попадает в тарелку.

Дорогой наш председатель, милый, скромный, принципиальный товарищ Кузьмин! Неужели сейчас этот сильной души человек сидит где-то недалеко от меня с клеймом «врага народа» и также мучается над вопросом: за что арестовали, держат уже пять месяцев и пытают? Какой проступок совершил он против родного народа?

Как я узнал впоследствии, уже после XX съезда партии, Александр Михайлович Кузьмин, не подписав ни одного протокола допроса, после долгих и мучительных пыток был заочно осужден особой «тройкой» Ленинградской области и отправлен на каторжные работы в особый лагерь в район Колымы, где и умер в 1940 году.

В начале 1938 года Ирина Ивановна также была арестована, как член семьи изменника Родины (ЧСИР — такова была «статья», по которой арестовывались и ссылались в лагеря жены и близкие родственники «врагов народа» из числа ответственных работников). Она была осуждена на восемь лет лагерей, а мальчики и девочка отданы на воспитание и прокормление дядьям, то есть родным братьям Кузьмина, колхозникам из-под Вырицы.

Во время Отечественной войны оба сына ушли добровольцами на фронт: один — в авиацию, скрыв, что он сын «врага народа», другой — в партизаны, и на Ленинградском фронте оба пали смертью храбрых в борьбе с фашизмом.

Ирина Ивановна, отбыв восемь лет в Соликамских лагерях, а затем ссылку в Вологодской области, оглохнув и ослепнув от пережитых мук, живет сейчас в Ленинграде, за Невской заставой, вместе с дочерью Мариной Александровной...

Вот что пришлось пережить этой прекрасной, дружной семье, и вот что оставило от нее лихолетье.

# Глава пятая

Если раньше мне били морду,
То теперь вся в крови душа.

С. Есенин

## Снова среди людей

Через сорок дней одиночество мое наконец кончилось. Навсегда отошла от меня в прошлое мрачная пора полунормальных разговоров с самим собой, приглушенных декламаций и мучительных воспоминаний.

Казалось, радости не будет ни конца ни краю: махорка, папиросы, разговоры теперь не прекращались. В камеру ежедневно стало прибывать по нескольку человек: НКВД словно прорвало, и чекисты решили с лихвой задействовать пустовавшую кубатуру. Подобно тому, как усердный кочегар кидает в топку уголь лопату за лопатой, они пачками подбрасывали в мою камеру все новых и новых арестантов. Либо «врагов народа» все прибавлялось на белом свете, либо требовалось несколько разря-

дить скученность в других камерах. Люди прибывали и утром и вечером. Иные входили смело, как хозяева, оказавшиеся здесь как бы по недоразумению, другие — робко, с опаской, смущенно присаживаясь на свободное место у стенки на полу. Третьи появлялись с видом обреченных, как бы ожидая самого худшего. И только надзиратели были профессионально невозмутимы, отмыкая и замыкая железную дверь за очередной жертвой. Всего за одну неделю к середине октября в камере скопилось пятнадцать арестантов разных возрастов и профессий, и такое примерно их число держалось до ноября.

Константин Кудимович Артемьев появился в нашей камере десятым или одиннадцатым, вызвав всеобщий интерес с первой минуты. Впустили его в камеру как-то незаметно: мы были заняты обсуждением какого-то важного для нас вопроса, не обратив внимания на открывшуюся дверь.

— Здравствуйте, братцы!— сказал вошедший негромко, но так выразительно, что мы разом замолкли,— так необычно прозвучало в тюрьме приветливое слово.

Он спокойно оглядел всех нас, по-старинному отвесив каждому поклон. Заметив свободное местечко поближе к окну, подошел без суеты, как рачительный хозяин, положил к стене свой холщовый мешок на лямках, снял с себя шапку и полупальто, крытое старой шинелью. Все это он аккуратно сложил поверх мешка и, покряхтев, степенно сел перед своим имуществом, подобрав по-монгольски ноги, обутые в старые кирзовые сапоги.

— Тепло тут и не очень тесно, жить можно,— просто сказал он и, взглянув на окно, где все еще не было трех стекол, добавил сокрушенно:— Бесхозяйственность везде...

Было в нем что-то до странности похожее на горьковского Луку из драмы «На дне».

Живой и общительный политрук Фролов, только позавчера прибывший в камеру и быстро, по-армейски, освоившийся с обстановкой, шутливо спросил:

— С кем имеем честь познакомиться, сэр?

Кто-то засмеялся:

— На сэра что-то он мало похож — такой же серый, как и мы.

— Мистеры и сэры у нас давно повывелись!

— Смотря где...

— Такой же, видать, мужик, как и я,— определил один из нас, по фамилии Пушкин.

— Артемьев моя фамилия, бывший крестьянин-середняк,— ответил новоприбывший, повернув седоватую голову в сторону политрука.

На худощавом и обветренном лице его, изрытом множеством глубоких морщин, впрочем не старивших его, появилась скорбная и вместе с тем как бы успокаивающая улыбка. На вид ему было лет шестьдесят, на самом деле, как мы узнали позднее, в этом году ему исполнилось только пять десятков. На добрый десяток лет он выглядел старше от обещанной всем нам «счастливой и радостной жизни».

— Все мы здесь, вроде дворян, бывшие,— вступил в разговор я.— Вот этот, с громкой фамилией Пушкин,— бывший бригадир колхоза,— указал я на цыгановатого Петра Ивановича из Лычковского района,— а этот — бывший ветеринарный врач из Демянского района Бондарец.

Пожилой ветврач церемонно кивнул и вновь погрузился в свои думы.

— А наш страстотерпец Ефимов,— перебил меня Пушкин,— бывший партийный работник и газетный писатель. А вот напротив вас — совсем бывший политрук, что-то вроде ротного попа в отставке...

Все рассмеялись, а Фролов взвился:

— Полегче на поворотах, Петр Иванович!..

— А что тут неправильного?

— В корне неправильно!

— Так ведь разницы-то никакой нет: поп проповедовал смирение на земле, слово божие и рай на небе, а ты — слово о коммунизме, тот же рай в отдаленном будущем и то же смирение, послушание и терпение... Да ты и сам говорил, что посадили тебя за то, что против политработы выступал...

— Приврать ты мастер, Пушкин. Я высказывал мысль, что коль сейчас мы живем в иных условиях, чем, скажем, десять лет назад, и молодежь приходит в армию грамотной и политически подготовленной, то какой смысл содержать в армии огромный и дорогостоящий политаппарат?

— Народ тут, я гляжу, оказался сборный...— заметил Артемьев.

— Зато отборный,— в рифму ответил Пушкин.— Сюда только по выбору попадают. А вот почему вы бывший крестьянин? А нынче, стало быть, из бояр или аристократов?

Артемьев улыбнулся:

— Когда-то был мужиком, а вот уж лет восемь не крестьянствую.

— На пенсии, стало быть?— пошутил Фролов и почесал свою мефистофельскую бородку.

За полтора месяца голодного одиночества, бесплодных раздумий и боязни новых допросов душа моя истосковалась по людям, по живому человеческому слову, истомилась без вестей с воли. Понятно, что каждому вновь пришедшему я был несказанно рад, хотя и понимал, что радости в самом этом непрерывном потоке обиженных людей нет никакой. Каждый приносил с собой свое горе, свою боль и печаль, каждый приходил сюда не по доброй воле, не в гости к товарищам на праздник Октября, а был грубо украден из своей семьи, из привычной среды и сунут в этот каменный мешок. И каждому, конечно, было ясно, что коль несчастье произошло и дверь тюрьмы за ним захлопнулась, надо сделать все возможное, чтобы и здесь существовать по-человечески, хотя все человеческое у нас было отнято. Даже в нужник нельзя пойти, когда хочется...

Человек без общества, без связей с себе подобными перестает быть человеком, он дичает и опускается все ниже и ниже. Это истина.

## Пушкина — в тюрьму!

Колхозный бригадир Пушкин, например, был совершенно уверен, что все свои сорок пять лет он жил правильно, по-божески, хотя в бога не верил.

— За что же тебя арестовали и посадили с нами, грешными?— спросил я в первый день его прибытия.

— Да вот будто за непочтительность к вождю народа... Работу мою оплошили уже заодно с этим...

— Почему «будто»?

— Потому, что я и сам не знаю, была тая непочтительность или она не была. Может, в несознательности, вгорячах и случилось такое.— И он грустно заморгал своими цыганскими глазами.

На первом допросе ему предъявили тягчайшее обвинение, которое стал бы отрицать любой нормальный человек. В камере потом он рассказывал:

— Следователь сказал, что я топтал ногами портрет товарища Сталина и это подтверждают свидетели. И он назвал это террористическим действием... А было это

вот как. Прошлой весной что-то не ладилось с ранней посевной — долго не было тепла, земля не сохла и не грелась. А на меня, как на бригадира полеводов, наседает хозяин: «Сеять пора, Пушкин, отстанешь от соседей. Хоть в грязь, а сей, коли плановые сроки даны!» А что он понимает в земледелии, наш городской председатель? Может, он и знает, что лошадь ест передом, а съеденное отдает задом, а насчет остального — ни в зуб. Ему бы только план выполнить, зерно раскидать и перед райкомом отчитаться, а что уродится и будет ли осенью какая польза колхозникам и государству от такого сева — заботы ни синь пороха. Я ему: «Рано еще, нельзя сеять в холодную грязь. Пускай пообогреет, зерно в тепле скорее пойдет в рост», а он никакого резону не принимает и талдычет свое. Ему, видишь ли, сводка нужна. В передовые выскочить хочет на голоде мужиков.

Пошел я к бригадиру злой-презлой, шум, конечно, поднял, накричал на своих пахарей, что с утра наорали самую безделицу. Сидят, тоже недовольные, на плугах и покуривают, а кони стоят будто тоже злые, фырчут голодные и грязь месят... Мужики на меня: «И ты за председателем тянешься, будто сам не понимаешь, что орать еще рано».—«Зерно только загубим без всякой пользы»,— говорит один, а другой ему поддакивает: «Председателю что? Завалит колхоз — его в другой руководить пошлют. За плуг небось не поставят! А мы и государству хлеба не дадим, и сами на мякине останемся, лебеду всю зиму жрать...»

Вижу, правду истинную мужики говорят, и знаю, что мне не поверили бы, как и я председателю то же самое доказывал... Подумают еще: дескать, одна шайка-лейка с председателем... Сел на мокрый отвал, ноги в борозду, достал кисет и газетину, оторвал большой кусок и стал его общипывать до цигарки, а рядом вороны да грачи вперевалку шастают по свежим отвалам и червей таскают. Ох и ругал же я в те поры и себя, и все на свете, как вдруг слышу, кто-то из мужиков и говорит: «Ты рви, да поглядывай, кого рвешь-то...»

А мне и невдомек, что на газетине портрет товарища Сталина, и общипал уж я его до усов и покидал оборвыши на пашню. Поглядел на плоды рук своих, да не подумавши и брякнул: «Его портреты, почитай, в каждой газете печатают, так что же, на стенку их клеить да молиться или в сундук убирать?» И, закуривши, встал и всей бригаде велел подниматься. А потом и забыл про

то за делами, да и времени прошло немало... А теперь, видишь ты, и вспомнили — теперь бают, что я все делал будто бы с целью, имея в душе злость на власть и на товарища Сталина. Дескать, и урожай на том участке в прошлом годе не вышел из-за моего нерадения колхозному строю, а не из-за того, что в грязь жито запахивали. Что я и вредитель, и вроде как враг.

И те обрывки газеты обрисовали уже не так, как было. Я будто бы нарочно вырвал из газетины портрет и на глазах у всей бригады бросил в грязь и затоптал ногами. Да еще будто бы приговаривал: «Вот кто заставляет вас сеять не вовремя, а не я». С меня-де взятки гладки!

Пушкина вызывали на допрос еще раза два, и он без малейшего боя подписал протокол. На этап его взяли вскоре после праздника Октября. Как-то перед вечером открылась дверь, и надзиратель привычно объявил:

— Пушкин, собирайся!

— Есть,— проворно вскочил Петр Иванович.

— Выходи с вещами... И Олимпиев, тоже выходи,— добавил надзиратель, поглядев в список.

Петр Иванович по-деловому завязал свой скудный мешок, крепко и горячо пожал всем руки, попутно приговаривая, как бы успокаивая себя:

— Поедем, ребята, в Сибирь ишачить за казенные харчи... Любая работа лучше, чем тут задыхаться без вольного воздуха... Прощевайте все!— И быстро скрылся за дверью, словно вылетев из клетки.

Молчаливый Олимпиев, недавний счетовод на льнозаводе, пробывший в камере около трех недель и произнесший за это время не больше двух десятков слов, простился молча. Но на влажных его глазах копились слезы.

Проводили мы за месяц уже шестую пару, убывающую в неизвестность. Когда-то наступит и наш черед... Полагаться оставалось на одну лишь судьбу да на наших заботливых хозяев.

## Кудимыч

Артемьев рассказывал историю своей жизни неторопливо, по кусочку в день, и как бы глядя со стороны. Это была повесть о нашем крестьянине-середняке.

— Революция застала меня на позициях Западного фронта, в период затишья боевых действий, когда с той и другой стороны солдатам воевать надоело; свержение

царского строя и объявление свободы мы встретили с радостью, а когда через восемь месяцев установилась Советская власть и были объявлены декреты о мире и земле, солдатня, состоявшая почти вся из крестьян, хлынула по своим домам.

Ранней весной восемнадцатого вернулся в свою валдайскую деревню и я, с тощим солдатским мешком, с винтовкой на плече и двумя «георгиями» на груди. Дома не был больше четырех лет, и многое там переменилось... Надо сказать, что женился я двадцати лет, по нонешним временам рано, и вскорости, отделившись от отца, взял положенный надел земли и срубил избу. К началу войны у нас с Надюхой народились один за другим два сына, а когда вернулся с войны, оба уже в школу пошли и, рассуждая по-крестьянски, были уже помощниками в хозяйстве.

Хозяйничать в те годы было не судьба, потому как началась гражданская война. Достал я винтовку с сеновала, почистил и побрел в военкомат добровольцем. А когда через два года вернулся насовсем, по избе уже бегала дочурка Любаша... Жистя в начале шла туговато, как все знают; за годы двух войнищ зéмли запустили, почва истощала без удобрений, изголодалась по навозу, который в иных дворах не вывозился годами.

Прошедшие годы отодвинули заведенную жизнь как бы назад на целый век. И только после того, как власть заменила продразверстку трудовым налогом, деревня пошла снова в гору, как кобыла с овса.

— Вы словно учитель обществоведения рассказываете, а не как малограмотный крестьянин,— сказал Фролов.

— Малограмотным-то я и не был николи. И в семье нашей малограмотных нет. Дело-то ведь не столько в школах, сколько в желании учиться. Нет у человека желания, не тянется душа к знаниям — и ничему не научится...

— Ну а если школ мало,— не унимался Фролов,— учиться негде? Тут одного желания недостаточно.

— Все молодые деятели так рассуждают, как вы, товарищ политрук, а все же я прав. От желания все зависит, и, ежели его в человеке нету, он так пустоцветом и остается, будь хоть на каждом шагу школа или какое мастерство. И насчет школ вы не правы. В Европейской России в каждом селе, где церковь стоит, была школа начальная или двухклассная. А сёл на Руси, как известно, было много, почитай, не реже, как верст десять одно от

другого. И в Сибири были школы, потому как Сибирь тоже русский мужик заселял и церкви там ставил... Вот Ломоносов — захотел развить свои дарования, академиком стал. А ведь тоже мужицкий сын... А другого хоть в академии учи — толку не будет. Все люди разные, разными и родятся, вот что!

— При социализме все люди будут равны!— авторитетно сказал Фролов.

— Не может того быть, не может. Равенства между людьми никогда не было и не будет, если вы признаете природу.

— Это физиология.

— А по мне хоть зоология... Человека создает природа, и ее не переделаешь. Все мы разные, хотя все и числимся людьми, как ель и береза деревьями. А ведь они, береза и ель, даже не похожи друг на друга. И польза от них разная. Тожеть и люди...

Школу окончил сельскую,— продолжал Кудимыч,— и, если бы не читал книжек, все давно позабыл бы. Ведь грамотным человек становится не от того, что он в школе зазубрил, а больше от жизни, от совершенствования и практики, от пытливой любознательности. Многие мои сверстники, которые после школы ничего печатного в руки не брали, только и умели что расписываться.

Газету и журнал агрономический я выписывал постоянно, и хозяйство свое старался сделать доходным, семья того требовала... Землицы нам хорошо прибавили в двадцатом, да вся она была запущенной, поросла кустарником. Николи не забыть, как мы поднимали с Надюхой тую целину! Поруби кустовье, а потом уж и с плугом ступай... Упрямый конь иной раз весь сгорбится от натуги, аж ноги дрожат, а не разодрать сцепившихся в земле кореньев.

Иду, бывало, мокрый, навалясь на плуг, а жена перед мордой сопящего коня пятится задом и прорубает топором след в земле, чтобы плуга не поломать и коню было легче. И ребятишки тут же, кусты и коренья собирают и жгут. Пройдешь так борозду из конца в конец и света божьего не взвидишь. Течет со всего, как с карася. Зато и урожаи были.

Так вот и шли годы. Тяжелый труд и любовь к земле приносили обильные плоды! И не одно мое хозяйство стало на ноги к концу двадцатых годов. Во всей деревне не было домов, где по воскресеньям и праздникам в зимнее время не пахло бы пирогами да говядиной. Нищенствовали, как теперь, так и прежде, только те, кто

любит утром, в рабочую пору, поспать да на сходках погорланить, или какая-нибудь вдова с пятком ребятишек... Или пьянчужка какой...

— Ох и сочиняете, папаша! Выходит, что раньше крестьяне жили лучше?— возразил Кудимычу политрук, пришедший в армию из города и безмятежно веривший, что только коллективизация принесла крестьянству небывалое изобилие.

— А ты думал — хуже?— посмотрел на него Артемьев из-под свисающих бровей.— Большинство крестьян по тем временам жило не в пример лучше, чем теперь. На трудовом крестьянстве вся Россия держалась! Если не считать такой беды, как засухи и пожары, которые случаются не так уж часто,— а на такие случаи всегда общество помощь оказывало пострадавшим,— деревня большой нужды не знала. И на такие случаи, почитай, посреди каждой деревни общественные житницы стояли.

Кудимыч передохнул минутку и при всеобщем одобрительном молчании продолжал:

— Пироги черные или полубелые со всякой снедью, почитай, не выводились. Русская-то печь — крестьянская кондитерская фабрика — была своя в любой избе, а пироги из чистой крупчатки в престольные праздники бывали на столе в каждой семье. И лошадь и корова у каждого, и овца с приплодом, и кур с десяток, и поросенок к зиме похрюкивал. А уж теленок в избе на соломе у печки непременно мычал по ранней весне у всех, кто умел и любил трудиться.

Вот вы, товарищ политрук, чай пивали со своим медком? Ручаюсь, что не пивали! А варенье из лесных ягод вам ведомо? Опять же нет! А розового топленого молочка из русской печки хоть чашку выпивали со своим же хлебушком с подовой хрустящей корочкой? А щи горячие, упаренные в своей печке? Пусть они и постные, али там со снетком, али с головой селедочной, а нет их на свете слаще!

Не думая о том, Кудимыч явно задел самую больную струну. Слушатели его, изголодавшиеся на баланде, зашевелили кадыками, тоскливо проглатывая пустую слюну. Догадавшись, что допустил промашку, Кудимыч продолжал в том же духе, но без харчей:

— А своя собачка с пушистым хвостиком встречала ли вас хоть разок у своей калитки? А как твой же петух поет на самой зорьке, вы слышали? И душой кривить нечего: ежели в доме был мужик да баба, оба здоровые,

да еще сын или девка на выданье, то семья процветала так, как процветать можно... До колхозов-то, дорогой ты мой политручок, было лучше. Ведь не от хорошей жизни, почитай, половина деревни разбежалась в начале тридцатых годов...

— Ты уж тут, Кудимыч, загибаешь вправо...

— Куда хочешь считай — вправо или влево, ярлыком дела не изменишь, а что было, то было и из песни не выкинешь!

— Так ты что же, против колхозов шел?

— Зачем против колхозов? Чему быть, того не миновать. Колхоз тоже хорош крестьянину, если вести его с умом да не забирать все сработанное в казну. И к сему же учти еще, что многим мужикам коллективное было не столько чуждым, сколь непонятным. Крестьянство веками мечтало о своей земле, о своем хозяйстве — худом или хорошем, но о своем. После революции мужикам дали землицы вволю. Сам Ленин подписал Декрет о земле, и, я чаю, не на десять лет, а в бессрочное пользование. Крестьяне по смерть благодарны Советской власти! Вот тут-то надо было не спешить, опытом доказать, что крупное артельное хозяйство выгоднее для мужика, а не рубить сплеча, не брать испугом да страхом... А что делалось в двадцать девятом, вы знаете? «Вступай в колхоз не раздумывая!» А ведь как можно не раздумывая порушить все и променять невесть на что, сломать веками привычное, оборвать напрочь живую пуповину? А тут лозунги: «Сплошная коллективизация!» Им, вождям нашим наверху, мудрости не хватало, а о ленинской мудрости забыли, дескать, сами с усами. И началось непонятное. «Не хочешь в колхоз? Кулаков слушаешь? Вот тебе твердое задание на поставку хлеба, подкулачник!» Это значит не кулак, а вроде на кулака работаешь, в его интересах, а не в своих...

— Выходит, у вас и кулаков не было?

— Таких, как пишут в романах, и в окружности не было. Был в те поры у нас мельник, верст за пять, у плотины, так молоть все к нему ехали, хоть единоличники, хоть колхозники али кулаки, коли государство о мельницах своих не подумало для крестьян. Колхоз тому мельнику не помеха, как и он колхозу. Мужик был мирный, а его все равно забрали со всей семьей и увезли, куда Макар телят не гонял. А вот таких, как я, желающих подумать годок-два, в нашей деревне оказалось немало,

и хозяйства эти раскулачили начисто перед летом тридцатого года.

Ведь проще простого разделаться с любым неугодным: дал задание не по силам, а потом и дави его на законном основании — не выполнил задание... И статья такая появилась в законах: экономическая контрреволюция. Так и очутились мы, середняки, с попами и монахами вкупе, на Беломорканале, в один день превращенные из союзников Советской власти в кулаков каких-то, во врагов народа...

Артемьев снова замолчал и взялся за кисет.

— Куришь ты много, Кудимыч,— заметил Бондарец, с пониманием слушавший повесть Кудимыча.

— Тут, брат, не токмо закуришь, а рад бы и запить, да взять негде.

— А любишь хлебнуть по маленькой?— вставил Фролов.

— Можно и по большой... Всякий любит щи хлебать!

— Откуда же ты теперь такой чудной выискался? Из ссылки да опять же в тюрьму?

— Сам не разумею! Верно, выходит, люди говорят, что человек предполагает, а бог располагает. Или судьба срабатывает вроде как у греков. У них даже боги и те под судьбой ходили...

— А вы, я вижу, и древних греков читали?— спросил Фролов, то «выкая», то «тыкая» Кудимычу, в зависимости от ситуации.

— Ох и дотошный ты, политрук. Ужели и в казарме был такой же прилипчивый?— нетерпеливо сказал Шигуев.— Оставь ты, папаша, греков этих, ну их к хрену, говори о себе.

— Что бы люди ни говорили, все получается о себе,— продолжал Кудимыч.— Как закончили Беломорканал, начали нас перевозить в Забайкалье, на постройку вторых путей. В тридцать пятом году часть мужиков и вовсе освободили, но с определением места ссылки, где надлежало жить под надзором и без права возвращения на старое место жительства. Так и поселился я в Омской области, недалеко от Калачинска, и устроился плотником на заводской стройке. Думал туда и жену с дочкой переправить, она за эти годы успела семилетку закончить.

— А сыновья где были?

— Старшего в начале тридцатого на Балтийский флот взяли. После службы в деревню не вернулся — никого там не было, кроме матки с сестрой. Поступил на

производство и живет теперь в Новгороде, своей семьей обзавелся. Младший, Алексей, в Ленинграде на фабрике, тоже женатый. Вот я нонче и собрался было навестить всех, а женщин своих с собой взять, ан, видно, не судьба. Пришли, снова арестовали, а за что — неведомо.

— Как это «неведомо»? Что-то ты хитришь, Кудимыч...

— Причина нашлась, конечно. Была бы голова, будет и петля.

— Что же тебе предъявили при аресте?

— Почему, говорят, не прописан? Есть на жительство вид? Есть, говорю, вид, да низко прибит...

— Неужели за то и взяли? Ведь это же сущий пустяк.

— Пустяк-то он пустяк, да ведь и тебя, поди, товарищ Фролов, не за просто так сцапали?

— Обо мне сказ будет особый... Чего же не прописался? Трешницы пожалел?

— А что прописывать-то?— сказал Артемьев.— Паспортов не положено иметь всем деревенским жителям, тако же военным и прочим, как я, ссыльнопоселенцам. Так что мне и прописывать было нечего. Я ж поднадзорный, должен в назначенные сроки являться в милицию со своей поселенческой бумажкой. Позабыл от радости, что родные края увидел, а тут прознали и сцапали...

Рассказ Артемьева не на шутку всех взволновал. Тесная камера зароптала. В сознании не укладывалось, что человека сажают в тюрьму за то, что где-то не прописан или не отметился.

С ним по этому поводу кто-то вступил в горячий спор, а мне пришла на память случайно попавшаяся на глаза запись в нашей Малой энциклопедии. Помнится, что против слова «паспорт» там было сказано, что паспортную систему ввел в России Петр Первый в интересах дворян и помещиков для закрепления за ними крестьянства. Паспортная система была уничтожена одним из первых декретов Советской власти.

Мы, молодое поколение, и понятия не имели, что паспортная система, повсеместно введенная вновь летом 1932 года, имеет какое-то иное значение, кроме удостоверения личности. Оказывается, этот документ намного сложнее и значение его политическое...

— Думал я поперва тожеть обзавестись черно-белым,— продолжал Кудимыч,— да уж очень это хлопотно, и к тому же денег надо много за него...

— А что это такое — черно-белый?

— А это значит — паспорт на чужое имя. Паспорт не фальшивый, без подделки, только с чужой фамилией... Надо иметь знакомства и связи, а какая связь у ссыльно-поселенца? Вот и решил: поеду с этой поселенческой бумагой, авось никто проверять не станет...

— И влип!

— Да не влип бы я, если бы не волна такая на эти аресты... Из Сибири-то ведь не видно, что тут у вас на волюшке делается... Уж лучше бы сидеть там и работать, а жену и письмом можно было вытребовать.

— Не повезло вам, Константин Кудимыч.

— Да уж и не приведи господи, как не повезло!..

Через два дня Артемьева затребовали на допрос. Следователь предъявил ему обвинение в бегстве из-под сибирского надзора, приплел к делу и то, что прибыл он сюда не зря, не за семьей, а по заданию ссыльных кулаков для антиколхозной агитации.

С допроса мы дожидали Кудимыча долго. Вернулся он в полночь со свинцовым блеском на бескровном лице и еще более постаревшим.

— Вины за собой никакой не признал. Попугали, конечно, но, поскольку я пуганый и мне не страшно, посоветовали еще подумать, а потом будут кончать с моим делом.

— А больше никакой вины нет?

— Как нет, есть! У нас ноне любая вина виновата! И кресты мои героические, о которых я уже и позабыл, вспомнили. Ты, говорят, старый пес, царский режим защищал, за веру и царя воевал. А о гражданской войне и не вспомнили. ...Старорежимный, и все тут!

## Диспуты

После обеда, как всегда превращенного нами в целую церемонию, Фролов примостил свою помятую шинель напротив Кудимыча, терпеливо выждал, пока Кудимыч покурит на «сытый желудок», и повел наступление:

— Вот вы вчера все жаловались, Константин Кудимыч, а я думаю, что правильно вас Советская власть потревожила в тридцатом году.

Кудимыч свернул жиденькую цигарку из самосада, затянулся с наслаждением и поднял глаза на Фролова:

— Правильно-то оно, может, и правильно, только зачем же дубинкой в рай загонять? Ломать-то зачем?

— А как же иначе?

— Гнуть бы надо. Не ломать, а гнуть. Ты мужика уважь, дай ему подумать и прикинуть, покажи, сделай агитацию натурой, как Ленин учил. Ведь не зря в народе говорят, что исподволь и ольху согнешь, а вкруте и вяз переломишь. А ведь у нас ноне что же получилось: мужика озлобили, сельское хозяйство повсеместно упало. Скот порезали, земли запустили, работники все разбежались кто куда...

— В том и соль нашей политики, ждать нам некогда. Раздумывать да рядиться вам, мужикам, не к чему, мы уже за вас давно подумали. Дай вам, тугодумам, волю — вы сто лет будете думать, и за сто лет вас не согнуть. Уберетесь в раковину частного хозяйства, выковыривай вас оттуда.

— А пошто выковыривать?

— А по то, Константин Кудимыч, что пуд хлеба мне твой не так нужен, как ты сам мне нужен как творец и созидатель индустрии. Иначе невозможно в корне перевернуть Россию-матушку.

— Это зачем же в корне?

— Чтобы догнать и перегнать передовые страны.

— К чему же их догонять, аль плохо жила Россиюшка в конце двадцатых годов?

— Чтобы вырваться из отсталости и встать на одну ногу с великими державами.

— Какая же тут отсталость, ежели вся Россия свои пироги ела, да еще и соседей кормила?

— Пирогами, Кудимыч, воевать не будешь.

— А зачем воевать?

— Умный ты мужик, Кудимыч, а дурачка разыгрываешь... А из-за чего воюют народы? Только из-за земли! Растет население в Европе, в Японии, множится, как мох на болоте. Ясно, что все мечтают расшириться за наш счет. Германия спит и видит наш украинский чернозем... Я приведу вам одну фразу из речи Гитлера на Нюрнбергском съезде своей партии в тридцать пятом году, о которой вы, Кудимыч, наверняка не знаете.

— Где же мне знать. Я в те поры, кажись, в Бамлаге был.

— Гитлер говорил, что готовится к войне и начнет ее не объявляя. Англия не откажется ни от Севера, ни от Кавказа. Франция с удовольствием проглотила бы Крым, а Италия не откажется от Бессарабии. Китайцы так и зарятся на Забайкалье, а у Японии тоже зубки свербят на наше богатейшее Приморье. Да и Америка ждет случая поживиться лакомым кусочком. Соображать надо, това-

рищ Артемьев! Чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед!

— А чего бы Европе в Африку не податься, туда не шириться?

— В Африке климат тяжелый. Болеют там европейцы. Да и далека Африка и не обжита.

— Мудрено!— воскликнул Кудимыч.— Значит, из-за этой Африки, язви ее в душу, достается и нам ноне?

Все засмеялись, а Фролов рассердился:

— Индустрия нужна, папаша, техника! Металлическая промышленность, танки, корабли, авиация! А иначе нас сомнут, раздерут по частям и отбросят во глубину сибирских руд!

Выводы его казались все более правильными. Встретив сочувствие в глазах слушателей, он еще более воодушевился:

— Удержать надо в руках все эти просторы, завоеванные когда-то неглупыми русскими царями... На том я и погорел, потому и сижу здесь с вами.

— Неужели так и говорил красноармейцам про завоевания русских царей?— спросил Шигуев.

— Так и говорил, а чего скрывать? И ребята понимали меня лучше речей Сталина.

— Да уж надо думать,— съязвил кто-то.

— Из молодых, да ранний,— понимающе вставил Ширяев, бывший мастер Парфинского фанерного завода.

Авторитет Фролова рос на глазах. Один Артемьев хитро молчал, держа про запас свое слово.

— В этом мире, братушки, уважают одну только силу. Так-то и Петра Великого уважали. За четверть века он геройски догнал западные страны, догнал и разбил. Шведов так шуганул на Балтике, что они и теперь помнят.

— Значит, чтобы подготовить новую войну, давай ломать мужика и всех, кто за ним стоит?— подмигнул нам Артемьев.

— Не войну, а оборону. Активную!

— А разница?

— В разнице после нас разберутся. Индустрия есть сила. Даешь готовить силу! В этом и есть идея Советской власти: социализм должен быть сильнее капитализма. А отсталых всегда бьют, слыхал такое выражение?

— Вот те и нá!— притворно воскликнул хитроумный Кудимыч.— Ехали, ехали и доехали. Цари хлопотали о войне, и нонешние сталинисты тожеть о ней хлопочут.

Какой же тут социализм? Социализм, я чаю, к добру зовет, к равенству. Открой все границы, пусть едут людишки и селятся, где хотят, земли много. А вы, нонешние Нероны, Запада боитесь. На мировую революцию, вишь, замахнулись. Наделала синица шуму, а моря не зажгла. Пролетарии всех стран, объединяйтесь! А пролетарии-то всех стран пролетели мимо нас и по-своему объединились. Озлобились советские нетерпимцы на свою же несовершенную теорию и давай мужика ломать. Своего же сеятеля и хранителя! Вот ты, товарищ Фролов, про Петра упомянул, а ведь он от Запада не запирался на замок, и много в те поры разной немчуры и французов в России поселилось, и ничего, живут, не дерутся. Места на земле, как на кладбище, всем хватит.

— Все до поры, Кудимыч...

— Вот и я тожеть говорю, все до поры: вооружившись всем, чем только можно, начнем на всех покрикивать и дубинкой в рай загонять. А ежели не хотят люди твоего рая? Ты их спросил?

— А что же вы предлагаете? Вавилонское смешение народов? Анархию? Уничтожение русской нации?

— Добром, трудом и дружбой воевать надо, а не военной дубинкой. За Россию, вишь ли, испугались наши нонешние цезари да цицероны. А как же не сгинула Россия под татарами? Триста лет сидели у нас эти чингисханы, а что высидели? Кто из русских ноне на татарском языке говорит? Никто, окромя разве ученых — специалистов по языку! А потомки Золотой Орды, что живут вокруг Казани, шагу ступить не могут без русского! Вот те и вавилонское смешение! Сила, значит, не только в оружии, она больше в душе народной. А по мне должно быть так: ежели ты прав, так тебя повсюду поддержат, везде люди правду любят и по правде жить хотят. А ты ото всех культурных народов железной занавесью отгородился. Открой границу, пускай люди по воле живут и богатство плодят для государства!

— Это будет после нас, Константин Кудимыч.

— Вот так и все наполеоны рассуждают: выдумают в кабинете лестную для себя теорию, дорвутся до власти, сотворят из самих же себя божественного кумира и давай людишек ломать. Ломают и хвастают, насилуют и бахвалятся... И каждый такой философ думает вот так же: после меня хоть потоп...

— Значит, если границы пооткрывать, то и войны не будет, товарищ Артемьев?— робко спросил из угла Есипов.

— А с чего бы ей быть? Ведь кто воюет-то?— повернулся Кудимыч к Есипову.— Правительства одни воюют испокон веков! Фараоны, цезари, короли, князья, цари, президенты, атаманы...

— Верно! Они заводят, а народ расхлебывает,— поддержал Ширяев.— Недаром в народе сказано, что паны дерутся, а у хлопцев чубы да головы летят.

— И все драчуны завсегда правы, виноватым себя еще никто не признал,— продолжал Артемьев.— А по мне так: воевать хочешь, земли тебе мало — ну и воюй царь с царем, президент с президентом. Постройте большой цирк на вольном воздухе, как было в Древнем Риме, возьмите в руки по дубинке или там боксерские перчатки и лупите друг друга на здоровье. А мы будем на вас глядеть да семечки лузгать...

Слушатели опять дружно засмеялись. Как будто и не в тюрьме и никому не грозит каторга... Всем понравился нехитрый и дешевый план ликвидации войн. Один только Фролов сидел насупившись. Пропагандистский его опыт дал осечку.

— Давайте-ка, друзья, лучше споем что-нибудь потихоньку вместо надоевшей политики,— громко сказал я, видя, что разговор иссяк и крыть Фролову нечем.— Давай, политрук, затягивай какую-нибудь тюремную...

А Ширяев, послушав у двери, не слыхать ли поблизости шагов надзирателя, уже запел:

Как дело измены, как совесть тира-а-ана,
Осенняя но-о-о-очка черна...

Фролов, позабыв все споры, плавно подхватил:

Черней этой ночи встает из тума-а-а-ана
Видением мра-а-а-чным тюрьма.

Я притулился для страховки к косяку двери и тоже тихо подпевал, припоминая слова этой чудесной песни:

Кругом часовые шагают лени-и-и-иво,
В ночной ти-и-шине, то и знай,
Как стон раздается протяжно, тоскли-и-и-во:
— Слу-у-у-шай!

Фролов стал дирижировать:

Хоть плотны высокие стены огра-а-а-ды,
Железные кре-е-епки замки,
Хоть зорки и ночью тюремщиков взгля-я-а-ады
И всюду сверкают штыки,
Хоть тихо внутри, но тюрьма не кладби-и-и-ище,
А ты, часовой, не плошай:

Не верь тишине, берегися, дружи-и-и-ище:
— Слу-у-у-шай!

Удивительное дело, думал я: песня написана почти сто лет назад, а ее до сих пор многие знают почти дословно. И певали эту песню повсеместно — и в городе, и в деревне. Мне она врезалась в память с отроческих лет, когда на нашей деревенской улице, против нашего дома, собирались в свободные часы любители песен и за долгий весенний вечер вспоминали и пели их десятками, в том числе и «Слушай!».

Мы здесь тоже пели нередко, но, конечно, не от радости, а от тоски. Стало быть, и песни как-то сами собой подбирались грустные: кто-то тихо затягивал, а другие подхватывали без уговора.

Вот и сейчас я подтягивал и слушал, не подойдет ли к двери цербер, не постучит ли. Но в камерах пели многие — всех в карцер не пересажаешь.

Вот узник вверху за решеткой желе-е-е-зной
Стоит, прислонившись к окну-у-у,
И взор устремил он в глубь ночи беззве-е-е-здной,
Весь словно впился-а-а-а в тишину.
Ни звука! Порой лишь собака залье-е-е-тся,
Да крикнет сова-а-а невзначай,
Да мерно внизу под окном разда-е-е-е-тся:
— Слу-у-у-у-шай!

Песню пропели до конца, хотя слова знали не все. Кто не знал слов — просто подтягивал мелодию.

Много раз приходилось мне потом слушать споры о судьбе Родины, но та дискуссия в бывшей моей одиночке запомнилась ярче других.

В нашей камере Артемьев прожил больше месяца и всем запал в душу. Человек мягкого характера, он был не только домашним философом, но и компанейским весельчаком. Он часто пел на пару с Фроловым, и песни у них были душевные: «Уж вы горы, вы мои, горы Воробьевские» и «Славное море, священный Байкал». Но особенно Кудимыч любил петь о казни Степана Разина. В этой песне он как бы раскрывался весь, целиком отдаваясь своей печали.

Знать, уж долюшка такая,
Что казак на Дон бежал.
На родной своей сторонке
Во поиманье попал.

Среди полутора десятков арестантов моей дружной камеры не было никого, кто оставался бы равнодушным к этой чудо-песне и не подтягивал бы Кудимычеву баску.

Нет, мне та горька обида,
Мне больна истома та,
Что изменною неправдой
Голова моя взята...

«Изменною неправдой»! Веками гибли люди — большие и малые — от злой измены и черной неправды! От доносов и наущений фарисеев и карьеристов, от суровой злобы властолюбцев, кои тешили свою жестокость ими же сотворенным кумиром, жаждущим всечасно новой крови и новых слез...

## Мертвые сраму не имут

После того памятного спора с Кудимычем Фролов помрачнел и угрюмо молчал несколько дней. Что-то происходило в его душе, и Кудимыч, желая принять в нем участие, как-то поинтересовался причиной его ареста.

— Дуботепов много, товарищ Артемьев,— мрачно ответил тот.— Дуботепов и губошлепов. Да, я думаю, все это пустяки. День-два, отпустят, вины моей перед партией нет...

— Вины нет, значит, вроде как на отдых сюда определили?

— Да, может, и не арестовали бы, не пошути я так некстати,— невесело улыбнулся политрук.

— Чего ж некстати, шутка она завсегда шутка. Без шутки, я чаю, и поп не женится.

— Что дозволено попу, негоже нам, политрукам. Зашел как-то в полковую парикмахерскую. Сидят командиры, газеты читают. Дождался своей очереди, сел в кресло. Парикмахер, досужий старик, расшаркался: «Как изволите бородку поправить? Снова под Мефистофеля?» Вижу, что шутит, ну и я отшутился ему в тон. «Надоело,— говорю,— под Мефистофеля, подправьте под Льва Давидовича Троцкого...»

В камере засмеялись. И действительно, в четком его профиле было нечто похожее на профиль Троцкого, портреты которого до середины двадцатых годов висели рядом с портретами Ленина и Калинина во всех об-

щественных местах. Но мне сделалось как-то не по себе: стараться пусть даже внешне походить на Троцкого в наше время было легкомысленно и опасно...

— Ну и что же, подправили?

— Побрили и постригли по всей строгости. Пришли ночью без стука и взяли, как есть, в одной гимнастерке и без фуражки. Как я додумался прихватить с вешалки шинель — понятия не имею. «Надолго?» — спрашиваю. «Ерунда, небольшое выяснение».

— А на допросе и вам дали напиться?

— Нет, бить не били и о бороде моей ни слова, но заставили подписать обвинение.

— И вы подписали?

— А чего бы не подписать? Про завоевания русских царей говорил, про лишний штат политруков тоже говорил, тут уж не отопрешься. Да и отпираться не в моем характере. А чего ж антимонию разводить, одно и то же каждый день часами долдонить? Зачем, спрашивается, превращать наши беседы в те самые нелепые уроки словесности, какие были в армии царя-батюшки? Разве они не высмеяны в «Поединке» Куприна или в «Цусиме» Новикова-Прибоя?

— Вы понимаете больше положенного, товарищ политрук, оттого и будет вам накладно всю жизнь,— заключил Кудимыч.

— Чепуха! Дойдет мое дело до луганского слесаря Климента Ефремовича, улыбнется товарищ нарком и даст сигнал вернуть меня в часть.

— Блажен, кто верует,— еле слышно сказал Бондарец.

А лущильщик с фанерного завода Ширяев заметил:

— Наш луганский слесарь и генералов-то не сумел защитить, когда их сотнями и тыщами убирали невесть куда, оголяя армию, а тут о каком-то политруке ему доложат... Ты же сам говорил, что командира вашего полка Евстигнеева тоже арестовали. А где комиссар полка Лозовский, член райкома партии?!

— Да, обоих взяли,— сникнув, подтвердил Фролов.

— А что же твой луганский слесарь за них не вступился? Они все же полком командовали, а не ротой!

Фролов ничего не сказал.

Однажды утром, вскоре после раздачи паек и кипятка, дверь камеры с шумом открылась, и внутрь устало шагнул молодой человек лет двадцати пяти, крепкий на

вид, с необычайно развитой грудной клеткой. Воротник его русской косоворотки, когда-то белоснежной, был почти оторван и заправлен внутрь, на груди ясно виднелись подозрительные красные пятна.

В утренние часы наша камера давно уже не пополнялась, а тут появился новичок, да в таком виде, как будто его только что подобрала на улице милиция. Камера замерла от неожиданности, и один лишь Кудимыч сразу же оценил происходящее.

— Был бит и приидох?— участливо спросил он пришедшего.

— Оставьте покурить, папаша, почти неделю не курил,— вместо ответа сказал парень, с жадностью глядя на дымящийся окурок в пожелтевших пальцах Кудимыча.

Докурив «бычок», он сунулся на свободное место на полу, сладко вытянулся поперек всей камеры и, укрывшись бушлатом, тут же захрапел.

— Укатали сивку крутые горки,— промолвил тихо Ширяев.

Проспав несколько часов и подкрепившись полуостывшей баландой, парень рассказал невеселую повесть о себе.

Год назад он был курсантом Ленинградского мореходного училища. Учился с отличием, а в английском языке и в состязаниях по боксу шел первым среди курса. Прошлой весной пошли они в практическую навигацию вокруг Европы на паруснике «Вега». В конце лета не успела «Вега» бросить якоря на рейде Новороссийска, как его затребовал телеграммой замполит училища.

— Что, думаю, за поспешность? Неужели переводят в Тихоокеанский совторгфлот, куда я так просился? Но ведь я же еще мореходки не кончил. Значит, думаю, переводят во Владивосток и на плавание и на довыучку сразу. Простился с корешами, сел радостный на поезд и помчался прямым курсом на север. Явился и прямо с поезда доложил о прибытии по всей форме. В кабинете начальника сидят все наши седые «деды» в белых кителях. Лица строгие, озабоченные...

— У вас, Веснин, есть тетка в Саратове?

— Так точно, тетушка есть.

— А дядька где пребывает?

— Дядьку не помню, но, говорят, проживает где-то за границей.

— Как же вы родного дядю не знаете?

— Ни разу не видывал, товарищ начальник.

— А это что?— И замполит протянул мне новенькую блестящую копию фотографии, где я сразу узнал родную мать и тетушку, только еще в молодости. Между ними сидел черноусый моряк в кителе мичмана, а на коленях у него мальчик лет пяти в матросском костюмчике, в бескозырке с надписью «Аскольд». Что-то во мне шевельнулось очень далекое, но я не столько вспомнил, сколько догадался, что мальчишка на коленях моряка — это я сам.

— Что, узнали себя? Вспомнили?— спросил замполит.

— Да, но этой карточки я в жизни не видел.

— Будет вам выкручиваться, Веснин. Вы были отлично осведомлены... Понимаете, товарищи,— обратился мой обвинитель к остальным,— типичный перебежчик, изменник Родины, служил на крейсере «Аскольд» боцманом. В восемнадцатом году, когда «Аскольд» находился в Мурманске, вся команда крейсера вернулась в Петроград, и лишь кучка изменников осталась на борту, чтобы сдать крейсер англичанам. Через год судно увели в Англию на слом. Лошак — дядя его — помогал англичанам разоружать свой же крейсер в Ливерпуле, а затем этот изменник переехал в Данию, в Копенгаген, где обзавелся магазином и ведет ныне паразитический образ жизни. Вот его письмо! Читайте, курсант, оно адресовано прямо вам.

Я начал читать про себя.

— Читайте вслух,— потребовал замполит.

«Моя милая сестрица Фрося,— писал мой заграничный дядя моей же тетушке в Саратов,— благодарю господа нашего Иисуса Христа, что наконец-то я тебя разыскал. Спасибо, помогли добрые люди. Ты пишешь, что той карточки, где мы снимались в конце 1916 года, у вас не сохранилось. Посылаю копию с моего уцелевшего экземпляра. Пошли ее Мишеньке в училище. У них, вероятно, будет навигационная практика, и они, конечно, заприбудут в наш Копенгаген. Ах, Мишенька, как хотелось бы на тебя поглядеть! Загляни, не обидь старика. Мой адрес: Копенгаген, площадь Андерсена, табачная лавка Мартирсон-Лошак. Эмма Мартирсон — моя жена. Как только ты покажешь сию карточку, тебя примут, как родного сына. Если же пойдете Кильским каналом, дай мне депешу, и я немедленно приеду в Киль или Гамбург. Да хранит тебя бог.

Твой любящий дядюшка Матвей Лошак. Мая 4, 1936 г.».

По прочтении письма больше всего был ошеломлен я сам.

— Как видите, товарищи моряки, преступное письмо от тетушки из Саратова запоздало на целый месяц, и шпионская встреча курсанта Веснина с изменником Родины Лошаком не состоялась.

— А может, и состоялась? Надо бы проверить,— сказал самый молодой из заседавших, работник газеты «Моряк».

— Скажите, Веснин,— участливо спросил начальник училища,— зачем вы скрывали в анкете, что у вас есть родственник за границей?

Сочувствие в голосе начальника подбодрило меня.

— Я не знал, товарищ начальник! Честное слово курсанта!

— Неужели мать вам не говорила, что ее брат когда-то остался за границей?

— Мать как-то говорила, но все было так давно, около двадцати лет назад, все думали, что его и в живых-то нет. Ведь он никогда нам не писал... С чего было думать о нем? И в голове у меня никогда не было этого дядюшки. Зачем же мне страдать из-за родственника, которого я совсем не знаю? Разве из меня, товарищ начальник, получается плохой моряк?

— Ну какой из вас советский моряк, если вы лжете в своих анкетах!— воскликнул замполит.

— Я не лгал, я ни о чем не знал!

— Теперь неважно, Веснин, знали вы или не знали,— строго сказал уже сам начальник.— Важно то, что дядя вас искал и нашел-таки! А где гарантия, что это одно лишь родственное чувство? Держать вас в училище мы больше не можем...

А дальше все пошло как при попутном ветре. Наутро отобрали комсомольский билет и заочно исключили из комсомола... Что было делать? Поехал домой, поступил машинистом на лесопилку. Работаю, песни пою, занимаюсь спортом. На жалобу об исключении из училища получил отказ. Написал лично Сталину, и тут вместо ответа пришли двое и забрали... Как надрывалась мать, проклиная не ко времени объявившегося заграничного братца!

— А отец?

— Отца не помню. Погиб в империалистическую за год до революции. Мне тогда и пяти лет не было...

— Ну а дальше?

— А дальше — вот.— И Веснин наклонил голову и, загнув на шее косоворотку, обнажил исполосованную спину.

— Расскажи подробнее.

— Да что тут рассказывать, едва ли это интересно. Недели две по ночам пытали, где я храню секретный шифр, будто бы полученный мною от заграничного дяди в Киле, хоть мы там и не стояли. Допытывался какой-то Кобелев или Ковалев, лез с кулаками, да не на того напал...

— Сдачи дал небось?

— Всунул ему разок прямым в подбородок — он и сел, как грот-мачта. Дружок его водой отпаивал.

— Понятно теперь, за что тебе насыпали полную спину отбивных,— вставил кто-то.— А потчевал тебя кто, если ты Ковалева свалил?

— Вбежало сразу еще трое... Сила солому ломит. Поначалу я было кинулся врукопашную, а кто-то сделал подножку и давай скопом забавляться с лежачим... Кончилось дело карцером, так мокрого туда и сунули, после обливаний. Трое суток там пробыл, ни встать, ни сесть, ни лечь... Отощал, измерзся, обессилел. Вывели из карцера, поволокли, как мешок, к какому-то Скуратову. На столе, рядом с моим «делом», миска с баландой горячая, пар идет. Тут же хлеба кусок, непочатая пайка. Подписывай, говорит, Веснин, с миром, без драки, похлебай горячего, и делу конец. А иначе смертный бой. Мы, говорит, никому не дадим калечить следственные кадры. Вижу, у дверей стоят мои мучители, у одного в руках плетка из скрученных проводов, у другого валенок...

— И Ковалев с ними?

— Нет, того кобеля не было... Что, думаю, делать? Покалечат на всю жизнь, если не подпишу. Давай, говорю, твою мерзкую кляузу, и катитесь вы от меня... Все равно на этом свете доли не будет, крысы лабазные!

— Подписал, значит?

— Подписал, едри их в глотку!

— Сам, значит, признал себя шпионом?

— Насчет шпионства Скуратов немного смягчил. Написал в протоколе, что я скрывал о родственнике за границей и всемерно искал с ним тайной встречи.

— А как баланду?

— Схлебал в один миг. Зачем добру пропадать...

Потом уж мы догадались, что перевели его к нам, чтобы подействовать на нашу психику: любуйтесь и знайте — с вами может случиться то же, если будете упираться...

Сколько разных людей и разных судеб прошло через нашу камеру, и только через одну из сотни! Вот хотя бы Ширяев. Он, как и Бондарец, был среди нас не из разговорчивых. Этот сорокалетний рабочий-коммунист больше прислушивался к разговорам и спорам и ограничивался лишь короткими репликами или вопросами. О себе он тоже рассказывал немного, но достаточно ясно.

Ввели его в камеру под вечер в конце октября и в первую же ночь вызвали на допрос. Утром, увидев его поникшую, стриженную под машинку, седоватую голову, я решил спросить, за что его взяли.

— Выступал против стахановского движения...

— Как это, где выступал?— опешил я.

— Выступать-то я вроде не выступал. Это у следователя в обвинении так записано.

Его «дело» выглядело так же, как и большинство «дел», наскоро состряпанных в те годы. Добро, которого он желал и добивался, ему поставили во зло.

На Парфинском фанерном заводе, раскинувшемся на левом берегу Ловати, в десяти верстах от городка, Ширяев проработал более десяти лет. Сначала рядовым лущильщиком, потом помощником мастера и года два был уже мастером цеха. Он коротко посвятил нас в таинства фанерного производства, и этот рассказ убедил нас в том, что Ширяев великолепно знал и организацию и технологию любимого им дела.

«Преступление» Ширяева зародилось еще в начале бума стахановского движения, когда не только отдельные отрасли промышленности, но буквально все фабрики и заводы всех наркоматов стремились завести у себя своего Стаханова. И неважно, что только один, а не большинство рабочих будет работать по методу Алексея Стаханова, одного для отчета достаточно...

На Парфинском заводе тоже вскоре появился свой стахановец — лущильщик Пухов, который стал давать две нормы, но с помощью... десятка подсобников: ему подкатывали лучше распаренные и окоренные чураки, немедленно убирали отходы из-под станка, а если станок начинал «дурить», рядом стоял запасной, специально для него. Пухов давал более двух норм выработки,

тогда как остальные лущильщики не всегда давали и норму, и эти обстоятельства приводили к ропоту и порождали между рабочими нездоровые взаимоотношения.

— Я внес ряд конструктивных предложений, внедрение которых могло бы коренным образом изменить процесс лущения и удвоить производительность всего цеха, то есть сделать стахановское движение у нас массовым и надолго. Но в дирекции и в парткоме мне сказали, что моя «затея» требует дополнительных затрат, много хлопот и времени, а им надо поскорее. «Вы лучше добейтесь, чтобы при той же технологии в цеху было больше стахановцев!»— учили меня там. А как же добиваться, если чураки из окорочной поступают с перебоями и некачественные? У лущильщика половина времени уходит на доделку чураков, прежде чем он вставит его в суппорты и выдаст шпон. А Пухов уже «гремел» по всему Фанертресту, дирекции это льстило, однако общая выработка завода не увеличивалась...

— Потемкинские-то деревни у нас на Руси введены еще при матушке Екатерине Второй,— не удержался от замечания Кудимыч.

— Дело дошло до того, что меня чуть не исключили из партии,— продолжал Ширяев.— Но тут прибыл новый директор Трутнев, и он вскоре внедрил мои старые предложения. Только забыли, что это я предлагал. Я уже был у кого-то на заметке как смутьян...

Странное дело, кого в нашей камере ни возьми, каждый был скорее передовиком и новатором, нежели консерватором. И уж ни в коем случае не вредителем, не врагом.

Нет худа без добра: никогда я, вероятно, не узнал бы столько хороших людей и столько сломанных судеб, если б не сидел за решеткой заснеженного окна, и если б не эта решетка, я бы еще ох как не скоро утратил бы свои иллюзии.

...Бывший ветеринарный врач Бондарец еще реже Ширяева вступал в общие беседы и большей частью пребывал в грустной задумчивости, часами сидя не шевелясь и ни на что не реагируя. На допросы вызывали его довольно часто, нудно выпытывая, не связан ли он с группой арестованных в разное время руководящих работников района, якобы вредивших в сельском хозяйстве по заданиям каких-то правых уклонистов. Не однажды возвращался он с допросов истерзанным духовно и физически, но никаких протоколов не подписывал.

В его районе, видно, что-то произошло такое, что смягчило его участь, потому что неожиданно ему разрешили получить передачу.

В тот день мы устроили в камере настоящий пир. Каждому досталось что-нибудь от вольной пищи, да сверх того все курильщики надымились до одури свежей махорки. На отобранные при аресте деньги на следующий же день Бондарец принес в подоле плаща булок и сахару. А еще через несколько дней его вызвали из камеры с вещами; уехал ли он домой или попал в очередной этап, я не знаю. Он как в воду канул, хотя мне хочется думать, что его освободили тогда. Редчайший случай...

## Новости с воли

В самом конце октября, когда нас в камере было уже шестнадцать и в разбитое окно то и дело забрасывало пушистый снежок, к нам привели еще двоих.

— Принимайте пополнение!— гаркнул веселый надзиратель.

— Да у нас и без того перебор!

— Теплее будет... Небось не у тещи на даче.

Обычные разговоры на минуту затихли. Все воззрились на новичков: одни — из присущего всему живому любопытства, другие — из чисто меркантильных соображений — не богаты ли пришельцы табачком и спичками?

Первый из новоприбывших, пышущий здоровьем чернобровый человек средних лет, заметно удивился, увидев перед собой скопище мрачных, обросших мужиков в затасканной одежде, сидевших на полу, подпирая спинами стены. Второй, уже в летах и повыше ростом, робко топтался у самого притвора позади чернобрового, поглядывая на нас из-за его плеча и теребя свою бородку и пышные усы.

Когда дверь камеры со звоном захлопнулась, оба вздрогнули и машинально оглянулись назад. Нескрываемый испуг появился на их лицах. Оба тяжело вздохнули и шагнули к нам.

Первого из вошедших я узнал сразу. То был Иван Маркович Яшин, инженер нашего курорта, активный общественник. Он нередко заглядывал к нам в редакцию с интересной заметкой, и мы охотно его печатали. Спутника его я, казалось, тоже где-то встречал раньше...

— Добро пожаловать, товарищи по горю-злосчастью!— приветствовал их Кудимыч и, обведя всех нас глазами, решительно добавил:— Придется маленько потесниться, земляки!

Все задвигались, уплотняясь,— подальше от двери...

— Здравствуйте, товарищи!— ответил Яшин, сворачивая пальто и пристраиваясь почти у самой двери.

Его спутник присел напротив, в полутора шагах от параши, продолжая озираться на дверь и косясь на «ночной туалет». Впрочем, «ночной»— выражение неверное, потому что пользовали мы его в течение всего дня, от утреннего до вечернего выхода «на оправку»...

Стараясь не привлекать внимания Яшина, я гадал, узнает ли он меня, остриженного под машинку, с рыжей щетиной на отекшем лице и без очков, которые я носил постоянно.

Так и сидели мы, обмениваясь взглядами, пока Яшин вдруг не просветлел в улыбке:

— Иван Иванович?!

— Увы и к сожалению — это именно я.

Он стремительно поднялся и бросился ко мне с протянутыми руками. Я встал, и мы сердечно поздоровались. Стало тихо, все пытливо смотрели на нас.

— Вот не ожидал встретить вас в такой обстановке!— говорил между тем Яшин, опускаясь напротив меня.

— Мир тесен, товарищ Яшин, а пути господни и планы чекистов неисповедимы,— пошутил я.— Что нового на нашей праведной земле и почему вы так удивлены? В городе небось знают, что я в тюрьме уже более двух месяцев?

— Знать-то знают, да думают, что вас давно и в живых нет.

— Что так мрачно?

— Земля слухом полнится... Недели через две после вашего исчезновения просочилось из тюрьмы, будто вы признались в принадлежности к антисоветской группе, возглавляемой Кузьминым. Ну и надумали люди, что и вас в живых нет...

— А что Кузьмин, разве умер?— не решился я употребить более точное слово.

— Да, поговаривали, что всю их «контрреволюционную группу» осудили заочно и расстреляли... А точно никто ничего не знает. В вашей «Трибуне» сообщений не было.

— А что с Мировым? Известно ли что о Лобове и Арском?

— Никаких данных, глухо, как в могиле.

— О Карелине ничего не слышали? Я спрашиваю потому, что он на партсобрании выступал тоже в их защиту.

— Знаю, что исключили из партии и освободили от работы.

— Это за что же? Ведь ему всего лет двадцать.

— За поддержку врагов народа и сочувствие темным элементам... Что же еще придумать?

— И что же с ним теперь? Где устроился? Ведь он прекрасный наборщик...

— Говорили, уехал в тот же день то ли в Сибирь, то ли на Мурман. Надо, говорит, менять адрес, покуда не переменили за казенный счет...

— С умом парень! Этот не пропадет!— сказал я, невольно вспомнив совет Василия Кузьмича о выезде в Ленинград.

— Нет уж, Иван Иванович,— возразил Артемьев,— ежели и он попал в «черный список», так все равно схватят. По паспорту найдут. Начнет прописываться — тут ему и мышеловка!

— Авось не везде догадаются!

— Ну а как газеты, журналы, радио? Что пишут, о чем говорят? Нашли ли Леваневского? Чем кончилось в Испании? О чем шумит новый пророк Европы Адольф Гитлер?..

Яшина жадно слушали все. В камере стало так тихо, что слышалось посапывание прибывших с ночного «дозора», уткнувшихся в свои пожитки и спящих под завывание ветра в решетчатом окне.

Торопливо рассказывая, Иван Маркович в возбуждении достал папиросы, на которые сразу устремился десяток глаз, а политрук выразительно кашлянул и требовательно воззрился на меня. Заметив нашу сигнализацию, Яшин замолчал, удивленно подняв брови и нерешительно протягивая в нашу сторону пачку «Беломора».

— Тут у нас вроде коммуны, Иван Маркович,— пояснил я.— С табаком приходится туго, вот мы и ввели рациональное потребление. Все курильщики обязаны сдавать свои излишки курева мне, как ветерану камеры. И курим мы, по бедности и в бережение здоровья, не чаще пяти раз в день, по цигарке на троих. Так что вы уж покурите один в последний разок, а папиросы ваши позвольте натюрмализировать.

Взяв у него драгоценную пачку, я спрятал ее за спину, в то время как мои товарищи жадно втягивали ноздрями ароматный дымок папиросы.

— А что значит «натюрмализировать»? Слово-то какое...

— Реквизировать в пользу обитателей сей тюрьмы.

— Всей тюрьмы?!

— Нет, только нашей камеры. Всю тюрьму не оделишь...

— Тогда забирайте и эту.— Он пробрался на четвереньках к своему месту, вынул из пальто полную, но прозеванную при обыске вторую пачку и отдал мне. Я спрятал и эту.

— Стало быть, перебоев с табачком не бывает?

— Еще как бывает! Поживете — увидите,— ответил за всех Кудимыч, а словоохотливый Шигуев добавил:

— Всякое бывает, приятель: то табаку нет, то бумаги. Ведь не все здесь курящие, а те, что курят, не носят недельного запаса в кармане...— И со вздохом сожаления он добавил:— Если бы энкавэдэшники предупредили об аресте хоть за день, каждый курильщик запасся бы махоркой на месяц!

— И сухарей насушил бы мешок?!— съязвил кто-то.

— Без сухарей можно прожить, а без курева в тюрьме нельзя.

— Предупреди тебя об аресте, так ты и будешь ждать да запасаться продовольствием! Экое отмочит иной полудурок!— сказал Артемьев, искоса поглядев на Шигуева.

Кто-то фыркнул от смеха, а Шигуев сначала вроде обиделся, потом одумался и тоже засмеялся:

— Действительно полудурок! Стал бы я ждать этих бобиков!

— С бумагой хуже, чем с махоркой. При обыске махорку оставят, а бумагу отберут. Если газета, то порвут на мелкие лепестья,— посвящал в таинства тюремных порядков Фролов.

— А это зачем? Ведь курительные принадлежности, я слышал, даже в царских тюрьмах проносить разрешалось...

— То в царских, а тут в пролетарских. Здесь никаких правил нет, дорогой товарищ! Тут вся сила в бесправии...

— А как же тогда без бумаги?

— А вот так!— Шигуев достал из-за спины свою кепку и, тряхнув пустым тряпичным козырьком, стал

разъяснять:— Картонка выручает, особливо толстая. Расслоим ее на тонкие пленочки, и нам сам черт не брат. Хоть и воняет не приведи господь, зато есть во что завернуть. Папиросные мундштуки тоже не бросаем, оставляем впрок. Живем!

Только Кудимычевы запасы еще в самом начале мы оставили неприкосновенными. Был при нем холщовый мешочек и в нем фунта два сибирского самосада, настолько крупно рубленного, что горящую цигарку распирало изнутри. Когда он курил, мы поворачивали носы по току его табачной струи, медленно тянувшейся в выбитое окно. Попросить у него на цигарку никто не решался, зная, как дорога для него каждая крупинка. Папирос он не курил.

— Силы в нем нет, в папиросном, а этот и родным домом пахнет.

Но как ни дорог был родной дымок, Артемьев, при доброте своей, затянувшись глубоко раза четыре, передавал свою самокрутку по кругу, и каждый успевал сделать маленькую, но едучую затяжку. Где-то закупил он старые номера «Литературной газеты» и заворачивал цигарки только из нее!

— Бумага в ней вроде как потоньше — все-таки эстетика,— шутил Кудимыч.

И действительно, хотя остатки ее и были все порваны на мелкие клочья и слежались за пазухой, «Литературка» казалась мягче любой закрутки.

Когда табачная тема была исчерпана, я попросил, чтобы Яшин продолжил информацию о городских новостях и поведал о своих «злодеяниях».

Докурив папиросу, он рассказал, что всю осень в городе и районе аресты продолжались, не замедляя темпа.

— Стоит появиться в печати критической заметке о ком-нибудь, глядишь, того и нет, будто провалился. Многих руководителей похватали, да и не только руководителей...

Он обернулся на своего молчаливого товарища:

— Вот, например, мой спутник. Это старший садовод-цветовод паркового хозяйства комбината Егор Иванович Пычин, а две недели назад был арестован слесарь курорта Розенберг... Так что и рядовых тружеников метут, которые посмелее и языкастее...

— Рядовых работяг забрано не в пример больше, потому что одной интеллигенцией дорог да каналов не настроишь,— мудро заметил Кудимыч, значительно огля-

дывая всех, как бы давая понять, что аресты производятся не без понятия, не валом.

— В начале октября,— продолжал Яшин,— прошел пленум райкома партии, о котором «Трибуна» рассказывала в обзорной статье. Автор писал, что этим летом и осенью по клевете карьеристов и перестраховщиков исключено из партии около двухсот коммунистов района. Большинство их, видимо, арестовано, так как апелляции поступили от немногих. «Где остальные? Что с ними? — спрашивал автор и сам отвечал:— Неизвестно». Из сорока клеветников привлечены к ответственности единицы... «К суровой ответственности клеветников!»— призывал автор обзора... А аресты все идут...

— У них ведь тоже, поди, соревнование,— вставил кто-то.

— А то как же: кто бдительнее, тот и передовой, тот, значит, и у должности. Всякому охота за власть подержаться...

— Теперь что же, прикажете арестовывать клеветников? А потом тех, кто арестует?— спросил Кудимыч и сам себе ответил:— Так и конца не будет... Нет, без провокаторов и доносчиков самовластного государства еще не бывало. Без них никакой диктатуры и быть не может, а у нас ведь диктатура...

Яшин внимательно посмотрел на Артемьева и, подумав о чем-то, обратился ко мне:

— А этот мудрый человек правду говорит. Мне вспомнился недавно разговор со вторым секретарем райкома Горевым...

— Разве Горев сейчас в аппарате райкома?

— Да, его избрали в конце августа, кажется, еще на том пленуме, когда исключили из партии вас.

— О чем же вы говорили?

— Я как-то был у него по делу, и в задушевной беседе зашел разговор об этих самых бдительных, наломавших немало дров. Я спросил его, почему не привлекают этих товарищей и не сажают взамен тех, кто безвинно попал в тюрьму.

— И что же он вам ответил?

— Горев неожиданно для меня признался, что есть указание сверху: быть поосторожнее с привлечениями за клевету. Они, дескать, действуют из патриотических побуждений, из стремления очистить нашу партию и район от врагов народа... А что много арестовали безвинных, так с этим разберутся в свое время и выпустят...

— По нашей тюрьме что-то незаметно, чтобы очень торопились с разбирательством. Совсем незаметно.

— А зачем выпускать? Это было бы признанием незаконных действий органов НКВД,— вставил долго молчавший Ширяев.— Выпускать — значит и восстанавливать людей на их прежних должностях, а они уже заняты новыми деятелями. Эти уже вцепились в освободившиеся кресла, как клещи. Не-е-е-т,— протянул он,— тут не так просто, как кажется. Все они будут держаться за власть, особливо активно голосовавшие, бдительные...

— Ну а как руководят новые, севшие на места арестованных?

— А вот так: Трофимова, занявшего место Тарабунина, недавно сняли с работы за развал в сельском хозяйстве...

— Вот те на! Как же так получается?— удивился я.— Весной и летом и в предыдущие годы все беды в районе сваливали на Кузьмина и Тарабунина да на секретарей райкома, как на вредителей и врагов! Выходит, что и новые не справляются с задачами?

Яшин махнул рукой:

— Смена и аресты руководителей для сельского хозяйства как для мертвого припарки...

Вслед за этой новостью Иван Маркович огорошил меня еще одной, столь же нелепой, как и страшной по своим последствиям. Всего дней десять назад вдруг исчезла средь бела дня Мария Федоровна Шульц, жена бывшего второго секретаря райкома Васильева.

— Как это вдруг исчезла?

— А милиция куда смотрит?— возмущался внимательно слушавший бывший политрук, а я живо вспомнил эту деловую симпатичную женщину, всегда приветливо встречавшую нас в районном Доме просвещения, где она работала методистом.

А было, по словам Яшина, так. Шла Мария Федоровна в обеденный перерыв домой — у нее шестимесячный ребенок и дочка-второклассница,— шла с одной своей знакомой-попутчицей, а после того, как каждая повернула в свою сторону, откуда-то выскочила черная машина и с визгом притормозила у тротуара. Как будто она подстерегала свою жертву. Открылась передняя дверца, и кто-то из сидевших внутри крикнул:

— Мария Федоровна, войдите в машину на минутку.

— Зачем я вам понадобилась так спешно?

— Нужно немедленно выяснить один вопрос, связанный с вашим мужем,— ответили ей.

— Разве нет другого времени и места для таких разговоров?— спросила Шульц, узнав в говорившем Бельдягина.

— Так случилось по пути, вот и решили прихватить вас.

— Ведь я на работе и еще не обедала... Да и дети дома голодные...

— Не беспокойтесь,— продолжал хозяин автомобиля и, проворно выскочив, услужливо отворил заднюю дверцу:— Прошу вас, мы проедем к тюрьме на несколько минут, а потом отвезем вас обратно, к дому.

Шульц с минуту потопталась на месте, подумав о муже, оглянулась по сторонам и, заметив за углом притаившуюся спутницу, нерешительно вошла в машину. Дверца глухо хлопнула, и черный автомобиль рывком взял с места и запылил к Соборной стороне... Все это видела и слышала ее попутчица. Потом был слух, что грудного ребенка арестованной она взяла к себе. А старшую девочку поместили в детский дом. Квартира осталась опечатанной, как после покойников.

Забегая вперед, скажу, что М. Ф. Шульц сначала обвинили в шпионаже в пользу немцев, желая «подвязать» ей самостоятельное «дело», как немке по происхождению. Затем, после того как ее мужа убили в тюрьме, сослали в женский Соликамский лагерь, как члена семьи изменника Родины, где она пробыла десять лет. По отбытии срока, установленного ленинградской «тройкой», Шульц около десяти лет была в ссылке и только после XX съезда партии вернулась оттуда и восстановлена во всех правах... Работала в Старорусском исполкоме и жила с усыновленным во время ссылки мальчиком, так как ей еще в лагере стало известно о гибели ее детей во время войны. Марию Федоровну в последний раз я видел в 1967 году, видел и ее приемыша, уже взрослого и женатого человека лет тридцати пяти...

Итак, на воле творилось небывалое в истории Советской власти. И это только в небольшом городе с 30-тысячным населением, только в одном районе Ленинградской области...

Рассказы Яшина сильно понизили и без того подавленное настроение моих товарищей. Что же происходит в милом нашем Отечестве? Неужели и Центральный Комитет не ведает ни о чем? Не могут же бложисы, бельдягины и вороновы творить беззакония длительное время по своей собственной инициативе?! Как понять, как разобраться в происходящем? Или местные власти действуют по образу и подобию центров и самой Москвы?

# Глава шестая

То не беда, коли во двор взошла,
А то беда, как со двора не идет.

Пословица

Правда истомилась, лжи покорилась.

Пословица

## Пытки без пыток

Изо всех моих соузников одному только Фролову удалось избежать «благословления по мордасям». Остальные напробовались досыта или знаменитой «собачьей стойки» в угол носом всю ночь до утра, или кулаков, или валенка, или порки скрученными проводами. Для особо упорствующих или строптивых применялся еще и карцер. А те, кто совсем отказывался отвечать на провокационные обвинения, в конце концов были замучены до смерти или убиты.

Пыткой, не менее утонченной, было и одиночное заключение, в течение которого психика подследственного медленно подготавливалась к неизбежному признанию не содеянной, но вменяемой ему вины. Особенно сильно влияла одиночка после длительных физических мучений, когда следователь методически вбивал в голову обреченность и бесполезность дальнейшего упорства и сопротивления. «Все равно тебе не удастся ускользнуть, все равно замучим, все равно, признаешься или нет, пойдет твое «дело» на «тройку», и ты получишь свой срок. Из «ежовых рукавиц» никому еще вырваться не удавалось».

Далее, чтобы «дожать» подследственного, его помещали в переполненную до отказа камеру, то есть в такие условия, при которых ни одно животное не выдержит.

За несколько дней до юбилея Великой Октябрьской революции наша камера, как и все прочие, кроме одиночек, была набита битком. Вскоре после прихода Яшина и Пычина к нам водворили еще двоих, фамилий которых я не припомню, и, таким образом, в день двадцатилетия Октября число «прописанных» в ней стало символическим — ровно двадцать человек!

Это количество почти не изменялось до самого последнего дня моего пребывания в Старорусской тюрьме. На место уходивших на этап почти на другой же

день прибывали свеженькие, как будто они где-то поджидали своей очереди.

Когда нас было не более шестнадцати, еще можно было спать — пусть не в развалочку и не на спине, но когда народу еще добавилось, предуготовление ко сну стало проблемой.

В камере я считался старшим по праву старожила, и потому ко мне обращались взоры моих сотоварищей, когда дело приближалось к ночи.

— Решайте задачу, Иван Иванович.

А задача была не из легких: на площади десять квадратных метров предстояло улечься двадцати взрослым мужчинам разным по возрасту и объему, не говоря уже о многолетних привычках каждого спать по-своему: на спине, на животе или поворачиваясь с боку на бок. Одни безудержно храпели, тогда как другие до болезненности не выносили чужого храпа. Иной к храпу был совершенно равнодушен и мог спать хоть под пушечную канонаду, зато не уснет, когда рядом с ним «впритирку» кто-то ворочается. Один не может спать подогнув колени, а другой и не представляет себе сна иначе как свернувшись калачиком.

Было невообразимо тесно, так тесно, что даже когда мы наконец укладывались на одном боку «валетами», как сельди в бочке — голова одной к хвосту другой,— одному человеку все равно не хватало половины квадратного метра у самой двери. Эту площадь занимала параша.

— Что же,— философски рассудил кто-то,— будем соблюдать очередь, то есть одному сидеть на параше в качестве дежурного минут сорок — пятьдесят.

— А как же если по нужде?

— Вставать надо будет, это все же не кресло, а нужник, ничего не поделаешь. Тут рядом с ней как раз местечко для двоих постоять...

Когда нас было чуть больше дюжины, в камеру нам сунули еще три постельника с трухой, и они у нас были разложены вдоль продольных стенок, как раз по два матраца у стены. Днем на них сидели, а ночью они превращались в подушки для десяти голов с каждой стороны.

Так каждую ночь устанавливалось безотказное дежурство на параше по часу или два, в зависимости от договоренности и исключая тех, кого вызывали на допросы.

То были поистине мучительные ночи, забыть которые, пока жив, невозможно.

...Два часа пополуночи. Весь острог погружен в тревожный сон, и лишь в казематах административного корпуса идут интенсивные допросы один на один, и там не до сна...

На дощатом полу камеры спят плотной массой, повернувшись на один бок, девятнадцать полуголодных узников. Девятнадцать сильных, трудоспособных мужчин — отцов, братьев, женихов, сыновей. В головах у них кусок вонючего постельника, поверх которого, у стены, сложены пожитки: обувь, смена белья в мешке и другие личные вещи, если было время их взять. Я вот ничего не имел, прибыл сюда «на день-два». Одна рука вытянута вдоль тела поверху, другая плотно зажата в неестественном положении где-то под боком на полу. Кто-то уже храпит, а сосед его тяжело вздыхает. Кто-то пытается повернуться на другой бок, но, стиснутый со спины и груди, стонет от бесплодных усилий и постепенно замирает...

Рядом с дверью, на параше, на фанерной ее крышке, дремлет, притулясь к стене, очередной дежурный, несущий принудительную вахту. Или он не спит? Тогда о чем думает этот горемыка, изредка окидывая взглядом спящих, вдыхая испорченный воздух, густо идущий снизу? Думает ли он о том, сколько вот здесь рядом, и за стеной, и за сотнями других стен, во всех тюрьмах, упрятано напрасно цветущей силы, сколько неоткрытых талантов и дарований пропадает зазря? Может быть, это и есть самый даровитый и самый сильный народ из всего народа русского? Ведь сюда калек и уродов не берут! Так за что же, за что он гибнет здесь ненормально, незаконно, бесчеловечно, безвозвратно?!

Или этот дежурный думает о своей семье — несчастной и униженной семье врага народа? Или размышляет о напрасно прожитых годах и безрадостном своем будущем? Кто знает, о чем думает сидящий на параше узник, оторванный от своей среды, привычек, любимой специальности, от общества, без которого человеческая жизнь невозможна!

Но вот ему кажется, что пришло уже время будить смену. Поднявшись, он вытягивает изомлевшее, усталое тело, осторожно, чтобы ни на кого не наступить, пробирается к сменщику, на чье место он может лечь, и будит его осторожными толчками.

— А?! Что? Что такое? — вскрикивает спросонья человек, не поднимая головы.

— Тише ты, не шуми! Твоя очередь... Вставай!

Разбуженный сменщик с трудом вытаскивает себя из живых клещей и не успевает еще выдернуть с пола свою подстилку, как образовавшаяся щель мгновенно смыкается: тела его соседей, почуяв послабление, занимают желанную пустоту. Отдежуривший бесцеремонно расталкивает, ворча, «этих развалившихся господ», впихивает между ними свою подстилку, а затем и сам ввинчивается ужом в плотную массу тревожного сна...

Не успел новый дежурный оправиться и присесть на свое сиденье, как кто-то уже поднимается и полусонно пробирается к двери по малой нужде... За ним другой, третий, четвертый... Двадцать человек, утоляющие свой желудок главным образом жидкостью, поднимаются к параше не менее двух раз в ночь, тревожа дежурных. Под утро из банки начинает валить зловонный пар. Тяжелый запах мочи к утру пропитывает всю камеру... Как хорошо, что разбиты стекла!

А сколько раз за долгую ночь услышишь, бывало, и грубую ругань, и болезненный стон, и бессвязный бред, и истошный вскрик от того, что человеку приснился обещанный следователем жуткий допрос... Но и такие ночи редкость. Чаще всего вскоре после отбоя откроется с грохотом дверь и темно-синий мундир громко вызовет кого-нибудь на допрос. На этот окрик просыпаются все, в ужасе ожидая услышать свою фамилию. Вызванные возвращаются или скоро, или под утро. Но возвращаются всегда в сопровождении железной музыки дверных петель и ночного грохота двери, и снова все просыпаются, вопрошающе уставясь в приведенного: цел? Не шибко избит? Не изувечен? Сам пришел или приволокли?..

И так в каждой камере, во всей тюрьме, и в каждой из тюрем...

Часа в три, когда от неестественного положения спать становится невмоготу, раздается чья-то команда: «Переворачиваться!» Кряхтя и матерясь втихую, все поднимаются, толкаясь и сонно качаясь, и, повернувшись на сто восемьдесят градусов, снова укладываются на другой бок в два плотных ряда и снова засыпают. И так из ночи в ночь, неделями и месяцами продолжается эта не менее мучительная, чем побои и одиночка, пытка...

Сколько может выдержать такой режим нормальный человек? Неудивительно, что даже самые выносливые и

стойкие арестанты, будучи ни в чем не виновными, довольно быстро «созревали» для признания в самых невероятных преступлениях, правильно решив, что хуже этого не будет нигде. Куда угодно, в любую Сибирь, на любую каторгу, хоть в преисподнюю, хоть к самому черту на рога, лишь бы поскорее выбраться из этого тюремного кошмара на вольный воздух холодного Отечества...

Утром, когда доходит очередь до нашей камеры, открывается дверной глазок и раздается привычная команда: «Подъем!» Поднимаемся, спешно собираем и укладываем на место свои измочаленные пожитки, готовясь к выходу в туалет-умывальник. Сейчас загремит дверь и прозвучит другая команда: «Выходи на оправку!»

Обитатели каземата, перегоняя друг друга по гудящему стальному полу галереи, мчатся в нужник.

— Тише, тише, не нажимай, как бы кто на ходу не сделал,— осаживает благодушно настроенный надзиратель.

— А с чего накопиться-то? Кормите не густо,— ответит кто-нибудь на бегу и проскочит в туалет.

— Пустите меня, ребята, мочи нет с этой баланды!

Пока моя камера была одиночкой, я мыл пол не чаще раза в неделю. С появлением первых товарищей последовал строгий приказ выполнять правила. И маленькое наше узилище весело и тщательно каждое утро вымывалось без особых хлопот. Теперь же, когда нас стало два десятка, утренняя уборка превращалась в забаву...

Едва прозвучит вызов на оправку, как два очередных мойщика с натугой отрывают от пола наполненную почти до краев трехведерную бадью и несут ее со всей осторожностью, чтобы не пролить, по галерее, к отхожему месту. Опорожнив и сполоснув как следует посудину, наливают в нее из-под крана холодной воды и тащат назад.

Вместе с парашей надзиратель водворяет обратно и всех обитателей камеры, обязательно пересчитав:

— Давай, давай, ходи веселее!

Снова втиснувшись в десять квадратных метров, все девятнадцать жмутся к одной стене, перетащив туда и матрацы, и свое имущество. Двадцатый же, засучив рукава и подобрав до колен брюки, босиком начинает мыть свободную часть.

Он трудится в поте лица, а остальные зубоскалят:

— Премию хочет получить от товарища Воронова!

— А что — получит. Воронов — он деятель добрый.
— Здесь заработал, а в Сибири выдадут!
— В Сибири всем выдадут!

Когда вымытая и вытертая половина подступает к нам, поломойщик торжественно предлагает:

— Прошу переходить на паркет!

И мы перебираемся на вымытую сторону, перенося и все наши пожитки.

— Хорошо помыто, ничего не скажешь,— похвалит кто-нибудь из нас.

— А ведь бабе своей дома никогда бы не стал мыть, не помог бы...

— Не мужское это дело...

Иной вдруг покритикует:

— Тереть потуже надо и отжимать! Нечего халтурить! Это тебе не в колхозе поденку отбывать.

— Я как раз не колхозник.

— Все равно поденщик...

Другой подскочит и шлепнет мойщика по тощему заду:

— Хороша бабка, только тоща и зря портки надела.

— А ну вас всех к черту! И без вас тошно,— беззлобно огрызнется поломой.— Вот как мазну этой тряпицей по физии! — И взмахнет в сторону насмешника мокрой тряпкой. Все шарахаются в поддельном испуге и шутят еще солонее.

Но вот некрашеный пол вымыт и вытерт, и дневальный смело стучит в окованную дверь:

— Господин Цербер, отворите, чтоб выплеснуть и помыться!

Если в эти минуты на галерее нет никого из заключенных других камер, надзиратель лязгнет ключом, выпустит дневального, который вынесет с напарником парашу, и вот она, наша матушка-выручательница, как мы ее называем, снова со звоном водворяется на свое место, то самое, где внизу сохранилась трагическая надпись, в отчаянии нацарапанная Пашей Лобовым: «И вы, звери, умрете!»

## Шмоны и закосы

Обыски, или шмоны, как их называют во всех местах заключения, происходили не реже раза в неделю и в самое различное время. И чего бы, казалось, искать у людей, тщательно обысканных при водворении в тюрьму и

лишенных контакта с другими камерами? Что может появиться у нас в таких условиях? И все же этот оскорбительный ритуал совершался регулярно и каждый раз неожиданно.

В камеру вдруг втискивалась четверка надзирателей, свирепо командовавших с порога:

— Встать!

— Разуться!

— Построиться в две шеренги!

Все мы поспешно разуваемся, вскакиваем с пола и, босые, молча становимся в ряды посредине камеры. Тройка надзирателей торопливо осматривает мешки, одежду и все, что оказалось на полу, старательно вытряхая из сумок какой-то мусор. Ощупывают карманы и складки одежды в поисках колющих, режущих или пишущих предметов, иметь которые нельзя, в то время как четвертый надзиратель из притвора двери сверлит нас взглядом. Видно, что глаз у него наметан и остер, как у коршуна.

Но шмоны меня мало волновали: никакого имущества у меня не было. Я ведь прибыл сюда «на пару дней» и не взял с собой решительно ничего, даже полотенца, и уж не помню, как без него обходился. Утирался, вероятно, подолом верхней рубашки или майкой.

...После тщательного осмотра залежалого тряпья надзиратели стаскивают его к одной стороне, а нам дается новое указание: отойти от вещей ближе к свободной стене, встать по пятеро в ряд и вытянуть руки на уровне плеч.

Натренированные пальцы надзирателей быстро, как щупальца, обшаривают все тело от шеи до пят, включая промежности, проверяя каждую складку и шов на белье и одежде, вывернув все карманы. И все это происходит на пятачке в пять — семь квадратных метров, и толкутся на нем двадцать три взрослых мужика, как будто нет на свете иных дел и забот.

— Открой рот! Шире, еще шире! — И пристрелянное око темно-синего мундира заглядывает в разинутые рты.

Каждого бесцеремонно хватают за голову, поворачивая к свету: не спрятано ли в глотке, за щекой или под языком ножовки, куска напильника, ножа или бритвы?

Осмотренная пятерка пятится ближе к вещам и опускает руки, наблюдая за тем, как ищейки проделывают ту же операцию над следующей пятеркой. И те, кого шмонают, стоят не шелохнувшись и затаив дыхание...

Все это теперь мне трудно себе представить, но это было, было. И так было во всех камерах всех тюрем страны... Можно ли забыть хотя бы только это? А нам теперь говорят: забудьте, забудьте!

Каждый раз во время этих унизительных процедур меня занимал один и тот же вопрос: рассказывают ли тюремщики в семейном кругу о том, чем они занимаются на службе, или, как и палачам из НКВД, им велено строго хранить в тайне свои мрачные дела? Да, невесело жить в такой семье, с таким кормильцем...

...Наконец, не найдя ничего запретного, надзиратели так же поспешно покидают камеру: им надо торопиться, впереди еще много сотен непрощупанных арестантов.

Постоянный, неусыпный наш враг — голод — ежедневно точил и грыз, особенно тех, кто пробыл в камере более месяца и у кого подкожные жиры иссякли. Час раздачи горячей пищи ожидался с неизменным нетерпением, и никакие басни, споры или драматические истории не могли заглушить в нас предвкушения дневной баланды.

В момент, когда на этаже раздавались знакомые звуки передвигаемого по железу раздаточного бака с едой и блаженный, специфический звон поварского черпака о его стенки, наше нетерпение достигало наивысшего предела.

Кто-то, из особенно нетерпеливых, уже стоит, бывало, у двери и, приложив ухо к закрытому отверстию-глазку, время от времени докладывает:

— Девяностую кормят!

— Девяносто вторая получает!

А когда характерные звуки и голоса раздаются у соседней камеры, мы, как животные в клетке, уже не находим себе места: а вдруг нашей камере не хватит? Вдруг придется ждать еще десять минут, пока сходят на кухню за новым баком? Вдруг нальют жидко?..

Но вот окованное дно бака весело передвигается к нашей двери, она быстро отворяется, и кухонный дежурный, тоже арестант, из бытовиков, кричит для острастки:

— Сколько пустых мисок закосили прошлый раз?

— Три!

— Брешете, больше! Я все помню...

— Куда нам больше? Сами миски не кормят... Под кипяток было оставлено три — три и есть, вот они!

— Ладно. Потом найду — не пеняйте! — грозится для проформы раздатчик, и нам быстро передают горячую баланду в мисках, только что бывших в употреблении у соседей, и такой же облизанный пучок алюминиевых ложек. Края мисок скользят в руках оттого, что кто-то недостаточно чисто их вылизал. На них видны прилипшие крупинки ячменя, капли крупяного отвара...

Но рассматривать все это некогда, да и бесполезно: во-первых, мы к этому привыкли, а во-вторых, раздатчик торопит:

— Получай, получай быстрее! В ресторане будете на блюда смотреть! Не одни здесь!

Страж стоит тут же и зорко следит за порядком. Выстроившаяся к двери очередь быстро рассасывается. Получивший свой черпак жидкого, с несказанно желанным запахом варева спешит занять на полу свое место, ставит миску между ног и начинает торопливо хлебать, ни на кого не глядя. Если у кого-то чудом сохранился от утра кусочек хлеба, обед считается сытным.

Когда на пол усядется большинство, пройти по камере, как и ночью, почти невозможно.

— Осторожнее! — вскрикивает кто-то, когда его локоть по нечаянности заденут и из ложки выплеснется драгоценная капля баланды.

Но разве можно пройти в такой тесноте осторожно и никого не задеть, не облить?

Тут же рядом знакомо попахивает параша, на которую обращают внимание лишь непривычные новички. Остальным не до запаха: чисто животный инстинкт овладевает на какое-то время каждым из нас.

Кто и зачем превратил нас в голодных зверей?!

Выручает быстрота поглощения пищи: еще не успевает последний арестант получить свою порцию и дойти до места, как первые уже дочищают свои миски и пробираются к двери за кипятком. В какие-нибудь пять — семь минут вся эта волнующая процедура заканчивается, а миски с мягким звуком одна за другой шлепаются в стопку у порога. Настроение резко меняется. Сердитых выкриков как не бывало. Ни злости, ни раздражения.

— Эх, пообедать бы сейчас!.. Борща украинского!

— На именины бы к кому, чтоб накушаться на неделю...

— Кудимыч, повоняй за всех своим сибирским, если осталось!

— А я килограммчик хлебушка за один укус умял бы!

— Закуривать пора бы, братцы! Уже время...

— Кипяточку бы еще погорячее, да с сахарком... Понаваристее.

## Признаю себя виновным

Прошло уже восемьдесят дней, как меня ни разу не потревожили. За последние полтора месяца увели на этап больше трех десятков моих сожителей и столько же прибыло вновь, а мое «дело» все еще без движения. Что не так? Почему не вызывают на допрос?

Жизнь в душной камере настолько осточертела, что желание вырваться отсюда поскорее становится неодолимым. День ото дня невольно подготавливаю себя к тому, чтобы подписать любое приемлемое требование следователя, лишь бы вырваться из этого ада.

Давно вызвали «с вещами» Кудимыча; увели в неизвестность политрука Фролова, так и не дождавшегося вмешательства в свое дело «луганского слесаря» Климента Ефремовича; почти со слезами на глазах расстались с нами Есипов, Пычин, Веснин, Яшин и другие, коротко мелькнувшие и ушедшие из моей жизни навсегда. Их место заняли другие, а я все еще «припухаю» в ожидании своей судьбы. Доколе же будет тянуться эта новая пытка?

Наконец глухой полночью в середине ноября открылась ненавистная дверь и для меня:

— Ефимов! На допрос.

Вскакиваю, словно от выстрела, и со щемящим сердцем пробираюсь к выходу под молчаливыми взглядами своих, уже засыпавших на голом полу товарищей. Сон как рукой сняло. Иду за своим поводырем и долго не могу понять, куда меня ведут: дорога совсем не та, не в знакомую следственную на второй этаж, а в... кабинет начальника тюрьмы, где я уже бывал однажды. Как давно это было: долгая осень успела смениться зимой, была неудачная голодовка, одиночка — кажется, целая вечность в страшной тесноте, а я все еще тут.

Глухой абажур настольной лампы и непроницаемые черные шторы на окнах создавали в кабинете непривычный для глаз таинственный полумрак. За столом начальника не было никого, и несколько минут, а может быть, и секунд, показавшихся мне минутами, я стоял в напряженной тишине. Мой поводырь, притулившись к косяку двери, молчал.

Вдруг справа из угла кто-то негромко кашлянул, и вслед за тем на свету появилась знакомая фигура Бельдягина. Блеснув начищенными сапогами, он сел за стол, отослал надзирателя и с подобием улыбки показал мне на стул:

— Садитесь, Ефимов, будем разговаривать.

Я сел и невольно окинул его взглядом. Он показался мне человеком какого-то ушедшего от меня нереального мира, в котором мы когда-то давным-давно встречались и даже работали под одним флагом... Как все это теперь далеко от меня...

Явно избегая прямого взгляда, Бельдягин достал из ящика стола синюю папку и стал листать ее, скорее для видимости, не зная, с чего начать.

Неужели это тот самый коммунист Бельдягин, бравый начальник райотдела НКВД, по воле и прихоти которого томится в тюрьме столько рабочей силы? Неужели это тот самый, кого здесь боятся и ненавидят все, от мала до велика?! И как он смеет носить звание члена ленинской партии и действовать от ее имени? По чьему наущению этот генерал Галифе районного масштаба руководит теми, которые мучают, терзают, доводят до сумасшествия ни в чем не повинных людей?! Ответит ли он когда-нибудь за свои злодеяния и кто ответит за его злодейства?!

— Надо кончать с вашим «делом», долго затянулось,— сказал он наконец, подняв голову над абажуром и все еще пряча глаза.

— Кончайте, если вам виден конец.

— Конец был ясен в самом начале. Виноваты вы сами, что упорно отказываетесь признать свою вину.

— Какую, в чем вину?

— Вам указали на нее еще в день первого допроса.

— Но после первого были второй, и третий, и еще несколько. И на этих допросах ваш Ковалев нагромоздил столько небылиц, что я всех и не упомню.

— Ковалев наказан за превышение прав.

— Ах, наказан? Значит, он действовал без вас, по своей собственной инициативе?

— Должен вам сказать, гражданин Ефимов, что следователю дано право добиваться признания подследственного не только по материалам обвинения. Он вправе поставить и другие вопросы, если у него имеются к тому основания.

— Какие основания у него были обвинить меня в связях с правыми и троцкистами? Откуда он взял сведения

о какой-то антипартийной организации в «Трибуне»? А кто подал ему мысль подозревать меня в убийстве Кирова? Может быть, вы?!

Бельдягин весь передернулся и сказал тоном чиновника:

— Вы не возмущайтесь и успокойтесь. Эти подозрения оказались ложными и сами собой отпадают. О них речи не будет.

— Уже отпадают? И не потому ли отпадают, что я предпочел умереть с голоду, чем признать их! Нет, вам и раньше было известно, что все это сплошная чушь! Однако меня избивали даже после объявления голодовки!

— Не кричите, Ефимов, не забывайте, что перед вами начальник, а вы в тюрьме. Меня в то время не было в городе, Ковалев же получил выговор за свои действия. А о том, что у вас было, постарайтесь забыть. Извиняться перед вами НКВД не намерен.

— Чего же теперь хотят от меня органы, если выдуманные Ковалевым обвинения отпадают?

— Нужно, чтобы вы признали за собой вину...

— В том, что Бухарин был редактором «Известий»? Какая же тут моя вина, если это исторический факт?!

Бельдягин понял, что наскоком меня не возьмешь, и изменил тактику.

— Вы должны понять, Ефимов,— сказал он мягко и как равный равному,— что в наше время все, казалось бы, пустяшные проступки и обычные ошибки считаются уже преступлением. Язык наш — враг наш, и его всегда надо держать за зубами... Весь вопрос в том, как отнесется к этим вашим проступкам «тройка». Возможно, что она ваше «дело» прекратит, но, возможно, даст незначительное наказание. Я лично полагаю, что ваше дело пустое и в скором времени вы будете на свободе.

Упоминание о свободе произвело на меня магическое действие. Вырваться, во что бы то ни стало вырваться из смрадного каменного мешка! Дело мое — пустое! «Тройка», состоящая, несомненно, из старых большевиков, все поймет с полуслова. К измученному сердцу подкатила горячая волна новой надежды.

— Что от меня требуется? — спросил я с готовностью.

— Вам необходимо подписать протокол показания с теми обвинениями, которые были предъявлены Громовым. Кури́те,— придвинул он ко мне свой портсигар.

— Но ведь он подписан мною на первом же допро-

се,— ответил я, жадно затягиваясь дорогим папиросным дымком.

— Громов отстранен от дела, и его протокол считается недействительным: времени-то прошло три месяца!

— Хорошо, пишите новый,— сказал я.

Бельдягин заметно повеселел. Не рассчитывая, видимо, на столь быстрое согласие и боясь отказа, он торопливо достал чистый бланк протокола и наскоро записал мои анкетные данные.

— Первый вопрос,— записывал он,— признаете ли себя виновным в сочувствии и покровительстве врагам народа? Так, например, в заметке, осуждающей Тухачевского и других предателей Родины, вами пропущена в печать фраза: «Дело Тухачевского потрясло весь пролетарский мир».

— Но ведь это был заголовок заметки и он в газету не попал.

— Сейчас важно не это. Была такая фраза?

— Была.

— Значит, признаете?

— Ладно, признаю!

— Подпишитесь вот здесь.

Он указал мне место под этим вопросом и ответом, и я подписал. Ниже моей подписи Бельдягин поставил свою.

— Вот и хорошо, — сказал он с заметным облегчением и сформулировал второй вопрос: — Признаете ли себя виновным в восхвалении врагов народа, и именно: в тридцать четвертом году, отвечая после своей лекции на вопрос, как работает сейчас Бухарин, вы ответили, что Бухарин работает удовлетворительно.

— Я так не говорил.

— Какая разница? Дело сейчас не в слове, а в существе вопроса. Ведь по существу вы одобряли его работу?!

— Его работу одобряло тогда Политбюро ЦК партии, а не я!

— И вы тогда косвенно его похвалили!

— В то время, как и во все последующие годы, Бухарин состоял членом ЦК и не был еще объявлен врагом народа...

— Сейчас это неважно.

— Тогда что же все-таки важно? — начал я снова сердиться.— Я вижу, для вас важно только то, что против меня, и совсем неважно, что за! Где же тут логика, не говоря уже об истине?

— В логике разберется «тройка».

Светлая надежда на справедливое решение «тройки» честных старых чекистов, которые отнесутся ко мне со всей непредвзятостью, снова наполнила меня до краев, я опять обмяк.

— Скажите, а «тройка» вызовет меня при обсуждении моего дела?

Бельдягин опустил глаза и начал неуверенно теребить бумаги в папке. Видно было, что мой неожиданный вопрос его смутил, однако я не придал этому значения.

— Конечно, конечно, и даже обязательно вызовет,— наконец заговорил он.— Всех старых партийцев «тройка» вызывает лично... Непременно вызовет.

Лишь через много недель мне стало ясно, что Бельдягин врал, но в тот момент, «наивной веры полн», я живо вообразил себе трех добрых и, главное, справедливых старцев вроде нашего Василия Кузьмича. Мне рисовалось даже, как они весело улыбнулись над моим «делом», как небрежно его изъяли и сказали: «Иди работай, Иван, и больше не своевольничай».

Окрыленный собственным воображением, я еще раз расписался в протоколе под словом «признаю». Бельдягин не замедлил поставить и свою подпись. Он был оживлен и доволен.

— Последний вопрос. Признаете ли себя виновным в защите врагов народа, выразившейся в том, что на партийном собрании в редакции выступили в защиту арестованных Арского и Лобова?

— Это я признаю с особым удовольствием, потому что и сейчас верю в их невиновность.

— Вот и отлично,— удовлетворенно подытожил Бельдягин, отбирая подписанный мною протокол и поспешно ставя на нем и свой крючок.— Теперь все,— заключил он.

Нажав кнопку звонка, он поднялся, строго и по-деловому подтянулся, отчего нежно скрипнули ловко сидевшие на нем портупея и кобура на ремне. В мою сторону он уже не глядел. Интерес ко мне в нем тотчас же иссяк, как будто меня больше не существовало. Куда девалась его недавняя предупредительность?

Вошел сопровождающий.

— Отведите арестованного.

Почувствовав нечистую победу «закона и порядка» над своей человеческой слабостью, я с трудом поднялся, словно под гнетом новой тяжести, и почти безразлично спросил:

— Свидание с родными и передача будет?

— Да. Теперь будет.

— Когда?

— Мы их известим — и вас уведомят... Если у вас были изъяты деньги при водворении сюда, то на них вы можете брать продукты в тюремном ларьке. Деньги перечислят туда утром,— в тысячный, вероятно, раз повторил Бельдягин заученную фразу.

## Бложис свидетельствует

Ровно через двое суток, перед обедом, меня снова вызвали из камеры и повели тем же путем. В пустом кабинете было по-зимнему светло от чистого белого снега за окном. Внешне здесь ничего не изменилось.

Я вопросительно взглянул на надзирателя.

— Подождите,— сказал он, поняв мой немой вопрос.

Минуты через три из смежной комнаты поспешно вошел Бельдягин, а вслед за ним... Бложис!

«Что надо здесь этому мерзавцу?» — тревожно подумал я, изо всех сил стараясь не проявить вспыхнувшего негодования.

Бельдягин сел за письменный стол. Рядом с ним на уголок стула молча прилип Бложис. Он бегло, но внимательно посмотрел мне в лицо своими разными глазами и, словно уколовшись, отвернулся. Я отметил полное удовлетворение на его самоуверенном лице: его, безусловно, приятно поразила резкая перемена во всей моей внешности — остриженный, как баран, и без обычных очков в роговой оправе, бледный, измученный.

— Вас удивляет эта новая встреча, Ефимов? — заговорил начальник НКВД, раскладывая на столе знакомые мне бумаги.— К сожалению, она необходима для завершения дела. Товарища Бложиса мы пригласили для очной ставки.

— Для чего нужна вам эта комедия? Ведь я все подписал добровольно без всякой очной ставки.

— Так требуется... Вдруг вы откажетесь от своих показаний и заявите, что даны они под нажимом...

— Вы, очевидно, привыкли не доверять честным людям.

Бложис поморщился и заерзал на стуле, выражая своим видом то ли обиду, то ли возмущение.

— Дело не в том, доверяю я или не доверяю,— сказал Бельдягин.— Закон требует соблюдения установленной формы.

— Что же от меня еще требуется закону? И при чем здесь гражданин Бложис? Он не слышал ни моих слов о Бухарине три года назад, ни выступления в пользу Арского и Лобова...

— Это неважно, Ефимов,— подал голос сам Бложис.

— А что же важно?

— Ваши проступки. Вы их совершили? Да. В райкоме о них получен сигнал? Да. Теперь я готов подтвердить все это. Теперь ясно?

— Мне ясно, что все это мелкие кляузы, а вы возводите их в ранг политических преступлений.

— Мелкие или не мелкие — в этом разберется «тройка»...

— Только надежда что на «тройку»,— сказал я,— иначе я не подписал бы ни одной бумажки.

— Вот и прекрасно,— сказал Бложис почти с той же интонацией, что и Бельдягин.— Областная «тройка» даст оценку не только вашим прегрешениям, но и нашим действиям.

Совершенно осмелев благодаря надежде на справедливость, я спросил у Бложиса о самом главном: получен ли ответ из обкома партии на мою апелляцию?

— Для репрессированных или находящихся в тюрьме ответов не было и не предвидится. Обком обычно не рассматривает апелляций бывших членов партии, посаженных в тюрьму за антипартийность.

— Почему? Разве это по Уставу?

— Вы что ж, первый день живете? Чему же вас в комвузе учили?

— В комвузе меня учили, что все это — произвол. Такого пункта в Уставе не было и нет.

— Зато есть инструкция сталинского Центрального Комитета и последние указания Политбюро.

— Инструкция и указания — не Устав. Устав есть единый партийный закон для всех, и никакие инструкции отменить его не могут, кроме съезда партии. Вот это мне точно известно.

Бложис покраснел, и глаза его блеснули злобой.

— Инструкция подписана лично Генеральным секретарем, и ни одна парторганизация ее не нарушит... Много чести хотите, Ефимов.

— Я хочу только одного — справедливости.

— Вы наказаны справедливо. Сам пленум дал вам оценку.

— На пленуме выступали только Бельдягин и вы, никакого разбирательства дела не было. Мне даже слова не дали сказать...

— Трибуна пленума — не место для антипартийных выступлений. Вы были вызваны на пленум, и этого вполне достаточно...

— А кем и как было доказано, что Арский и Лобов враги народа? Инструкцией ЦК или кулаками энкавэдэшников?

Бельдягин резко отодвинул кресло и встал, желая что-то сказать, но его опередил Бложис, налившись гневом. Его тонкие губы тряслись, а бельмо на глазу еще больше потемнело, когда он заговорил:

— Деятельность партии, а также и органов НКВД, как органов партии, не нуждается в контроле со стороны политических обывателей и безответственных элементов...

Во мне снова все закипело, и я, перебивая Бложиса, сказал:

— Вам известно, гражданин Бложис, как в этом заведении добиваются «признаний»?

— Что вы хотите этим сказать? — уже тише спросил Бложис.

— Только то, что здесь работают не следователи советской юстиции, а гестаповцы! Да, да, я не обмолвился,— еще громче сказал я, заметив попытку Бельдягина прервать меня.— Своими изуверскими методами наши следователи перещеголяли известные нам по газетам зверские допросы в фашистских застенках... И все они, эти советские изуверы,— члены Коммунистической партии большевиков... Кто же нас рассудит, если и вы проповедуете бесконтрольность над следственной практикой?

— Вы ответите за эти слова, Ефимов, они вам дорого обойдутся,— злобно, но тихо сказал Бельдягин, разглядывая бумаги.

— Я уже ответил, а сегодня подтверждаю при свидетеле...

Бельдягин нервно закурил, а его напарник шумно завозился на стуле, встал, выпил стакан воды и сказал, снова присев к столу:

— Вообще нас рассудит история, а в частности — предстоящая вам «тройка». Она разберется и справедливо рассудит наш спор...

— Смотрите, как бы и вам не оказаться под микроскопом истории.

— История в наших руках,— сказал Бложис,— и она нас судить не будет.

Разговаривать было больше не о чем. Бельдягин быстро заполнил бланк очной ставки и переписал в него мои предыдущие показания, с той лишь разницей, что ниже моей подписи теперь красовались уже две: палача и доносчика. В течение этой процедуры ни один из нас не промолвил больше ни слова.

Так было завершено мое следственное «дело».

## Глава седьмая

Нету чудес,
И мечтать о них нечего.

В. Маяковский

### Этапники

Прошло несколько дней, а ни свидания с родными, ни передачи от них мне все еще не разрешали. Так мстил мне Бельдягин за доставленные излишние хлопоты, а главное, очевидно, за мою «обвинительную речь» на очной ставке с Бложисом. Становилось ясным, что именно Бложис скапливал у себя многие годы «компрометирующие материалы» на подчиненных ему пропагандистов и ответственных работников по его профилю.

Скрытный по природе, он все-таки не удержался и выдал свою тайну, когда в горячности сказал мне на очной ставке о «сигнализации в райком». А на очную ставку, как я понял, вызывались главные свидетели обвинения. Все сходится: именно Бложис подготовил материалы, которые могли послужить Бельдягину поводом или основанием для ареста.

На другой день после подписания протокола очной ставки мне объявили, что я могу пользоваться тюремным ларьком. Туда я направился со специальным поводырем. Ларек представлял собой обычную одиночку, оборудованную стеллажами и прилавком. Убогость товарного ассортимента — булки, хлеб, папиросы, спички и сахар — объяснялась нетребовательностью здешних покупателей и ограниченностью их бюджета.

Но меня удивил не сам ларек, а то обстоятельство, что за его прилавком хлопотал не кто иной, как мой старый знакомый по первым дням заключения — проворовавшийся завмаг. В первый момент я не обратил на него

внимания: он мне запомнился стриженым да и одетым попроще. Теперь же я увидел оборотистого работника в теплом бушлате и кубанке на голове. На меня он старался не смотреть, и только после того, как я с плохо скрываемой жадностью стал жевать свой черствый батон и высматривать на полках, что бы еще взять, глаза наши встретились и ларечник смущенно заулыбался:

— Вот неожиданная встреча, Иван Иванович! Долго же вас мурыжили.

— А вам сколько отвалили? — перешел и я на тюремный жаргон.

— Петушка схватил... Адвокат хороший защищал, а то бы...

— Не задерживайся, Ефимов,— поторопил надзиратель.— Не один у меня. За день знаешь сколько вашего брата тут перебывает. Так что поторапливайся.

Я отоварился почти на всю тридцатку, помня, что в камере моей все те же два десятка полуголодных мужиков и они ждут меня, как баланду в полдень. Торопливо рассовывая купленное по карманам и за пазуху, я не забывал сунуть в рот то кусок сахару, то шматок булки и умоляюще поглядывал на своего провожатого, чтобы он продлил мне эти мгновения свободы.

О ларечнике я уже не думал: каждому свое. Да и какое мне дело до чужого благополучия, тем более что перемена в моем душевном состоянии была радикальной. В ожидании вызова на суд или заседание легендарной «тройки» я заметно приободрился.

Но дни проходили, начался уже холодный декабрь, а я все еще парился в своей душной и тесной, до омерзения надоевшей мне камере. Но однажды вечером мне объявили:

— Ефимов, выходите с вещами.

— С какими вещами? Кто мне их дал? Нет у меня никаких вещей! — растерянно бормотал я от радости, вскочив с пола и торопливо надевая измятый пиджак на затасканную, потерявшую свой цвет рубашку и рассовывая по карманам табачные изделия и купленный вчера на последние гроши батон.

— Выходите совсем, есть у вас вещи или нет,— нетерпеливо сказал надзиратель.

— Но куда же я пойду среди зимы в летнем пиджачке?

— Что вы со мной спорите, я тут ни при чем. Сейчас сразу в каптерку за передачей, а оттуда к этапу. Торопитесь же!

Я распрощался с товарищами, повскакавшими со своих мест и стоявшими, как во время принятия присяги:

— Прощайте, меня вызывают, как видно, на заседание «тройки».

Но реакция товарищей была иной:

— Гляди, как бы не целой «четверки».

— Всунет вам «тройка» дважды по пятерке...

— Прощайте, Иван Иванович. Авось не пропадете.

— И нам скоро тройка, семерка и туз... на лагерный бушлат.

— До свидания, авось в Сибири встретимся!

Спустившись в последний раз с громыхающей галереи, поплутав по еще незнакомым мне переходам и лесенкам, мы попали в полутемный коридорчик. В его тупике была дверь с табличкой «Кладовая», куда мы и вошли.

— Привел Ефимова из Старой Руссы.

— Очень хорошо,— ответил кладовщик-бытовик и повернулся к стеллажам, на которых лежали тюки и узелки разных размеров и цветов.— Вам вчера принесли передачу из дома. Вот список-опись мешка. Получите и распишитесь.— И он протянул мне список, написанный незнакомым почерком, а на прилавок положил знакомый мне рыбацкий рюкзак.

— Ваш запас на дальнюю дорогу,— заметил кладовщик.

— А письмо где?

— Никакого письма не было. Только мешок и список.

— Не было или не разрешено отдавать?

— Мне не приносят того, что не разрешено,— ответил он, забирая список с моей распиской.— Я вручаю все, полученное из приемной. А все тут или не все, я не знаю, и мне дела до этого нет.

Он прав. Сам он утаить ничего не может, да и не станет, если хочет отбыть свой срок поближе к дому. Значит, письмо задержали в другом месте, и называется это маленькой местью...

— Разрешите здесь переодеться? — несмело спросил я, копаясь в рюкзаке.

— Валяйте, пока никого нет,— сказал кладовщик.

— Можно,— милостиво согласился и надзиратель.— Вот тут рядом специальный тамбурок есть и скамейка. Там и переоденьтесь.

Я разделся догола. Взамен истлевших трусов и майки надел пару нательного и пару теплого белья, знакомо и волнующе пахнущего домашним шкафом. Потом флане-

левую рубашку, костюм и демисезонное подержанное пальто. Заскорузлые носки сменил теплыми, маминой вязки, а вот моих охотничьих сапог почему-то в мешке не оказалось, и пришлось надеть те же парусиновые туфли... Сунув на всякий случай папиросы и батон в карман, я завязал мешок.

Много позже, когда я был уже в лагере, мать писала на мой вопрос, почему в передаче не было письма: его изъяли, когда принимали передачу, а список вещей писала какая-то женщина там, в приемной, одна из заплаканных...

— Ну как, довольны передачей? — спросил провожатый, дымя свежей «Беломориной» у притолоки тамбура.

— Конечно, доволен, но я полагал, что коль скоро вызывают на заседание «тройки», то все эти вещи могли бы подождать и дома...

— Какой еще «тройки»? — подняв брови, уставился на меня проводник.

— Ну, той, что рассматривает дела политических... Из трех человек.

— Здесь никаких «троек» нет, ни человечьих, ни лошадиных. А та, что в области, до той, милок, песня еще длинная. Вот свезут отсюдова в пересыльную тюрьму в город Ленина, там, наверное, и объявят решение «тройки». А в общем-то эти дела меня не касаются,— сказал мой поводырь, и мы пошли дальше.

Пройдя короткий коридорчик и миновав еще две двери, мы очутились в широченном, конусообразном полуподвале, по всей вероятности дублирующем верхний «вестибюль».

В этом слабо освещенном, с низким потолком помещении, куда собирали заключенных для этапа, были лица, подлежащие суду особой «тройки». Было здесь и процентов десять уголовников, из тех, что числились на учете и подлежали суду «тройки» и изоляции как «социально-опасный элемент». Тут продержали нас до полуночи. Оказалось, что в подвале тоже десятки камер. Видимо, они тут были спешно оборудованы в связи с переполнением уже имеющихся.

Пользуясь тем, что надзиратели не могли удержать в подчинении собранную здесь толпу в полторы сотни человек, мы начали самовольно отодвигать дверные заслонки и заглядывать в камеры, чтобы найти знакомых.

Отовсюду слышались то и дело торопливые вопросы этапников и окрики тюремных стражей:

— Демянские есть? А из района?

— Нет ли кого из Валдая?

— Лычковские имеются в вашей келье?

— Кому говорят, прочь от дверей!

— Из Старой Руссы нет ли кого? Старорусских?

— В карцер захотели, вместо этапа?! Назад... вашу мать!

— Кто, кто из Поддорья? Из какой деревни?

— Не знает ли кто о судьбе Кузьмина или Васильева? — кричал я.

— Видали Кузьмина...

— Кому говорят, там-тара-рам! — стараются перекричать нас мундиры.

— Кого, кого, говоришь, еще арестовали? — слышится вопрос пожилого этапника.— Терешенкова? Когда? Вот дьяволы!

После тесных камер и допросов люди чувствовали себя в этом подвале заметно свободнее. Камерная жизнь позади, терять больше нечего, все самое страшное вроде бы пережито, и плевать хотелось на истошный лай служак-надзирателей!

Лишь около полуночи, когда в этапный зал вошло два отделения вооруженных конвойных, молодых и сильных, порядок был восстановлен. От дверей камер нас быстро оттеснили к середине и приказали построиться. Начался счет и отбор по отдельным спискам в группы по двадцать человек, а затем три первые группы вывели на широкий тюремный двор, торжественно залитый лунным и электрическим светом.

Непривычный зимний холод подействовал на всех отрезвляюще, и все сразу приуныли.

— По машинам! — раздается негромкое распоряжение старшего конвоира, и отсчитанная двадцатка вновь загомонивших узников поспешно полезла по узкой сходне в открытые кузова.

— Садись! — слышится новое распоряжение, и мы, чертыхаясь и теснясь, приседаем на дно кузова. По его углам — стрелки в полушубках с винтовками.

— Тихо! Прекратить галдеж! — обращается к нам старший конвоя и разъясняет: — Сидеть в машинах на корточках, пригнув головы к полу. Голов не поднимать и не оглядываться по сторонам! Всякое нарушение будет считаться побегом, а нарушитель убит на месте. Охрана знает, что может стрелять без предупреждения. Ясно?

— Ясно, ясно...

— Кого тут увидишь? Знают, дьяволы, когда вывозить,— ворчит кто-то позади меня.

— Трогай, передняя! — раздается последний приказ, и четыре машины с глухим урчанием ныряют в подворотню тюремной стены.

...Стесненную грудь распирает от свежего воздуха лунной ночи, под кузовом погромыхивают на прикатанном булыжнике скаты. Я мысленно слежу за курсом машины, зная город вдоль и поперек. Вот она миновала Соборный мост, что чуть выше слияния Полисти и Порусьи, свернула налево, идет по центру города между торговыми рядами и опять свернула налево, к Живому мосту. Медленно вкатившись на второй деревянный мост против здания райкома, на котором я четыре месяца назад стоял и думал свою первую горькую думу, машина покатила прямо к вокзалу...

Я еле заметно поворачиваю голову и вижу над собой в последний раз в этом городе звездное небо, мелькающие редкие и тусклые фонари и холодный лик пятнистой луны.

Один из стрелков, заметив мое движение, угрожающе шипит:

— Поворочайся у меня! Не оглядываться, голову вниз, я кому говорю, слышишь?

Наконец четыре первые машины остановились, рокоча моторами, и мы несмело подняли головы из согретых дыханием воротников. Три больших многогрузных вагона стояли перед нами на запасном пути, к одному из них приставлены сходни. В нем чуть брезжил свет фонаря.

Два сидевших позади охранника соскочили на снег и откинули задний борт подпятившейся к сходням машины.

— Вылезайте, и марш в вагон по одному! — И сразу же встали по сторонам трапа, не спуская с нас глаз, тогда как двое других в кузове держали нас под прицелом.

Отекшие от неловкого положения ноги едва повиновались, когда мы, неуклюже соскочив с машины, стали забираться по широкому крутому трапу прямо в вагон. Все четыре машины разгрузились и отошли, сходни были отброшены, дверь с грохотом задвинулась, и мы услышали, как звонко упала тяжелая стальная щеколда в свое гнездо. Это кто-то из конвоиров, поднявшись по приставной лесенке, запер нас в промерзшем вагоне. Вот и тюрьма на колесах!

Пока загружались другие два вагона, мы успели оглядеть свое временное пристанище. Поперек всего вагона стояли, прибитые к полу, несколько рядов тесовых лавок, на которых мы и разместились без особой тесноты.

Легкие стены вагона были сплошь покрыты плотным слоем сверкающего инея. С обмерзшего потолка причудливо свисали разной величины белые сосульки. Под ногами потрескивала пленка льда. Печки не было — обогревался вагон собственным теплом его пассажиров...

— Не жарко! — ежится сосед, пододвигаясь ко мне все ближе.

— Ничего, обдышим понемногу — сосульки-то и пообтают,— обнадеживает другой сосед.— До Ленинграда езда недолгая.

— Это обратный порожняк,— догадывается третий, видимо самый бывалый.— До нас в этих вагонах отвезли уж не одну тыщу нашего брата — иней тут наверняка от ихнего тепла...

— Согреем и мы, если не успеем замерзнуть...

Когда мы уже начали подремывать, вагоны стронулись с места, а затем, после маневров, подцепились к какому-то попутчику и торопливо покатили нас в направлении Новгорода и дальше — к Ленинграду...

Прощай, Старая Русса, не поминай лихом. Когда теперь свидимся?

## Под юрцами «пересылки»

Мой «подпольный» сосед, несколько минут лежавший на спине, грузно перевернулся снова на бок, лицом ко мне, и беседа наша полушепотом возобновилась.

«Подпольем» мы называли темное пространство между полом и нижним настилом двухъярусных нар, нависавших над нашими лицами. Сидеть там было нельзя, потому что вся высота их от пола не превышала полуметра. Эти нары, именуемые во всех тюрьмах юрцами, находились в одной из многочисленных камер ленинградской «пересылки». Темный дощатый настил, занятый тюремной аристократией — уголовниками, угрожающе скрипел, и постоянно казалось, что он вот-вот рухнет и вдавит нас всей своей тяжестью в подогретый телами каменный пол.

— Вы говорили, что были преподавателем ленинизма в течение ряда лет,— громко зашептал Никитин, придвигаясь ближе.

— Говорил. И знаю эту науку весьма обстоятельно,— таким же шепотом отвечал я.

— Я тоже когда-то изучал этот предмет, и не только по «Вопросам ленинизма» Сталина... Так вот, поскольку главным в этом учении является вопрос о диктатуре пролетариата, не кажется ли вам, Иван Иванович, что и вы и я являемся очередными жертвами этой диктатуры?

— При чем тут диктатура пролетариата? Не может же сам пролетариат страдать и гибнуть от своей же собственной диктатуры? Это казуистика какая-то...

Моя душа все еще была полна надеждами, а не страхом, и я продолжал уверять его, что с нами произошла какая-то трагическая ошибка, которая вот-вот обнаружится.

— Не старайтесь меня разуверить,— горячился я.— Мое дело правое, а «тройка» наверняка состоит из старых большевиков, легко распознающих, где правда, а где ложь, вымысел, подтасовка...

— Правое, правда, правдолюбие... Затасканные слова, не имеющие никакого значения там, где замешана политика. Неужели вам еще неясно, что дело тут не в правде, а в политике, проводимой сверху.

А это политика лицемерия и насилия...

Попал я в эту полутемную, душную преисподню два дня назад, а до этого сидел скорчившись где-то посередине камеры, столь тесной, что когда нас впервые к ней подвели, мне показалось, что в ней и песчинке негде упасть — так много было натискано народу. Все камеры этой тюрьмы отделялись от коридоров не кирпичными стенами и дверями с глазками для подглядывания, а массивными решетками от пола до потолка, в них были калитки в мелкую сетку, но с прочными замками. Моя старорусская одиночка с двумя десятками зэков теперь показалась мне просторным уютным раем...

Срочный фрахт из Старорусской тюрьмы прибыл прямо к воротам «пересылки» хмурым утром. Измученных холодом, почти спящих на ходу, нас торопливо ввели в здание и, казалось, без разбора рассовали по камерам.

— Давай заходи! — приказал один из надзирателей областной тюрьмы, останавливая нашу группу возле огромной решетки с отворенной калиткой.

Мы замерли, как кролики...

— Куда же тут заходить? — недоумевали мы, глядя на плотную людскую массу, гомонящую за решеткой.— Тут и одному ногой ступить некуда!..

— Не разговаривать! Все уместитесь, вам тут не телиться!

Из камеры, в свою очередь, неслись крики:

— Задушить нас хотите?..

— Навербовать сумели, а о жилье не позаботились!..

— Куда давите? Куда! И без них тут мука мученическая!

— Не пускайте больше никого, мужики, не пускайте, и все!

— Молчать! Прекратить разговоры!

— А ну, подайтесь, потеснитесь! — И надзиратели дружно и с силой оттесняли вглубь от калитки заключенных, освобождая крупицу места для нас, новеньких, и ретиво втискивая туда одного за другим...

— Но здесь и без них сидеть невозможно!!!

А мы чувствовали себя как пробки: нас пытаются погрузить в воду, а вода не пускает, выталкивает обратно...

— Не рассуждать! Сидеть нельзя — постоите, не на век! Авось костюмов не помнете... А ну, подайтесь еще назад! Кому говорят?!

И мы были решительно заткнуты в эту бутылку...

В камерах, когда-то рассчитанных на двадцать пять — тридцать человек, где когда-то стояли койки, столы и табуретки, теперь обитало более двухсот человек. Мебели, конечно, никакой не было. Только у одной стены, и не на всю длину, возвышались двухъярусные нары. Наверху хозяйничали десятка два упитанных уголовников, а на нижних нарах, чуть поплотнее, устроились жулики помельче. Остальная братия ютилась на полу, сидя или на корточках, прижав к подбородку свои скудные пожитки и изнывая от духоты и тесноты. Наше непрошеное пополнение само собой разожгло страсти всей этой разноликой и разнохарактерной массы:

— Тише, вы, куда жметесь?

— Лезут, словно прорвало где!

— На ногу наступили, дьявол!

— А ты хочешь, чтобы на голову? — огрызается кто-то из наших.

— И жмут и давят... Откуда вас опять поднавалило?!

— Ежовцы навербовали...

— Успокойтесь, товарищи, разве мы виноваты?..

— Невиноватых здесь нету.

— Невиноватых не заарканят! — кричит кто-то с верхних полатей.

Я был зажат где-то между колонн, подпиравших потолок, и долгое время оцепенело стоял и отогревался, пока мои соседи не ужались настолько, что и я смог наконец опуститься на корточки. Сжавшись в немыслимый

комок, я промучился два или три дня в полуяви-полусне, приходя в себя лишь во время раздачи хлебных паек и баланды, ради поглощения которых части арестантов разрешалось выбраться в широкий коридор, да в часы утреннего и вечернего походов в «капернаум», как по-библейски называли отхожее место бывалые арестанты из числа старых революционеров.

Лишь через трое суток, после отбытия на очередной этап с полсотни зэков, в камере заметно обредело, и я вместе с тремя другими счастливцами проворно вполз под нары в освободившееся полутемное пространство, где, едва втиснувшись, и уснул мертвым сном.

Там и состоялось наше знакомство. Два моих «подпольных» соседа оказались абсолютно разными людьми. Разговор поначалу велся только с соседом справа, коренным ленинградцем лет сорока. Поначалу он больше отмалчивался, отвечал на мои вопросы с опаской, неодобрительно покряхтывая, когда был недоволен моей откровенностью. Он, конечно, вел себя совершенно правильно: лучше опасаться без меры, чем безмерно доверять кому бы то ни было.

Виктор Сергеевич Никитин — инженер-электрик по специальности и партийный работник по призванию. Коммунист с 1920 года, он совсем недавно был секретарем парткома на мельнице имени Ленина, что на Обводном канале.

Моим соседом слева оказался колхозник Шевчук Тарас Петрович, прибывший сюда с псковским эшелоном за день до меня. Он даже в нашем «подполье» постоянно озирался вокруг, поводя своей редкой козлиной бороденкой. Смело забравшись сюда одновременно со мною, он в первые дни вовсе не вступал в беседу, лишь только изредка неодобрительно покачивал рыжей головой, как бы осуждая наши откровенные разговоры, разобрать которые можно было лишь внимательно прислушиваясь.

Никитин лежал крайним от окна, недолгий зимний свет которого проникал к нам сквозь небольшой зазор между нарами и стеной. При электричестве у нас всегда было сумеречно, и глаза наши различали лишь ближайших соседей, чему мы были даже рады: картина повсюду была печальной, и глядеть было не на что. Мы были рады относительной свободе под юрцами, ставшими для нас и салоном, и спальней, и всем, чем угодно.

Свободное место позади Шевчука не пустовало: стоило кому-то выбыть, как оно мгновенно захватывалось

жаждущими отлежаться... Наученные Никитиным, мы уходили за пайками или в туалет по очереди, бдительно, до драки, оберегая место ушедшего. Так и держались тут дней десять...

Виктор Сергеевич говорил о себе вначале нерешительно и, лишь уверившись, что мы не филеры, а свои, постепенно раскрылся и потеплел.

Его впихнули сюда две недели назад.

— Из «Крестов». Знаете такую образцовую тюрьму?

— Слыхал и видел однажды снаружи, но не знал, что образцовая.

— Теперь-то она совсем не образцовая, если иметь в виду страшную тесноту во всех камерах... Эта тюрьма, если вы не знаете, была построена специально для одиночного заключения: в ней тысяча сто пятьдесят одиночек. В этом году в большинстве из них изнывало по десятку и больше...

— В моей одиночке доходило и до двадцати.

— Я не проверял. Может, и в «Крестах» в некоторых одиночках сидело по стольку же, но в той, где сидел я, больше чертовой дюжины не было. Теперь — не знаю...

— А уголовники среди вас были, как здесь?

— Не заметил. Как будто не было.

— Интересно, допускалось ли смешение политических заключенных с уголовниками в дореволюционное время? — спросил я и увидел удивление в его пристальном взгляде.— Я ведь это к слову, да и к делу: здесь уголовники и «враги народа», то есть политические, посажены вместе, при этом первые — в привилегированном положении,— смущенно добавил я.

— Никогда в царских тюрьмах политических не помещали вместе с уголовниками и прочими,— ответил Никитин.— И это вполне понятно. Во-первых, чтобы не унижать интеллигентных людей, а во-вторых, революционная интеллигенция при совместном сожительстве могла пагубно повлиять на уголовников и простой народ, просветить их во вред властям...

— Теперь у нас, кажется, все стали политическими.

— А нас с вами политическими не считают. В этом вся и хитрость. И судить будут, если, конечно, какой-то суд все же состоится, судить будут по Уголовному кодексу... Правда, ведь хитро придумано? К чему же держать нас отдельно от воров, убийц, растратчиков и прочих «друзей народа»? Мы в глазах органов внутренних дел хуже преступников. Мы враги Советской власти, враги народа! — с горькой иронией заключил Никитин.

И как бы в подтверждение его слов над нами сильнее прогибались и скрипели нары и сквозь невидимые щели сыпалась какая-то труха и лезла в нос. Я старался переместить голову между щелей и думал: «Да, похоже, что нас считают хуже уголовников. Мы, по иронии судьбы, преступники более опасные, чем весь этот уголовный сброд».

— Но ведь нас еще никто не судил! Мы перед законом еще не преступники! Суд или «тройка» разберутся, сколь велика наша вина перед Родиной,— после паузы робко сказал я.

— Неужели вы все еще верите, что нас вызовут на какую-то «тройку» и будут разбираться?

— Уверен! — сказал я с силой, как будто находился перед большой аудиторией, а не в темном углу под юрцами в тюрьме, до отказа набитой такими же, как сам...— Иначе я не подписал бы ни одной бумажки!

— Блажен, кто верит! А я вот так нисколечки не верю, хотя тоже был вынужден подписать протокол дознания... Поймите наконец, что если всех нас сидящих здесь и в других тюрьмах одного только нашего города судить, то пришлось бы разбираться десяткам судов годами и круглосуточно. Да никаким судам и не поднять этих липовых «дел». Если всех нас вызывать в эти суды и дотошно, как это предписывает процессуальный кодекс, разбираться, с вызовом свидетелей, получится один лишь позор для наших славных чекистов. После первых же разбирательств прикрыли бы эту лавочку.

— По-вашему получается...

— По-моему получается, что и надобности в этом разбирательстве нет никакой! Конкретной вины, по существу, ни у кого нет, значит, судам и делать нечего... Но и выпускать из тюрем нельзя — это было бы грандиозным скандалом на весь мир, провалом НКВД, всей этой борьбы с «врагами народа»...

— Что же, по-вашему, так, без суда, всех и отправят в Сибирь или еще куда?..

— Так вот и отправят, как уже отправили не одну тысячу... Можете не сомневаться. Я здесь уже две недели и знаю, что никого еще ни разу не вызывали ни на «тройку», ни на суд. А вот на этапы из камер выгребли порядочно. Дверей здесь нет, и все, что делается в тюрьме, или почти все становится известным. Ведь это же пересылка!.. Так что нетрудно распознать, куда скликают в определенные дни сотни людей. Никто уже

не сомневается, что вызов с вещами — это вызов для отправки в места уже уготованные.

— Почему вы так уверены, что и вас судить не будут? — не сдавался я, чувствуя, как за моей спиной замер Шевчук: он тоже надеялся на правый суд.

— Ну так послушайте, и все встанет на свои места.— И Никитин рассказал нам: — В последних числах октября в ленинградских газетах было напечатано сообщение прокуратуры. В нем говорилось о раскрытии новой антисоветской вредительской группы. Эта очередная группа правых на сей раз была обнаружена в областной конторе объединения «Заготзерно». Читаю и не верю своим глазам: тут и управляющий конторой Давид, старый большевик, главный инженер Огурцов, управляющий базой номер восемь Ширяк вместе со своим заместителем. Среди них был и мой хороший знакомый и сокурсник по институту техрорук Никитин, мой однофамилец...

— За что их арестовали?

— Было бы кого, а за что — это найдут... В данном случае якобы за то, что они портили хлебопродукты — в муке находили жучка и его личинки, якобы заражали клещом семенное зерно и фуражные запасы... С какой целью? В обвинении было сказано общей фразой: чтобы вызвать недовольство населения политикой партии и Советской власти. Сказано устрашающе, а по сути — ничего...

— Судили их? Из этого «Заготзерна»? — спросил Шевчук.

— Было объявлено о разбирательстве дела в открытом заседании, но я-то точно знаю, что никакого заседания не было. Наша мельница входит в это объединение и подчиняется конторе, и уж я-то по своему положению обязан быть в курсе событий. Кого же и приглашать, как не из числа актива! Никакого суда не было, уверяю вас!

— Значит, всех сразу и выпустили?

— Всех шестерых расстреляли...

— Как расстреляли? Без суда и следствия? За что же?!

— Следствие было, конечно. Вроде нашего... А суда не было никакого. О расстреле было сообщено в «Ленинградской правде» официально на другой день. Тут уж не верить нельзя... Вероятно, судила особая «тройка», заочно. А за что? Будто бы за вредительство да еще за то, что они будто бы организовали в районах антисоветские группы, вроде своих филиалов, в том числе и на нашей мельнице.

— Значит, вас в эту компанию?

— Значит, да. Раз папку для «дела» завели, надо ее заполнять. Дня через два после этого события на нашей мельнице арестовали человек десять. В том числе загребли и меня...

Когда я спросил Никитина, слышал ли он о старорусском процессе над работниками межрайонной конторы, он подтвердил, что такой процесс там происходил. И кажется, «открытый».

— Об этом тоже сообщалось в газетах. Расстреляно восемь человек. И вообще октябрь был месяц урожайный на процессы. В октябре же был процесс и над работниками Охтинского химкомбината. Химиков судил военный трибунал Ленинградского военного округа.

— Почему же трибунал?

— Все же химия, полувоенная продукция. В обвинении было сказано, что эта группа работала будто бы по заданиям гестапо. А тут уж не шутки... Тут дело трибунальное.

— Гестапо. Это что-то слишком...

— Но это еще не все. Охтинцам предъявили обвинение в организации террористических актов против руководителей правительства, против самого Сталина...

— И все это доказано? Все правда?

— Стало быть, из-за них и не было суперхостату для колхозов? — не выдержал Шевчук, поперхнувшись на трудном слове.

— Едва ли...— тихо промолвил Никитин.— Сколько во всем этом правды — судить трудно. Одной истории, может быть, это станет известно. Но при любых условиях приговорить к расстрелу сразу полтора десятка людей — это непостижимо, бесчеловечно. Никогда еще такого не бывало в истории нашего государства...

Постепенно мною стал овладевать страх, страх за свою судьбу. «Боги жаждут, Иван!» — вспомнились мне вещие слова редактора «Трибуны» Мирова. «Боги жаждут крови!» — мысленно повторял я его слова, и жуткий холод все глубже проникал мне в душу.

На Шевчука эти сообщения подействовали не менее сильно, чем на меня и наших соседей, от которых Никитин ничего не собирался скрывать.

Тарас Петрович не принимал участия в наших разговорах. Он был далек от мира отвлеченных вопросов и событий, совершающихся за пределами его деревни,

семьи, соседей по колхозу. Но рассказ о химиках, видимо, что-то разворошил в нем — он долго ворочался, вздыхал и вдруг заговорил:

— А ведь и у нас в Острове тоже, я слышал, был суд над районным начальством. Верно, был! Но как-то у меня об этом запамятилось. А вот теперь вспомнил: судили! И председателя, и заврайзо, и еще кого-то, и тоже будто всех порешили.

Как бы очнувшись от долгой умственной спячки и все более и более воспламеняясь от нахлынувших воспоминаний, он торопливо и сбивчиво продолжал:

— И Никифорова Федора Никанорыча в одночасье с ними убили — это председателя соседнего колхоза «Новый свет». Хороший был мужик, справный, царство ему небесное! — И Шевчук перекрестился, задевая перстом за верхние нары.

— Ну-ка, расскажите, Тарас Петрович, что вы еще слышали и когда это было? — стал я допытывать Шевчука.

— Судили будто бы в середине августа, а может быть, и попозднее. В районной газете все было пропечатано! Пора-то рабочая была, не до газет было, а вот ребята, дети мои, читали, а я только и упомнил, что о председателе да заведующем земельным отделом. Дельный был тот Никанорыч, соблюдал общее хозяйство, заботливый и бережливый, а вот поди ты, не пожалели — и пропал мужик...

— А тебя-то, Петрович, за что арестовали? Тоже за вредительство? — спросил Никитин.

— Заарестовали-то меня за снопы с зерном: взял я по осени с поля десяток снопов...

— Сцапал социалистическую собственность? — съязвил кто-то.

— Не стащил, а взял с позволения бригадира. Ребят-то у меня четверо, и все мал-мала меньше, а хлеба до распределения не хватает. Вот и попросил этих снопов с поля, чтобы выколотить зерно в избе, насушить да на ступе потолочь мучишки ребятам на лепешки.

— Вот тебе за то и натолкли и натолкали...

— Дорогонько тебе лепешки обошлись.

— Надо бы трудодней ждать, по ним бы получил...

— Трудодни?! Труды и дни есть, а вот какая от них польза — неизвестно. Грош ломаный и тот дороже, чем наш трудодень.

— Как же так — трудодней много, а хлеба и денег нет?

— А вот и так,— отвечал, уже сердясь, своему новому собеседнику разговорившийся Шевчук.— Ты городской? Да? А почем ты в лавке покупаешь хлеб? По рублю за кило?! А государство платит колхознику за него гривенник! И за картошку цены нету. И за лен, и за молоко, и за мясо государство платит в десять раз меньше, чем надо, вот так.

Чувствуя, что все его внимательно слушают, Шевчук продолжал:

— Ты думаешь, мужик уж совсем дурак и разучился считать? Сколько же колхозникам остается после такой обираловки? Почему все бегут из деревни, ты знаешь? Даром работать никто не хочет — интересу нет! Машину и ту маслом смазывать надо, иначе она работать не станет.

Он замолчал так же неожиданно, как и заговорил. Мы тоже молчали, думая об услышанном. И все, кто слышал Шевчука, вдруг затихли. Это была голая правда. Впрочем, именно за правду и гибнут люди повсеместно...

## Обманутые надежды

Верно говорят, что счастье переменчиво, а в тюрьме оно и вовсе скоротечно. Своего насиженного, а точнее, належанного места под юрцами мы лишились довольно скоро, не погрев его и двух недель. А случилось это так. Однажды среди дня широченная решетчатая стена вдруг ненароком раздвинулась, как по волшебству, и все услышали команду:

— Выходи строиться! Быстро!

— С вещами? Всем выходить?

— Выходить с вещами!

— На этап, что ли?

Камера ожила, зашумела, загомонила, послышались возгласы:

— Мешок мой приступил, черт тя дери, отпусти!

— Погодите, дайте шапку найти, шапка куда-то пропала с головы!

— Была б голова, шапка найдется!

— Отдайте фраеру соболью шапку! Кто закосил? — несется сквозь гомон издевательский голос с верхних нар.

С грехом пополам после всех выдралось из-под нар и наше общество и, замыкая шествие, пристроилось к хвосту...

Все были взволнованы неизвестностью, растревожены донельзя. «Зачем? Почему? Что стряслось?»

— Давай, давай, пошевеливайся, не в гостях! — подлаивали коридорные надзиратели, звеня связками ключей и выравнивая в две длинные шеренги людской муравейник.

Кому-то уже стало известно, что тюремное начальство потеряло счет, сколько же здесь заключенных. Статистика о численном наличии не совпадала с расходной ведомостью бухгалтерии на хлебные пайки. Кто-то уворовывает лишние порции, иначе ничем не объяснить расхождение... А что, если в тюрьме сидят излишние арестанты, не числящиеся в списках? Все могло быть.

Проверка производилась пофамильно. Какие она дала результаты, для нас осталось неизвестным, но наша дружная троица уже не попала на собственное место. Хлынувшая в широченный проем стены толпа, как вода сквозь прорванную плотину, растеклась по камере и заполнила все выбоины и пустоты...

Мы с Никитиным все же устроились сравнительно сносно у самой стены, противоположной нарам. К ней можно было хотя бы прислониться — все легче сидеть с поджатыми ногами. Шевчук уселся неподалеку от нас в гуще пожилых мужиков. Он попал в свою стихию и, кажется, был доволен.

Со дня на день жду вызова на заседание «тройки», жадно вслушиваясь в голоса надзирателей, вызывающие то на малый этап, то на доследование. Но меня не вызывают.

Потянулись дни и ночи, однообразно-тягостные, тоскливые.

— Что-то долго на «тройку» не вызывают...

— И не вызовут, напрасно ждете,— отвечает Никитин.

Однотонно-мучительно тянется время в безделье. И хорошо, что мне повезло на умного, доброго и знающего товарища. Как-то я спросил его, не помню уж в связи с чем:

— Интересно, кто из наших старых большевиков бывал в этой «пересылке»? И как бы они повели себя при вчерашней драке?

Я имел в виду вчерашнюю потасовку из-за порции хлеба, украденной каким-то уголовником, в результате чего в карцер увели трех человек, в том числе и жулика.

— Как бы они действовали — боюсь судить. Счастье их в том, что им почти никогда не доводилось бывать в подобных условиях. У них такой школы не было... Из тех, кто, возможно, проходил через эту «пересылку», в живых, пожалуй, уж никого и нет. Для потомства кое-где сохранились еще воспоминания политкаторжан, но эти издания стали библиографической редкостью. Если они где и есть, так только в особом фонде Публички да в личных библиотеках книголюбов... Вы заметили, что уже более пяти лет не попадаются и не издаются воспоминания о царской тюрьме и каторге? А почему? Сравнение было бы не в пользу «бывалого каторжника» Иосифа Виссарионовича...

И действительно, литература подобного жанра куда-то исчезла. Я вспомнил, что небольшая книжица Ольминского «В тюрьме» о его трехлетнем пребывании в «Крестах» тоже не издавалась давно, и у букинистов я ее не видел. Это, пожалуй, последний из революционеров, который был еще в почете до своей естественной смерти. Остальные оказались либо троцкистами и зиновьевцами, либо правыми и левыми. Поэтому все написанное ими, включая и воспоминания о Ленине, давно изъято вместе с ними... Ольминский был всего несколько дней в этой тюрьме, и, судя по его воспоминаниям, сорок лет назад здесь было намного вольготнее.

Ольминский оказался в «пересылке» единственным политическим заключенным. Когда ему надоело одному разгуливать по свободной камере, он вызвал начальство и потребовал, чтобы его перевели в общую камеру. Пришедший по вызову начальник тюрьмы вежливо ответил Ольминскому: «Не могу. Инструкция не позволяет. Заключенных высшей категории, к счастью, через нашу тюрьму давно не проходило. А к уголовным — не могу, по инструкции...»

К этапному поезду на Николаевский вокзал заключенных вели мимо Боткинской больницы среди бела дня. Впереди, под конвоем, пешим строем шла огромная партия уголовников, а Ольминский и его товарищ ехали позади в тюремной карете. Не со всеми, не пехтурой, а с особой привилегией, в карете! И кому же был такой почет? Профессиональным революционерам, непримиримым врагам царизма!

Тюрьма для мужественных людей не страшна. Не ее суровость пригибает человека, а его собственные обиды, и пуще всего — разуверение в идеалах, которыми он жил. Мрачные предсказания Никитина и полная неизвест-

ность о заседании желанной «тройки», где разрешился и кончился бы навсегда весь этот кошмар, сильно сказывались на моем настроении. Я все более грустнел, надежда моя таяла с каждым днем. Если уж здесь, в областном центре, не разберутся, где собраны все наши дела и есть живые свидетели, то какое основание надеяться на благополучный исход моего дела заочно, если меня отправят отсюда за тридевять земель!

Шли и шли недели, начался уже новый, 1938 год, а я все ждал и ждал. Неужели Бельдягин обманул? Какая ж была ему корысть? Он же сам уговаривал меня подписать протокол, твердя, что мое дело пустяковое. Тогда почему сам, своей властью, его не прекратил? Нет, тут что-то не так...

Неделю назад в очередной этап был включен Шевчук. Тарас Петрович протискался к нам на прощание, робко протянул руку и заплакал:

— Увидимся ли коли? Приведет ли бог встренуться? Уж вы не обессудьте, глупого мужика, если чего и не так наговорил тогда.

— Что вы, что вы, Тарас Петрович, это вы нам насчет деревни мозги прочистили,— трясли мы его руку. А потом обнялись по-братски.— Прощай, Петрович, крепись, береги здоровье для ребятишек — авось еще вернешься к ним...

Два дня спустя под вечер вызвали с вещами и Никитина.

— Вот и меня на этап... Вот вам и тройка с бубенцами, Иван Иванович! Я, признаться, тоже носил в себе малую надежду на этих рысаков, именуемых особой «тройкой». И хорошо, что малую... В нашем положении выгоднее надеяться на меньшее, на худшее. Разочарований и утрат меньше,— торопливо говорил он, надевая полупальто и закидывая за спину удобный охотничий мешок.— Прощай, товарищ мой, привалит счастье — не забудь адресок, навести моих домочадцев...

Но и с Никитиным мне увидеться больше не довелось.

Я в сильном волнении проводил его до решетки и, пока он не скрылся за поворотом, смотрел ему вслед, едва сдерживая слезы, а под конец все же заплакал, уткнувшись носом в кепку.

Сколько уже было встреч и расставаний с хорошими

людьми, печальными моими сотоварищами! Куда все они исчезли?

Где вы теперь, кончились ли ваши муки?

Наконец-то пришел и мой черед разделить удел ушедших. Я уже потерял счет дням и этапам, прошедшим за время пребывания в «пересылке». Потерял и надежду на «тройку», которая мне уже не представлялась в образе святой троицы убеленных сединами старых большевиков-чекистов дзержинской выучки,— нет, скорее всего это были безжалостные и бездумные фанатики-чинуши, заочно, не глядя, из боязни оказаться в нашем положении ставящие свои крючки на заранее подготовленных однотипных для всех постановлениях: «Виновен!»

Общепринятая процедура вызова на этап не миновала и меня.

— Ефимов! — выкрикивает чиновник, собирающий этап.

— Есть Ефимов Иван Иванович!

— Год и место рождения?

— Тысяча девятьсот шестой, Калининская область, Молоковский район.

— Правильно! Выходи с вещами!

— А когда же «тройка»? — решаю потешить я себя.

— Какая еще «тройка»? Ты что, ребенок?

— Суд какой-то должен быть или объявление приговора?!

— Об этом нам неведомо... Вот еще новость!

— А кому же ведомо?

— Сказано — не знаем, и разговор весь! Что за митинги тут?! Марш с вещами в строй!

В большом этапном зале, где формировался бог знает который эшелон на отправку, нас продержали еще почти сутки. Оказалось, что не хватало десятка вагонов в составе порожняка, за что, конечно же как за вредительство, влетит кому-то из железнодорожников... Затем нас вывели на широкий тюремный двор, ярко освещенный прожекторами.

К воротам тюрьмы была подведена ветка, и вагоны товарняка, оборудованные для перевозки людского груза, подавались вплотную к воротам тюрьмы. Отобранные строго по спискам, по тридцать шесть человек на вагон, мы поспешно под непрерывные окрики охранников вбегали по дощатому трапу с территории двора

прямо в... тюрьму на колесах и забирались на остуженные и промерзшие жесткие нары, стараясь попасть на верхнюю полку.

В ту же ночь очередной тайный эшелон под военизированной охраной в полушубках и тулупах с живым грузом отбыл из Ленинграда, цитадели революции, в неизвестном нам направлении.

Прощай, город Ленина! Как мы надеялись на твою правду, и как равнодушно ты отнесся к нашим чаяниям и надеждам...




# Часть вторая

## Глава восьмая

Царю из-за тына не видать.
Пословица

Быть делу так, как пометил дьяк.
Поговорка

### Ноев ковчег

Лютый январский мороз 1938 года пронизывал нашу тюрьму на колесах насквозь, наметая сквозь щели обшивки снежную пыль.

Нас везли в старых товарных теплушках, называемых когда-то телячьими вагонами, на которых в годы моего детства писалось: «8 лошадей или 40 человек». Этих коричнево-красных, видавших виды теплушек в составе поезда было около полусотни. Дощатые, одностенные, не

приспособленные для жилья, они нисколько не держали тепла: стремительный встречный поток зимнего холода непрерывно выдувал его.

Особенно трудно было прогреть эти промерзшие жилища в первые дни. Маленькая печурка, топившаяся круглосуточно, была не в силах справиться с этим настырным внешним врагом — в нижней части вагона иней на стенках не оттаивал всю дорогу...

Внутри наше жилье выглядело весьма убого. Справа и слева от широкой двери были устроены двойные нары, на которых, ногами к центру, лежало по девять человек. В центре вагона — крепко привинченная к полу чугунная печка-буржуйка, сильно чадившая, когда ветер задувал в трубу. Рядом с ней ритмично подрагивал и пылил железный ящик с каменным углем, пополняемый на больших остановках охранниками, сопровождавшими наш эшелон.

Противоположная откатная дверь не открывалась, а оба люка-окна были наглухо задраены металлическими заслонками, всегда светлыми от инея. Два других люка, что со стороны входа, были единственными источниками света. Снаружи этих окон-бойниц виднелись прочные железные решетки. Эти два оконца освещали только верхнюю часть вагона, на нижних нарах была постоянная тьма и неизбывная стужа.

В четверти метра от пола у неоткрываемой двери торчала вделанная в пол квадратная дощатая труба, затыкавшаяся деревянной крышкой-пробкой. В эту трубу, из которой несло собачьим холодом, мы справляли большую и малую нужду на виду друг у друга всю долгую дорогу...

Воды для мытья не давали, поэтому наши лица, шеи и руки между банями приобретали копченый цвет. Отмывались мы за всю дорогу раза три, кажется в Свердловске, Омске и Красноярске.

Так, по ночам в густом мраке, днями в полумраке, в вечной копоти от буржуйки, тридцать шесть арестантов томились более месяца. Другие вагоны были точной копией нашего. Прячась от людских глаз, состав наш или часами и днями стоял на запасных путях неведомых станций, или безостановочно лязгал, грохотал и скрежетал мерзлыми буферами и судорожно метался на жестких рессорах сотни, тысячи километров.

Измученные пережитым и особенно ночными издевательствами, именуемыми допросами, первые дни мы почти непрерывно спали, невзирая на грохот и перестук

колес. Только нижних жильцов холод часто выгонял к печке, они и подкидывали уголь в ее прожорливую топку. Просыпались мы лишь затем, чтобы получить свой скудный паек: утром — пятьсот граммов хлеба и остывший кипяток, а под вечер — черпак баланды.

Но самым угнетающим было то, что общение между нами налаживалось туго, особенно в первые дни. Все были одинаково угрюмы и замкнуты. Не слышно было ни шуток, ни свойственных для мужского общества сочных разговоров. Заговаривали разве что с лежащим впритирку соседом. На усталых, закаменелых лицах застыли обида и недоверие. Никто не хотел делиться горем,— ведь у каждого хватало своего. Никто не делился воспоминаниями, утратами, заботами о родных и близких, дальнейшая судьба которых была неизвестна.

А наша собственная судьба? Кто знает, куда, зачем и надолго ли нас везут? Что будет с нами? И ни одному из нас не известно главное: кто и когда нас осудил, по какой статье, на какой срок? За какое преступление едем мы в неведомое и терпим муки и страдания?

Никто из тысячи заключенных в этом длинном составе не знает, осужден ли он кем-нибудь вообще. Смутные слухи о заочном рассмотрении дел «тройкой» тревожили душу. Кто тебя выдумал, страшная «тройка»? Ни в каком веке и ни в одной стране еще не было такого судилища — таинственного, беспощадного, несправедливого!

А общество в нашем вагоне было самое пестрое. «Парадные» места у незадраенных люков-оконцев вверху еще при посадке захватили бывалые молодцы из тех самых, кого в прошлые века называли зимогорами, а ныне всюду именуют ворами. Они говорили на своем особом воровском жаргоне и относились к нам свысока, с превосходством людей, отлично знающих тюрьму, этапы, лагеря, их быт и все, что связано с этими учреждениями, изобретенными людьми для содержания в них себе подобных. Наглость и спаянность этой касты, моральным кодексом которой было: «Ты умри сегодня, а я — завтра», давали им силу, смелость и превосходство над нами. Везде они устраивались много лучше нас, везде первые места были за ними. Их не угнетали никакие горести, главной же заботой было — кого в эту ночь обокрасть. И они крали, и обворованный, как правило, никому не жаловался из боязни быть избитым. Это были

люди как бы из другого мира, и нас разделяла невидимая, но прочная стена.

На нашей верхней стороне было их двое. Одного, рябоватого, с насупленными бровями парня лет двадцати, звали Карзубым. Эта кличка служила ему именем и фамилией и дана была, видимо, по той причине, что два передних зуба у него как бы переплетались, чуть приподымая и кривя верхнюю губу. Второй, совсем молодой, лет восемнадцати, карманник, отзывался на кличку Сынок.

На противоположных верхних нарах у люков тоже было двое. Одного из них звали Меченым, вероятно за глубокий шрам поперек левой щеки, изуродовавший также и левую ноздрю. Что-то непоправимо порочное и отталкивающее проступало во всем облике этого типа. Другого звали Чураевым. Постоянная, как бы застывшая на лице угрюмость делала его мрачным, вызывая неприязнь. Такими вот типами был представлен в нашем вагоне уголовный мир, мстительно расслоенный среди нас, «политических».

Крайнее место на наших нарах занял солидной комплекции щетинистый арестант, назвавшийся Блиновым. Он как устроился в первый же час нашего поселения, так и лежал несколько суток, вставая лишь по надобности. Через день или два на мой вопросительный взгляд он сказал:

— Замаялся я очень. Никак не отосплюсь, хоть и не мягко тут.— И снова лег, закрыв глаза.

Между мной и Блиновым находился коренастый мужик лет пятидесяти, которому мы с Блиновым помогли взобраться в вагон. Как потом выяснилось, этого крестьянина с иконописным лицом везли в Сибирь за то, что он упорно не вступал в колхоз и своим благополучным житьем «смущал» бедневших соседей-колхозников.

Вторым моим соседом оказался почти земляк — учитель из Новгорода, где я часто бывал по газетным делам. Звали этого светлой души человека Григорием Малоземовым; дружба наша длилась почти полтора года...

В первые дни наш разговор не заходил дальше общих слов, естественных между людьми, вынужденными жить буквально вплотную.

— Тут, пожалуй, будет потеплее?! — спрашивая и в то же время утверждая, сказал Малоземов в первую минуту после погрузки.

— Пообтает, согреемся,— отвечал я, оглядывая стены и потолок, сверкавшие инеем в неярком свете «летучей мыши».

Между Малоземовым и ворами расположились три колхозника, до того заросшие и грязные, что выглядели стариками, хотя лет им было столько же, сколько и нам. Родом они были из-под Гатчины и всю дорогу больше молчали и слушали, а если и говорили, то лишь между собой.

На третий день печка все же сделала свое дело: потолок потемнел, а стены заслезились. Лишь железная задрайка окошка продолжала белеть. Вверху стало тепло. Разморившись, верхние жители постепенно разделись. Появились и постели из сложенного пальто или полушубка с изголовьем из пиджака или вещевого мешка. И лица как будто повеселели. Отдохнувшие бока стали уже чувствовать и ребристость досок, на которых мы жили.

Самой невероятной и вместе с тем самой приятной неожиданностью для меня была встреча в этом вагоне с моим старым знакомым по Старорусской тюрьме, доморощенным философом Константином Кудимовичем Артемьевым. Его увезли из Старой Руссы в начале ноября, то есть недели за три до того, как было закончено «следствие» по моему делу. Прошло всего лишь два месяца, а казалось, что минул год,— таким тяжелым был этот короткий в человеческой жизни отрезок времени. Да, моя судьба резко изменилась: светлые надежды на выход из тюрьмы честным человеком сменились беспросветной действительностью «признавшегося во всем врага народа», жизнью узника с неизвестным сроком заключения...

Кудимыч опознал меня первым. В дни сонного безразличия ко всему я не особенно присматривался к обитателям вагона. Но по мере того, как исчезала апатия и душа в исхудавшем теле вновь оживала, моя природная любознательность воскресала. Постоянный шум поезда не располагал к активному общению, однако ничто, кроме разве темноты, не мешает присматриваться к людям. Соскакивая вниз, я стал примечать среди тихо разговаривавшей группы на нижних нарах бородатого человека, похожего на Емельяна Пугачева. Но чаще всего его можно было видеть против открытой топки у печки. Сидел он с подобранными под себя ногами — привычка старых арестантов, отвыкших от скамьи или стула. Этот человек почти всякий раз, как казалось мне, делал еле заметный поворот в мою сторону, а устремленный на меня взгляд сверкающих отблеском пламени живых глаз

как бы вопрошал: «Не замечаешь? Или в потемках не узнаешь?»

На третий или четвертый день нашего пути у меня вдруг возникла невероятная мысль, и я стал пристальнее всматриваться в этого бородача, как только он появлялся на свету. Я мысленно снял с него бороду и сразу же вспомнил:

— Кудимыч!

Опрометью, не думая о том, что могу наступить на ноги кому-либо из лежащих внизу, я соскочил на пол и через какие-то секунды уже давил и тискал в объятиях этого милого и несчастного человека.

— Узнал все ж... Вспомнил! — бормотал он, уткнув свою сивую бороду мне в шею и смаргивая непрошенные слезы.

— Откуда ты взялся? Почему молчал столько дней? И зачем отрастил эту дурацкую бороду, которая запутала все?! — радостно спрашивал я, то прижимаясь к Кудимычу, то отстраняясь и любуясь им.

Сцена многих заинтересовала: ведь так редки бывают в наших тюрьмах встречи близких и хороших друзей. А тут все видели: встретились друзья, верные товарищи, и у многих, вероятно, эта встреча вызвала чувство доброй зависти.

Вот так, совсем неожиданно, подвалило двойное счастье: обрел нового друга и нашел старого товарища.

Я сидел с ним рядом на краешке нижних нар и смотрел на него, полный неизъяснимого чувства симпатии и привязанности, какие бывают между мужчинами. Сверху, с противоположной стороны, смотрел на нас Григорий Ильич и тоже улыбался, подобрав колени к подбородку и сцепив пальцы у щиколоток.

Артемьев, заметно волнуясь, скручивал цигарку, протягивая знакомый мне кисет.

— Неужели все еще тот, духмяный, сибирский? — с сомнением спросил я, нащупав в нем довольно приличную порцию.

— Тот еще в Руссе кончился, в подвале докурил. А этот жена с передачей принесла, тоже самосад, но уже валдайский. До лагеря хватит, а там видно будет...

Покуривая, он рассказывал, что пробыл в «пересылке» больше двух месяцев и мучился, как и я, в такой же тесной камере, ожидая очереди на отправку.

— В первые этапы я не попал: подбирали куда-то сильных да молодых, а я теперь уже не тот Федот. Потом приболел малость, в другом эшелоне места для ме-

ня не хватило, а вот этого ждали долго... Слухом земля полнится, а слух был такой, что порожняка не хватает для своевременной разгрузки тюрем. Вот и было там столпотворение вавилонское: ни сесть, ни лечь, смешались люди и человечьи отребья...

— А здесь разве не то же смешение?

— Тожеть и здесь.

С этих дней я заново ожил, в жизни моей наступило просветление. Бесконечно добрый Кудимыч был рядом, а под боком был мой новый друг.

## Под стук колес арестантского вагона

Мы с Малоземовым все больше узнавали друг о друге. Ему было тридцать пять лет, а мне шел тридцать второй, что само по себе способствовало сближению. К тому же оба были коммунистами, пусть и без партийных билетов, пусть и вычеркнутые из списка самого передового отряда рабочего класса, но мы надеялись, что не навечно. Да мы и не могли не считать себя коммунистами, отдав партии свои лучшие годы. Нас сближала и наша профессия партийных пропагандистов, и теоретическая подготовка.

Мы понимали друг друга с полуслова, иногда спорили, и всегда главной темой наших раздумий вслух была одна тревожившая нас постоянно тема — о событиях в жизни партии последнего десятилетия.

За все эти годы разные расследования и подозрения стали обычным явлением. Простое общение с лицами, только лишь подозреваемыми в какой-либо оппозиционной деятельности, считалось сознательным соучастием. Разрастались «черные списки», приходил страх. А с приходом страха исчезали смелость и гордость.

Размышляя о невиданной политической карьере Сталина за эти годы, я вдруг подумал: почему же из всей ленинской плеяды он один воссиял, как солнце? Припомнилось, что имя Сталина замелькало в партийной печати лишь с появлением оппозиции — в связи с ее нападками на ЦК и его руководителя... Кто же вознес его на престол себе на погибель?

— Те, кто окружал Сталина и держался за его фалды. Быть рядом с властью или у самой власти значительно выгоднее, чем выступать с критикой ее ошибок... Поддерживали и мы, молодые коммунисты, не знавшие

всей подоплеки внутрипартийной борьбы. Мы же ни о чем не думали, да нам и не полагалось думать: мы, подчиняясь партийной дисциплине, могли только голосовать, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Ты вспомни,— продолжал Малоземов,— при жизни Ленина Сталин ни разу не выдвигался на первые роли в партии — ни до революции, ни после. Надеюсь, ты еще не позабыл старых учебников по истории партии?

Нет, я не позабыл, а Малоземов тем более: он ведь был преподавателем истории. И мы вспоминали первые учебники и их авторов — Лядова, Зиновьева, Шелавина, Бубнова, Карпова и Фридлянда...

— Правда, сейчас еще трудно осмыслить минувшее,— говорил Григорий,— тем более что это минувшее еще не минуло и ему не видно конца. Взять, к примеру, коллективизацию — ведь это была идея Ленина, идея, видимо, правильная и необходимая в условиях диктатуры пролетариата... Но как она проводилась? Кому нужны эти жертвы и гибель тысяч и десятков тысяч невинных людей?

...Мерный и уже привычный перестук колес нашей «закрытой кареты» способствовал печальным размышлениям.

Я рассказал свою несложную биографию, в подробностях изложил и суть своего «дела», и роль Бложиса в своей судьбе...

— Бложис... Бложис...— задумчиво повторял Малоземов, вперив свой взор в оттаявший потолок, крепко обитый железом.— Любопытная фамилия у твоего недруга: звучна, и редка, и хорошо помнится. Плюс ко всему близка к блажи, то есть к неумеренности, к склонности блажить...

— Ты, оказывается, еще и лексиколог?

— Лексикология — наука интересная. Жаль, что в наше время она почти заброшена. А фамилия Бложис и в самом деле многозначительна,— продолжал он, помолчав.— Бложис — это значит мнить из себя бог знает что, орать о себе, претендовать на то, чего не стоишь.

— Ты угадал, этого в нем хоть отбавляй.

— А сколько у нас таких блажных коммунистов, еще молодых, но уже зазнавшихся. Откуда они, какая среда породила их, этих больших и малых блажных деятелей? — Он подумал, потом сам себе ответил: — Породила их не столько наша русская терпимость, сколько установившаяся система несменяемости больших и малых начальников, порядок их назначенчества, а не вы-

борности, о которой не раз твердил Ленин. Назначенчество сверху порождает безответственность перед народом и угодничество перед вышестоящими. Порождает зазнайство и блажь...

— Мне думается,— говорил Григорий спустя некоторое время,— ваш Бложис довольно основательно приложил руку и в деле расправы над секретарями вашего райкома. Ты только подумай, сколько лет и с какой дьявольской скрупулезностью он подбирал «материалы» на тебя! Для этого надо вести тайный дневничок-поминальничек. И вел он его, конечно, не на одних своих пропагандистов, но и на соратников своих и на секретарей. Чтобы в подходящее время предъявить эти записи как неопровержимые доказательства. И самому выдвинуться: глядите, мол, какой я честный и бдительный, цените таких! Какой мерзавец этот Бложис, какой подлец!!

— Да, этот деляга наверняка стоит сейчас у руля, если его еще не раскусили более дотошные и не выгнали из райкома. Вернусь из этого «путешествия» — и я с ним посчитаюсь...

— Сомневаюсь, чтобы мы скоро вернулись... И что значит «посчитаюсь»? Что ты ему сделаешь, граф Монте-Кристо? На дуэль вызовешь? — грустно улыбался Григорий. Потом вдруг глаза его зажглись.— А знаешь, что мы с ним сделаем? Мы заманим его в лес, привяжем к свиловатому дереву, обольем керосином и сожжем!

— Почему «мы»? Ведь это мой личный враг! Если меня освободят, я привяжу его к елке у муравейника, заткну тряпкой глотку, чтобы не блажил, и пусть его сожрут муравьи!

Так и текли наши бесконечные разговоры, которые прерывались только на остановках, когда грохот отодвигаемой двери и запах баланды или хлеба означали, что наступил долгожданный и торжественный момент приема пищи.

— Ты сказал, что ваших руководителей района не судили,— заговорил как-то Григорий Ильич,— не судили и в то же время вам дали понять, что эти «враги народа» ликвидированы. Значит, открытого суда над ними вашим чекистам, видимо, не удалось организовать: орешки оказались не по их зубам. А вот наши новгородские руководители не устояли и предстали на открытом судилище... Понять тут очень трудно. Скорее всего, их уговорили на это как бы ради революции, а возможно, запытали

до того, что им было уже все безразлично. Скорее всего, так.

— Когда же их судили? До конца августа открытых процессов, кажется, не было.

— Не было. Процесс в Новгороде проходил в начале сентября... Я был арестован две недели спустя.

Гриша присутствовал на процессе по пригласительному билету, и я запомнил его рассказ, будто сам там побывал.

...За столом восседает спецколлегия областного суда под председательством Королькова. Обвинение поддерживает помощник прокурора Ленинградской области Слоним. Все чинно, торжественно, однако чувствуется какая-то затаенная настороженность, боязнь чего-то. В небольшом зале десятка три слушателей, вполне подготовленных шумливой прессой за истекшие годы борьбы с «врагами народа». Тут же сидят и свидетели, заранее проникнутые сознанием патриотического долга и сто раз отрепетировавшие свои показания.

Но вот ввели подсудимых... Первым вместо мужественного и смелого богатыря, которому сам Буденный на поле боя когда-то прикрепил на грудь орден Красного Знамени, вошел исхудавший, измученный седой старик; в глазах — полная отрешенность, как у человека, уже ступившего на край могилы и ко всему безразличного,— это был Бригадный.

...На нары, кряхтя, взобрался Артемьев:

— Что за тайны, если не секрет?

— Садись и послушай,— сказал я, отодвигаясь к стенке.— Гриша рассказывает, как судили новгородских руководителей.

...За Бригадным идет Самохвалов, бывший секретарь райкома, тоже худой, седой, серый... Всего подсудимых — десять человек; еще совсем недавно они были самыми уважаемыми и авторитетными людьми в районе. Тут и Смирнов — заведующий районным земельным отделом, и Кутев — директор МТС, начальник мелиорации Варустин, главный агроном района Кузьмин, старший землемер Новгородчины Варнк и два председателя передовых сельсоветов — Радчук и Петрушин. Все десять — главные «враги народа» с новгородской земли...

Невозможно было поверить тому, что́ каждый наговаривал на себя. Бригадный, например, сказал, что он возглавлял антисоветскую группу в районе по заданию какого-то троцкистско-бухаринского центра, а Самохвалов заявил: «Меня завербовали потому, что знали о мо-

ем враждебном отношении к политике партии и Советской власти». И оба, как по заученному, твердили: «Своей деятельностью мы добивались восстановления кулацкой кабалы и помещичьего разгула».

Кто бы этому мог поверить год или два назад? Да и теперь верили разве только фанатики и безмозглые дураки. Как это понять — добивались свержения Советской власти? Свержения самих себя? Это же абсурд!

Бригадный с какой-то непосильной мукой выдавил из себя фразу: «Я и мои соучастники своей вредительской работой добивались развала колхозов и восстановления капитализма в СССР». Да, будущим историкам будет о чем рассказать. Подумать только, какая силища — десять районных работников замыслили свергнуть Советскую власть!

— А может быть, главные обвиняемые специально говорили так? — вмешался Кудимыч.— Может, они и лепили чушь для потомков: дескать, те-то уж разберутся... Ведь, поди, только в тюрьме мы и стали рассуждать правильно...

— Вы, Кудимыч, пожалуй, недалеки от истины,— подумав, сказал Малоземов.— Большинство слушавших речи на процессе, а до этого читавшие газеты, так ведь именно и думали: враги народа способны на все. Никто не задавался вопросом: а какими силами можно осуществить эти замыслы... А рассуждать мы действительно научились только в тюрьме. До тюрьмы у всех у нас как будто занавески на глазах были, или видели мы только одну сторону медали, слышали одну истину...

Гриша разволновался. Кудимыч молча протянул ему кисет. И тот, свернув трясущимися пальцами неуклюжую цигарку, продолжал:

— Но этот спектакль чуть было не провалился. Старый мелиоратор Варустин на вопросы судьи вдруг заявил, что на предварительном следствии он давал ложные показания, а теперь будет говорить правду: «Я был болен после допросов и потому все подписал...» Видели бы вы, какой начался переполох среди судейцев. Все засуетились, заерзали, начали переглядываться, зашептались, зашелестели бумагами, из вороха которых вскоре и извлекли акты и справки врачебных осмотров. «Совершенно здоров, все здоровы»,— гласили эти бумажки...

— Уж чего-чего, а бумажки-то строчить наши навострились,— заметил Кудимыч.

— А на другой день их приговорили к расстрелу.

— Всех?!

— Восьмерых расстреляли. Только Петрушину и Варнку сделали снисхождение — дали по десять лет каторги.

....А нас везли все дальше и дальше на восток.

— На меня этот процесс так подействовал,— говорил позднее Малоземов,— что я рассказывал о нем на партсобрании, наверное, не так, как положено. Через несколько дней этот рассказ обернулся против меня и стал поводом для обвинения в сочувствии врагам народа.

— Как и в моем деле. Но одного этого еще мало, чтобы начать следствие.

— Конечно, мало. Ты ведь знаешь, какое положение создалось за последние пять — семь лет на идеологическом фронте? За всеми преподавателями общественных наук слежка, к каждой фразе прислушиваются охочие уши: а не сказал ли ты такого, чего не написано у Иосифа Виссарионовича; не произнес ли ты не установленное канонами, не высказывал ли ты новой оригинальной мысли, не соответствующей общепринятым? А я был большим поклонником и последователем Михаила Николаевича Покровского, учился по его учебникам и всегда относился к его работам с большим вниманием. И вот этого старейшего большевика и историка-марксиста объявили главой антиленинской, субъективистской, да еще и вульгаризаторской, школы. Ученого, создавшего лучший учебник русской истории, о котором Ленин дал самый положительный отзыв,— этого ученого затравили самым бесстыдным образом. Травили и его ученики, и завистники, всякая бездарь, создавая себе имя в исторической науке... Эта травля впоследствии, кажется, в тридцать шестом году, нашла свое как бы официальное благословение в неподписанной заметке в «Правде». В каких только смертных грехах не обвиняли в ней Покровского!

— Но тебя-то в чем обвинили?

— Меня обвинили в том, что я осмеливался высказывать свою точку зрения об этом историке. В результате и был причислен нашим НКВД к лику неугодников.

В Омске наш состав долго толкали и катали по бесконечному лабиринту товарной станции, пока наконец не затолкали в нужный тупичок. По обыкновению в баню водили ночью: видимо, было неудобно конвоировать среди бела дня бесчисленные колонны заключенных. А что это нам неудобно — не в счет: мы уже не люди, а зэки, с нами церемониться нечего. Мы уже приучены к

тому, что в любой час суток каждого из нас можно поднять по команде и делать с нами что угодно.

Но эта санитарная ночка прошла негладко: когда вымытых арестантов вели по окраинным улицам обратно, из одной банной партии сбежал крупный рецидивист. Сбежал, и след его затерялся. В бане, видимо, он успел с кем-то сговориться и утек, невзирая на плотный конвой. Это событие подействовало на всех блатарей возбуждающе, как будто это каждый их них отличился лично.

Продержав здесь более суток, нас потащили дальше.

Веселая блатная компания наверху, у окна, сразу же принялась за коллективное творчество с участием своих коллег с противоположных нар. Двое стали нарезать бритвенным лезвием из газетного листа аккуратные дольки величиной чуть меньше обычной игральной карты. Газеты и лезвие еще вчера были добыты в бане и искусно спрятаны до поры. Двое других раскрошили в миске хлебный мякиш, смочили его подогретой водой и после тщательного размешивания протерли ложкой через тряпку. Таким способом был изготовлен клей. Один из умельцев приготовил трафаретку, тем же лезвием он ювелирно вырезал на вдвое склеенном для прочности квадратике газеты картежные знаки: черви, пики, крести и бубны. Затем набрал немного сажи в печке, перемешал ее с клеем и изготовил таким способом черную краску. Газетные листочки-карты тоже были склеены вдвое — для долгой службы.

Не прошло и двух часов с начала этой кропотливой работы, как на свет появились сносные карты-чалдонки, на которых не хватало только разрисованных валетов, королей и дам. Так мы увидели подлинное тюремное искусство блатных, удивляясь быстроте, слаженности и точности всех операций. Но, кажется, только на такой труд эти мазурики и были способны.

С этого дня и до конца этапа уголовники почти не прекращали игры в карты. Играли без «интереса», но с азартом заядлых игроков. Были случаи, когда играли и на хлеб. Заводилой игры на «интерес» был Меченый, и чаще всего в таких случаях ему проигрывал Сынок. Выигравший с каким-то особым злорадством наблюдал, как мучается несколько дней без хлеба его партнер...

В Новосибирске простояли трое суток. С утра второго дня сидевшие у окна часто отодвигали рамку, пытаясь уяснить, почему нас то и дело перетаскивают с одного места на другое.

— Отцепляют и снова прицепляют,— равнодушно говорил Чураев, отворачиваясь от окна.

Это замечание как-то по-особенному воспринял Гриша и надолго о чем-то задумался.

Под вечер около вагонов началось движение. Было слышно, как отодвигались и снова сдвигались грохочущие широкие двери теплушек, слышались громкие голоса, однако смысл слов могло уловить лишь чуткое ухо. В неурочное время открылась и наша дверь, и в вагон по прицепной лесенке поднялись двое в полувоенной форме. Мы настороженно уставились на вошедших, а они поначалу внимательно осматривали не столько нас, сколько нашу одежду и особенно обувь.

— Набирается партия на лесозаготовки,— сказал один из вошедших.— Тех, кто имеет теплую одежду и обувь, прошу встать.

С двух сторон нижних нар поднялось человек пять. На ногах у них оказались валенки, а на некоторых и полушубки и зимние полупальто.

— Согласны идти в лесной лагерь? — спросил второй чин.

— Я согласен,— ответил один, просовывая руки в рукава накинутого на плечи полушубка.— Только мне хотелось бы знать, кем и на сколько лет я осужден.

— Сегодня вам скажут, на сколько вы осуждены. А пока собирайтесь с вещами и выходите из вагона.

— А я на сколько?

— А мне как дали?

— А меня надолго ли упекли?

— Скоро вам всем скажут, возможно даже и сегодня,— ответил всем сразу второй полувоенный.— А вам,— обратился он к добровольцам,— скажут через несколько минут.

В вагоне стало на пять человек меньше. Ушли все обладатели теплой одежды и прочной обуви.

— Мародеры, навербовать навербовали, а одеть не догадались,— сказал кто-то вслед ушедшим.

Может быть, из вагона вышло бы значительно больше народу в сносной одежде, но этого не случилось по чисто психологической причине: мы ехали, тая в душе уверенность, что коль никто нас так и не судил, то и никаких сроков заключения мы не имеем, что везут нас «просто так», для разгрузки тюрем, и мы с затаенной надеждой ожидали, что вот-вот нас догонит какая-то правительственная эстафета с приказом о немедленном возвращении домой на свободу.

Наивные, незрелые мечты! В те дни мы все еще не представляли, что то, что с нами происходит,— это всерьез и надолго.

## Приговор «тройки»

Наконец-то неизвестность кончилась и для нас. Нам объявили приговоры — пусть неправильные, незаконные,— и теперь оставалось только ждать прибытия на какое-то «свое место», откуда можно будет написать жалобу на неправый суд.

Произошло это в Красноярске, когда после длительных маневров нашу походную тюрьму загнали в тупик и наши чуткие уши уловили отдаленные звуки отодвигаемых дверей. Мы поняли, что в вагоны заходят неспроста: время обеденной кормежки еще не пришло, а уголь еще был.

— Наверное, опять вербовщики из леса,— сказал кто-то из нижних жильцов, у которых не было никаких шансов глянуть на белый свет через окно.

— Пожалуй, так и есть,— отозвался Артемьев.— Здесь могут вербовать на Тайшет, потому как не живут там долго люди, умирают от износа или убиваются. Вот и пополняют кадры время от времени, благо резервы большие имеются завсегда.

— Откуда тебе известны такие подробности, Кудимыч? — Артемьева и здесь, с моей легкой руки, все называли не по фамилии, а по отчеству, вкладывая в это и уважение и сердечность.

— Да уж боле некуда отсюда везти: тут прямая дорога на Тайшет или еще куда на север.

Но наши прогнозы на сей раз были ошибочны.

Снаружи послышался скрип снега и знакомый звук отпираемого замка, а вслед за ним — лязг тяжелой щеколды. Широкая дверь отодвинулась почти на метр, и вслед за волной холодного воздуха в вагон взобрались двое румяных здоровяков из лагерного персонала в длинных армейских полушубках, перекрещенных ремнями. За ними снаружи мелькнул винтовочный штык охранника, закрывающего дверь.

— Внимание! — сказал один из вошедших и не торопясь достал из своей объемистой сумки увязанную пачечку тонких папок размером в пол-листа писчей бумаги.— Слушайте приговоры суда,— продолжал он, не глядя на нас.

В вагоне наступила та тишина, которую обычно называют могильной... Были слышны лишь слабое потрескивание в печке, хрустящий снег под ногами стрелка у вагона да шелест страшной бумаги в руках пришедшего.

Четыре ряда давно не бритых арестантов выровнялись по кромкам нар: верхние — поджав под себя ноги, нижние — опустив на пол.

— Артемьев Константин Кудимыч! — назвал глашатай фамилию, стоявшую по алфавиту первой.

— Здесь я,— ответил старик и замер с широко открытыми глазами.

— Осужден особой «тройкой» НКВД по Ленинградской области сроком на десять лет по статье КРА.

— Сколько лет? По какой статье? — переспросил обалдевший Кудимыч.

— Я же сказал — десять лет. А статья эта означает: контрреволюционная агитация.

— Какую же я агитацию делал, гражданин начальник?

— Мы не знаем, что вы там агитировали,— ответил второй пришелец, принимая «объявленную» папку от первого.— Здесь нет вашего следственного «дела», а только формуляр с текстом приговора.

Между тем первый уже раскрыл новую папку:

— Блинов Егор Иванович!

— Тут я! — испуганно ответил мой сосед и привстал.

— Осужден той же «тройкой» на восемь лет по статье КРД.

— А это что за статья? — спросил кто-то с противоположных нар. Блинов, видимо, так растерялся, что не успел даже спросить, что это за новейшая статья в советском законе.

— КРД означает контрреволюционную деятельность,— снова ответил второй, засовывая «дело» в свою сумку.— Чтобы не тратить зря времени, мы будем объявлять только сроки и статьи. А судила вас всех особая ленинградская «тройка».

Первый между тем вынимал очередную тоненькую папочку с очередным сроком:

— Ефимов Иван Иванович!

— Я!

— Восемь лет по статье КРА.

— Иванов Борис Сергеевич, он же Меченый, он же Игнатов!

— Здесь,— сипловато ответил Меченый.

— Десять лет по статье СОЭ!

— Это что еще за СОЭ? — удивленно спросил уголовник.

— Социально опасный элемент.

— За что же десятку всыпали? Меня же не на «деле» брали!

— А вы делом никогда и не занимались: ваша профессия была воровство или иные уголовные занятия.

— Я говорю, что перед арестом я никакого преступления не совершил,— пытался оправдываться бывший преступник.

— А тут, пожалуй, все осуждены не за конкретные проступки, а за прошлые прегрешения и ошибки,— ответил представитель органов НКВД, оглядывая обросших, грязных и истощенных людей.— И давайте соблюдать тишину и порядок.

— Какой тут, к черту, порядок,— сказал оказавшийся внизу Карзубый и, смачно сплюнув, полез на нары.

Второй агент попытался было остановить уголовника, но первый качнул головой: дескать, пусть лезет — и продолжал свое дело, взяв в руку очередной листок:

— Костромин Яков Сергеевич!

— Здесь,— робко и тихо ответил пожилой человек, спавший рядом с Артемьевым.

— Десять лет по статье КРД!

— Как вы сказали?

— Я вам ясно сказал: десять лет!..

— Малоземов Григорий Ильич!

— Я! — чужим, как бы осевшим голосом ответил Григорий, весь напрягаясь.

— Восемь лет по статье КРА!

Гриша молча посмотрел на меня и криво улыбнулся.

Посланцы закона продолжали называть фамилии и объявлять приговоры. Тишина нарушилась уже после первых сообщений, а по мере новых и новых приговоров еле сдерживаемый гул нарастал. Костромин сразу же забился на свое место, и вслед за тем оттуда послышались глухие звуки, похожие на рыдания. Под нами кто-то надсадно охал.

— Тихо, граждане, успокойтесь! — кричал объявляющий.

— Хорошо вам быть спокойными — вы не получили десяти лет неизвестно за какие проступки.

— Приказываю помолчать!— уже строже приказал второй. А с нар то и дело раздавалось:

— А меня за что?

— Это же несправедливо!

— Нам ничего не известно, напишите жалобу с просьбой пересмотреть «дело»,— разъяснял первый после того, как все приговоры были объявлены.

— Не виноват я ни в чем! За что же такая кара?!

— Повторяю еще и еще раз: никакими сведениями мы не располагаем, кроме зачитанных. Обо всем, что вам непонятно или несправедливо, обжалуйте в высшие органы власти по прибытии на место.

— А где то место? Когда привезут?

— Не беспокойтесь, скоро доставят.— И первый, видимо старший, взялся за длинную дверную скобу...

Когда вскоре поезд тронулся в путь, наступило тягостное молчание. Но в этом надоедливом перестуке мне слышался, как в бредовом сне, уже новый смысл: «десять-лет, восемь-лет, десять-лет, восемь-лет», сменяемый нелепой, доводившей до сумасшествия аббревиатурой:

— КРА.

— КРД.

— КРА.

— КРД.

А по мере размышлений аббревиатура сменялась мучительным рефреном:

— За что?

— За что?

— За что?

— За что?

Рядом со мной тихо постанывал молчаливый Блинов, перевернувшись вниз лицом. Григорий Ильич, вытянувшись во весь рост, словно окаменелый, не мигая глядел в потолок. Артемьев сидел на грязном полу и с каким-то ожесточением шуровал кочергой в печке, а она сердито гудела и брызгала стремительными искрами. Два его соседа сосредоточенно курили, и лишь отражение пламени в мокрых глазах говорило о горе и муках.

Каждый по-своему переживал свою беду. Не меньше нас были озабочены и уголовники. Они неожиданно присмирели. Еще недавно они были уверены, что дали им от силы по два-три года и свобода не за горами:

— Подумаешь, срок: зиму — лето, зиму — лето,— шутил Чураев.

К их великому разочарованию, все они получили по десять лет, даже больше, чем некоторые «контрики». Их возмущению не было конца.

— Не обидно, если бы взяли лягавые на крупном деле,— бушевал и сквернословил Меченый,— а тут безо

всякой мокроты по какой-то неведомой «сое»— десять лет!

— Глубокую клизму всунул тебе товарищ Ежов из этой «сои»...— съязвил со злостью кто-то из политических с нижних нар.

— Не горюйте, корешки, больше «петушка» не продержат: в сорок втором году выскочим по амнистии двадцатипятилетия Великого Октября...

Я слез со своего эшафота и, шатаясь от качки и горя, подошел к лежащему Костромину. Он все еще охал на холодных голых нарах, зарыв голову в затасканную одежонку.

— Успокойтесь, пожалуйста, ведь нам всем нелегко,— сказал я, осторожно потрогав его за ноги.

Артемьев, бросив на меня косой взгляд, снова повернулся к печке и зашмыгал носом. Костромин затих, продолжая вздрагивать, как от озноба. Потом приподнялся на локте и посмотрел в мою сторону, все еще не видя меня. Наконец на лице его появилось подобие улыбки. Он сел, сделал непроизвольный жест правой руки к переносице и снова сник. Я понял, что он совсем недавно носил очки.

— Три месяца ищу, все забываю, что у меня их нет... Ну, зачем, спрашивается, отбирать очки? Ведь это же глаза, зрение! Никак без них не могу привыкнуть, живу как слепой.

— Киркой и кувалдой и без очков можно работать,— озлобленно проворчал сверху Чураев, тяжко переживая свою десятку.— Да и ежовцам неприятно очкариков в колоннах видеть — все интеллигенция,— протянул он с издевкой.

Осторожно, стараясь никого не задеть, я присел к Костромину:

— Вы откуда?

— Псковичанин, коренной.

По виду он казался вдвое старше меня, и его покрасневшие от слез глаза бередили мне душу.

— Извините за непрошеное участие, но мне хотелось, чтобы вы успокоились.

— Спасибо, молодой человек, мне уже стало легче.

Он вылез из своего закута и притиснулся к сидевшим у печки.

Яков Сергеевич работал старшим экономистом в окружном статистическом управлении. От него мы услышали, как в угоду гладким донесениям в область его начальник постоянно требовал приукрашивать и округлять

разного рода сводки и отчеты, если показатели из районов были ниже предыдущих.

— Ведь эти приписки — явный подлог, понимаете, подлог! А вдруг какая-нибудь дотошная и объективная ревизия стала бы проверять и сличать отчеты с мест с нашим отчетом и нашла несовпадения? Кто окажется виноватым? Конечно, не начальник, а инженер-статистик... Так оно и оказалось: начальник остался на свободе, а меня — на целых десять лет...

— Чушь какая-то! Зачем? Кому нужна такая статистика?— возмутился один из гревшихся у печки.

— Понять не так уж и трудно,— раздался приятный голос за нашими спинами. Это сказал Городецкий, высокий и тощий, как Дон Кихот, преподаватель географии, редко выбиравшийся из своей берлоги.— Ни один начальник не рискнет сообщить своему руководству неприглядные цифры.

— Но если все будут завышать отчетные данные, то что же получится?

— А ничего не получится... Статистика будет показывать неизменный рост, а экономика фактически будет неизменно падать...

Кто-то запротестовал:

— Как же так? Выходит, что газетам нельзя верить?

— Газеты печатают только то, что им дадут,— сказал я.— О частностях, об отдельных показателях передового хозяйства, и не больше. И только в процентах. Газетам строжайше запрещено публиковать какие бы то ни было итоговые данные в целом по колхозу или заводу.

— Почему?

— Пожалуй, действительно потому, что статистика была бы не в нашу пользу.

Когда я рассказал Григорию историю Костромина и беседу о статистике, он не удивился.

— Это все из той же оперы под названием «Взирай на назначившего тебя!».

— Твой цинизм мне не нравится...

— А мне — твоя непроходимая наивность... Ведь это ж политика, а у нее — свои цели,— рассердился он.

— Давай разберемся на примере нашего статистика-инженера,— заговорил он снова после того, как, соскочив с нар и стрельнув у кого-то на цигарку, устроился поудобнее.— Разве хватит духу и гражданского мужества у его начальника, да и любого нашего руководителя, подписать отчет о невыполнении плана, или что сев

не закончен вовремя, или кормов на зиму не заготовлено сколько положено, а трава осталась под снег нескошенной?! Шутки, Иван! Вот и врут, приписывают... И многие знают, что кругом вранье, а молчат. Почему? Да все потому, что расплачиваться за правду приходится дорого... В лучшем случае лишат премии или уволят под любым благовидным предлогом, а в худшем — создадут «дело» и отправят на каторгу, как нашего статистика. И не со старым бубновым тузом на спине, а с новоизобретенным знаком — КРД. И выдумал же какой-то мерзавец: контрреволюционная деятельность...

## Уроки на вольные темы

— Священный Байкал!

Не помню, кто первый произнес эти слова, когда наша походная тюрьма замедлила движение и, подрагивая, остановилась. Кандидаты «на перековку» прилипли к зарешеченным люкам, а раздатчики пищи подкатили санки к дверям.

То была станция Байкал, что у самого истока красавицы Ангары, единственной реки, вытекающей из нашего величайшего озера.

Славный, священный Байкал, воспетый в русских сказаниях и песнях, предстал перед нами оледенелым, когда эшелон выгрохотал за пределы застроенной части станции и затрясся по самому берегу озера. У обоих люков сгрудилось столько любопытных, что в вагоне совсем потемнело. На счастье, открытые люки оказались на озерной стороне, а поезд пыхтел не спеша по Кругобайкальской дороге, и все желавшие посмотреть на это чудо природы могли удовлетворить свое любопытство.

Стояла середина зимы, и перед взорами простиралась лишь беспредельная снежная равнина, озаренная огромным диском негреющего оранжевого солнца.

Далеко на юге, за снежным маревом, виднелась широкая темная лесная полоса, отделяя зимнее светло-синее небо от белого простора Байкала. Эта темневшая полоса была не чем иным, как хребтом Хамар-Дабан, огибающим всю южную оконечность озера на десятки километров.

— Какой величественный простор!— мечтательно произнес Городецкий, пристально оглядывая снежную даль сквозь доставшуюся ему дырку между головами.—

А как великолепно оно летом, сколько художников и поэтов вдохновило оно своей красотой!

— Вы, видать, здешний или геолог,— сказал я ему.

— Ни то и ни другое,— ответил он, отрываясь от люка и грустно улыбаясь.— Я географ. Мне положено знать о природе несколько больше, чем сказано в учебниках. А кроме того, я здесь бывал...

— А почему бы вам не рассказать об этом крае?— неожиданно предложил Малоземов.

Просьбу Гриши шумно поддержали:

— Расскажите! Просим!

— В стихах или в прозе?— отшучивался Городецкий.

— Можно и в стихах!

— Трави в прозе, господин географ!

— До стихов ли теперь, душа огрубела...

— Давайте прозой, только погуще.

Колеса продолжали отстукивать свое извечное «туку-тук, туку-тук», вагон время от времени колыхало из стороны в сторону, и под этот неумолчный ритмический перестук Городецкий, весь преобразившись, повел урок:

— Почти до конца прошлого века в Забайкалье можно было попасть только летом и зимой. Летом, когда озеро очистится ото льда,— на лодках или пароходе, а зимой — на санях по льду. Весной и осенью Иркутск и вообще вся западная часть Сибири фактически были отрезаны от Читы и всего Забайкалья.

— А другой дороги не было?

— Настоящей дороги, как мы ее понимаем, не было. Так вот, если посмотреть на карту Сибири, то в центре ее восточной части вы увидите узкое и длинное, наподобие изогнутого огурца, синее пятнышко,— и он в воздухе пальцем изобразил перед нашими глазами очертание этого пятнышка,— это Байкал. С юга на север растянулось это морюшко почти на шестьсот пятьдесят километров, а средняя ширина его — почти восемьдесят. Но дело не только в длине и ширине. Вы заметили на юге черную неровную полосу? Это горный кряж Хамар-Дабан. Он вплотную примыкает к озеру, и по суше здесь, то есть по берегу, ни пешему, ни конному не пройти.

— Вот это да-а-а!— протянул кто-то в удивлении.

— Даже арестанту не пройти?

— Самые храбрые здесь кости складывали!

— А с севера? Там тоже высокие горы?

— Через северную оконечность озера пути на восток никогда не было. Это неприютный и холодный край,

где даже звериные тропы редки. Человек извечно жмется к югу, где потеплее и растительный мир побогаче. Так и сложилось исстари, что люди проникали за Байкал только с юга.

— А как же если бежать?

— А весной и осенью как же?

— Северные склоны этого хребта,— никому не отвечая, продолжал Городецкий,— почти отвесно уходят в глубины Байкала... По этому хребту и проходила тогда так называемая Кругобайкальская дорога. Но это была не столько дорога, сколько горная охотничья тропа, по которой едва пробирался пеший или всадник. Добираться от Иркутска до Читы или хотя бы до Кяхты на юге, за хребтом, можно было в те годы только весной и осенью, пересекая хребты до трех километров высотой. И так продолжалось веками, пока наконец не решили проложить постоянную дорогу понизу, вдоль самого неприступного берега озера, взрывая порохом отвесные скалы и перекидывая мосты через бесчисленные горные протоки.

— Железную дорогу?

— Нет, сначала простую, гужевую. Железная дорога пришла сюда позднее, уже на рубеже нашего века.

— Вот, поди, хватили тут горюшка строители,— заметил Кудимыч со вздохом.— Строили, однако, тоже какие-нибудь горемыки вроде нас...

— А как же бегали каторжане?— подал кто-то голос.— Ведь их и тогда засылали за Байкал и даже на Сахалин. Как же бродяги перебирались обратно?

— Главным образом на лодках,— ответил за Городецкого Кудимыч.— Как в песне: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбачью он лодку берет...» Другого пути для бродяг не было.

— Совершенно верно, и не только на лодках, но и на плотах и даже на бочках. Помните песню этих мест: «Славный корабль — омулевая бочка, славный мой парус — кафтан дыроватый»?

— Скажите, Виктор Иванович, а как вы объясняете слова: «Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко»?

— Ну, тут все просто,— сказал Городецкий.— С восточной стороны, почти в самой средней части Байкала, среди многих рек в него впадает и знаменитая река Баргузин... Дело в том, что вдоль узкой котловины озера с севера на юг часто дуют сильные холодные ветры, а поперек Байкала дует теплый ветер, возникающий в широкой долине реки Баргузин. Осведомленные беглецы вы-

бирали обычно путь через Байкал именно в этом месте, потому что здесь бывает всегда не только попутный ветер, но еще и теплый. Именно здесь, хотя озеро в этом месте имеет наибольшую ширину.

— А рыбешка тут водится, товарищ лектор?

— Рыбы в озере много. Из числа промысловых рыб в этом прозрачнейшем озере много сига и омуля. Водится здесь и тюлень, и нерпа. А рыбы всякой нет числа...

— А что же там за рай, за этим Байкалом, что русские люди рвутся туда издавна?

— В Забайкалье много полезных ископаемых, особенно цветных металлов, включая и золото. Много лесов, а в лесах изобилие зверя и птицы. Из Забайкалья ведут пути в Монголию и в Китай, а по Шилке и Амуру — в Маньчжурию, на Дальний Восток, а там через океан — и в Америку.

Городецкий надолго замолчал и, казалось, расстроился. Печка чуть чадила, паровоз иногда подавал кому-то голос, нас все больше потряхивало и мотало, как на утлом судне, а в люке мелькало все то же бесконечное белое безмолвие, все та же снежная пустыня с редкими торосами льда.

— А вы не помните, когда и кем строилась эта дорога — не железная, а та, старая, гужевая?

— Помню, но смутно.

— По части истории кое-что знаем и мы,— с явным удовольствием сказал Малоземов. Все его внимание в эту минуту было обращено на маленький, у кого-то выпрошенный окурок, который он с наслаждением досасывал, смешно выпячивая губы и обжигая пальцы.

— Приятно выслушать еще одного спеца,— весело сказал Кудимыч, устраиваясь половчее на кромке нар.— Глядишь, и не заметим, как пролетят восемь — десять лет...

— Интересно бы посидеть и на уроке истории.

— Уж такие страсти, я чаю, тут были!..

— Да уж, наверное, не без того!..

— Учиться так учиться!

— Всех подробностей, конечно, я не знаю...— начал Малоземов.

— Ладно тебе прибедняться. Ведь знаем, что ты историк.

Тема была настолько интересной, что даже ко всему равнодушные блатари перестали шушукаться и замолчали в ожидании, а Меченый не без зависти изрек по адресу Малоземова:

— Слушай, Гриша, откуда вы объявились такой отъявленный марксист? Наш друг Ежов знал, что в тюрьме умные люди нужнее, а на воле с ними одна морока...

— Умные и ловкие воры на воле тоже очень вредны...— ответил Григорий.

Уголовники раскатисто загоготали, а польщенный Чураев тряхнул головой:

— Фартово сказано!

Малоземов тем временем вытянул руку с клочком газеты:

— Подсуньте махорочки, божьи люди!— И когда махорка была завернута в цигарку, многозначительно сказал:— Строили эту дорогу главным образом поляки...

— А эти как сюда попали?

— Настоящие поляки?

— Самые настоящие.

И Малоземов долго и обстоятельно рассказывал, как после известного польского восстания 1863 года в одну только Восточную Сибирь было сослано более одиннадцати тысяч польских повстанцев. Большинство их было распределено по каторжным работам здесь и за Байкалом, а ссыльных поселили в деревнях. Не находя нигде для себя работы, поселенцы постепенно вымирали от голода. В Чите каторжане работали на казенных чугунолитейных заводах, на верфях строили баржи. Немало их работало и на соляных варницах, где условия труда были столь ужасны, что люди через год-два умирали. Впоследствии, когда началась постройка Прибайкальской дороги, значительное число ссыльнопоселенцев и каторжных было доставлено сюда.

И как бы в подтверждение слов Малоземова впереди что-то загудело, загрохотало чрезмерно и в вагоне вдруг стало совсем темно. В открытый люк ударила густая удушливая волна паровозного дыма.

— Закрывайте окна!— закричал кто-то не своим голосом.

От смрадного дыма стало нечем дышать. Кто-то спрыгнул на пол, где воздух был посвежее, но в темноте на кого-то наступил, оба упали, чертыхаясь.

На нижних нарах кто-то испуганно запричитал:

— Конец свету, царица небесная!

— Тихо, товарищи!— пересиливая грохот поезда, закричал Городецкий.— Ведь это же туннель! Мы по туннелю едем!

Через минуту стало вновь светло. Поезд выскочил из тьмы, и весь ужас прекратился.

— А чего же так загудело?— послышался голос того, кто причитал, и из-под нижних нар выбрался Малов, пожилой крестьянин из Лужского района.

— Отчего же такой грохот-то?— уставился он на Городецкого телячьим взглядом.

— Потому, что это эхо.

— Эхо-о-о?

— Этих туннелей разной длины...— сказал Городецкий, но поезд опять ворвался в непроглядную темень и грохот, длившиеся минуты две, показавшиеся часом. Когда в вагоне просветлело, Городецкий закончил фразу:— Туннелей всего по Кругобайкальской дороге, на расстоянии примерно восьмидесяти километров, пробито тридцать девять, общей протяженностью более восьми километров.

— Тридцать девять?!

— Значит, еще тридцать семь раз будем дохнуть-глохнуть?

— К сожалению, да. Наши телятники не оборудованы ни звукопоглотителями, ни изоляцией...

— Зато мы хорошо изолированы!

Тридцать девять коротких и длинных туннелей в отрогах Хамар-Дабана, пробитых неимоверным трудом польских и русских каторжников, наш поезд прошел почти за четыре часа. Четыре долгих часа тридцать девять раз он то, сбавляя ход, нырял в темноту, то вырывался на сумеречный свет, заполнявший широкие и узкие ущелья. И всякий раз мы, словно зачарованные и в то же время оглушенные и задымленные до удушья, жадно смотрели в узкие бойницы, в которых, как на плохой киноленте, чередовались то ломящая глаза белизна снега, то непроглядная тьма.

Наша беседа смолкла, пришибленные грохотом, все притихли, думая, вероятно, не только о судьбе несчастных поляков...

— Ну а как твои поляки, Малоземов? Построили они эту дорогу или нет?

— Не только они,— ответил Григорий.— Но достроили. Туго им тут пришлось, и недаром они восставали.

— Неужели восставали? На что они могли рассчитывать?

— В тысяча восемьсот шестьдесят пятом году поляки сделали отчаянную попытку освободиться и пробраться в Китай или Монголию...

— Восстание? Здесь?

— В Китай? Отсюда? Это же безумие!

— Да, к чести их будь сказано, поляки не пожелали ожидать медленной смерти... Они выковали косы, напали на охрану, обезоружили, но в результате все кончилось плачевно. Из Иркутска на пароходе быстро подоспел отряд солдат, и восстание было подавлено. Из пятидесяти человек, которых судил иркутский военный суд, пятерых расстреляли... Восстание это было явно безрассудно, но оно помогло улучшить положение заключенных поляков.

— Каким же образом?

— О бунте вскоре стало известно за границей...

— Как же там узнали?

— Отсюда и птица не долетит...

— Птица не долетит, а слух всегда дойдет!

— Земля слухом полнится...

— И о нас за границей знают?

— А ты думал как...

Так реагировали в вагоне на последние слова Малоземова.

В Улан-Удэ и в Чите простояли более двух суток, затем снова покатили на восток. Чувствовалось, что мы приближаемся к «своим» местам.

После Читы Малоземов стал рассказывать нам о декабристах, сто лет назад отбывавших здесь ссылку... Но свой рассказ Гриша так и не успел закончить. Скоро мы прибыли на «свою» каторгу, и все услышанное надолго заглохло в памяти. Наша каторга была во много раз горше.

## Глава девятая

> В желанном нам строе не должно быть такой силы, которая бы заставляла людей насильно, под конвоем шествовать в христианский или иной рай!
>
> Ип. Мышкин

### По пути в лагерь

В предрассветном февральском сумраке наш эшелон, лязгая на сцепках, не спеша втягивался в пределы станции. Призрачными тенями мелькали редкие пристан-

ционные постройки, одноэтажные серые домики, крытые железом или тесом, красные товарные составы и платформы, груженные строительными материалами, и, наконец, после длительного перестука колес по многочисленным стрелкам поезд остановился в одном из тупиков на самом краю товарной станции. Слышно было, как паровоз отцепили и он, протяжно прогудев на прощание, ушел в депо заправляться.

Вагон ожил, хотя и без энтузиазма...

За долгий путь нас заталкивали много раз в подобные тупички, так что и эта остановка не показалась вначале какой-то особенной. Может быть, поведут в баню? Мылись мы в последний раз в Иркутске более недели назад и все изрядно прокоптились. А может быть, снова отцепят несколько вагонов и присоединят к эшелону с иным назначением? Или начнут собирать по вагонам технических специалистов куда-нибудь на особую стройку. Кто знает — мы своей судьбе не хозяева...

Лишь через два часа, после раздачи хлеба и кипятка, стало очевидно, что везти нас дальше не собираются. По каким-то незримым признакам мы поняли, что это конец нашего длинного, изнурительного этапа. Успокаивало лишь то, что в старину этот путь каторжане проделывали пешим порядком, да еще в кандалах. Нас привезли в телячьих вагонах — все же прогресс!

— Похоже, что прибыли на место,— сказал Городецкий, пытаясь через головы увидеть, что делается на воле.

Молодой карманник Сынок и неповоротливый Чураев, часто поглядывавшие в люк, вдруг, словно увидев что-то особенное, замерли. Наш обостренный слух уловил, как где-то в хвосте поезда со знакомым грохотом задвигались на роликах вагонные двери, а вслед за тем послышались возбужденные голоса. Отодвинули рамку у люка и на другой половине теплушки, и небольшое отверстие окошечка мгновенно заслонили любопытные головы.

— Выводят! Ей-богу, выводят!— радостно зарычал Чураев, на секунду отпрянув от отверстия.

— Точно выводят,— уточнил Меченый.— Из задних вагонов выводят и на дороге выстраивают.

Было слышно, как мимо нашего вагона кто-то торопливо прошагал по скрипучему снегу. Сынок успел спросить:

— Что это за станция, начальничек?

— Амазар!

— Я так и думал, что Амазар,— сказал Виктор Иванович.— На рассвете, когда наш поезд делал остановку, я заметил на здании вокзала вывеску: «Могоча». А от Могочи следующая к востоку станция Амазар, самая последняя на территории Читинской области. Дальше начинается уже Амурская. Проезжал я мимо этих мест два раза за последние шесть лет и удивлялся, как много здесь заключенных. В какую сторону ни посмотришь — всюду сторожевые вышки, будто нефтяные промыслы. А теперь вот и меня будут стеречь...

Люди настойчиво лезли к люкам, отталкивая друг друга: всем хотелось посмотреть, что же в самом деле происходит на белом свете. Чуть в стороне, на едва притоптанной дороге, идущей параллельно путям, в ярком сиянии зимнего холодного солнца темнела, увеличиваясь на глазах, густая вереница людей, охраняемая строгими часовыми. Она проворно пополнялась все новыми и новыми группами по мере выгрузки из вагонов. Наконец дверной грохот прекратился, и послышалась строгая команда: «Построиться! Разобраться в колонну по пяти!» Шла проверка. Называемые по фамилиям зэки откликались своим именем и отчеством и отходили в сторону. Там они становились в строй и поступали в ведение другого, лагерного конвоя. Через несколько минут послышалась новая команда: «Шагом марш по дороге! Не растягаться, не отставать!»

— Поплелись, доходяги!— воскликнул Кудимыч, перед тем бесцеремонно оттеревший Меченого и занявший его место.— Эвон как их шатает, страдальцев!

— Зашатает и нас, вот погоди, вылезем,— заметил кто-то.— Месяц без движения, без воздуха, да еще на таком пайке!

— Ну, для меня-то это ненова!— буркнул, не оборачиваясь, Кудимыч.— Я говорю, что народ жалко...

Не прошло и часа, как снаружи застучали по обшивке нашего телятника и послышался голос охранника:

— Приготовиться к выгрузке!

— С вещами на дорогу!— вторил ему другой.

Мой багаж был весьма скуден: всего две пары теплого белья, завернутого в белую, уже затасканную по грязным нарам наволочку. Этот узелок служил мне подушкой и памятью. Надеть свое осеннее пальто, служившее всю дорогу постелью и одеялом, было делом одной минуты. Не длиннее были сборы и остальных, и вскоре все мы, три десятка человек, столпились вокруг потухшей чугунки, готовые следовать, куда поведут...

В суматохе выгрузки нельзя было не заметить, что начавшаяся было стираться резкая разница между блатными и «контриками» вновь проступила наружу.

— Замечаешь, как группируются?— тихо сказал Малоземов, толкнув меня локтем.

— Этого следовало ожидать.

Как бы ни были они различны по характерам и по своим хитрым профессиям и как бы ни роднили их с нами длительные сроки наказания, уголовники моментально сгрудились, обретая утраченную было спаянность, и всем стало видно, что этот пяток мерзавцев куда сильнее нас.

Их сплачивало своеобразие их опасного «промысла», однородность воровской морали, взглядов и жизненных целей. Без лишних объяснений между собою они твердо знали, что десяток «фраеров», или «контриков», никогда не устоят против двух-трех мазуриков вроде Меченого и Чураева. Теперь они топтались у вагонной двери, чтобы первыми выскочить наружу.

Между тем очередь на выгрузку дошла и до нашего вагона. С морозным ржавым визгом откатилась до отказа тяжелая дверь, и мы начали неловко соскакивать в притоптанный неглубокий снег. В первую минуту у многих закружилась голова: обилие ослепительного света и чистого воздуха, напоенного хвойными запахами тайги, подействовало настолько опьяняюще, что даже ноги ослабли.

Многие спотыкались и, держась друг за друга, ковыляли от вагона к дороге, на которой накапливался очередной этап истомленных людей разных возрастов и профессий. Это была масса помятых, давно не бритых и не мытых отверженных. На лицах сквозь копоть и грязь проступала желтая тюремная бледность. Одежда у большинства была не по сезону легкой, изрядно засаленной и как будто изжеванной.

Вслед за нашей группой подходили из других вагонов, шум нарастал, слышались приветствия, соленые шутки. Но вот прозвучало:

— Тихо!

— Прекратить разговоры!

— Разобраться по пяти в ряд вдоль дороги!

— Становись!

Длинная толпа зашевелилась по-военному и вскоре вытянулась в нестройную колонну. Малоземов и я встали рядом, к нам пристроился и Городецкий, а потом, бормоча что-то себе под нос, примкнул и Кудимыч.

Пока нас проверяли и считали, я осмотрелся по сторонам. Нас выгрузили у запасных путей на восточной окраине станции, в стороне от поселка. За товарными составами его не было видно, но по рассыпанным на пригорке домам можно было определить, что станционный поселок довольно большой. По левую сторону линии виднелось еще с десяток одноэтажных деревянных домов. Из печных труб приветливо выбивался дымок.

Еще левее и дальше за поселком виднелись вышки — знакомые сторожевые будки на высоких опорах с бдительными часовыми. Они говорили о том, что здесь расположен еще один лагерь. Эти мрачные пугала по Сибири и дальним окраинам страны свидетельствовали о совершенно новом виде поселений, полутайных и мрачных, обнесенных колючей проволокой, не упоминаемых ни в периодической, ни в справочной литературе о первой в мире стране социализма... На географических картах их тоже не было, хотя там проживали миллионы.

— Рассматриваешь свою будущую резиденцию?— вывел меня из размышлений Гриша, зябко переминаясь на снегу в своих летних полуботинках.

— Да нет... Еще неизвестно, наша ли эта обитель. Тут, вероятно, много такого ландшафта, как сказал бы наш географ.— И я покосился на молчавшего учителя.

И действительно, всматриваясь правее, мы увидели на лесном горизонте новые вышки и, насчитав их целых шесть штук, решили, что лагерь там солидный...

Проверка заключенных по формулярам закончилась. Бравый и краснощекий командир охраны, строго-франтовито шагая, как на параде, вдоль строя, громко разъяснял:

— Следовать по дороге не сбиваясь! Шаг вправо, шаг влево считается побегом, и всякий нарушитель этого правила будет убит на месте без предупреждения! Ясно?!

— Уж чего яснее...

— Азбука!

— Запомнили? Шагом марш!

И первые ряды медленно заколыхались в указанном направлении.

Я оглянулся назад, на оставленную нами походную тюрьму, обежал взглядом распахнутые настежь два десятка вагонов, наших неуютных тесных жилищ, теперь уже не охраняемых, и заметил, что не менее трети теплушек стоит еще с закупоренными дверями под охра-

ной и над ними курится дымок. Значит, сотни четыре арестантов еще ждут своей очереди на выгрузку. А может быть, их повезут куда-нибудь дальше?

Идти по целине без привычки было трудно, хотя предыдущие редкие банные походы нас все же тренировали. Морозный снег был сух и рассыпчат, а ноги наши слабы и неустойчивы. Это тебе не твердая мостовая, по какой мы шагали в больших городах на помывку. Главное затруднение было в обуви: у большинства из нас были легкие ботинки и полуботинки, свидетельствовавшие о том, что нас брали еще летом или теплой осенью. Снег набивался внутрь, таял, подмерзал и причинял добавочные неприятности ногам, привыкшим к вагонному теплу. Мои парусиновые туфли, когда-то белые, а сейчас грязно-серого цвета, выделялись среди обуви остальных и вызывали остроты у шагавших рядом и позади.

— Чистый пижон, а не каторжник!

— Фраерок спешит на свидание у фонтана!

— Полтинника на чистку пожалел, жмот.

— Снежком сами почистятся,— отшучивался я.

— Надолго вы теперь отфорсили в белых туфельках?

— На восемь лет, как на один денек!

— Тройка меньше восьмерки не давала, а с десяткой выходит очко,— скаламбурил кто-то позади.

С невольной опаской за будущее глядел я на свои жалкие туфли и, наверное, в сотый раз казнился: наивный болван — зачем в ночь ареста не надел свои новые охотничьи сапоги? Впрочем, знать бы, где упасть,— соломки бы настлал...

— Не горюй, Иваша,— успокаивал Кудимыч,— скоро Бамлаг оденет тебя в «нашу марку».

— А что такое Бамлаг?

— Чуток потерпи, и тебя проинформируют. У Бамлага от тебя больших секретов не будет.

— Прекратить разговоры!— раздался голос старшего.

— Подтянуться, прибавить шагу!— закричали конвоиры.

Не помню, писал ли Антон Павлович Чехов в печальном очерке «Остров Сахалин», из какого материала шилась обувь для ссыльных и каторжан Сахалина, а «наша марка», с которой предстояло познакомиться, изготовлялась из старых расслоенных автопокрышек. Лагерная обувь представляла собой грубые тяжелые боты, или бахилы, как их обычно называли в лагере. Зимой в них обмораживались пальцы, а летом ноги прели от пота. Ба-

хилы зашнуровывались толстым шпагатом, были очень прочны и, главное, ничего не стоили. А пока мы вышагивали в своей «вольной» обуви, растянувшись по пустынной дороге, проложенной среди небольших холмов где-то на дальних задворках поселка, как бы стыдливо скрывающейся от людского глаза. Нас было чуть более двух сотен. Охранники, шагавшие по сторонам с винтовками наизготове, то и дело покрикивали:

— Подтянуться!

— Прибавить шагу, задние!

— Не растягиваться! Передние, приставить ногу!!

Голова колонны на минуту замирала на месте, задние неловко трусили, стараясь догнать и «подтянуться», и пестрая лента снова ползла вперед. Иные спотыкались о невидимый под снегом камень или мерзлый бугорок, их подхватывали товарищи, солоно шутили, невзирая на строжайший запрет, и снова шли неизвестно куда. Нередко раздавался сочный мат, или, как говорили в старину политкаторжане, велся «обмативированный разговор».

Наконец, перевалив через очередной взгорбок, мы увидели «свой» лагерь. Посреди небольшой равнины, скрытой меж белых холмов, стояло несколько прижатых к земле, старых, темных бараков, обнесенных со всех сторон высоким, почерневшим от времени, тесовым забором. По его верху было натянуто несколько рядов колючей проволоки. Из такой же проволоки был устроен еще и внешний пояс, ограждающий доступ к этой крепости... По углам острога, называемого зоной, в которой отныне нам придется жить, стояли вышки, а на них в теплых тулупах маячили часовые.

У ворот из толстых жердей, перепутанных той же колючей, находилась небольшая сторожка-пропускник, именуемая вахтой. Между ней и воротами была калитка для прохода одиночек. У самой калитки дежурил вахтер в хороших валенках и теплом полушубке с поднятым воротником. По лагерю между бараками сновали заключенные и, увидев нас, приветливо кричали:

— Нашего полку прибыло!

— Добро пожаловать, гостечки!

— Поторапливайтесь, скоро баланда поспеет!

Судя по всему, это были люди из нашего эшелона, уже начавшие осваиваться с лагерной жизнью.

Старший конвоя с большой казенной сумкой через плечо ушел к воротам. Навстречу ему из проходной вышел начальник караула, тоже в армейском полушуб-

ке, окинул подтянувшуюся и замолкшую, как на похоронах, партию, прошел вдоль нее, дважды молча просчитал пятерки и подал знак открыть ворота.

Молча и понурясь мы прошли в этот рай, где охранники с обеих сторон снова всех пересчитали, и наконец мы вступили в зону. Встретивший нас лагерный деятель указал на самый большой барак:

— Здесь будете размещаться...

## «Секреты» раскрываются

По не тронутому тут и там тонкому слою снега можно было догадаться, что этот лагерь до нас какое-то время был необитаемым и только сегодня «ожил». Повсюду лежали груды сырых, свеженапиленных досок, брусков и кучи дров, из которых пришедшие раньше нас уже брали, что им требуется, и уносили в бараки, как муравьи в муравейник.

Наша толпа сразу же распалась. Одни пошли к баракам, другие — искать утерянных знакомых. Трое из нашей пятерки тоже направились к жилью, а мы с Малоземовым подзадержались, осматриваясь по сторонам: так было все ново и неприютно, отовсюду веяло холодом и чужбиной.

— Эй, вы, нахально-вербованные, остерегись! Чего шары-то повыкатили?!— послышался сзади крик, и, отскочив в сторону, мы увидели сани с обледенелой бочкой. На передке сидел молодой парень и с озорной усмешкой смотрел на нас, подергивая вожжами.

— Новички, видать,— продолжал он, приостановив рыжую кобылу.— Шли бы умываться, арапы копченые! Вот и водичка свежая!— И поехал к нашему бараку.

Мы впервые посмотрели друг на друга внимательнее и невольно рассмеялись. Красивое лицо рослого, плечистого, прилично одетого Малоземова было настолько грязно от вагонной пыли и копоти, что русая щетина бороды и усов была едва заметна. Блестели, как снег, лишь крепкие зубы да белки настороженных карих глаз. Я выглядел и того грязнее.

— Что ж, займемся лагерным туалетом,— сказал Малоземов, и мы пошагали к бараку, где и раздобыли полведерка воды.

У соседнего барака полукольцом толпились зэки, зло и матерно ругая кого-то.

— Вот полюбуйтесь, чтоб они передохли, подонки проклятые, выродки неземельные!

Прямо против двери возвышалась почти метровая ледяная гора знакомого чайного цвета. Догадаться о ее происхождении не представляло труда.

— Гнусные гады! Свиньи и те чистоплотнее живут. И где их только делают, паразитов ленивых!— продолжал между тем высокий, могучий, чернобородый арестант в ватной поддевке, тыча штыковой лопатой в желто-коньячную горку.

— Тише, папаша, не кашляй, ночью простудишься...

— Я те так простужусь, вошь копченая!— все более разъярялся чернобородый, как видно из бывших рачительных мужиков.— Нет, вы только подумайте!— с досадой воскликнул он, оборачиваясь в нашу сторону.

А история была в том, что, оказывается, здесь целую зиму отсиживалась блатная команда. Работать никто не хотел, из бараков выходили только по большой нужде, а малую справляли прямо через щель приоткрытой двери. Вот и вырос тут айсберг...

— Это еще полбеды,— говорил чернобородый, одетый в нагольный полушубок,— ледок легко вырубить, запорошить снежком, и вся недолга. Вы в бараки загляните, что эти гады там наделали!

Но мы вернулись с ведерком в свой барак, его двускатная крыша на толстых деревянных фермах служила одновременно и потолком, почерневшим от сажи. Справа и слева от входа в обоих концах стояли круглые примитивные печи. Собственно, это были не печи в обычном понимании этого слова, а высокие, в два метра, металлические бочки или цистерны с вырезанными автогеном отверстиями для топок. Приваренные к задним стенкам железные трубы уходили наружу прямо через крышу. Вокруг этих разогретых снизу почти до красноты печей стояли, сидели или полулежали прямо на голой земле десятки арестантов, прибывших с эшелоном.

Пол был начисто выломан. Вдоль всего барака, длиной около тридцати метров, стояло два ряда столбов, на которые опирались стропила. А от нар только на втором ярусе кое-где уцелели островки из досок. Все остальное было выломано, выдрано с мясом, с гвоздями и сожжено вместо дров.

Согласно расчетам лагерного начальства барак должен был вместить не менее трехсот человек, и в течение дня сюда прибывали новые и новые поселенцы из нашего эшелона.

— Дайте, братцы, погреться, костям отойти!— кричали закоченевшие новички, протискиваясь ближе к лиловым от жара печам и скидывая котомки.

— Что тут, Мамай прошел?— спрашивали другие, с удивлением оглядываясь. Иные же, измученные этапом, входили без всякого интереса и молча брели куда-нибудь в сторонку, устраиваясь кто как умел.

Ни на минуту не расставаясь со своим узелком, я пробрался к большой толпе, плотно окружавшей какого-то оратора. То был один из лагерных начальников.

— О чем он там балаболит?— спрашивали вновь подходившие.

— Тише, братцы,— осадил один из слушателей.— Дайте сказать человеку! Объясняет же!

— Эй, начальничек, когда хряпать будем?— крикнул кто-то из блатарей.

— Повторяю,— усилил голос лагерный служака,— здесь до вас была доходиловка...

— А что это такое за учреждение?

— Доходиловкой в лагерях называют зэков, дошедших до полного истощения от голодного безделья. В этом бараке до вас жили сотни полторы уголовников. На работу они не выходили, а если и удавалось вывести их на трассу, то все равно весь день сидели у костров или делали вид, что работают. Воровать им здесь было не у кого и нечего, харч варился неважнецкий, отощали и обленились настолько, что не хотели даже дров себе приготовить. Вот и обломали все нары и сожгли их в печках.

— А на что же начальство смотрело?— спросил кто-то сердито и требовательно.— Почему не реагировало?

— А как тут усмотришь? Не сидеть же начальству вместе с жульем в бараке?! Да и какой толк стеречь, если люди у самих себя тащат? Наказывали, конечно, в карцере их всегда было полно, а результат все тот же... Нет, таких ничем не перевоспитаешь.

— И в соседнем бараке такие вот жили?

— Жили и там. Тоже все поломали.

— Куда же их подевали?

— А по-разному... Кого в штрафную колонну, кого — в санчасть.

Многое из рассказанного лагерным работником для нас уже не было новым. О быте и нравах лагерей мы понаслышались и в тюрьме, и в «пересылке» от бывалых лагерников. Но их рассказы воспринимались тогда с недоверием, что вполне естественно: абсолютное большинство арестованных в 1937 году были люди морально

здоровые и совсем незнакомые с жизнью преступного мира, с жизнью лагерей, их обычаями и традициями, унаследованными от далекого прошлого. Мы были «фраерами», зелеными новичками, которых даже малоопытному воришке ничего не стоило обчистить.

Да и откуда нам было знать о тюрьмах и лагерях? Из газет? Но что печатали газеты о местах заключения? Что там идет «перековка» преступников, что там трудовые колонии, где царят дисциплина, порядок, чистота и культура. Где трудовой порыв сочетается и переплетается с культурным отдыхом и обучением.

Иногда показывали нам этот лубочный мир со сцены, с экранов кинотеатров. Кто не помнит веселого, перевоспитанного за один месяц бандита Костю-Капитана из комедии Погодина «Аристократы»? В те же годы на ту же тему прошумела и картина «Путевка в жизнь», настолько же фальшивая, как и «Аристократы».

Как ни горестно в этом признаваться, но здесь, в центре крупнейшего из лагерей — Бамлаге, занимавшем территорию от Байкала до Амура, мы увидели каторжный мир Сибири почти таким же, если не хуже, каким он был некогда описан Достоевским и Чеховым. Неужели этот ад был специально создан только для нас, «врагов народа»? Нет, в один год такого не создашь. То, что мы видели и испытали в те годы, не могло возникнуть сразу, а вводилось и узаконивалось много лет. Бараки уже почернели от времени и осели в землю, а доски на нарах заметно поизносились от трения тысяч человеческих тел...

— Ну а мы что же, так здесь на земле и будем валяться, тоже «доходить»?— послышался чей-то резонный вопрос...

— Зачем же на земле? Из первой вашей партии уже образована строительная бригада. Сейчас она в зоне готовит доски для нар, и дня через два у всех будут плацкартные места. Ну а пока придется как-нибудь...

И верно, в дверь, а также через выбитое окно уже забрасывались двухметровые доски. Снаружи кто-то кричал: «А ну, поберегись!» Или: «Хватит филонить, принимай кровать!»

В бараке началась строительная суета.

— А вы кто будете, как вас звать-величать?— спросил кто-то у красноречивого администратора.

— Я помощник начальника колонны по бытовым вопросам. Помпобыт, как именуется здесь эта должность.

Моя фамилия Хобенко, я тоже из заключенных, из числа расконвоированных.

— Объясните нам, что такое колонна?

— Колонной в наших лагерях называется первичная, то есть низовая, хозяйственная единица Бамлага, подчиненная Амазарскому отделению. Все колонны находятся на хозрасчете, но наша пока является карантинной для вновь прибывающих. Вы здесь пройдете санобработку и отдохнете несколько дней после этапа. Потом вас будут направлять в другие колонны.

Из толпы наперебой закричали:

— Покантуемся вволю!

— Вот поднагуляем мяса, грудинки и окорочков...

— Да уж тут накормят...

— Всем хватит и вошкам останется!

— Каждая колонна, кроме нашей,— деловито продолжал Хобенко, уловив паузу между возгласами,— имеет подрядный договор с железной дорогой на определенные строительные работы...

— Ша, довольно про работу травить! Ты скажи лучше, когда нам дадут похавать!— громко крикнули от печки.

Этот резонный вопрос был встречен одобрительным гулом.

— Да, как относительно питания?— переспросил чей-то вежливый голос из глубины все разбухающей толпы.

— Скоро накормят,— ответил Хобенко.— Сейчас на кухне за зоной для вас варят юбилейную баланду, а через часок будет калорийный обед из одного блюда...

— А ужин?

— Ужин вам не нужен,— дружески улыбнулся докладчик.

Вопросы были исчерпаны, живой круг распался, и помпобыт направился к соседнему бараку.

## Жизнь на прицеле винтовки

В неумолчном шуме и гомоне, свойственном всякому бездеятельному обществу, все усиливались новые звуки: стук молотков, сочные удары топора, стальной звон поперечных пил. Чуткие ноздри ощутили приятный аромат свежей сосновой смолы, благоухание целебной лиственницы, хвоя которой спасала тысячи сибиряков от опасной цинги, спасала впоследствии и нас.

В бараках началось созидательное благоустройство.

В поисках куда-то ушедшего Малоземова я с радостью увидел Кудимыча, устроившегося в группе пожилых арестантов невдалеке от печки. Его широкая, в лопату, борода откидывалась то влево, то вправо, по мере того как он поворачивал свою стриженую голову, о чем-то горячо рассказывая собеседникам. Я подошел к нему и попросил поберечь мой сверток:

— Только до вечера, потом возьму.

— Ладно, ладно,— ответил он, проворно заталкивая в свой мешок мое драгоценное белье.

Я вышел наружу. Хозяйственная команда у соседнего барака уже управилась с остатками наследия «доходяг» и припорошила его свежим снежком. Я побрел вдоль барака, с небывалым наслаждением докуривая случайно доставшийся мне «бычок».

На угловых вышках мирно переминались с ноги на ногу часовые в тулупах. Под ногами приятно поскрипывал снег. Студеное солнце заметно клонилось к западу. В косых его лучах тянулась длинная тень нашего барака, доходившая до соседнего, вокруг которого тоже суетились люди. Третий барак, поменьше, стоял прямо против проходной, образуя с севера перекладину буквы «П» для первых двух. Двери всех трех бараков выходили на небольшой квадратный плац. Задние стены бараков окошек не имели. На окнах были решетки. Незарешеченными были только два окна у входа и по окну в торцевых стенах.

Недалеко от проходной стояло еще одно здание барачного типа. Оно находилось за зоной, метрах в десяти от забора, и в нем располагалась кухня с подсобным помещением. Из трубы струился волнующий нас дымок. Между колючей оградой зоны и кухонным бараком был устроен хитроумный прогон, соединяющий пищеблок с нами. Этот неширокий «буфетный вестибюль» был опутан несколькими рядами колючей проволоки высотой в три метра. Убежать из этого коридора было делом совершенно невозможным: он отлично просматривался насквозь охраной из будки, а часовым на боковых вышках было отчетливо видно, что делается в прогоне у кухонного раздаточного окна. Входом в прогон служила калитка в заборе. Открывалась она только два раза в день — утром для выдачи хлеба и кипятка и под вечер при выдаче лагерной похлебки. Остальное время на ней висел внушительный замок.

Забегая вперед, скажу, как происходила здесь выдача пищевого довольствия. Известно, что голод не тетка,

и поэтому еще задолго до выдачи пищи выделенные от бригад дежурные занимали очередь у дорогой нам калитки. В эти тягостные минуты, когда сосало под ложечкой, со стороны ближайших вышек то и дело раздавались грозные окрики:

— Не подходить близко!

— Назад! Кому сказано?!

— Назад, говорю! Пули захотелось?!

И едва только дежурный по кухне успевал отпереть заветную калитку, в нее, сминая друг друга, бросались дежурившие зэки — по два-три человека от каждой бригады,— плотно, в затылок друг другу, прилипая против раздаточного окна. В руках — ведерные бачки для кипятка или баланды из расчета поллитра на человека и мешки или фанерные лотки под хлебные пайки.

Процесс раздачи пищи был одним из самых драматических моментов нашего ежедневного существования. Какие страсти тут бушевали! Каждый, достигший окна и получивший свой наполненный бачок, всеми силами старался доказать повару-раздатчику, что тот якобы не долил одного черпака или негусто налил, а то пóвара ласково упрашивали дать прибавку в полчерпака «на разлив», подкинуть лишнюю картофелину, если баланда вдруг оказывалась картофельной, что бывало весьма редко (обычно баланда варилась из ячменной сечки без каких-либо картошин). А как внимательно рассматривались подаваемые из окошка порции хлеба: не отвалился ли довесок к основной порции, прикалываемый обыкновенно тонкой лучинкой, не много ли дано серединок по сравнению с горбушками, не ошибся ли хлеборез в количестве малых, штрафных, порций по триста граммов?

Горький комизм околокухонных сцен состоял в том, что, как это ни странно, каждый просящий знал, что все эти страсти совершенно напрасны. Как повар, так и хлеборез оставались неумолимыми, и никакие просьбы, ухищрения и угрозы на них не действовали. В случаях же грубого натиска дежурных кухонное оконце моментально закрывалось изнутри, и тогда голодная очередь накаливалась добела, ища виновных среди своего брата-арестанта:

— Почему? Почему закрыли?

— Какой черт там задерживает?

— Добавочки просит, косач!

— У Ежова пусть попросит добавочки!

— Это из какой бригады приползли крохоборы?!

Шутки голодных людей здесь мешались с грубой бранью.

— Господин начальник повар, добавьте еще одну курью лапку.

— Налейте компоту бывшему агитатору!

— Добавь ему черпаком по едалу!

— А что вы кричите, я за правду борюсь, для всего коллектива стараюсь!

— У прокурора ищи правду, бедолага!

— Порядок! Нельзя же так, дорогие товарищи...

— Твой товарищ в тайге с хвостом бегает!

— Тащи их от окна назад, мать их так и этак! В хвосте баланда погуще!

Подобные баталии наблюдались почти каждый день, а пока в этот неурочный час первого для нас лагерного дня на кухонной калитке мирно висел большой амбарный замок.

В стороне от лагерных построек находилось общее отхожее место. Устраивалось оно по своеобразному и единому для всех лагерей Сибири «проекту»: в вечной мерзлоте выдалбливалась яма глубиной в три, длиной до шести, а шириной до полутора метров. Поперек ее клались короткие бревна на небольшом расстоянии одно от другого и на них, уже вдоль рва, настилались две-три толстые доски с круглыми прорезями. Эта яма с задней стороны обносилась невысоким забором из горбылей, «чтобы прикрыть срамоту», как говаривал Артемьев. Четвертая сторона, обращенная к баракам, оставалась открытой, и, таким образом, каждый отправлял свои естественные надобности не иначе как при свидетелях.

Никакой кровли здесь не полагалось вовсе, что было самым неудобным для нас в таких климатических условиях, но зато удобным для часовых. Да что там крыша над уборными — увы, здесь надо было забыть о многих элементарнейших условиях жизни.

По установленным правилам выходящий из барака не имел права отходить от него в сторону, а тем более подходить близко к ограждению. А так как отхожие места всегда отводились вблизи границы, лагерник, выскочив по нужде, обязан был в любое время года и днем и ночью предупреждать часового на ближайшей вышке громким криком:

— Стрелок, оправиться?!

И лишь только получив ответ: «Давай!»— страждущий мог следовать в нужник.

Так постепенно каждый из нас постигал лагерные тайны и овладевал жестокой грамматикой поведения в Бамлаге, или концлагере Байкало-Амурской магистрали.

## Хлеб — имя существительное

Стало заметно подмораживать. Чахлое февральское солнце уже спряталось за горные хребты, и только отроги сопок, что подступали к лагерю вплотную с востока, были освещены его малиновым негреющим светом. Вблизи кухонного прогона стали накапливаться зэки в ожидании, когда откроют калитку и начнут раздавать обед и ужин «из одного блюда», как обещал помпобыт.

Осеннее пальтишко и пустое брюхо заставили меня вспомнить о бараке. Там по-прежнему стоял неумолчный шум: составлялись списки бригад на довольствие. Назначенные бригадиры до хрипоты созывали своих подчиненных, а каждый новоиспеченный член бригады помогал ему в этом, толкаясь по бараку и выкрикивая фамилии. Списки бригад составлялись повагонно, как было приказано Хобенко, чтобы еще раз учесть прибывших людей и наладить порядок при раздаче пищи.

— Ефимов! Где Ефимов?— услышал я свою фамилию и тут же отозвался:

— Здесь Ефимов!

— Где же это вы гуляете так долго, голубчик, ведь обыскались вас,— с упреком сказал Артемьев, уже назначенный старшим нашей вагонной бригады.

Первичные ячейки были созданы. Из хаоса стала возникать организация. От каждой бригады старшие отрядили по три человека посыльных за пищей. Это было уже ново: до сего дня пищу нам приносили неизвестные люди, поспешно бросая ее, как зверям в клетку. До сих пор мы кормились вопреки старой русской поговорке: «Хлеб за брюхом не ходит». Он ходил за нами, где бы мы ни находились, а вот сегодня, впервые за время заключения, мы должны будем идти за ним сами.

К нашей неописуемой радости, сегодня мы должны были получить дополнительную дневную порцию хлеба — целых пятьсот граммов! Администрация знала, конечно, что утром хлеб был нами получен, как была уверена и в том, что он давно съеден. Помпобыт оказался прав: нас ожидал поистине праздничный обед.

Когда я сказал, что у харчевой калитки уже прохаживаются посланцы других бригад, Артемьев сразу забеспокоился:

— А ну-ка, Городецкий, забирайте своих помощников и отправляйтесь быстренько!

— Вы уж смотрите, горбушек побольше просите,— напутствовали мы уходящих.

— Будут и горбушки. Только горбушек-то все хотят...

— Знаем, что все, а вы как-нибудь похитрее просите.

Пока наша троица толкалась в очереди за едой, мы ретиво принялись создавать условия для принятия пищи: кроме земляного пола и каркасов от нар, в нашем распоряжении ничего не было — плотники успели пока устроить только основания для будущих нар первого яруса, да и то лишь в трети барака.

Я вспомнил, что видел в зоне напиленные для нар доски из тяжелой лиственницы.

— Сейчас, Кудимыч, схожу и принесу вам полированный стол.

Выбрав две доски пошире, я принес их в барак.

— Вот как хорошо сообразили! Хоть хлеб будет куда разложить,— похвалил Кудимыч.

Голь на выдумки хитра: приспособив доски на нижние основания нар, мы соорудили подобие двух широких скамеек. Нашему примеру последовали многие, и вскоре тут и там стали возникать импровизированные столы...

В сумеречном бараке вдруг вспыхнули три электрические лампочки, осветившие разношерстное общество. Светили они неярко, но достаточно хорошо, чтобы мы еще раз убедились, какую безрадостную картину являл собой наш барак.

— А вот и баланда-матушка,— сказал рыжеватый мужичок из соседней бригады, когда в дверях показалась процессия пищеносов.

Впереди шел с большим, покрытым круглой дощечкой ведром высокий дядя, на крупном лице которого так и светилась довольная улыбка. Он направился в дальнюю часть барака, где галдеж сразу поутих. Второй дежурный вслед за ним нес стопку алюминиевых мисок, пучок ложек и железный черпак.

— На полбарака один черпак! На каждую бригаду не хватает! — прокричал он, потрясая видавшим виды орудием для дележа лагерной похлебки.

С хлебом шли двое: один осторожно нес на спине вещевой мешок с хлебными пайками, а сзади его оберегал плечистый парень.

— Вы бы еще троих отрядили за хлебом,— шутил кто-то.

— Борьба за хлеб — борьба за социализм, учит товарищ Сталин,— ответил хлебонос.— Тут и пятерым найдется хлопот: посмотрели бы вы, что там делается, у хлеборезки...

Вспотевшие, изрядно помятые в очереди посыльные стали появляться один за другим. Принесли ужин и наши посланцы. Теперь тишина в бараке нарушалась лишь звоном посуды да возгласами: «Кому?» Это раздавали хлеб по нерушимому тюремному правилу.

Хлебные порции осторожно вынимались из мешка и раскладывались на доски. Один из арестантов со списком едоков поворачивался спиной к хлебу, а староста или бригадир, указывая пальцем на хлебный паек, громко спрашивал: «Кому?» На этот вопрос отвернувшийся, глядя в список, столь же громко отвечал: «Петрову, Иванову, Сидорову», ставя в списке крестик против названной фамилии. Спрашивающий равнодушно вручал порцию названному, загадывая, какая порция достанется ему самому: мягкая серединка или краешек с корочкой?

Дележ хлебных пайков сопровождался самым напряженным вниманием: голоса смолкали, лица азартно вытягивались, как у завзятых карточных игроков, завистливые глаза пожирали лучшие горбушки. На иных лицах читалось подлинное страдание, если загаданная горбушка уплывала к другому.

Все это было до слез печально и вместе с тем смешно. Была тут и тюремная философия:

— В корках калориев больше!

— В них все витамины собраны!

Арестантская дележка хлеба «в отвернячку», как именовали ее уголовники, считалась наиболее справедливой, так как никому не удавалось произвольно заполучить лучшую порцию.

А как придирчиво, с какой скрупулезностью рассматривается полученная пайка хлеба! Не дай бог, если на ней не окажется довеска, обычно аккуратно прикалываемого тонкой лучинкой... Был ли довесок, не отвалился ли он, не осталось ли следа от лучинки? А если обнаружится такой след или даже сама лучинка, торчащая из порции хлеба, но без довеска, какой тут поднимется шум! Будет тщательно исследован мешок из-под хлеба, будут пересмотрены все оставшиеся порции — не прилип ли где отставший довесок. Казалось бы, и весу-то в нем всего пять — семь граммов, и все же потеря довеска переживалась как трагедия.

— Какая вражина схитила мой довесок?!

— Чтоб ему подавиться этим куском!

— Отдайте, братцы, ну пошутили — и будет,— канючит, бывало, обделенный неудачник.

— Да потерялся он, пока несли!

— А на что смотрели?

Что ж, пострадавшего можно было понять. Многие годы живущий только на ничтожной пайке хлеба и порции жидкой безвкусной баланды, любой заключенный хорошо знал цену хлебной крошке. Надо ли говорить, каким жестоким, неумолимым чувством голода диктовались эти церемонии и манипуляции с дележкой.

Хлеб в тюрьме или лагере — самая ценная вещь, самый ходовой обменный товар, и хранили его пуще зеницы ока.

— Без глаз прожить можно, а без хлеба нельзя.

Все блатные, как правило, свои порции хлеба съедали без остатка сразу же. И так поступали не только блатные: голод бил каждого. Так же долгое время делал и я.

А что его растягивать на целый день? Все равно от этого он не прибавится в весе. Пусть уж лучше в животе сидит и переваривается, благо там места свободного много. И знаешь, что таскать его не надо с собой, и не боишься, что упрут. А ужинать можно и без хлеба — выхлебал баланду через край миски, облизал почище — и на боковую, нары шлифовать...

Такова была несложная философия заключенного, хотя после тяжелого трудового дня баланда с куском хлеба была бы куда питательнее.

...Мякиши и горбушки розданы, баланда аккуратно, по-аптечному, разлита в миски под бдительным надзором десятков пар голодных глаз, все с жадностью принялись за еду. Зажав в руке пайку хлеба, каждый нашел удобное для себя место на земляном полу и молча предается трапезе.

Баланда, конечно, была безвкусной — так, похлебка, чуть-чуть приправленная жиром. Полагается ли рыба или мясо в рацион заключенным? Официально полагается. А практически эти калорийные продукты в котел попадают в таких малых количествах, что становятся незаметными. Два дня спустя мне посчастливилось попасть в бригаду дежурных кухонных рабочих, назначаемых по наряду. Пробыв там почти сутки, я понял, почему в котловом рационе так мало рыбы и мяса. Эти продукты калькулируются раза три в неделю по пятьдесят граммов на зэка. На кухне же всегда околачивается с полдюжины голодных дежурных, а уж они не упустят своего

кухонного счастья. Ничего, что за этой обжорной командой постоянно следит, не спуская глаз, штатный бесконвойный повар: ведь и он когда-то отвернется...

Кроме этой вечно голодной стаи временных рабочих, заведующий и повара из расконвоированных, имеющие право свободного передвижения вне лагеря, беззастенчиво разворовывали продукты поценнее, продавали, пропивали их, снабжали ими, как взяткой, полезных себе людей из лагерной административной знати. Наиболее ценные продукты в готовом виде уходили и на задабривание заглавных блатарей. Вот почему тюремная баланда бывала постной и малопитательной. Выручал лишь хлеб.

...Большая порция супа и дневная норма хлеба были съедены поразительно быстро, хотя, как нам казалось, мы ели не спеша, всячески растягивая удовольствие.

— Ешь медленнее, дольше держи пищу во рту. Чем дольше жуешь, тем больше выделяется всяких полезных соков, тем лучше усваивается пища,— поучал меня Кудимыч еще в тюрьме, в ту пору, когда я там медленно поправлялся после голодовки.

Зимний день давно уже погас, и на дворе светили одни лишь прожектора. После хлопотливого дня, обилия впечатлений и успокоения желудка нестерпимо хотелось спать. Следовало подумать, где бы поудобнее привалить свои кости. Многие уже похрапывали тут же, где ужинали, прислонясь один к другому. Я стал оглядываться, куда бы пристроить свои доски. В одном месте на втором ярусе в потемках увидел остатки неразрушенных оснований нар. Я показал на них Малоземову, сидевшему на холодной земле.

— Сейчас мы устроим там такой балдахин, какого не было даже у иранского шаха,— оживился он.

Пока мой друг прилаживал для ночлега узкие нары, я отыскал уже начавшего посапывать Кудимыча и вынул из его мешка свой узелок.

— Держи его, да покрепче,— назидательно сказал он вполголоса.— Пока люди не разобрались и не обнюхались, жулье зевать не будет — всех обчистят.

Я беспечно махнул рукой:

— На мое богатство зариться некому...

— Ну, гляди сам, тебе виднее,— вздохнул он, со знанием дела посмотрев по сторонам, и снова привалился на свой мешок. Рядом с ним, как спутник большой планеты, прикорнул Малов.

Двух досок нам для наших нар не хватило.

— Упадем и убьемся на новоселье,— сказал Гриша.— Страдать тут со сломанной шеей не хотелось бы...

Пришлось раздобыть еще три мерзлые доски, последние.

Несмотря на усталую сутолоку дня, я почему-то долго не мог уснуть, ворочаясь на неприятно холодных досках, так и этак прилаживая в изголовье узелок с бельем. Малоземов тоже ворочался, стараясь укрыться короткими полами своего драпового пальто.

— Ну, давай спать, счастливый Солон,— пробормотал он, зевая.

Почему Солон? Чем я похож на Солона и кто такой Солон? Вероятно, из истории Древней Греции, но чем он знаменит? Не помню, как мысль моя потухла и я уснул. Наутро своего узелка под головой я уже не обнаружил.

## Глава десятая

> Вы все — шуты у времени и страха.
>
> Байрон

### В лагерной бане

Все сибирские бани рассчитаны на помывку большой массы людей, следовавших по этой транспортной магистрали: военных и заключенных, а также постоянно проживающих в многочисленных зонах. Все они построены по конвейерному типу в том смысле, что в них по две двери: входная и выходная, как в кинотеатрах. Находящиеся в мыльной не могли знать, кто ждет своей очереди за ее дверями и кто мылся перед ними. Обратное движение запрещалось, по крайней мере для зэков. Такая же система помывки существовала и в бане на станции Амазар, куда нас партиями водили на третий день.

В просторном предбаннике, где мы поспешно раздевались, нам вручили специальные крючки-барашки или стальные кольца. Этими приспособлениями скреплялась вся верхняя одежда и месяцами несменяемое белье, чтобы затем весь комплект — уже в который раз?!— повесить для прожарки в дезинфекционную камеру.

Раздетые, с обувью в руках (в дезкамере она могла прийти в негодность), мы становились в очередь к лагерным цирюльникам для бритья и стрижки. Кроме штатных, бесконвойных брадобреев здесь старались и добровольцы, умевшие владеть машинкой и бритвой. Спешка была поистине пожарной: на всю санобработку группы в сотню человек давалось не более часа, в течение которого надо было многое успеть под заученные грубые окрики надзирателей и охраны:

— Давай, давай, чухайся!

— Шевелись, не на свадьбу приехали!

— Чешись, поворачивайся!

Кое-как обритые и остриженные, прихватив с собой обувь и не сданные в дезинфекцию майку, платок или тряпицу, заменявшие мочалку, мы дефилировали в мыльную. Дежурный надзиратель в дверях вновь пересчитывал входящих, а стоявший рядом с ним банщик совал ломтик хозяйственного мыла величиной менее спичечной коробки, предупреждая:

— Не очень полощитесь, горячей воды полагается не больше одной шайки!

— А чем же окатиться?

— Окатишься и холодной! И побыстрее!

Жаркая парная, свободно вмещавшая всех охотников, была поистине раем. Она обдавала нас еще в дверях не только густым, обжигающим паром, но и поистине непередаваемыми чувствами домашности и свободы. С каким наслаждением, азартом и улюлюканьем, позабыв обо всем, хлестались мы на жгучем пару мокрой тряпкой или носовым платком (которые тут же и подстирывались), а то и просто ладонями, заменявшими веник.

— Эй, кто там внизу, добавь парку!

— Не вижу, куда подкидывать-то!

— Деревня! Здесь тебе не каменка, а цивилизация: вентиль поотверни, вентиль, дура!

— Ух и печет, братцы, как дома!

— Припекает, как на допросе!

— Аж уши дымят, як у порося!

— Ух, мамочки, умираю с того пару!

— Спасибо родному товарищу Сталину!

— Хай ему грец!

— И товарищу Ежову со соратниками!

— Ой, люди, горю с жару!

— Чтоб им всем повылазило!

— Лечу на посадку, дайте, братцы, выползти!

Раскрасневшиеся, разъяренные парильщики ползком

спускались с полок, наполняли шайки ледяной водой, благо она не нормировалась, покачиваясь, выливали себе на голову и снова, хоть на минуту, лезли на жаркий полок, стремясь продлить наслаждение. Кусочек мыла быстро таял, будто его и не было, и въевшуюся в тело грязь и копоть от буржуйки выводить приходилось одним паром.

Несказанное парное наслаждение длилось недолго. Из общей мыльной все настойчивее слышались призывные крики:

— Выходи одеваться! Вам тут не курортные ванны!

— Спешим, как раки!— раздавалось из густого пара.

— Выходи в одевальню!

Встряхиваясь, тяжело дыша распаренной грудью, неохотно — и опять по счету!— выходим, не забыв при этом и свою изрядно подмоченную обувь, с которой во время мытья надо было не спускать глаз.

— Получай одежду!— бойко причит полуголый, запачканный, похожий на черта арестант, обслуживающий дезкамеру, вторые двери которой были в одевальню.

Каким-то длинным крюком на шесте, чтоб не обжечься в пекле камеры, он снимает с вешалок наши тюки с одеждой и бросает тут же нам под ноги. Из раскаленной камеры и от всей одежды ударяет в нос жарким, дурным, кислым запахом застарелого пота. Белье настолько прожарилось за многократное пребывание в камерах тюрем и сибирских бань, что побурело и того гляди расползется при одевании на мокрое тело.

В сваленной груде ищем свои увязанные «комплекты», задыхаемся и обжигаем руки и тело о пуговицы, крючки и петли, нещадно ругаемся, браня всех и вся. Разыскав в огромном ворохе чужих вещей свой тюк, торопимся поскорее развязать все свои хитроумные узлы, чтобы поскорее одеться да еще успеть, если получится, кое-что продать или обменять.

Тем временем в одевальне бойко действовал майдан: вовсю шла полускрытая торговлишка, или «менка», жалкими пожитками и махоркой. Продавались «лишние» вещички — рубашка, шарфишко, пиджак, брюки, хорошая еще, но уже не по сезону кепка или модная «вольная» шапка — словом, все, без чего можно было обойтись.

Добротное пальто или костюм шли за бесценок в обмен на потрепанную телогрейку или поношенный лагерный бушлат с придачей к ним некоторой суммы денег и натуры — махорки, сухарей, хлеба. Главными коммер-

сантами были полтора десятка бесконвойных зэков, обслуживающих баню. Эта обслуга носила в лагерях презрительное и в то же время завидное звание «придурков», не занятых на общих тяжелых работах. Именно им, живущим за зоной, воры тишком за гроши сбывали наворованные ночами пожитки. Где-то тут, за десятку или и того меньше, через ловкие руки маклаков проскользнуло и мое «имущество», единственная ценность, от реализации которой я мог бы немного подкрепиться, а главное — купить табачку. Увы, ни жалобы, ни поиски тут не помогали.

А из выходных дверей уже кричит помпобыт:

— Давай, давай, выходи!

В унисон ему стараются и его помощники-дневальные:

— Шевелись, не у тещи на блинах!

— Нажимай, в бараке дочухаетесь!

— Давай, выходи быстрее, другим место надо!

— Вошек можно и на нарах досчитать...

Эти ненавистные грубые вопли «давай, давай» будут сопутствовать нам долгие годы, став в конце концов чем-то неотъемлемым в нашей жизни, но вместе с тем породив в душе каждого внутренний протест. Не подчиняться им было абсолютно невозможно — с теми, кто огрызался, охрана и надзиратели не церемонились:

— Ты что, вражина, в карцер захотел?

И «вражина» попадал в карцер, хотел он этого или не хотел.

Кое-как натянув на себя верхнюю одежду, застегиваясь на ходу, мы выходим на морозный воздух и строимся на снежной дороге — побритые и постриженные и, в общем, посвежевшие.

— Вот теперь неплохо бы и к теще!— шутит кто-то впотьмах, заметно воспрянув духом и подтягивая сползающие с тощих бедер старые ватные штаны, полученные на «менку».

— Теперь можно и подкрепиться, и покурить,— вторит ему другой, нащупывая в кармане хлеб, а в другом махорку. На его голове красуется казенный, лагерного пошива треух вместо вольной меховой шапки.

Чуть в сторонке шушукаются блатные, многозначительно переглядываются, хлопая себя по набитым карманам, обмениваются отрывочными фразами:

— Затырь подальше...

— Ты смотри, а то еще трёхнется...

— Колеса не взял — ввалиться побоялся: не отходят от них...

Звучит знакомый напев:

— Разобраться-я-а-а!..

Затем следует придирчивый счет пятерок по рядам и новая команда, на минуту прекращающая шум толпы:

— Шагом марш! Не растягаться!

Мы сначала в ногу, а потом вразнобой, стараясь не «растягаться», шагаем по той же дороге назад, «домой», снова под замок за колючую проволоку.

## Малоземов и Неганов

Последующие дни так называемого карантина проходили хотя и в безделии, но совсем незаметно. На нарах, пахнущих сырым хвойным лесом, и вокруг печей, которые постоянно влекли к себе теплом, велись доверительные беседы. Рассказывались незатейливые истории из жизни, крепко соленые анекдоты, неприхотливые шутки, давались практические советы, как разумно жить... если жить дома.

Настойчиво разыскивая земляков и прислушиваясь к отрывочным разговорам, я обнаружил довольно любопытное обстоятельство. Вначале я предполагал, что все заключенные нашего лагеря, прибывшие в одном эшелоне, были из Ленинграда и области. Но оказалось, что я глубоко ошибался: ленинградцев здесь только и было что в нашем вагоне — какая-нибудь тридцатая часть всего состава поезда. Все остальные «представляли» другие края, области и республики. Как же так могло получиться? Что же произошло с нами в пути?

Когда я поделился своими наблюдениями с Григорием, он нисколько не удивился, а с некоторой долей пренебрежения сказал:

— Все еще зелен ты, Иван. Твою наивность не исправит, кажется, ни тюрьма, ни лагерь. Неужели ты не понимаешь, что в системе расселения заключенных применяется старый лозунг «разделяй и властвуй»?

— Я не совсем понимаю...

— Ты многого еще не понимаешь... А вот управители ведомства Ежова прекрасно понимают, что скопление землячеств, а тем более бывших членов партии в одном месте вредно и чревато всякими неожиданностями. Ведь если малейшее недовольство и критику неблаговидных действий большого начальства там, на воле,

можно утихомирить административными мерами или тюрьмой, то здесь этой меры не применишь. Ну куда, например, нас с тобой еще можно засунуть? В одиночку или, как робинзонов, на необитаемый остров? Нет, мы должны жить в лагерях в качестве дармовой рабочей силы. Теперь представь, что здесь нам создадут совсем невыносимые условия, в нарушение даже лагерных инструкций,— мы что же, будем молчать? Не будем! А если бы все девятьсот или там тысяча зэков были из одной области или если б всех коммунистов запрятали в один гигантский лагерь? Разве можно? Ведь это же порох!

— И за фитиль к этому пороху мы получим вышку?

— А хотя бы и вышку! На тысячу трусов и инертных людей всегда найдется десяток смелых и решительных, готовых на подвиг ради правого дела. Лучше умереть в борьбе, чем годами пресмыкаться и гнить...

— Выходит, что нас распылили с умыслом?

— Здесь ничего не делается без умысла... Ты, видимо, не замечал, какие эволюции совершались с нашим поездом на всех больших станциях Сибири, а я замечал.

— Я тоже замечал, но не придавал этому значения...

— Поначалу я тоже не обращал внимания, а потом понял, что все эти отцепки и прицепки и длительные маневры на путях — это не что иное, как пересортировка составов. По этой магистрали шли составы со всей матушки-Руси, со всех областей и республик: «врагов народа» находили повсеместно, захватывали самым мелкоячейным неводом... Вот и надо было их так рассредоточить, чтобы землячеством и не пахло. Тут за одну ночь можно пересортировать десяток эшелонов, а сколько было этих ночей, помнишь?

— Помню...

Мне стало ясно, что и состав заключенных по вагонам комплектовался не без ума и с той же изуверской хитростью: вместе с учителем и председателем Совета размещали воров; колхозники и рабочие чередовались с продавцами и жуликами. Это было вавилонское смешение.

Точно такое же смешение было и в лагере. Органы Ежова отлично знали, чем и как унизить людей умственного труда: они поставили интеллигенцию, беззаветно служившую Родине, в одну упряжку с убийцами и дегенератами... Интеллигенция была вынуждена мучительно приспосабливаться к чуждой среде, надевать на себя личину, терять свою индивидуальность.

Для чего же Советская власть и партия долгие годы

готовили свои кадры? Неужели затем, чтобы вот так их растратить?

Земляков я так и не нашел.

А к Малоземову я привязывался все сильнее и сильнее. На все он смотрел спокойно и мудро, хотя я был твердо уверен, что в душе его тот же пламень, что и у других. И его спокойность и рассудительность покоряли и влекли к себе.

Совершенной противоположностью ему был Неганов, рабочий из Шуи, знакомство с которым также многому меня научило.

Однажды, лежа на голых нарах с печальными мыслями в голове, я вдруг услышал, как у печки весело и от души захохотали карантинники, среди которых выделялся чистый баритон моего друга Малоземова. Спрыгнув с нар, я подошел к печке:

— Что за смех на похоронах?

— Понимаешь, Иван, в тюрьму-то он попал за решетку,— давясь от смеха, сказал Григорий, указывая на плечистого, могучего, светлоголового зэка.

— Вот новость, как будто есть еще тюрьмы и без решеток...

— Да ты послушай!

В ожидании интересного к печке придвинулись еще несколько слушателей.

— Вот этот чертушко угодил в тюрьму за то, что полчаса подержался руками за обыкновенную чугунную решетку. Когда ж это было?— обернулся он к рассказчику.

— В тридцатом году, летом,— басовито ответил великан.

— Так вот, «переложил» он однажды после получки лишнюю чекушку и закуражился. Идет по улице и ревет во весь голос чувствительный романс. Тут, как водится, милиционер подвернулся. «Не шумите, гражданин»,— говорит, а тот ему в ответ: «Я не шумлю, а пою, понимаете, по-ю-ю!» Проходящая публика стала останавливаться. Милиционер снова к нему: «Пройдемте, гражданин»— и берет тихонько его за рукав. Наш богатырь легонько его отстранил. И вот на выручку к нему уже спешит второй мильтон, и обоих самолюбие заело: как же так — двое блюстителей на одного и никакого результата... и плотнее к нему. А наш певец, недолго думая, к церковной ограде — и хвать за нее ручищами...

— Да что ты там брешешь? К какой церковной?— остановил Неганов Малоземова.

— Ну, коли я брешу — досказывай сам!

— Никакой церкви там не было,— пробасил Неганов,— а садик за оградой. Вот к этой ограде я прижался спиной, ухватился и держусь, а оба милиционера за меня взялись и хотят оторвать. Ну, силенка, слава богу, была... Вцепились они за пальто и тянут, и, как у меня пуговицы полетели, я и посерчал чуток. Начал ногами отбрыкиваться — они и поотстали. Потом опять полезли ко мне, а я снова их пинать, а от моего пинка сладости мало. Посылают они дворника в милицию за подмогой, и вот, вижу, бегут еще трое. Теперь уже впятером стали отрывать меня от решетки...

— Ну, ты уж лишнее плетешь,— с недоверием перебил его один из окружающих.— Будут с тобой пять милиционеров возиться! Стукнут чем-нибудь твердым по ручкам — сами разожмутся.

— Стукнут?— возмутился рассказчик.— Это теперь им волю дали, стукать-то, а в те годы еще держались закону. Ведь я их не трогал и никого не обидел — за что же меня стукать?

— А за сопротивление власти!

— Ясно все, трави дальше!— перебили спорщика.

И Неганов продолжал:

— Ну, кончилось все тем, что взяли они ломик у дворника, вывернули из ограды целое прясло решетки от одного столба до другого и на той решетке меня, как Христа на кресте, понесли в отделение. А за нами целый крестный ход, вроде демонстрации. Особенно мальчишек много набежало, и все хохочут. А я лежу на этих носилках, рук не разжимаю, а про себя думаю: «Ладно, несите, черти, только куда вы меня с ней денете, в какую дверь?» Принесли меня таким манером на милицейский двор, а там все начальство собралось встречать процессию, все смотрят на меня. Принесли, приставили к стене — решетка была большая, метра четыре длиной, а я улегся вдоль нее, ну куда ты ее втащишь? А без решетки в «холодную» меня не водворишь: силища у меня, пьяного, железная! Лежу на решетке, ухмыляюсь и не заметил, как подошел сзади плюгавенький ключник вытрезвителя и чем-то возьми да и тяпни меня по темени. Больно саданул, гад, пополз я по решетке, да тут и выпустил ее, дурак. А они только того и ждали — навалились всем колхозом и поперли в отрезвиловку.

— А чем это он тебя благословил, тот плюгавенький? Ведь тебя, я чаю, малым не свалишь?

— Замком шлепнул, гад,— снял его с холодной, меня ожидаючи. Я и не думал, что он сообразит треснуть меня по башке. А вот и треснул. Этот был, наверно, из ученых, из новых...— Неганов стал вдруг необычно мрачен: — А вот за что меня теперь на восемь лет закатали — этого уразуметь не могу...

Над последними его словами никто уже не смеялся.

Как я потом узнал, публичное оскорбление милиции не прошло даром: Неганову дали тогда два года исправительных работ за сопротивление власти. Теперь же его арестовали ради профилактики перед предстоящими выборами: в прошлом была судимость. В 1937 году этого было вполне достаточно для изоляции. Теперь он стал «политическим», попал в разряд «врагов народа», и, вероятно, надолго...

Заметно пополняемый лагерь гудел, как потревоженный улей, а вместительные бараки, казалось, распирало от новичков. Оттесняемые от печей бывалые и уже обжившиеся уголовники зло иронизировали:

— Прут и прут, дармовые работяги!

— Держись, Сибирь, понаехали трудяги!

— Эти наработают, будь спок!

— Того и гляди, коммунизму построят...

— Нежный приветик, нахально-вербованные!

«Нахально-вербованные»! Это прозвище как нельзя лучше отражало социальный облик разношерстной массы заключенных, «навербованных» в 1937 году.

— За что мучается такая прорва народищу? Неужели и они так же «виновны» перед Советской властью, как и мы с тобой, Григорий?— спросил я однажды у Малоземова.

— Все такие же, как и мы, Иван, и страдают, как и мы, за один лишь язык: тот выступил против бюрократизма, другой негодовал из-за произвола секретарей райкомов, третий разоблачал мошенничество и воровство, пытался схватить за руку казнокрада, четвертый невпопад цитировал Ленина вместо Сталина, а пятый не от того отца родился. Кого ни спроси, каждый был движим одной лишь справедливостью, горячей заботой об улучшении дела, без чего советский человек немыслим... За это и посадили. Вот в чем трагедия нашего времени...

— Владимир Ильич строго карал нарушителей законности и глушителей критики,— сказал я.

Малоземов привстал. Даже в темноте было заметно, как лицо его побледнело, ноздри расширились, глаза заблестели. С пафосом фанатика он проговорил:

— Наш Ленин был и вечно останется истинным и любимым вождем и другом народа, а этот фараон...— Он вдруг замолчал, пытливо оглянулся вокруг и продолжал, понизив голос до шепота:—...Возомнил себя до небес. Говорит о критике, а сам никакой критики не терпит, зажал в кулак всех своих придворных подхалимов, вертит ими как хочет. Без Ильича никто теперь ему не указ...

К этой теме мы возвращались не один раз и все меньше и меньше находили в ней утешительного, и не только для наших судеб, но и судеб будущих...

## Невольники

В течение десяти дней нас никто не беспокоил, и мы предавались отдыху, если можно назвать местом отдыха холодный и шумный барак. Относительная тишина здесь наступала только глубокой ночью. Какой отдых на голых и сырых нарах барака, в котором постоянно гудит, как на вокзале, плотная масса совершенно различных людей, бродящих туда и сюда, по-разному угнетенных судьбой.

Вынужденное общее сожительство само по себе является страшной мукой в арестантской жизни, и единственной отрадой в эти дни была возможность выйти и постоять у барака, подышать, посмотреть на зимнее солнышко, лучи которого с каждым днем делались все теплее и ласковее.

На второй неделе в зоне стали появляться купцы — покупатели рабочей силы. То были представители разных лагерей, расположенных где-то недалеко и имевших «промфинплан», как говорил недавно помпобыт.

Приходили начальники колонн или их помощники по труду. Иногда по двое сразу. В такие дни всех нас — блатарей и «нахально-вербованных»— выгоняли из помещений на просторный плац меж бараками, выстраивали по двое в ряд буквой «П» лицом к середине. В этом незамкнутом квадрате расхаживали вербовщики, внимательно осматривая внешне неказистый товар — рабочую силу.

Было в этом смотре что-то похожее на минувшие века работорговли. Разница была лишь в том, что здесь не было погонщиков и цепей, малых детей, женщин и ста-

риков. Не слышалось и громких воплей, когда безжалостно разрушались семьи, а детей отнимали от родителей. Подобные сцены у нас происходили раньше, в часы арестов... Наши вербовщики не открывали у нас и челюстей, чтобы осмотреть прочность зубов, но опытный глаз мысленно раздевал каждого, угадывая наши способности к тяжелому физическому труду.

В этих шеренгах стоял и я, напряженно ожидая, как невеста на смотринах, чтобы и на меня был обращен благосклонный взгляд тюремщика, чтобы и меня поскорее взяли на работу, безразлично куда. Постоянное стремление человека в неизвестное, очевидно, заложено в нем природой и сохранилось от далеких и забытых предков-кочевников. Было это и в моей крови. Но я отощал, как весенний заяц, и неудивительно, что взгляды вербовщиков скользили по мне, как по неодушевленному предмету.

Зачастившие пришельцы отбирали по сотне и более человек и уводили с собой в неизвестность под усиленным конвоем. В одной из таких партий ушел и Городецкий. Поредела и компания уголовников.

Как это ни странно, люди покидали обжитые бараки почти с радостью, объяснить которую было просто: длительное пребывание в следственных и пересыльных тюрьмах, мучительный долгий этап в трясучих вагонах, полуголодная, бездеятельная жизнь — все это, вместе взятое, настолько осточертело, что почти каждый рад был уйти хоть к черту на рога.

Нигде так не познаются друзья, как в несчастье, и наша четверка — Малоземов, Неганов, Артемьев и я — решила не расставаться и во что бы то ни стало попасть в одну команду. Григорию, мне и Кудимычу было проще «держаться до последнего», чем силачу Неганову. Я и Малоземов были два сапога пара, поэтому Григорий всегда держался рядом, зная, что если возьмут меня, то и он сумеет попасть в тот же список. А Кудимыча с его бородой принимали за старика, к которым в лагерях особого почтения нет. Да он и не высовывался.

— А если тебя не возьмут в одну колонну с нами?— как-то усомнился Гриша.

— Меня-то?— удивился Артемьев.— Ты шутишь, брат. Меня, если я захочу, возьмут с любой партией. Я стреляный воробей. Только вы и виду не подавайте, что все мы друзьяки: здесь этого не любят и стараются всякую дружбу нарушить. Поняли? А обо мне не хлопочите.

И мы успокоились. Но с Негановым было труднее.

В первый же день, разгадав нехитрую методику вербовки — брать только сильных и здоровых,— мы решили, что Неганов должен «заболеть».

— Ты притворись больным, лекпома-то в эшелоне нет,— советовал ему опытный в таких делах Артемьев,— и лежи на нарах, пока не разберут всех маломальски здоровых и крепких. Тогда очередь дойдет и до нас.

— А если вас заберут, а я тут дураком проваляюсь и останусь один?

— Ты-то не заваляешься, будь спокоен, а вот если высунешься — наверняка укатают без нас. Лежи и лежи спокойно. Как только нас заберут, мы поднимем тебя в тот же миг. Явишься и доложишь: поправился, мол, берите и меня. А кто же от такого крепыша откажется?

Так и болел наш богатырь дня три.

Наконец, когда в лагере оставалось сотни две и выбор был небольшой, нашелся и на меня охотник. Произошло это событие, когда очередной работодатель обошел раза три по рядам и отобрал человек сорок; я вдруг набрался смелости и подал голос:

— Гражданин начальник, возьмите, пожалуйста, и меня!

Рослый и упитанный начальник смерил меня глазами, задержал взгляд на моей обуви и сурово спросил:

— А что, собственно, вы умеете делать? Какой специальности?— И перевел взгляд на Малоземова, сделавшего движение в его сторону, как бы давая понять, что и он хочет обратиться с такой же просьбой.

Заданный вопрос в первое мгновение меня озадачил: в самом деле, что я ему отвечу? Журналист? Преподаватель политэкономии? Лектор марксизма-ленинизма? Нет, мои профессии здесь совершенно ни к чему. И вдруг во мне воспрянул мужик, моя юность, бондарное и кузнечное ремесло.

— Я умею плотничать, когда-то знал и бондарное дело,— все более смелея, сказал я.

— Что-то не походите вы на плотника,— с мрачным сомнением сказал строгий начальник.— Впрочем,— продолжал он, помедлив,— с земляными работами каждый из вас справится...

— Вот именно, гражданин начальник,— в тон ему заговорил Малоземов.— С земляными работами мы всегда справимся. Запишите, будем стараться: надоело безделье.

Начальник смерил ироническим взглядом моего друга, лицо которого так и сияло готовностью свернуть горы, и, сказав своему спутнику: «Запишите обоих», пошел дальше по кругу.

Едва мы отошли в группу принятых и Малоземов опрометью кинулся за Негановым, как на сцену выступил Артемьев.

— Гражданин начальник,— заговорил он доверительно,— возьмите и меня, всю жизнь на земле работал.

— Какой специальности?

— Любой, какая потребуется, я человек тертый.

— Вы что же, раньше были в заключении?

— Был. С тридцатого как раскулаченный, пять лет. Так что вы не сомневайтесь, с ихнее я завсегда сделаю!— И он с презрением мотнул головой в нашу сторону.

— Хорошо, как фамилия?

— Артемьев, гражданин начальник!

Затем все разыгралось как по нотам. Не успел наш вербовщик дойти до конца уже сократившейся шеренги, как к другому ее концу незаметно прилепился Неганов, выпятив колесом могучую грудь. Вернувшись вдоль шеренги обратно, начальник подивился:

— А это что за богатырь?

— В уборной подзадержался малость, гражданин начальник,— ответил наш друг, переминаясь с ноги на ногу.— Вчерась тут нас жирной свининкой накормили, да и борщ оказался больно наваристым, вот и расслабило малость без привычки...

В нашей мрачной шеренге грохнул смех.

— Вы еще и шутник, оказывается?— повеселел солидный начальник.

— Пропадешь в Сибири без шуток. А только я не шучу: честное слово, с детства люблю суп со свининой!— весело выпалил Неганов под новый взрыв смеха.

— Как фамилия?

— Неганов Сергей Иванович!

— Запишите и Неганова,— кивнул он в сторону своего спутника, на сей раз даже не спросив о специальности.

Через полчаса мы были уже за воротами нашего первого лагеря и в числе полусотни шагали по слепящей и искристой предвечерней дороге в новый лагерь. А еще через час нас привели к такой же зоне и водворили в колонну № 62, на той же станции Амазар.

# Глава одиннадцатая

> Всякое самовольное проявление личности в арестанте считается преступлением...
>
> Примириться с этой жизнью было невозможно.
>
> Ф. М. Достоевский

## Преображение

Наше «постоянное» место жительства отличалось от покинутого лишь тем, что бараки здесь были еще более ветхими. Возле бараков и внутри, как осенние мухи, бродили истощенные, в оборванных серых бушлатах зэки — больные или отказчики, для которых в карцере, очевидно, уже не хватало места. Одинаковыми были и сторожевые вышки по углам зоны, на которых, как на скворечнях скворцы, стояли часовые с винтовками — румяные и сытые, одетые в теплые, наподобие боярских, тулупы поверх новеньких полушубков. Они равнодушно смотрели на привычную картину лагерного бытия. А кругом над заборами и перед ними тянулась колючая проволока.

Что-то до жути знакомое всплыло в моей памяти: подобное видел я не один раз в иностранной кинохронике, повествующей о внутренних делах одной всем известной европейской державы, где у власти находился фашизм...

Мои раздумья были прерваны тем, что Малоземов больно толкнул меня в бок:

— Отвечай, тебя вызывают...

Шла проверка прибывшего пополнения по формулярам.

— Ефимов!— уже по второму разу крикнул проверяющий.

— Иван Иванович, тысяча девятьсот шестого года рождения,— громко ответил я по установленной форме.

— Ошалел от радостной неожиданности,— пошутил кто-то.

Потом нас подвели к одному из бараков и указали на незанятую левую половину. Но и занятую можно было отличить только после пристального осмотра: по случайно позабытой и погнутой алюминиевой миске, лежавшей на полке перед изголовьем нар, по оставленному вещевому мешку с нищенским, никому не нужным скарбом, да еще по тому, что перед той, второй половиной стоял

на страже бывалый арестант-дневальный, оберегавший обжитые места еще не вернувшихся с работы постояльцев.

Врассыпную мы хлынули на свою половину и с привычным азартом заметались перед нарами в поисках места получше, посветлее и поближе к теплу... Более проворный Малоземов уже заскочил на верхние нары недалеко от печки-цистерны и призывно кричал мне, бросив свою шапку на место рядом.

— Вот спасибо так спасибо!— И я ухватился за строительную скобу, вбитую в стойку нар на уровне второго настила.

А еще минуту спустя мы уже спокойно оценивали обстановку и рассуждали о том, что вот мы наконец и на постоянном месте и мучительному прозябанию наступил конец: будет какая-то работа.

А вокруг нас и под нами гомонили люди, спешно стараясь свить себе из ничего какое-то подобие гнезда. Неганов и Артемьев копошились ниже нас, на все лады расхваливая заполученные места.

Середину правой половины барака занимал длинный, в четыре доски, стол на врытых в землю столбах, с неподвижными скамейками по его сторонам. Посредине нашей половины был умывальник — длинный и узкий железный бак на стойках с десятками капающих моечных сосков, а под ним более широкое корыто, тоже из жести, со сливными втулками по концам, под которыми на полу стояли вместительные ведра.

...Поздно вечером вторую половину заполнили пришедшие с работы старожилы. Входили они быстро, но без шума и молча шли к своим местам, сгорбленные, в отрепьях, вылинявших серых бушлатах, подпоясанных обрывком веревки или перекрученным старым брезентовым ремнем. Ватные ушанки надвинуты на самые глаза, на шее вместо шарфа затасканные полотенца или тряпки неизвестного происхождения. Этот бедный наряд дополняли распузыренные и продранные на коленках старые ватные штаны мышиного цвета и серые бахилы.

Даже новое пополнение в бараке не вызвало живых эмоций: так изнурял длинный каторжный день.

И только после тощего ужина, когда все поотдохнули, началось знакомство и постепенное потепление. На смену равнодушию пришло горькое участие...

Утром после развода старожилов на работы помощник по труду объявил, что из нашего пополнения орга-

низованы две бригады и вскоре будет дана одежда тем, кто особенно нуждается в ней.

— Мы все особенно нуждаемся!

— Пригнали на работу — дайте и одежду рабочую. Свою по траншеям трепать не будем...

— Рабочему полагается спецодежда.

— То рабочему, а вы заключенные...

Раздачей каторжного обмундирования занимался оборотистый помощник по быту Фуников, щуплый бывалый бытовик с нагловатым взглядом бесцветных глаз. Сам он был одет в черное суконное пальто с барашковым воротником и косыми, опушенными тем же барашком карманами. На ногах красовались синие армейские галифе, заправленные в модные, лагерного производства бурки. Он то и дело весело покрикивал, как татарин-коробейник в старину, потряхивая и пыля разложенным перед ним ворохом рухляди:

— А ну, налетай, братва! Одежда первый сорт, второй носки, обувь-модерн, по особому заказу только для вас.

— Оно и видно, что для нас...

Всем хотелось сберечь и не рвать на работе «вольную» одежду, и в то же время без привычки страшно было влезать в эту нечистую, вонючую, с явными признаками паразитов лагерную робу.

— Прошу не толпиться, граждане заключенные, и соблюдать порядочек! Не суетитесь, не гостей принимаете. Выбирайте свой размер, иначе будет жать и тереть... Эй ты, кореш!— вдруг сказал он уже другим тоном, быстро повернув голову и что-то усмотрев своими рысьими глазами.— Зачем берешь лишние перчаточки?

— Да я обменять хотел...

— «Обменять». А прячешь за спину? Как это нехорошо для первого знакомства.

Вскоре нам выдали и толстые портянки из вытертых донельзя остатков старой шинели, и резиновые бахилы —«нашу марку». Свои парусиновые туфлишки я запихнул в изголовок: покупателя на них наверняка не найдется. Получил и ватные, много раз латанные брюки, и особого покроя, уже видавшую виды шапку-ушанку, крытую серой фланелью и настолько засаленную чьим-то потом, что было тошно ее надевать.

Бушлаты и телогрейки достались немногим, но лагерные рукавицы, сшитые из отбракованных ватников, выдали всем: от работы никто не освобождался, а работать без них на холоде нельзя. С большими унижениями я

выпросил плохонькую телогрейку и сразу же надел ее под осеннее пальто...

Малоземову в обмундировании отказали наотрез, потому что он был одет теплее всех. Он насупясь ходил вокруг нищенских остатков ветоши и ворчал:

— Не дали сегодня — дадите завтра, а свое мне еще на хлеб пригодится.

Нашим бригадиром был назначен Федор Игнатьевич Фесенко, в недавнем прошлом крупный инженер-строитель из Свердловска. Он сидел у стола, делал какие-то отметки в списке бригады, хмурился и молчал.

В течение нескольких последовавших дней произошли столь значительные изменения в нашем внешнем облике, что мы узнавали друг друга только вблизи. Вместо разноликой, живой и гомонящей толпы мы стали серой и одноликой массой, притихшей и еще шевелящейся из боязни растерять скопленное тепло в плохо согревающей одежде. Даже стадо животных выгодно отличалось бы от нас.

Мы стали бесправнее животных, а когда через некоторое время хватили непосильного труда, голода и других бедствий, наконец поняли, что такое каторжные концлагеря.

Но тот, первый день нам не казался трудным. Мы знакомились с лагерем, искали земляков в соседних бараках, добывали бумагу и строчили первые письма домой.

Вечером в барак приходил воспитатель, и мы пихали ему в карманы угольнички без марок, просили с молящей улыбкой:

— Вы уж отправьте, пожалуйста, без задержки, не растеряйте, ради бога...

— Не волнуйтесь, дойдут ваши письма. Только боюсь, что в третьей части задержат: полагается вам писать только одно письмо в месяц...

— Но это же первое!

— Первое, но их у вас три...

— Зато многие не писали совсем.

— Ладно, попробуем отправить все.

Так закончился первый день оседлого житья.

## В траншеях

На другой день и нас приобщили к общеполезному, а точнее, абсолютно бесполезному труду. Задолго до восхода солнца, едва мы успели выхлебать жидкую порцию

баланды да заесть ее куском хлеба, в бараке появился нарядчик:

— А ну, давайте на развод! Побыстрее!!

— Куда торопиться? Впереди у нас еще десять лет.

— Разговорчики?! Десять лет и будете вкалывать! Быстро на развод!

Вскоре перед ярко освещенными колючими воротами каторжники вытянулись в нестройную колонну по бригадам. Бригадиры озабоченно подсчитывали, все ли по списку, не остался ли кто...

Утреннее сборище было более шумливым, чем вечернее. На общем сером фоне толпы тут и там выделялись фигуры новеньких, еще не успевших «загнать» или сменить у помпобыта свой вольный наряд. Вот стоит Малоземов в коричневом бобриковом пальто, а на Артемьеве красноватый полушубок... Какой-то уголовник красуется даже в явно краденом пальто из желтой кожи.

— Разобраться по пяти!— приказывает старший конвоя, и говор затухает.

Через ворота пропускали небольшими партиями по нескольку бригад, в зависимости от потребности на объектах. Самая большая группа, более сотни, ушла на водоем. По выходе из ворот конвойные еще раз нас пересчитали, и затем прозвучала команда:

— Трогай, шагом марш! Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Ясно? Топай!

В тот первый день мы были несколько удивлены немногочисленности сопровождавшего нас конвоя: в среднем один охранник на пятнадцать — двадцать человек. Потом убедились, что этого вполне достаточно: смелых на побег не было. Да и куда можно убежать без помощи с воли, без денег и документов, в обличье лагерника, да еще зимой? Таким макаром далеко не ускачешь и даже не спрячешься!

Первой пробой сил нового пополнения была кем-то до нас начатая траншея для прокладки водопровода, глубокая и бесконечно длинная, выдолбленная в вечной мерзлоте невероятно тяжкими усилиями. Жутковато нам стало, когда десятник указал нам на темный, уходящий в утренние потемки, холодный, как ледник, глубокий ров, по краям которого высились хребты выброшенного нагора серого, комкастого, мороженого грунта, покрытого серебристым инеем.

— Траншеи давно готовы,— пояснял пожилой десятник,— но проложить трубы нельзя из-за неровного профиля дна.

— Кто же их долбил, не соблюдая профиля?

— Кто долбил, тех уж нет... Заканчивать придется вам. Что нужно делать, я объясню бригадирам. Сейчас получите инструменты и приступайте к делу. Сегодня для вас пробный выход, и выработка засчитываться не будет.

Вскоре подъехала лагерная подвода и на стыке бригад остановилась. Бесконвойный возница сбросил с телеги переносное кузнечное горно на металлической квадратной раме, с трудом перевалил через борт тяжелую наковальню на толстом широком чурбане и побросал рядом кузнечные инструменты. Потом не торопясь стал выкидывать промерзлые до инея ломы и кирки, с полсотни коротких клиньев из той же шестигранной стали, гулко звякающих на мерзлом грунте, как цепи кандальников. Затем так же не спеша расшвырял по сторонам объемистой телеги дюжины три тяжелых кувалд и столько же совковых лопат, выгреб небольшую кучку каменного угля для горна, подобрал вожжи и, чмокнув на гнедую кобылу, поворотил назад.

— Угля мало привез!— вслед спохватился десятник.

— К обеду подвезу еще!— крутнув головой, ответил тот.

— До обеда привези, этого не хватит до обеда. И клиньев мало привез, здесь грунт тяжелый...

— Ладно, привезу и клиньев через часик-два,— прокричал, не останавливаясь, лагерный ямщик.

А мы все стояли, испуганные новым зрелищем и предстоящим делом. Топтались на месте, озираясь на непривычные орудия труда, многим совершенно незнакомые и пугающие.

— Разбирайте струменты, братва!— сказал Аристов и первым шагнул к растопырившейся груде холодного металла.

Десятник между тем объяснял:

— Работать будете попарно на участке десять — пятнадцать метров. На двоих надо взять одну лопату, лом, кувалду и парочку клиньев. Тут кузница, и, если затупится или сломается клин или лом, будете ходить на заправку. При выходе из траншеи всякий раз окриком предупреждайте часовых, куда и зачем идете.

Мы сразу же усвоили одно: работа в траншее даст нам хлеб, а для работы нужен инструмент — острый и прочный. Десятник еще не успел закончить свой инструктаж, как все мы кинулись расхватывать необходимое.

В течение нескольких минут в утренней тишине раздавались звон и лязг, перемежаясь вскриками:

— Не хватай четыре, коли велено два!

— Что, тебе дерьма жалко?

— Это мой клин, я первый схватился. Отдай без греха!

— Я не отдам, растяпа!

— Куда вам две кувалды-то, дурило царя небесного?! Одной намаешься досыта.

Только часовые молча смотрели на нашу перебранку, потаптывая скрипучий снежок теплыми валенками.

Гриша поднял с земли полутораметровый лом и, взвешивая его в руке, сказал:

— Ты, кажется, скучал о карандаше? Вот он, изволь поработать, шестигранный. А вот и недописанные огрызки,— позвенел он острыми до синевы клиньями сантиметров до тридцати длины.

Я сунул себе в карман два холодных «огрызка» и, вскинув на плечо совковую лопату, как заправский землекоп, пошагал к отведенному нам отрезку траншеи, расшвыривая бахилами кусочки породы и мерзлого грунта. Григорий, понурясь, брел с кувалдой на плече вслед, волоча по земле позванивающий лом...

Откуда-то со стороны уже покрикивал десятник:

— Давай, давай, время не ждет!

Бесконечная, как нам казалось, полутораметровой ширины щель веяла могильным застоялым холодом. Бросив вниз на трехметровую глубину инструменты и оглянувшись на зоркого часового, мы осторожно спустились на ее бугристое дно, обметая полами пальто крутые стенки. Справа и слева от нас маячили в студеном сумраке две пары соседей. Их невеселые голоса и первые несмелые удары кувалды по клину глохли в мерзлой сумеречности.

— Черта с два я буду рвать здесь свою последнюю одежонку,— сказал Гриша, отряхивая песок со своего почти нового пальто.— Сегодня же продам его маклакам.

— А пока давай-ка вырабатывать горбушку.— И я взял в руки кувалду, с которой познакомился еще в ранней юности, работая около года молотобойцем у сельского кузнеца.— Держи клин, а то замерзнем!

— Сегодня работа не засчитывается.

— На завтра заначка будет.

Попадешь ли еще на это место завтра — бабушка надвое сказала.

Даже летом, когда нам приходилось работать в подобных траншеях и котлованах, мы ощущали этот вечный, пронизывающий до костей холод, против которого были бессильны даже теплые июльские дни.

Подошел Фесенко и объяснил нашу задачу. Мы спросили о норме выработки.

— Десятник сказал, что в этих траншеях все ассигнования давно съедены и работы считаются законченными. Траншеи сданы как готовые для прокладки труб. НКВД отчиталось...

— Выходит, что тут и на хлеб не осталось?

— Выходит, так. И все же на каждую пару работающих установлена норма — полкубометра в день.

Федор Игнатьевич тихо пошел дальше, а мы снова зазвенели своими инструментами. Один держал клин, а другой бил кувалдой по его макушке, чтобы отколоть кусок мерзлоты. Работать было трудно и неудобно из-за тесноты и неумелости. Недоделки предыдущих работяг — скальные бугры и неровности в самых недоступных местах — давались с трудом. Мешала и непригодная для такого дела одежда. Кувалда часто соскальзывала и била по рукам. После каждого такого промаха мы попеременно жалели друг друга и злились, морщась от боли, ругались и кляли судьбу. Дули на свои синяки и кровоподтеки и снова принимались за дело.

Но при всех наших усилиях и ухищрениях из-под клина отскакивали лишь жалкие кусочки величиной меньше кулака. А когда клин угадывал в невидимую породу или гальку, летели одни только искры. Клинья часто выходили из строя, и мы выбирались с ними наверх и бежали к горну.

Кузнецы работали неторопко, но без отдыха. Вокруг, мешая им, толпились зэки, веером протягивая к горну закоченелые, в ссадинах ладони для обогрева. Иные, пользуясь случаем, искали возможности продать свои вещи любому прохожему.

— Ты постой тут, а я пошукаю покупателя,— шепнул мне Гриша, когда мы выбрались уже в третий раз. Он побрел куда-то вдоль траншеи, которая проходила вблизи товарной станции.

Минут через десять я увидел, как Малоземов уже торговался неподалеку с местным жителем. Стрелки этому не препятствовали и если и покрикивали: «Не подходить!»— то больше для острастки.

Большинство часовых были из деревни. Видимо, коекто все-таки понимал суть происходившего в стране.

Земля слухом полнилась и в Сибири, к тому же среди стрелков встречались и такие, чьи родные и знакомые тоже были репрессированы, и для них не было загадкой, что за люди копошатся в этих траншеях или дрожат с иззябшими руками у кузнечного горна. Но встречались и службисты-фанатики, верные догмам, заученным на политзанятиях. От таких догматиков наша жизнь становилась еще безрадостней.

Когда я вернулся в нашу студеную траншею, Малоземов уже напяливал поверх костюма тесноватую железнодорожную фуфайку, полученную в обмен на пальто с тридцаткой в придачу. Григорий весь сиял от удачной сделки, в зубах дымилась «подстреленная» «беломорина», испускавшая чудесный аромат.

— На, докури,— вдруг спохватился он и быстро сунул «бычок» мне в рот.

При нашей нужде было великим благом получить наличными даже десятую часть истинной стоимости одежды. И нам ли было торговаться из-за жалкой тряпки, когда сама жизнь зависела от ничтожной пайки хлеба и не стоила ни гроша. Она полностью принадлежала теперь концлагерю.

...К вечеру мы надолбили несколько кучек мерзляка, совсем неэквивалентных нашим усилиям и синякам. При их осмотре вечером бригадир оценил:

— По трехсотке выработали...

— А у других?

— Показатели разные, но тоже не ахти что...

Когда все вылезли из траншеи и стали строиться для проверки, мы узнали, что час назад одного работягу отправили в санчасть. Кувалда его напарника при размахе задела за торчавший выступ стенки траншеи, срикошетила и угодила в плечо товарища, сломав сустав.

Так начался наш первый трудовой день в советских каторжных лагерях, принесший нам, при всех наших усилиях, лишь по триста граммов хлеба и черпаку баланды, синяки и увечья.

Вечером мы снова поминали товарища Сталина, выращивавшего новые кадры с искусством хорошего садовника...

## Интермедии

В тот же день по пути в лагерь кому-то из бригады Хохлова удалось выпросить у прохожего центральную газету, и она торопливо пошла по рукам. Кое-кто уже отры-

вал от нее кусочки на самокрутки, и владелец газеты то и дело покрикивал: «Не рвать, не рвать чужое добро!»

Чутье газетчика и пропагандиста подсказало мне, что в этом номере есть что-то интересное, и я, соскочив с нар, побежал за мелькавшей тут и там газетой.

— Дайте посмотреть, ради христа, соскучился по чтиву, как по хлебу!— взывал я.

— Возьмите, раб божий, только не зажильте и верните владельцу.— И незнакомый мне человек с неохотой вручил газету, помятую и общипанную по краям.

Взобравшись на нары, я поспешно стал ее изучать. На первой странице было напечатано постановление Пленума ЦК об ошибках партийных организаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков.

Я поискал глазами Малоземова, чтобы прочесть ему это решение, но его нигде не было видно. Чем больше я вчитывался, тем меньше верил тому, что было написано. Верно, что многих исключали из партии огулом за малейшее подозрение. Но верно и то, что в основу этого решения легло прошлогоднее постановление мартовского Пленума по докладу Сталина о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Но верно ли, что во всех этих преступлениях в партии, творившихся на местах и отмеченных теперь, повинны только райкомы и другие низовые комитеты партии?

Я закрыл глаза и стал вспоминать доклад Сталина на том Пленуме, опубликованный в начале марта, а затем статью Молотова о задачах партии в борьбе с троцкистскими и иными вредителями, диверсантами и шпионами. Все становилось ясным: Сталин и Молотов в докладе и статье фактически призвали партию к междоусобице, к самоистреблению, натравливая «бдительную» молодежь на старшее поколение, якобы несогласное с политикой ЦК. А все прошедшие «гласные» процессы над крупнейшими деятелями партии и государства, кровавая расправа с бывшими соратниками Ленина не являлись ли примером для местных партийных органов и прямым призывом вершить на местах то же, что и в центре?..

Тут-то и появился Гриша, мой постоянный собеседник.

— Что нового в прессе, газетчик?

Я рассказал о сути нового партийного решения

и выразил удивление, почему так часто практика расходится с теорией и решениями пленумов.

— А я уже давно ничему не удивляюсь. Во всех решениях, явлениях и действиях надо искать логическую связь. Без этой связи ничего не понять. Решения, противоречащие практике, являются дымовой завесой, чтобы эту неблаговидную практику скрыть. Помнишь встречу Сталина с героем перелета через северный полюс в Америку Чкаловым? Помнишь, как Сталин тогда распинался насчет выращивания кадров? А в это же время уничтожались самые лучшие кадры. Скажете, без ведома Генсека? Но все крупные работники на ответственные посты в республиках и областях подбирались самим Сталиным. Разве осмелился бы тот же Ежов без ведома Сталина замахнуться на верную ленинскую гвардию? А тот не только замахнулся, но головы рубил без всякой пощады. И заметь, мы — еле заметные малявки районного масштаба по сравнению с такими деятелями, как Постышев или Косиор, Червяков или Акулов, Уборевич или Блюхер. А где они все?

— О Блюхере писали, что он пытался перелететь к японцам.

— А может, к папуасам?

Григорий бил своей логикой сильнее, чем кувалдой по клину, и откалывал глыбы мусорной породы в моей вере.

Недели через две стали приходить ответные письма от родных. Каждый вечер мы с нетерпением ожидали воспитателя, который еще в дверях кричал:

— Тихо, граждане, вести с воли принес!

В бараке делалось тише. А если он заставал нас за едой, звон ложек об алюминиевые миски затихал; почти каждый с замиранием сердца ждал, назовут ли его фамилию.

Сибирякам письма начали поступать раньше, уже через неделю. Из европейской части, с Украины или Кавказа ответная почта стала прибывать значительно позже. В конце февраля мне вручили сразу два письма: от матери из Старой Руссы и от сестер из Ленинграда. Письмо матери встревожило и выбило из колеи.

«Здравствуй, мой ненаглядный сынок! Пишет тебе с моих слов наша бывшая соседка Сима. А бывшая потому, что в нашей старой квартире я больше не живу. Сима изредка навещает меня по старой памяти, и, когда

пришло твое долгожданное письмо, я сразу поехала к ней.

Милый и дорогой мой сынок, сколько слез я пролила за минувшие полгода — знает один бог да моя подушка. Но начну все по порядку. Наутро, как тебя забрали эти ироды и увезли в тюрьму, приехали оба зятя в отпуск — Павел и Сергей и прожили у нас две недели. Этот отпуск был у них без радости, как после похорон. Не один раз ходили они со мной к тюрьме и просили передать тебе хотя бы весточку, но им, как и мне, ничего не разрешили, а последний раз даже пригрозили: «Доходитесь до греха — сами попадете сюда». За те две недели, пока все были у нас, никто и не засмеялся ни разу, а за чаркой Сергей даже плакал. Даже дети были какие-то притихшие и все спрашивали: «А где же дядя Ваня?»

Вскоре после их отъезда в Ленинград я и совсем осталась одна, потому что супруга твоя меня тоже бросила: взяла Юрушку и переселилась жить к родителям. Я долго упрашивала остаться, но она сказала, что так будет лучше всем. Может быть, она и права, не знаю, бог ей судья, но мне-то, старухе, каково одинокой горе мыкать?

В октябре я встретила ее как-то на базаре, и она мне сказала, что ее не один раз вызывали в НКВД и требовали показать на тебя отрицательно, но она ничего плохого о тебе сказать не могла. Вгорячах я наговорила ей много обидного, а потом пожалела: наверно, и ей несладко от твоей беды.

Потом приходил управдом и сказал, что две комнаты мне много. Когда я сказала, что жду сына Михаила из Боровичей, он ответил, приедет — там видно будет, и вскоре меня переселили на улицу Карла Маркса в небольшую комнатку.

Как горько было мне покидать квартиру, где прожили мы так хорошо несколько лет и где все напоминало мне тебя: все предметы, за которые ты касался, и книжный шкаф, и стол, за которым ты работал вечера. Я даже пиджак твой, оставленный на спинке стула в тот вечер, и полотенце на гвозде, которым ты утирался, за все время не снимала с места. Все окружавшее меня напоминало о тебе, моя кровинка, и мне все думалось, что ты куда-то вышел и скоро вернешься. А теперь и этого у меня нет, и этой малости лишили старуху.

С ноября я работаю уборщицей при школе, потому как нет у меня больше кормильца. Миша все еще не едет, пишет, что пока не отпускают. Вот и приходится на

старости лет зарабатывать на кусок хлеба. Дочки и зятья меня не забывают и присылают, что в силах, но ведь у них тоже семьи, дети, их надо поить, кормить и одевать — жизнь-то у всех нелегкая. Но ты не думай, что мне плохо. Одна голова не бедна, а если и бедна, то одна, а вот тебе, наверно, несладко...

На днях соберу посылочку, жди. Ты пишешь, чтобы я распродавала книги и не бедствовала, а мне их жалко. Пускай читать и не умею, а продавать не буду: может, ты и вернешься вскорости, неужто безвинного долго будут держать? Правда должна найтись, нельзя долго без правды жить!

Написала бы больше, да не знаю, что можно вам писать, а чего нельзя. Не дай бог, письмо не дойдет, измучишься, пока дождешься.

Кланяются тебе товарищи из редакции, те, что попрежнему любят и верят, просят не терять надежды и мужества и беречь здоровье. Этого желаю тебе и я.

До свидания, моя кровиночка. Обнимаю и крепко тебя целую. Пиши мне как можно чаще, бумаги я пришлю в посылке.

*26 февраля 1938 года*».

Таков был отчет матери о ее жизни без меня за полгода. Итоги неутешительные: ушла, испугавшись, жена, бросив старуху на горькое одиночество. Мать выселили из квартиры, очевидно как члена семьи врага народа. Старушка потеряла кормильца и в шестьдесят лет вынуждена на стороне искать пропитание — таскать дрова, топить печи, мыть школьные полы. И опять пришло на ум нерадостное сравнение: в семье Ульяновых был государственный преступник, казненный за покушение на самодержца всероссийского, однако это обстоятельство почему-то не помешало многочисленной семье Ульяновых после смерти кормильца Ильи Николаевича получать пенсию от царского правительства. Мыслимо ли подобное в наше время?

В нашей бригаде письма получили многие, а Фесенко и его «адъютант» Сутоцкий — еще и богатые посылки. Дабы не лишиться ночью посылки, счастливчики щедро угощали своих ближайших товарищей. В бригаде в тот день был первый коллективный праздник.

Три бригады новичков изводились в траншеях около двух месяцев, и за все это время вырабатывали нормы только наиболее сильные и выносливые, вроде Неганова, работавшего в паре с Артемьевым.

У нас с Гришей всего лишь несколько дней была полная выработка, да и то при помощи костров. Однажды нам достался участок на перекрестке, под который нужно было пробить туннель. Для ускорения проходки нам раза три подвозили по возу дров, и на ночь мы оставляли под перемычкой костер. С утра и до обеда мы откидывали на бровку оттаявший грунт, а затем еще раз подогревали. Эти несколько дней мы даже перевыполняли задание и получали уже «стахановскую» порцию — по килограмму хлеба и по кусочку рыбы к обычному рациону как поощрение.

На этом и закончились наши сытные дни на траншее, и, если бы не деньги, вырученные за верхнюю одежду, а потом и за костюмы, мы загнулись бы от истощения, как загибались многие, превращаясь в «доходяг».

Вначале мы думали, что тем, кто работал на водоеме, повезло больше, чем нам, но вскоре убедились в обратном. Число истощенных «отказчиков», то есть невыходов на работу, в тех бригадах было больше, чем в наших. Мы предполагали, что в лагере находятся ко всему уже привыкшие и приспособившиеся к здешним условиям старожилы. На самом же деле эти старожилы прибыли всего лишь за два-три месяца до нас и так же, как и мы, держались первое время на подкормке от продаваемой одежды. Теперь у них ничего не было в запасе, и все они жили только на голодной выработке.

Все это нас настолько волновало, что однажды мы не выдержали и вынудили десятника на откровенный разговор. Было это в блаженные дни проходки под дорогой, когда, выкинув оттаявший за ночь грунт, мы отдыхали в ожидании нового подогрева...

Валерий Петрович был коренным ленинградцем и, узнав, что мы с Гришей коммунисты и почти его земляки, нередко задерживался возле нас. Судьба его была горька. В первый раз его арестовали в самом начале 1935 года, после убийства Кирова, когда в Ленинградской парторганизации начался очередной разгром. В числе тысяч безвинно арестованных старых коммунистов оказался и Валерий Петрович Боровиков, декан Горного института, член ВКП (б) с 1920 года.

— Тогда продержали меня в тюрьме семь месяцев,— рассказывал он, нервно докуривая самокрутку,— и за недоказанностью обвинения выпустили. В партии восстановили, но должность декана была уже занята... Был я и у Жданова на приеме, но ничего не добился. Тот знал свое дело твердо: подальше держать от руко-

водства всех «запятнанных». А не по его ли указке запятнали сотни неповинных людей?

— Когда же вас снова взяли?

— Весной тридцать седьмого. В самую кампанию по повышению бдительности. Такие, как я, ранее «запятнанные», и стали первыми жертвами. Следствие велось ускоренными темпами и не без «пристрастия», но я не подписал ни одного протокола. «Тройка» дала мне заочно десять лет, и ранней осенью прошлого года я был уже здесь в составе очередного ленинградского эшелона. Сразу же попал на водоем — долбить скалу клином и кувалдой.

— На общие работы? Ведь вы же инженер, горняк!

— На общих, к счастью, привелось быть недолго. В декабре вышло постановление ЦИКа по поводу успешного окончания строительства вторых путей Карымское — Хабаровск, большая группа руководящих работников лагерей и Наркомата внутренних дел была награждена орденами и медалями. Многим бывшим заключенным, работавшим «добровольно» на этой стройке, сняли судимость, и около десяти тысяч зэков-бытовиков получили досрочное освобождение.

— «Врагов» эта амнистия тоже коснулась?— спросил я.

Валерий Петрович криво улыбнулся в прокуренные усы:

— Политических ни одна амнистия не касается. Ни одна, запомните! Это не добрые старые времена, а эпоха диктатуры пролетариата,— с сарказмом сказал он и ушел.

Амнистия помогла Боровикову косвенно: после массового освобождения из лагерей бытовиков и с отъездом домой «добровольцев» в лагерных штатах появилось много вакансий. На одну такую вакансию и был выдвинут Валерий Петрович.

И вот, встревоженные перспективой превратиться в «доходяг», мы обратились к нему:

— Объясните нам, Валерий Петрович, почему такое бедственное положение с выработкой? Ведь мы же все стараемся из последних сил, не филоним, и все без толку! Неужели в лагерях всегда такие немыслимые нормы и всегда было столько голодных людей?

— Нет, не всегда. Раньше в лагерях находились преимущественно крестьяне, так называемые кулаки, которым никакая работа не была тяжелой. Они и были главной рабочей силой, да и нормы были несколько ниже.

Для бытовиков и уголовников существовали льготы и зачеты, и это было огромным стимулом к работе. Уголовникам часто просто приписывали выработку, как дополнительный стимул. Лагерные верхи применяли всякие меры, чтобы досрочно закончить постройку вторых путей. И они были в основном закончены.

— А водоснабжение и прочее разве не входило в комплекс вторых путей?

— Я и говорю, что закончены в основном. И приняты, «в основном», с массой недоделок, на которые еще потребуется немало времени. А поскольку НКПС дорогу принял и расписался, Наркомфин отметил у себя окончание строительства и дальнейшее финансирование, естественно, прекратил. Там совсем не представляют себе величины недоделок, а лагерные деятели молчат. Ордена и премии получены. Не отдавать же их... А тут началось массовое изъятие «врагов народа», в лагеря потекла свежая рабочая сила... И пошло-поехало: в лагерях прекратилась всякая массовая работа, исчезли газеты и радио, заглохла самодеятельность, увеличились нормы и понизились расценки. Рабочая сила обесценилась: не заработает «контрик» на хлеб, подохнет — туда и дорога. Вербовка продолжается...

Все становилось ясным как божий день. Но многотысячной армии заключенных Бамлага и других «лагов» не стало бы легче, если бы они даже и знали о том, как высшие тюремщики делают нынче свою карьеру.

## Дело о бунте

К концу весны число зэков, не вырабатывающих нормы, увеличилось почти вдвое, и в каждой бригаде все больше и больше людей отказывалось выходить на развод.

Заключенные валились от голода прямо на работе. Остатки «вольного» платья виднелись лишь на счастливчиках, большинство же давно успело продать с себя все до нитки, даже «не вольное», а деньги проесть. Котловое питание ухудшилось: из-за низкой выработки колонна не выполняла план, что отразилось на ее снабжении в целом. Кормить заключенных даром государство не собиралось. Пайки хлеба резко повысились в цене, и купить их стало почти невозможно.

Изредка получаемые от родных посылки с продовольствием, если не съедались сразу, ночью бесследно исчезали.

— Закусимте, товарищи, вспомним добрым словом родных и на этом будем считать дело поконченным,— обычно говорил обладатель посылки.— Все равно не сохранить и не устеречь от голодного ворья.

Развод на работы каждое утро заканчивался руганью, криками, тычками в спину и остервенёлым избиением «отказчиков». Около семи часов в бараке появлялся помпотруду Сытов и сразу от порога кричал на всю вселенную:

— Выходи строиться! Давай, давай, не задерживай!

За ним по пятам шел воспитатель, ставший просто вышибалой, потому что других обязанностей у него не было. Оба обходили барак по кругу, как волки затравленную добычу, и следили за тем, кто как одевается и одевается ли вообще.

— Ты что, не собираешься к выходу?— накидывался Сытов на того, кто уже не мог двигаться от потери сил.

Иной смолчит, а иной ответит:

— Ходи не ходи — пользы все равно никакой. Те же триста граммов, работай или не работай...

— Ты что, контрик?!— И Сытов переходил на непечатный язык.— И здесь саботажничать, как саботажничал на воле?! Я вам покажу вредительство, попомните!

Затем они уходили в другой барак, в третий, где все это повторялось. А мы тяжелой вереницей неохотно тянулись из барака в своих грязных, подпоясанных веревками бушлатах. На ногах — тяжелые бахилы, на руках — истрепанные рукавицы, на голову натянуты все те же вислоухие шапки.

После проверки толпа плывет к воротам в общую колонну. А голос разъяренного Сытова все еще слышится из какого-то барака. Там они вместе с воспитателем и парой охранников, с лекпомом в придачу, стаскивают с нар больных и истощенных дистрофиков.

Через минуту дверь барака откидывается на сторону от удара ноги Сытова, и из тамбура вываливаются зэки. На лицах тупое равнодушие обреченных. Часть из них все же ищет свои бригады и становится в строй, другие топчутся у барака и покорно ждут, когда их поведут в карцер.

— Делайте что угодно, а на работу не пойдем,— говорит один, другой, третий «саботажник».

— Коллективка?!— исступленно орет на них Сытов.— Я вам покажу коллективку, вражеское отродье, паразиты!— Он в бешенстве кидается от одного к другому, хватает за ватники, толкает в спину по направлению к карцерному бараку, норовя ударить побольнее.

Мы выходим за ворота, чтобы в поте лица заработать себе хлебную трехсотку, а вслед нам из открытых, незастекленных окошек карцера доносится лагерная песня блатарей, сидящих там безвылазно неделями:

Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется.
А сердце радостно забьется
Не для меня, не для меня.

Почти каждый день провожал наш серый парад щеголеватый и полупьяный начальник лагеря Немировский, тот самый, что отбирал нас в карантине. Начальником лагеря он стал не случайно: таких, как он, лагерное руководство чуяло нюхом, наделяя должностями по их характерам и повадкам.

Позже, во время следствия и на суде по «делу» о так называемом бунте, в колонне № 62 всплыла на свет и его биография.

Сыну среднего ярославского предпринимателя Григорию Самойловичу Немировскому в год революции исполнилось двадцать лет. По окончании гимназии ему не удалось поступить в институт, так как он был евреем, а после революции было уже поздно: с одной стороны, он был выходцем из буржуазной среды, а с другой — время наступило бурное, до учения ли тут...

Несколько лет он где-то служил, а с началом нэпа принял участие в деле изворотливого отца, который за короткий срок почти восстановил скобяное производство. Дела шли в гору, семья благоденствовала, хотя и не в той мере, как хотелось бы: десяток рабочих мастерской не так уж много приносили барыша, если учесть, что были профсоюзы, налоги и была Советская власть.

В двадцать девятом или тридцатом мастерскую прикрыли, а старшего Немировского ликвидировали как класс, то есть выслали на поселение в Сибирь. Сына эта кара не коснулась, так как все заведение числилось за отцом. Но его злость на правопорядки возрастала и крепла. Спасая свое благополучие, сын просто отрекся от отца, как многие отрекались в те годы от своих родителей.

Вскоре Немировский-сын окопался в артели металлоизделий и благодаря запасу знаний, опыту и природной смекалке стал заведующим кроватным цехом артели. И все было бы хорошо, если бы прирожденного дельца не съедала, как ржавчина, жажда разбогатеть. Способ

наживы был найден: из материалов, добываемых «слева» и от экономии на основном производстве, мастерская стала делать намного больше, чем задавалось планом. Кладовщик и рабочие стали ежемесячно получать премии, а «левые» кровати сбывались в магазине без накладных по сговору с продавцами. Выручка за кровати делилась между всеми заинтересованными лицами.

Делилась, пока у ниточки не нашелся конец и дельцы не оказались на скамье подсудимых, откуда главные виновники попали в лагеря на десять лет.

Так Немировский оказался в Бамлаге, где недолго пробыл на общих работах, расторопно продвигаясь по должностям лагерных «придурков». До этого лагеря он года три был где-то помощником по труду и давно жил в бесконвойном бараке, а в начале 1937 года выскочил в начальники нашей колонны. Помогла Немировскому и юбилейная амнистия: она не только убавила ему на три года срок наказания, но и возвела на освободившуюся должность.

Пока в лагерях преобладали уголовники и бытовики, то есть родственные по духу элементы, Немировский чувствовал себя как бы равным среди равных. Но вот наступили времена ежовщины, и в лагеря густым потоком хлынули «враги народа», и среди них партийные и советские работники, заклятые враги всех немировских. Торгашеская душа его возрадовалась: комиссары начинают своих же сажать в тюрьмы и лагеря, и чем меньше этих честных чудаков останется на воле, тем лучше для таких, как он. Так, по логике сталинской эпохи, он почувствовал себя на голову выше всех, над кем был поставлен.

Как-то Немировский пришел к нам в барак. Его сразу же окружила кричащая толпа голодных и обовшивевших людей.

— До каких пор будут держать нас на голодном рационе?

— Почему в бане не моете по три недели?

— Вши заели до костей!

— Горстями выгребаем их, паразитов!

— Люди с голоду валятся, а вам хоб что?!

— Почему баланда на тухлой рыбе? Уморить всех хотите?

Немировский дал выкричаться, а затем грозно осадил:

— Тихо! Прекратить базар! Вы забыли, где находитесь?

А когда гул совсем затих, он добавил:

— Вы что тут раскричались? На кого раскричались? Разве я вас кормлю? Советская власть вас кормит!

— Вы потише, начальник, насчет Советской власти,— сказал Фесенко.— Она, кажется, здесь ни при чем.

По притихшей толпе Немировский понял, что хватил через край. Желая как-то сгладить назревавший скандал, он примирительно заявил:

— В ближайшие дни все улучшится, не волнуйтесь. Я дам нужные распоряжения.

Но ничего не изменилось ни в ближайшие, ни в последующие дни и недели. Люди голодали и вшивели во всех бараках. Вши доводили нас до исступления, мы чесались беспрерывно и днем и ночью. В траншеях и в отхожих местах, откинув ложный стыд, мы буквально выгребали этих злых мучителей из многочисленных складок нашей ветхой одежонки и белья, отворотив гашник штанов или вывернув рубаху, невзирая на холод. Но стоило лишь лечь на нары, как они снова принимались за нас. Нужна была единовременная массовая дезинфекция, но ее не было.

Вскоре и я обессилел настолько, что не смог выйти на работу. День мне дали передышку — лекпом установил какую-то болезнь, но на второй день пинками и подзатыльниками я вместе с другими был водворен в переполненный карцер. Там уже три дня сидел Артемьев, осунувшийся и еще более постаревший.

— Што, Иваныч, и тебя в эту тюремную тюрьму? Я уж на что тертый, а такого беспорядка, какой здесь, что-то не упомню...

В третью часть — так назывался особый отдел при управлении лагерей, своего рода ГПУ в ГПУ — поступило заявление о неблагополучии в нашей колонне. В нем, видимо, были приведены и слова Немировского насчет виновности Советской власти. Началось следствие. Чтобы выгородить себя, он дал показания в том смысле, что во всем виноваты «контрики»— саботажники, подбивающие заключенных на бунт, и назвал десяток фамилий «зачинщиков».

Через несколько дней, когда я уже снова ходил на работу — помогла посылка от матери,— перед разводом нарядчик назвал по списку несколько фамилий, в числе которых была и моя, и сказал:

— Останетесь в бараке.

— Что за амнистия?

— После развода узнаете.

После развода в бараке осталось десятка два больных и дистрофиков, освобожденных лекпомом. Вокруг длинного стола хлопотал дневальный, подбирая миски и наводя чистоту. Оставленных нарядчиком было четверо. Бригадир Фесенко сидел на кончике скамейки и молча курил, глядя в темный угол. Высокий и тощий Женя Сутоцкий, бывший студент четвертого курса Свердловского пединститута, расхаживал по неровному полу и жестикулировал, как бы готовясь к сдаче экзамена по риторике. У слегка заиндевевшего окна стоял Аристов, бывший бригадир рыболовецкого колхоза из-под Саратова. Он усердно соскабливал грязным и твердым, как долото, ногтем тонкие морозные узоры, дул на стекло и в образовавшийся просвет что-то разглядывал на лагерном дворе. На нем был все тот же, полученный им еще в первый день, бушлат, служивший предметом для шуток не одной нашей бригады. От его бесчисленных дыр как будто только что отпугнули стаю ворон, которые старались выщипать всю вату, серые клочья которой торчали повсюду, как репейник. Тогда он долго ругался с Фуниковым, не желая брать эту рвань, и согласился лишь после клятвенного обещания последнего сменить бушлат через день-два.

— Черт с тобой, сатана!— сдался он.— Но учти, не принесешь через день — не пойду на работу, так и знай!

— Ладно, ладно, сказал — будет, значит, будет...

Бушлата Аристову так и не сменили, однако своей угрозы он не сдержал и ходил на работу, как и все. К этому бушлату он уже и попривык, как и все мы успели уже ко многому привыкнуть...

Значит, Фесенко, меня, Аристова, Сутоцкого поведут на допрос по поводу «вшивого бунта». Что ж, коль будет буря — мы поспорим и за правду постоим...

Помпотруду пришел около девяти часов и спросил:

— Все здесь, кого оставили?

— Все,— ответил Фесенко.

— Тогда давай выходи!

— А куда идти?— спросил Аристов.

— В третью часть, в управление.

— Я туда не пойду.

— Как же ты не пойдешь, если тебя поведут?

— Я не могу идти...

— Это что еще за фокусы-мокусы! Почему?

— Гордость не позволяет!— решительно ответил тот, отходя от окна и становясь перед Сытовым.— Я

не могу позорить таким рубищем нашу знаменитую колонну!

Сытов будто только сейчас разглядел, в каком одеянии был Аристов. Для него все мы были серыми, а какого качества эта серость — его вроде бы и не касалось. А тут он пристально оглядел Аристова и взорвался:

— Какого же ты черта молчал до сих пор?!

— А я и не молчал. Я так же орал на Фуникова, как вы сейчас на меня, и все без толку.

Сытов помолчал и, не глядя ни на кого, решительно пошел к двери:

— Не выходить, я в один момент.

— Вишь, как его озадачило, стыдно все же...

Не прошло и десяти минут, как тот вернулся с приличным армейским бушлатом, какие носят в стройбатах, и, бросив его на руки Аристову, сказал:

— На, носи и помни Сытова!— И, повернувшись к дневальному, распорядился:— А его мохнатое барахло передай Фуникову.

Нежданная доброта помпотруду нас удивила вначале, а потом все прояснилось: и в самом деле ему, должно быть, совестно вести в управление зэка в таком страшном бушлате. Аристов между тем уже любовался, как фартово сидит на нем обновка.

— А наши чем лучше? И нам не пристало идти к начальству в такой рвани,— буркнул бригадир.

— Ваши еще можно носить. Начальство знает о затруднениях и не взыщет.

И вот наша четверка, сопровождаемая стрелком, уже шагает в поселок, и мы чувствуем себя празднично: сегодня не нужно «втыкать» и думать о норме, сегодня нам будет «выведена» пятисотка и харч подсобника, а нам больше ничего и не надо. Впрочем, не всей четверке нужно думать о горбушке, это относится только ко мне и Аристову. Фесенко, как бригадир, не думает о выработке, получая твердую пайку. Сутоцкому он тоже выводит паек подсобника с горбушкой в 500 граммов хлеба, используя его по старому, еще свердловскому, знакомству на вспомогательных работах, не связанных с нормой выработки.

Воздух чист и приятен, здесь его ничто не коптит, кроме маневровых паровозов. Солнышко тихо плывет над сопками, как бы следуя за нами. Под ногами шуршит примороженная утренником галька, в придорожных ямках искрится еще не растаявший снежок. Мы шагаем молча. Сытов идет позади нас рядом с охранником и

тихо с ним переговаривается, а мне вдруг приходит в голову мысль, что не такой уж он гад, как нам, униженным, кажется. Каждый в лагере приспосабливается как может. Всеобщий закон борьбы за существование здесь действует наиболее наглядно. Выживает сильнейший.

На месте Сытова иной, может, стал бы действовать еще круче и жестче. Может, от другого попадало бы по шеям чаще и крепче. В конечном счете за выход заключенных на развод отвечает лично он и за малейшее попустительство рискует лишиться этой завидной должности «придурка». Он — тоже заключенный, с той лишь разницей, что он обыкновенный растратчик, а мы — «враги народа».

Амазарское лагерное управление занимало приземистое одноэтажное здание барачного типа. Нас ввели в приемную, где за барьером сидел непременный дежурный. Узнав, откуда нас привели, он велел подождать, а сам ушел в одну из дверей, выходивших в «присутствие».

Потом нас вызвали по одному в особую комнату, где фотографировали анфас и в профиль и зачем-то сняли отпечатки пальцев. Для всех нас это было ново: ни в тюрьме, ни позже этой процедуры над нами не учиняли.

«Значит, дело серьезное»,— думал каждый из нас. Такое совершается только над обвиняемыми, преступления которых ясны и уже доказаны.

Малоземова на допрос вызывали раньше нас, и ему следователь предъявил обвинения: открытое неповиновение лагерным властям, подстрекательство к бунту, участие в коллективном неповиновении администрации. А все это грозило статьей 58 Уголовного кодекса. Но шаг за шагом дело прояснялось, и картина стала вырисовываться в других красках, чем те, какими нарисовал ее Немировский вкупе со своими помощниками. События выглядели уже не такими страшными, однако до самого суда обвиняемыми считалась группа заключенных из «врагов народа», то есть Малоземов, я, Фесенко, Аристов и другие — всего девять человек.

— Теперь жди отправки в штрафную,— сказал нам один из сведущих в таких делах уголовник.

— А где эта штрафная?

— На станции Ерофей Павлович, дальше к востоку...

Но главного мы достигли: в течение недели всех нас побарачно отвели в баню, где мы и сами отмылись, и прожарили свою одежду. В бараках была произведе-

на генеральная дезинфекция, вшей вывели и пайку чуть прибавили. Это была немалая победа.

В конце мая нам объявили об отправке. Рано утром мы второпях простились с Кудимычем и Негановым, уходившими на работу, и больше с ними никогда не встречались...

Потом конвой отвел нас на станцию, и вскоре мы оказались в зарешеченной теплушке, прицепленной к попутному поезду. Под вечер того же дня нас высадили на крупной станции, а затем водворили под усиленную охрану в колонну № 71, как две капли воды похожую на нашу за № 62.

# Глава двенадцатая

> Истинное мужество обнаруживается во время бедствия.
>
> Вольтер

## Штрафная

В нашем больном воображении штрафная представлялась чем-то до жути страшным, на самом же деле ничем особенным этот лагерь не отличался от многих других, расположенных вдоль Сибирской магистрали. До нас доходили рассказы о лагерях Магадана, Колымы, Печоры и других далеких окраин, где режим и произвол были много страшнее, а жестокость и издевательства над зэками много изощренней. В такие лагеря ссылались видные политические деятели и большие военачальники, осужденные на длительные сроки и, по сути, обреченные на гибель. Здесь же, на виду у людей, где заключенные имели постоянный контакт с населением, методы обращения с зэками не переходили за общеустановленные рамки. И в этом было наше счастье и спасение...

Колонна № 71 называлась штрафной, очевидно, потому, что сюда переводились в чем-либо проштрафившиеся уголовники, а также те, против кого возбуждалось уголовное дело. Это была своего рода предвариловка под боком у третьей части Бамлага. Внешне она была совершеннейшей копией многих лагерей тех мест, а кухонным коридорчиком от зоны напоминала нам ка-

рантинную колонну в Амазаре. Но внутри самой зоны было нечто новое: она делилась на две части.

В общей стояли два барака, где размещались главным образом «вербованные» в 1937 году, подследственные и обычные работяги. Третий барак, расположенный чуть поодаль, был обнесен высокими плотными рядами колючей проволоки, которая и отделяла вторую, внутреннюю зону с запирающимися воротцами и караульным перед ними. В этом бараке содержались неисправимые рецидивисты — воры всех мастей и бандиты...

Когда нас приняли и привели для поселения к одному из первых двух бараков, двери которого приходились против второй зоны, из группы уркаганов, толпившихся за проволокой, раздались возгласы:

— Откуда, чалдоны, притопали?

— Неужели так плохо на воле, что сюда захотелось?

— Да это же взятые на время от сохи!

— Эй, фраера, нет ли кусочка хлеба водичку запить?

— Какие же они от сохи? Это ж все контра?!

— Теперь и мужики — контра...

Как потом выяснилось, соха была тут вовсе ни при чем. На старом тюремном жаргоне все невинно осужденные или сосланные назывались «взятыми от сохи на время».

В барак нас привел помпобыт этой колонны. Найдя дневального, он весело сказал:

— Принимай, Макёдон, пополнение. У тебя тут есть свободные места, размести их без притеснения,— и пошел к выходу.

— А засэм притэснять,— с сильным акцентом ответил черный, как уголь, невысокий и сухой старичок с живыми, темными, веселыми не по летам глазами.

Полугреческую фамилию этого доброго и ласкового старикана было трудно выговорить, и ему дали прозвище по его родине — Македонии. По национальности он был не то сербом, не то румыном, а скорее всего — цыганом. За целый год пребывания с ним в одном бараке мне так и не удалось узнать, когда и как он попал в Россию и за что угодил в эти прелестные места. Он смешно коверкал русские слова, и мы иногда просто покатывались со смеху, а Македон только улыбался, что доставил нам удовольствие.

Иногда, глядя на его старания перед начальством, дабы улучшить наш нищенский быт, кто-нибудь скажет:

— Ох и хитрый же ты, Македон! Ну и ловкач!

А он:

— А сто ты хотил? Ты хотил, стобы я дурак бил?!

В ту первую встречу он принял нас, как близких ему друзей. По его совету мы заняли свободный темный уголок на верхних нарах.

— Ложитесь, товарищи, отдыхайте, пока можно,— сказал Фесенко и, сев на нары, снял заплечный мешок.

Так началась наша жизнь на новом месте.

Главным объектом работы этой колонны были каменоломни, куда ходили иногда две трети заключенных. Остальных водили в поселок и к станционным путям, где лагерь достраивал угольные кагаты, готовил котлованы для каких-то специальных сооружений.

В первые дни нас поодиночке водили на допросы, а в конце июня состоялся суд. Немировский, тоже оказавшийся под конвоем, вначале вел себя на суде по отношению к нам начальнически, как обвинитель, представляясь этаким защитником Советской власти. Показывая на нас, он с пафосом говорил:

— Эти гады на воле мутят воду и мешают строить социализм и здесь затеяли волынку. Разве можно им верить, граждане судьи?! У них контра на лице написана...

Судья сразу же прервал его демагогическую речь:

— Не забывайтесь, Немировский! Здесь нет ни бытовиков, ни врагов народа. Здесь в лагерях находятся только заключенные, и вам, как начальнику колонны, поставленному органами НКВД на эту должность, об этом не следовало забывать. А вы не только забылись, но еще и навредили Советской власти.

У следствия, а затем и в ходе судебного разбирательства оказалось достаточно данных, чтобы вынести Немировскому справедливый приговор: он получил пять лет по статье 58 в дополнение к тем, что остались у него от первого приговора.

После суда мы возвращались в лагерь возбужденные и удивленные: кто бы мог подумать, что здесь, на краю света, в центре каторжной Сибири, есть правый суд, рассудивший все по закону!

## В каменоломнях

Человек привыкает ко всему, даже к недоеданию. В весе мы потеряли много, никаких жировых отложений в нашем теле не осталось давным-давно. Зато крепли мышцы.

— Как Аполлон Бельведерский!— сказал однажды в бане Григорий, стряхивая с себя водяные катышки и оглядывая свои тощие телеса в ожидании, когда из вошебойки выбросят наши узлы с поджаренной одеждой и мы вытрясем из нее мертвых вшей.

На нем, как и на мне, повсюду выступали острые углы: кости грудной клетки над впалым животом, лопатки над ребристой спиной, ярко выраженный позвоночник, выпирающие ключицы, обтянутые, как у мумий, скулы.

— Да-а-а!— протянул я.— Вот только жаль, что ягодицы куда-то исчезли... У Аполлона, помнится, они были.

— Ну, то Аполлон, ему красота нужна, ему без этого нельзя. Для нас ягодицы — лишний потребитель... На скале они только помехой будут.

— Не скажи, через мякоть жесткий камень подушкой покажется, костям легче...

Эта знаменитая среди лагерников скала возвышалась над всеми окрестными сопками, в широком распадке которых ютился защищенный от ветров станционный поселок Ерофей Павлович. Она памятна тысячам и тысячам зэков, которые на протяжении десятков лет бурили и долбили в ней отверстия, рвали ее аммоналом, кололи клином и кувалдой, с натугой ворочали ломами, крошили кирками и мотыгами — и все для того, чтобы добыть строительный материал, спустить вниз, а затем, когда подадут состав, в бешеной спешке погрузить его. Сотни тысяч тонн — не одна сотня составов ушла от ее погрузочной площадки с этим камнем, облитым пóтом, а нередко и кровью заключенных...

— Куда сегодня?— спрашивали по утрам бригадиры нарядчика, если с вечера не было наряда.

— На скалу,— коротко отвечал тот, стараясь больше не говорить на эту тему и не смотреть в нашу сторону.

— Откуда так много трехсотников?— удивится иной раз помощник по быту.

— Со скалы!— ответит ему с досадой бригадир.

Не каждый мог заработать на ней полную пайку. А когда в лагере появляются покалеченные, то на вопрос «Где изувечили?» наверняка ответят:

— На скале.

Когда зэки хотят сказать о чем-то донельзя тягостном, трудном, они с горечью говорят:

— Как на скале...

Этот каменный карьер был отчетливо виден из окон поездов, идущих на восток или на запад. Без бинокля

можно было рассмотреть на желто-сером его южном склоне сотни копошащихся фигурок людей, согнанных сюда со всей страны.

Работать на скалу всегда шли неохотно, как в особую ссылку, как в наказание, потому что многим она давала то же, что и карцер: триста граммов хлеба и черпак баланды в сутки. Администрация знала, что длительные работы на скале одних и тех же бригад доводили людей до истощения, до полной потери сил, вызывали недовольство, протест и большое число больных и отказчиков. Но и не водить на скалу было нельзя: строительный камень нужен был всюду, а этот лагерь добывал самый дешевый в мире материал. Вот почему круглый год, в знойное лето и трескучие морозы зимой, в ветер и снег, дождь и метель, к скале ежедневно ползла под усиленным конвоем густая серая вереница заключенных.

В полдень, как обычно, сюда привозили перловую размазню без грамма жира. Повар аккуратно отмеривал харч строго по черпаку тем, кто накануне имел выработку. Трехсотники и полгорбушечники (получающие 500 граммов за половинную норму выработки) как прокаженные отходили в сторонку. Но были среди них и такие, что старались как-то втереться в очередь и под шумок получить желанное причастие, хотя это удавалось редко.

— Куда ты суешься со своим урыльником?! Ведь у тебя же вчера была пятисотка!

— Была у меня норма, курва буду!

— Эй, бригадир! Где бригадир?!

— Чей тут косарь пытается урвать незаработанное?

Бригадир решает спор по списку, но «косарь» все же пытается подсунуть свою миску.

— Я вот как суну по едалу черпаком — сразу отучу косить!— кричит раздатчик, замахиваясь увесистой железной меркой.

— Отмерь ему хотя полпорции,— жалеет кто-то.

— Дай полакомиться хоть со дна!

— Нет у меня лишков, с кухни дано все по норме, сколько положено, и нечего канючить! Отчаливай!

— Пожиже бы развел, все равно похлебка, а не каша...

— Погуще у товарища Берии просите.

— У того и без спроса получишь. Он добрый, даст...

— А здесь нету, и разговор весь...

Кашица всем роздана и вмиг съедена. Штрафники насыщаются горячей водой из привезенного бака: погрели

животы жареной водицей — вот и весь обед от семи утра до семи вечера...

А вечером у раздаточного кухонного окошка те же умоляющие просьбы о пище:

— Добавьте черпак на бригаду.

— Прокурор добавит,— шутит раздатчик.

— Не добавит прокурор: он боится, как бы его самого к нам не определили.

— Все равно не дам. Проси у «тройки».

— Эх, сказал бы я тебе...

Однажды, уже под осень, сделав свою норму, мы сидели у своего забоя в ожидании шабаша, курили и смотрели, как по соседству с нами двое вылезали из глубокого колодца, пробитого в скале, куда вскоре будет заложена взрывчатка. И я вспомнил трагический случай, происшедший совсем недавно.

Вот такие же, как эти, ребята разрабатывали у подошвы скалы глубокий колодец, и перед самым концом работы он вдруг обрушился. До полуночи две бригады откапывали их, вернее, разбирали вручную груды камня и щебня. На глубине десяти метров, на дне выбранной воронки, подобрали наконец раздавленные останки...

— Где их похоронили? Узнают ли когда-нибудь родные, что с ними стряслось?— спросил я Гришу, вглядываясь в то место, где произошла трагедия.

— Помнишь, как пели беспризорники в фильме «Путевка в жизнь»? «И родные не узнают, где могилка моя!» Никто не узнает и о наших могилах, друг мой Иван.

— Помнишь у Горького: «Ни сказок про вас не расскажут, ни песен о вас не споют»?

— Кто знает будущее?— сказал Гриша. Он подбирал камешки и бросал их не глядя.— Может быть, и споют. Не персонально о нас, но напишут, и споют, и доброе слово скажут. Времена меняются, вожди приходят и уходят, а народ остается. Он вечен!

Да, размышляли мы, истина, возможно, и откроется людям: кто-нибудь, может, и доживет до тех времен, но сломленные души уже ничто не исправит. Раны заживают, верно, но ноют они до самой смерти... И до смерти не забывается обида.

Наш разговор неожиданно прервали. Снизу кто-то надсадно кричал, крик повторился выше нас, затем совершенно отчетливо донеслись слова:

— Вниз! Всем собираться на поверку!

— Что там стряслось? Что еще за поверка не ко вре-

мени?— встревоженно спрашивали тут и там, быстро собирая инструменты и спускаясь по уступчатому склону, лавируя между скальными загромождениями или скользя по осыпи.

Со всех сторон обширной каменоломни спешили зэки, поднимая пыль, а снизу все призывнее кричали:

— Быстрей, быстрей! Собирайся на поверку!

Вся огромная артель расторопно установилась в строю как положено. Все были взбудоражены, всполошены. Почему? Зачем? Что случилось? Ведь до конца работы больше часа.

Охранники молча и внимательно считали, зорко всматриваясь между рядами, а в колонне уже работал свой телефон:

— Побег... Из лагеря кто-то ушел...

— Из зоны? Не может быть! Когда? Кто?

Счет закончился, все оказались налицо.

— Шагом марш в зону!

Возвращались в лагерь необыкновенно быстро. Нас подгонял не столько уклон местности, сколько жадное любопытство: кто же тот герой, что сумел уйти среди бела дня на глазах бдительной охраны?

Скоро все узналось. Ушел кузнец Николай Савенко со своим напарником-молотобойцем Заходько. Бригада, к которой они были временно причислены, работала около месяца на выработке котлована под новую котельную. Как и когда они ушли, а главное — куда, пока оставалось загадкой. Исчезновение на глазах охраны поражало своей дерзостью. Был ли кто-нибудь посвящен в этот заговор, видел ли кто, как они уходили? Во всяком случае, о тайне побега никто не обмолвился.

В тот вечер в бараке не было равнодушных. И во всей зоне также. Македон, вероятно, раз десять рассказывал о взволновавшем его событии, и всякий раз вокруг него собирались любопытные. В переложении на нормальный русский язык его рассказ выглядел так.

После полдня он капельку задремал и вдруг слышит громкий и требовательный стук в дверь. Он ее всегда запирал изнутри, когда оставался один,— мало ли кого нечистая занесет... Так вот, забарабанили и кричат: «Отворяй, старик! Почему на запоре сидишь?» Македон выдернул задвижку, и в барак вбежали как ошалелые три гэпэушника, осмотрелись по сторонам и спрашивают: «Где спят Савенко с Заходько?» Он ответил, что они на работе, а гэпэушники: «Знаем без тебя, что на работе, а где их места на нарах?» И Македон показывал на два

места на верхних нарах, прямо против входа, и каждый его слушатель посматривал на них, как на памятник. Короче, перерыли там все гэпэушники. Тайные планы небось искали. А чего там найдешь? Два вещевых мешка с ветошью... Обыски у нас делались каждый месяц, но основную добычу ищеек, как правило, составляли наши самодельные ножики для резки хлеба. Для этого годилась любая железка. Куда бы мы их ни прятали, ножики все равно обнаруживались. И мы делали новые...

— Так и ушли ни с чем?

— Так и ушли... Мешки оставили.

— А им без мешков легче.

— Небось для отвода глаз оставили...

— А ловко они это проделали!

— Далеко ли уйдут — вот в чем вопрос...

— Да, трудно им будет, без бумаг-то...

— С умом можно уйти далеко и без бумаг. А вот куда они придут и надолго ли? Казенная бумага наверняка раньше их придет в те места, откуда взяты. И не только в те...

— Да уж это точно. У нас настоящего преступника долго не находят, а честного человека скорехонько разыщут.

Подобным разговорам не было конца. За все время моего пребывания в лагерях воры убегали раза три, и всякий раз их ловили в тот же день или день спустя. Находили их обязательно пьяными после первого же грабежа, и было ясно, что убежали они с единственной мыслью: «Хоть день, да мой!»

Савенко прибыл в эту колонну осенью 1937 года. После нашего знакомства он рассказывал:

— Взяли меня в июле, увели прямо из цеха. За что? А я и сам толком не знаю: на заводе перед тем арестовали почти всю инженерно-техническую верхушку — от главного инженера до мастера. Эти люди, в том числе и я, будто бы составляли вредительскую группу, какие-то корешки известной всем «Промпартии». Допрашивали, пытали, уговаривали: «Подпиши, самому легче будет». Я поверил, дурак, подписал и все равно получил десятку ни за что. Всей группе дали по восемь — десять лет, а четверых замучили или расстреляли еще в тюрьме. Я оказался вот тут и вспомнил кузнечное ремесло, которым овладел еще до института.

— Фамилия у тебя украинская...

— Да, с Донбасса я. В Луганске родился и вырос, там же стал рабочим, в Харькове окончил Индустриаль-

ный и снова вернулся на родной завод. И батька мой — потомственный рабочий, паровозный машинист. И братики старшие и младшие тоже рабочие.

Савенко чаще других получал посылки и всякий раз приглашал меня на пиршество:

— А ну, скорее до моей хаты, вареники исты!

И вот гостеприимное место опустело. Где он, что делает, куда путь держит?

На ехидные вопросы мы получали от конвойных уверенный ответ:

— Найдут, никуда не денутся.

...И на пятый день их действительно привели в зону, только не в нашу, а во вторую, что за проволокой, доступа куда нам не было. Все же мы узнали, что добрались они до Читы, а там их сняли как безбилетных. А при составлении акта у них не оказалось документов. Так обернулась эта попытка самовольного освобождения.

Вскоре их судили и добавили по два года за побег. Потом куда-то незаметно обоих увезли, и след Савенко потерялся...

## Мастера на все руки

Вскоре после неудачного побега Савенко и его товарища произошла реорганизация наших рабочих ячеек, в результате которой я оказался в строительной бригаде. Не знаю, что было тому причиной, но у меня в руках снова оказался топор — главный плотницкий инструмент, мой поилец и кормилец. Возможно, тут не обошлось без помощи Фесенко, которому я еще в Амазаре говорил, что знаю плотницкое дело.

Когда объявили новые списки бригад, я вначале обрадовался: наконец-то избавлюсь от клина и кувалды, лома и тачки, сгибавших до земли и некормивших. Но потом мне стало как-то неловко перед Гришей Малоземовым: он остается в каменоломне, а я ухожу на легкую работу.

— Не пойду я в плотницкую,— сказал я, как только помпотруду ушел из барака.

— Ты что, белены объелся?— спросил мой товарищ сердито.

— Какой я, к черту, плотник! Я землекоп, я крупный специалист по долбежке мерзлоты и разделке камня.

Но Малоземов на шутку не поддался, сразу же поняв, что к чему.

— Не глупи и не фиглярничай. Камень от тебя никуда не уйдет. Зачем отказываешься от того, что может дать кусок посытнее? Полторы горбушки всегда лучше одной на двоих. Если один из нас наверняка будет выполнять норму, разве от этого будет хуже?

Так Гриша разрешил мои сомнения.

Моим новым напарником в плотницкой бригаде стал Михаил Балашов, крепыш сибиряк из города Боготола Красноярского края. Техник-строитель по профессии, он лишь недавно попал в эту бригаду, но уже приобрел некоторый опыт. Товарищ, с которым он работал до меня, выбыл вместе с Савенко.

С Балашовым мы сошлись быстро, почти в первый же день, чему способствовали обоюдная прямота и простодушие. В первые дни мне было несвычно, топор в руках держался неловко, часто «мазал» или врубался не в меру. Миша лишь посмеивался и бодрил своим окающим сибирским говорком:

— Ничего пообвыкнешь, и все пойдет как надо. Я тоже так начинал, тоже ведь не из плотников в лагерь угодил. Также поперва подолбал мерзлоты в ямах и камушка на скале. Важно, что топор умеешь держать в руках и была бы охота, а навык сам придет.

Не прошло и месяца, как я уже стал заправским плотником, которого можно было посадить уже и на угол дома, то есть строить рубленый дом. Гриша только радовался моим успехам в новом деле.

— Видишь, как хорошо получается! Моральное удовлетворение и хлебец есть. Это, конечно, не то, что было когда-то на старой русской каторге, а все же можно прожить.

Когда в желудке не урчит и его не подтягивает к пояснице, белый свет кажется милее. Но зато возникают новые потребности — духовные, человеческие. Лето 1938 года, особенно осень и зима изобиловали новостями мирового значения. О них мы по-прежнему узнавали из случайно добытых у прохожих газет. В начале августа начались стычки на границе восточной Монголии, бои у озера Хасан. Эти события, происходившие совсем недалеко от нас, волновали многих.

— Эх, быть бы мне на воле да попасть туда хоть добровольцем — дал бы я горячего япошкам!— говорили многие, радуясь успехам Красной Армии.

В октябре было сообщение о процессе в Испании над какой-то троцкистско-шпионской бандой в Барселоне. В республиканской армии сражалось немало и наших добровольцев, хотя об этом газеты помалкивали. Было лишь известно, что там находились корреспондент «Правды» Михаил Кольцов и писатель Бруно Ясенский. Уж не подвязали ли и их к этому шпионскому делу? У нас ведь это просто...

Но одно событие нас особенно взволновало.

Почти в канун нового, 1939 года мы с Балашовым рубили срубы для канализационных колодцев. Было очень холодно. Даже тепло одетый охранник, стороживший нас, не мог усидеть на месте. Он то и дело соскакивал с чурбака, который мы ему подбросили вместо табуретки, и бегал, как пес на коротком поводке, хлопая перчатками и постукивая окаменевшими валенками. Ружье свое он зажимал под мышкой.

Сырые лиственничные бревна, и без того твердые, на таком морозе совсем закаменели и с трудом поддавались топору. Щепки крошились, как льдинки, острое лезвие топора соскальзывало по светлому стесу плахи. Все это злило, но и бесплодные усилия согревали нас, в то время как охранник почти замерзал.

Сидя верхом на холодном срубе и выбирая пяткой топора паз для шипа, Михаил злорадствовал, не поворачивая головы в сторону мелькавшего часового:

— Мерзнешь, сукин сын? Мерзни, стервозный тунеядец! Зато булку с маслом и говядину будешь лопать, а не постные зеленые щи из коровьей капусты!

— Почему постные? Сегодня, может быть, мясные.

— Сегодня, может быть, и со свининой. Я не о наших дармовых щах говорю, а о тех, какие у него дома едят! Чего бы, кажется, такому рылу не работать в колхозе, трудовой хлебец есть? Ан нет, «чижало́», видите ли, в колхозе и не платят. Одевку купить не на что и все такое прочее. Отслужил в армии и прикидывает: домой ехать, где не хватает здоровой рабочей силы, или завербоваться в конвойные войска, благо потребность в них большая? Обут, одет, сыт, и жалованье идет. А если ума с гулькин нос, то и покуражиться есть над кем, карахтер вырабатывать для будущей руководящей деятельности...

Балашов умышленно коверкал некоторые слова, как бы перевоплощаясь в нашего охранника.

— Ну, ты уж расписал... Со злости-то!

— У меня еще красок мало. Я не так бы еще разрисовал это новое поколение патриотов, да вот краски мо-

розом выжало. Глоткой они мастера социализм строить, а не делом! Будь мы на своем месте, сколько бы мы сделали для Родины! Впятеро больше! А тут что получается? Одна здоровенная орясина стережет двух подневольных «доходяг», все усилия которых дальше заботы о пайке хлеба не идут... Тоже мне экономическая политика социализма...

Нам давно хотелось курить, а бумаги, как на грех, не было ни клочка. От этого мой напарник — заядлый курильщик — еще больше распалялся и срывал свою злость на древесине, с силой всаживая в нее топор. Он то и дело ерзал на мороженом бревне и крутил головой, не появится ли прохожий. И вскоре нам повезло: по скрипучей дороге в нашем направлении шел мужчина, глубоко запрятав руки в карманы и нахлобучив шапку.

— Гражданин, а гражданин!— возопил мой напарник.— Не найдется ли у вас кусочка бумажки на курение?

Он соскочил со сруба и сделал несколько шагов к прохожему. Тот остановился, посмотрел на нас, на часового и нерешительно сказал:

— Газета есть... свежая, я еще и сам не успел прочесть... Но если стрелок не будет возражать...— И он вынул из кармана газету.

— Да вы не сомневайтесь, наш часовой — хороший человек,— заулыбался Миша и, бросив топор, смело двинулся за газетой.

Часовой построжел малость для формы, оглядывая всех, потом благосклонно махнул рукой:

— Валяй, разрешаю...

И вот газета уже в руках у Михаила, он, пятясь, кланяется и благодарит прохожего и стрелка, затем возвращается и начинает вертеть газетой, чтобы оторвать кусочек.

— Подожди, не рви,— громко шепчу я,— давай посмотрим, может, что интересное есть.— И я выхватываю у него сокровище, бегло просматриваю и осторожно отрываю по кусочку с краешка.

— В бараке почитаем.

Сгустились сумерки, и пора было уходить в лагерь. Стрелок присыпал снегом дотлевавший костерок, отчего тот зашипел, как от обиды.

— Шагом марш!

Выполнив с гаком морозную норму, мы прихватили топоры под ремни за спину, взяли по вязанке щепок для

барака и быстро зашагали к лагерю в предвкушении отдыха и тепла. Перекинутая через плечо поперечная пила покачивалась в ритм моих шагов и издавала неповторимые и ни на что не похожие музыкальные звуки: «зынь-зынь, зынь-зынь», как бы радуясь вместе с нами.

И вот газета в руках Балашова, и он читает в ней статью об очередном вредительстве и шпионаже:

— «Осенью в Сибири славной советской разведкой была раскрыта целая шайка врагов народа — троцкистско-бухаринских наймитов...»

— Сколько уже раз Николай Иванович повернулся в своей безвестной могиле, когда его поминают недобрым словом на грешной земле,— тихо обронил Малоземов, уже успевший просмотреть газету до Балашова.

— Ты о ком?— спросил кто-то из слушателей.

— О Бухарине... «Бухаринские наймиты». На какие шиши они нанялись, коли Бухарина давно нет?

— «...Наймитов фашизма,— читал Балашов, сердито скосясь на Гришу,— орудовавших в колхозах отдельных районов. Пробравшись к руководству в колхозах...»

— Как же это они могли пробраться? Как воры, ночью и тайно ото всех?!— возмущается кто-то в темноте.— Да разве у нас кто-нибудь может пробраться к руководящей работе без глубокой проверки до десятого колена и без рекомендации партийных органов? Надо же знать меру и во вранье!

— Потом откроешь дискуссию, дай дослушать!

— «Они губили скот, посевы, запутывали отчетность...»

— Ну, положим, у нас это все умеют делать.

— «...Неправильно распределяли доходы, чтобы вызвать недовольство колхозников и обозлить их».

— Старая песня,— бубнит кто-то.— Они уже давно злые на то, что им годами ничего не платят.

— Осудили? Сколько дали?

— Главарей всех расстреляли.

— Неужели и в Сибири-матушке враги развелись? Я полагал, что эта мода только в европейской части.

— Повсеместно, брат, повсюду. И не первое это сообщение о Сибири,— сказал Григорий.

— А когда же было еще?— полюбопытствовал я.

— Первый раз — полтора года назад, в мае, в городе Свободном.

— Это ж где-то совсем рядом?

— Точно, недалеко отсюда. Тогда здесь было расстреляно больше сорока человек.

— За что же?

— Писали, что за участие в троцкистско-шпионской организации... Неужели ты, газетчик, не помнишь? Еще за границей была поднята шумиха об этом «деле»...

Я задумался. Уж очень много было кровавых событий за прошедшие два года — в памяти не удержишь. И все же вспомнил. Английская «Дейли Мейл» вступилась за расстрелянных в Свободном и обвинила Советское правительство в бесчеловечной жестокости по отношению к своим гражданам. По этому поводу выступила «Правда» с ответной статьей, заклеймившей позором английскую газету, отругав ее за вмешательство во внутренние дела чужой страны.

И вот сейчас старое и позабытое событие, ворохнутое новым сообщением, снова заставило призадуматься о нашей судьбе. «Боги жаждут!»— вспыхнула в моей памяти беседа с Мировым в редакции «Трибуны» полтора года назад. Жертвенный костер все еще пылает в густом тумане страха, нависшем над Отечеством, и, видно, не скоро погаснет.

Месяц назад я послал вторую жалобу, на этот раз на имя самого Сталина. Ответа нет. Конечно, до него она может и не дойти, но его секретариат получит и даст нужный ход жалобе. Ведь там, я все еще верил, находятся умные люди, которые должны и обязаны заниматься судьбами коммунистов.

Глухой ночью я проснулся оттого, что кто-то меня настойчиво толкал в спину, толкал и бормотал. В первое мгновение я подумал, что мне примерещилось после тяжкой работы, и, не размыкая глаз, еще плотнее натянул полу короткого бушлата на стриженую голову. Поджав колени почти к подбородку и снова проваливаясь в сон, я вдруг опять очнулся и на сей раз понял, что это толкает меня в спину Балашов, на днях переселившийся сюда.

— Ну чего тебе надобно, олух царя небесного!— сердито зашипел я, поворачиваясь к нему.— Что ты растолкался, бегемот несчастный?!

— А?.. Куда?..— сам проснувшись, спросил Михаил.

— Не куда, а зачем! Чего ты растолкался среди ночи?

В сонном царстве барака слышались лишь храп да редкое потрескивание смолистых дров в железной печке, изредка подкидываемых дневальным.

— Фу ты, черт побери!— тихо воскликнул напарник, окончательно просыпаясь.— А ведь я думал, что мне так никогда его и не вытолкнуть...

— Меня? За что же?

— Да не тебя, а те чертовы чурбаны, будь они четырежды прокляты!— с досадой ответил приятель и потянулся в изголовок за кисетом.— Мне снилось, что мы все еще разгружаем тот постылый вагон, а десятник бегает и торопит: «Давай, давай!» А в дверях мою плаху что-то зацепило, и я никак не могу ее вытолкнуть...

— Ясно, Миша, давай досыпать, утром доскажешь.— И я решительно отворачиваюсь, чтобы поскорее уснуть. Рядом, с другого боку, как младенец, посапывал Григорий Ильич.

Где-то на задворках сознания зафиксировался минувший день. Уже с неделю всех арестантов колонны выводили работать на скалу, и в довершение ко всему вчера перед самым концом работы прибежал прораб, собрал всех на платформе и обрадовал:

— На станцию подали состав дров и еще чего-то для поселка, а у коммунальщиков не хватает рабочих на разгрузку. Сейчас пойдем все и быстренько управимся...

Роптать мы не могли: рабочему дню еще целый час. Однако шли к станции злыми, ворчали и чертыхались:

— Мы сегодня свое отработали...

— Всего час осталось до конца, а тут снова начинай...

— Всей работы никогда не переделаешь!

— Прекратить разговоры!— сердито приказал начальник конвоя, видимо и сам недовольный тем, что из-за нерасторопных администраторов поселка приходится и ему перерабатывать. Да и стеречь в темноте трудно, особенно среди товарных составов: попробуй угляди за всеми!

— А чего прекращать! Напрекращались, дальше ехать некуда...— продолжает кто-то ворчать.

На станции в тупичке нас ожидало вагонов пятьдесят совсем сырых, недавно заготовленных на дрова шестиметровых бревен и еще что-то лесное, терпко пахнущее смолистой таежной хвоей, знакомое и приятное.

— Работы-то на пару часов!— утешал хмурую толпу деятельный организатор работ.— А вы уже и носы повесили, герои Амура... Расходитесь побыстрее, братцы, по четверо на вагон, и выкидывайте попроворнее...

Он хлопотливо бегал вдоль длинного состава, поскрипывая бурками по снегу и стараясь подбодрить нас своим веселым настроением...

Нашей четверке достался вагон с дровами. Метровые плахи и чурбаны выкидывались споро: усталость усталостью, а каждый понимал, что от этого никуда не денешься и чем скорее будут опорожнены вагоны, тем раньше вернемся в лагерь.

Из соседнего вагона сквозь глухой грохот мерзлых чураков кто-то кричал проходившему мимо прорабу:

— Хлебца бы к ужину прибавить, начальничек!

— И сала по кусочку с ладошку!— вторил другой.

— Ладно, братцы, все, что есть,— все наше!

— Да уж знаем, слышали не раз: ваше, наше, за богом молитва, за царем служба — не пропадает...

— Сколько ни ломайся, зачетов все равно нет.

Вспомнив этот обычный день, я повернулся на другой бок и снова уснул под сопение товарищей.

...В шесть утра подъем, умывание, торопливое натягивание лохмотьев, спартанский бег в отхожее место под звонкое потрескивание морозца. Потом наспех проглатываем черпак жидкой тепловатой баланды, окончательно засупониваем топырящиеся бушлаты, нахлобучиваем поглубже ватные шапки и ждем.

Перед тем как войдет в барак помнач или нарядчик Герман и скажет: «Выходи строиться на развод!»— все успевают не только плотно закупориться в ватной ветоши, но некоторые еще ухитряются вновь протянуться на нарах и замереть на одну-две минуты или молча посидеть с цигаркой на краю нар.

Лежим или сидим, а на уме у всех одно: вот сейчас войдет нарядчик Герман или воспитатель, а может быть, помпотруду, войдет и погонит на работу. Из всех этих трех погонщиков самым приемлемым был Герман. Этого неунывного человека не только терпели, но и питали к нему немалую долю симпатии. И не потому, что он был менее строг и требователен, нет, особой доброты в лагерях не бывает: кто палку взял, тот и капрал. В Германе больше, чем в других, проявлялась человечность. Он почти никогда не повышал голоса, а если и повышал, то голос его был не чванливо-крикливым, принижающим других, а убеждающим.

Мы ни разу не слышали от него слова «контрик». Он всегда был ровен со всеми, никогда не злоупотреблял своим положением, хотя должность его и была одной из завидных: в его власти было нарядить на менее тяжелую работу или оставить зэка в бараке просто отдохнуть, даже без вмешательства лекпома — расконвоированного врача.

Он делал это нередко на свой страх и риск, но всегда только по отношению к таким, кто действительно занедужил или устал настолько, что нуждался в дне отдыха. Ведь нам выходных не полагалось! И за то, что его милосердие было бескорыстным и исходило из человечности и душевной чуткости, зэки платили ему добром. В дни его прихода, как правило, никто не оставался в бараке, кроме настоящих больных. На развод выходили не мешкая, потому что каждый знал: если ему будет тяжело и он попросит Германа «денек покантоваться», тот не откажет или обнадежит: «Сегодня нельзя, а завтра оставлю. Потерпишь? Договорились».

Герман, как и горный инженер Боровиков, десятник колонны № 62, тоже был посажен в начале тридцать пятого, но в отличие от Боровикова сидел без перерыва. По окончании вторых путей, на которых он вкалывал вместе со всеми, Герман получил льготу, то есть его также перевели на освободившуюся должность нарядчика. Жил он вместе с другими «придурками» за зоной в отдельном бараке.

Женя Сутоцкий, опрокинувшийся на нарах недалеко от нас, импровизировал, печально глядя на перекрытие:

— Рассвет уж близится, а Германа все нет, все нет!

...Невысокая фигура Германа показывается в дверях барака без пятнадцати семь.

— Привет, сибариты!— весело приветствует он, прикрывая дверь.— Хватит нежиться на пуховиках, пора и о работе подумать.

— За вчерашнюю вечернюю разгрузку следовало бы сегодня часа на два позднее выводить.

— Какие вы мелочные, друзья мои,— полушутя-полусерьезно отвечает нарядчик.— Какое имеет значение — один или два часа, когда впереди у вас еще по тридцать тысяч часов...

— По тридцать тысяч?! Как это?— удивляется Орлов, поднимаясь и подавая знак остальным из нашей бригады.

— А ты посчитай на досуге, если он у тебя будет.

— Некогда нам считать,— отвечает кто-то за Орлова.— НКВД подсчитает, не ошибется.

— Бывает, что и ошибается, забывает, что у иных срок закончился,— говорит мой напарник.

Вот так, кто шутя, кто кряхтя, а кто угрюмо и молча, слезаем с обогретых мест и табунимся у широких дверей, а навстречу врывается облако февральского холода, волной заливая барак. Бредем к воротам, в потемках

ищем свои места в бригаде, чтобы затем шагать под ружьем на ненавистную работу.

— Куда сегодня? Опять на скалу?— спрашиваем у десятника, идущего рядом, хотя и не в строю.

— Плотники пойдут на стройку дома.

Год лагерной жизни остался позади.

## Радости и горести

Весь февраль устойчиво держались сильные морозы. В иные дни температура падала к сорока градусам, и по лагерным законам в такие морозы на общие работы не водили: слишком много бывало обмороженных. Почти каждое утро, просыпаясь, кто-нибудь сразу же спрашивал:

— Македон, сколько сегодня?

— Тридцать тры,— виновато отвечал дневальный.

— Врешь, поди, старик! Вот мы сейчас проверим...

— Провэряй. Мозэт, эсе мэньсе увидыс.

Неверующий уже закутывался в свое веретье и бежал к вахтерке, на бегу прокричав часовому, что идет посмотреть на градусник. У самых ворот на столбе висел полутораметровый термометр, на который мы всегда глазели с разноречивыми чувствами, в зависимости от того, что он показывает — в пользу зэков или во вред.

— Плохо, ребятье!— еще в дверях оповещал разведчик.— Македон опять не обманул: тридцать четыре без гака.

— Я зэ говорил... Макэдон ныкогда нэ обманывай.

Две бригады ходили на постройку двухэтажных четырехквартирных деревянных домов, заложенных еще осенью на краю поселка. Один из них был подведен под крышу, а второй к началу марта уже готов. Бревна поступали прямо из тайги — тяжелые, промороженные до сердцевины. Недели две мы стояли с Михаилом на окорке и кантовке бревен — одной из важных подготовительных операций. Третьим на кантовке работал Феоктист Захаров, или Захарыч, как мы его звали за кроткий характер.

— Ну, как полежалось, красавчики? Не скучали без нас, не поаттаяли?— весело спрашивал он, разглядывая девятиметровые бревна лиственницы, черневшие на предрассветном запорошенном участке стройки, и звонко постукивал обухом по окаменелым стволам.

Потом мы шли в дощатую просторную времянку, над

плоской крышей которой круглые сутки курился дымок. Здесь хранились все наши инструменты, припрятанные в тайные уголки, здесь же стоял и столярный верстак, а у двери, в углу,— круглое точило над ящиком-корытом. За ночь вода в нем промерзала, и надо было разогревать.

Рассвет еще только надвигался, и на строительной площадке было темновато. Висевшие на столбах вокруг зоны лампы освещали стройку неярко, и этим часом мы пользовались, чтобы чуток отогреться с дороги, поточить инструменты, покурить и получить задание на день.

Захарыч уже успел вытянуть откуда-то измятое ведро, налить в него из кадки воду, поставить на жаркую печку и теперь, покуривая, ждал, когда подогреется вода для точила.

— Пошли, Миша, к точилу, пока нас не опередили.

Михаил стал долбить ломиком лед, а я крутил цигарку на двоих.

Подошел Захарыч с ведром, вылил горячую воду в корыто и стал устраиваться на сиденье напротив точила. Мы должны были посменно крутить за ручку тяжелое точило, пока Захарыч не отточит все три топора и железки к рубанкам.

— Крути, верти, Данило, приучай народ!— балагурил Захарыч, проводя время от времени большим пальцем по лезвию инструмента и повертывая его другой стороной.

— Давай, давай, ребята, на работу! Уже рассвело!— заглянул в дверь десятник, уже успевший облазить все строительные леса.

И вскоре объект оживал, за день поднимаясь еще на три-четыре венца.

Однажды перед концом работы, когда уже стемнело и мы шли попрятать топоры во времянке, еще у дверей услышали, как внутри кто-то раскатисто смеялся. В оживленной группе зэков прямо под лампочкой стоял столяр Гончаренко с развернутой газетой в руках. Он читал и тут же комментировал. В газете, которую еще днем кто-то выпросил у прохожего, печатались выступления делегатов на XVIII съезде партии.

Обойдя завалы с деталями, мы протиснулись ближе.

— Во, подывитесь,— встряхнул газетой Гончаренко.— Новый верховный вождь и гетман Украины товарищ Хрущев докладает партийной раде об успехах колхозного животноводства.

— Чего же смешного может быть в успехах?— спросил я.

— Он докладает съезду, что поголовье крупного рогатого скота по всей Украине сократилось настолько, что в половине колхозных ферм республики совсем не осталось коров, а в остальных в среднем меньше десяти коровушек на ферму! Чуете, как «богатеет» Украина с новым руководителем?

— Так об этом плакать надо, а не смеяться...

— И мы так кумекаем. А вот Хрущев радуется и аплодисменты срывает, как комик в цирке...

Я попросил на минуту газету и бегло прочитал то место, в которое ткнул пальцем Гончаренко.

Удивляться действительно было чему. Глава ЦК Украины, занявший кресло раздавленного не без его помощи Постышева, приводил статистические данные о резком сокращении общественного поголовья скота в колхозах. Странным и диким было в его выступлении то, что в этом он видел не всенародную беду, а огромные возможности. Он так и говорил: никаких практических усилий для подъема животноводства не требуется, кроме большевистского внимания к этому вопросу.

Народу в помещение набилось битком. Кто-то попросил прочесть еще раз. Я повторил почти всю вторую половину речи, и окружавшие сразу же заговорили:

— Как ловко и гладко у него получается!

— Откуда же большевистское внимание, если всех большевиков поперевешали и по лагерям рассовали?

— А там теперь много новых большевиков завелось, которые чуток понагнулись и стали поменьше.

— И смотрите, чем берет, хитрая бестия: «Хай живе ридний Сталин!» Даже по-хохлацки научился!..

Вечером в бараке обнаружилась еще одна газета —«Известия», где были напечатаны две речи: наркома обороны Ворошилова и его заместителя Мехлиса, занявшего место Гамарника, который покончил жизнь самоубийством. Эта газета привлекла особое внимание бывших военных, отличить которых от остального лагерного люда можно было по сдержанности и скупости в суждениях да по еще сохранившейся выправке.

Ворошилов и Мехлис отмечали огромные успехи в боевой выучке и вооруженности нашей армии. Эти успехи, как они уверяли делегатов, были достигнуты в результате ликвидации «врагов народа», «пробравшихся» в руководство Красной Армии. Особенным словоблудием и лицемерием в адрес Сталина отличалась речь Мехлиса. Этот страшный лизоблюд уверял, что только теперь, когда вместо всяких там врагов-академиков во

главе полков, дивизий и корпусов поставлены выдвиженцы из молодых комбатов и политруков рот, наша армия стала непобедимой.

Нарком приводил статистические данные, неопровержимо показывающие превосходство всех видов нашей военной техники и артиллерийской мощи надо всеми европейскими армиями. После того как он заклеймил позором агентов фашизма — подлых изменников тухачевских, егоровых, блюхеров и других, Ворошилов доложил съезду о повышении в 1939 году жалованья командному составу в среднем почти на 300 процентов.

— Вот это да-а-а!— не то с радостью, не то с горечью сказал пожилой, с широкой грудью зэк, отрываясь от газеты.

— Повторите-ка, на сколько увеличили оклады комбатам?— спросил долговязый арестант, свесившись с нар.

— На триста тридцать пять процентов!

— Шикарно! А какова прибавка у командира корпуса?

— Вместо пятисот пятидесяти рублей комкор теперь будет получать две тыщи рубчиков.

— Это уж просто по-генеральски!— с восхищением отозвался еще один слушатель.— И смотрите, какое канальство: стоило порасстрелять и посажать в тюрьмы всех прежних скромных и щепетильных военачальников и занять их места, как новым военным гениям сразу же потребовалась прибавка. Нет знаний — плати за звания... Лихоимцы, а не командиры!— И он скверно выругался.

— Не ругайтесь, товарищ бывший командир,— успокоил его Григорий Ильич.— Дело идет к тому, что скоро появятся генералы и адмиралы, и все будет оправдано, и теория будет подведена. А потом и денщики будут.

— Не шутите, Малоземов. Этого не может быть! В сознании нашего поколения золотые погоны связаны с царской и белой армиями, разбитыми нами в годы революции и гражданской войны, с реакцией и произволом...

— Вот, вот, я это и имею в виду,— не сдавался Григорий.— Тех, кто губит наше поколение, видимо, давно снедала зависть, прельщали высокие оклады, личное благополучие и золотая мишура! Да, да, будет не только это. Единый Дом Красной Армии разделят на два, как классы: солдатский клуб и офицерское собрание, куда собакам и солдатам входить запретят.

— Вы несете такую ересь, что слушать вас тошно.
— Логика, друзья, логика развития говорит за это...

В таком духе проходили наши самодеятельные политбеседы в стенах Бамлага, часто кривобоко и предвзято, но зато без указки, без бонзы в лице воспитателя и начальника. Многие из нас были уверены, что среди заключенных есть и шпионы и доносчики, стучавшие в третью часть о подобных разговорах. Иначе чем же объяснить частые переводы из одной колонны в другую говорливых и острых на язык заключенных, разрушения товарищества между ними, частые разлуки?

Вот так же неожиданно распалось и наше с Малоземовым братство, когда его однажды утром оставили в бараке в числе десятка других, назначенных на этап. Странные этапы по десять — двадцать человек! И делались они внезапно, так, что иногда и проститься как следует не успеешь: объявят не с вечера, а утром, когда люди уходят на развод.

— Не ходи нараспашку, Иван, как ходили мы с тобой. Застегнутым надо быть, да потуже, в наш фискальный век... Прощай, брат, едва ли встретимся...

После сдачи домов нашу бригаду перевели на достройку кочегарки и котельной. Но плотницкие работы там были незначительными, и целой бригаде работы не хватало. Бригадир Орлов был смекалистым мужиком, и он быстро всем нашел дело: одних научил класть стены, других — штукатурить.

— Не боги горшки обжигают, а те же люди,— сказал он, когда я усомнился в своих возможностях.— Научишься — пригодится в жизни, ремесло всегда кормит...

Надо учиться всему. В жизни действительно, когда настигнет нужда, все пригодится.

## Глава тринадцатая

Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть...

М. Ю. Лермонтов

### И снова в пути

Судьбе-злодейке угодно было, чтобы этот лагерь не был последним в моих злоключениях. Еще вчера я ловко и споро набрасывал раствор на шлакоблочные стены высо-

кой кочегарки, усердно выравнивая его пра́вилом по неровной кладке, а сегодня подо мною уже стучат колеса товарного вагона и на глухой его стене заходящее солнце рисует колеблющуюся паутину решетки.

Еще сутки назад наша бригада в поте лица выколачивала стахановские горбушки, которые все лето не выводились, и мы были вполне сыты, а вечером, после ужина, трем десяткам зэков объявили об этапе. Балашов и я попали в этот список.

— Куда? Когда? Почему?— засыпали мы вопросами помпотруду, зачитавшего в тишине барака длинный список.

— Стройки здесь заканчиваются, и делать больше нечего,— ответил он.— А куда — не знаю.

Клопотов, лучший плотник из бригады Волгина, спросил:

— А гроши нам выдадут? Не пропадут?

— Счетовод с Германом подсчитывают, завтра каждый свое получит, не беспокойтесь.

Заработанные нами рубли выдавались редко, раза три в год или перед этапами, что лишало нас возможности купить себе даже черствую серую булку в лагерном ларьке.

Мастер на все руки, вислоусый Гончаренко неунывно сострил забытым каламбуром:

— «Что ж, ехать так ехать»,— сказал попугай, когда его кошка потащила из клетки...

И снова мы успокаивали себя лишь тем, что терять нам нечего, решетка и охранник всегда при нас. И вместе с тем каждый испытывал тревожное чувство потери и утраты уже обжитого, пусть и постылого, крова и близких товарищей по несчастью.

Вечером в бараке многие долго не спали, в разных углах велись приглушенные разговоры о главном:

— Если тебе посчастливится первому вырваться из лагеря — навести моих или в крайности напиши им...

— Обязательно навещу, не сомневайся. Ну а если тебе подфартит — о моих не позабудь.

— Будь спокоен. Разве можно забыть...

Горевали и проклинали порядки и правила, запрещавшие заключенным переписку друг с другом. Пиши не пиши — написанное все равно не дойдет до адресата, цензура не пропустит.

С утра и до обеда оставленные в бараках этапники в ожидании обещанной получки валялись на нарах, недавно переоборудованных по вагонному типу: два места

внизу и два над ними, а на нарах — матрацы, набитые стружкой. Никто не знал, куда нас повезут. Не знали и в соседнем бараке, где на этап было назначено более полусотни. Самые пытливые бродили за Германом, обходившим бараки, чтобы записать всех больных и не вышедших на работу.

— Скажите, Джек Абрамыч, чего вам стоит? Все равно мы сегодня уедем, зачем такая тайна?

— Ничего я, ребята, не знаю, ничего. И отстаньте вы от меня, ради бога,— незлобиво отмахивался нарядчик.— Слышал, что на восток, а куда точно — не знаю, верьте мне, не знаю.

— Неужто уж все так засекречено?

— Секретов никаких нет. Какая вам разница, куда повезут, все равно в лагерь. А от той перемены мест еще и лучше: время быстрее летит...

— Что верно, то верно, одним словом — не домой.

— На запад не повезут. Скорее — на север.

— А что, если на Монгольский фронт попроситься?

— Нэ возмут врагов народа,— авторитетно заявил Македон.

Еще следовало сдать лагерное вещимущество, появившееся у нас совсем недавно. Синие матрацы и наволочки полагалось вытрясти и сложить. Сдаче подлежало и истертое, как старое решето, жесткое, бывшее солдатское, одеяло, не державшее тепла...

...И вот опять знакомые нары и те же прочные решетки на узких люках. Куда теперь? И сколько еще этих этапов впереди?

Из нашего барака в одном вагоне оказалось не более десятка, в том числе Гончаренко, Балашов и я.

Казалось бы, если где-то потребовались такие «крупные специалисты», как мы, то лучше было бы послать целыми бригадами: сработавшийся коллектив сразу же даст высокую производительность. Но здесь повсеместно действовал другой нерушимый принцип — не экономический, а политический: разделяй и властвуй. Власть имущие как будто бы не принимали всерьез то обстоятельство, что чем больше обиженных, тем меньше остается сознательных и активных строителей нового общества. Старый добрый судебный принцип: «Лучше ошибочно оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного»— был напрочь забыт...

Уже два года я ношу клеймо «врага народа», живу, дышу, ишачу под надзором десятников и бдительной ох-

раны и нередко голодаю вместе с моими товарищами. Ладони мои совсем огрубели, стали жесткими, как подошва бахил, и давно отвыкли от карандаша и ручки; кожа на руках и лице одубела и стала менее восприимчивой к холоду и лютой жаре. За два долгих года я встретил много всяких людей — добрых и злых, но больше хороших, безропотно несущих свой тяжкий крест. Что сталось с ортодоксальным Никитиным, что лежал со мной под юрцами в ленинградской «пересылке»? Где несгибаемый Малоземов? Жив ли старый горемыка Кудимыч? Где теперь «изучает» природу тихий Городецкий и растрачивает свою силушку богатырь Неганов? В каком лагере тянут свою лямку друзья по Старорусской тюрьме Пушкин и Якушев, живы ли? Где сейчас кует клинки булатны и кирки остры беглец Коля Савенко, заронивший и в мою душу дерзновенную мысль о побеге? Будет ли у меня в будущем верный и надежный товарищ, который разделит со мной мой замысел?

Ночью поезд остановился на какой-то станции. Многие проснулись от толчка и услышали, как сцепщик отцепил наш вагон от состава, потом его куда-то откатили и вновь прицепили.

— Кому отдых, а кому работа. И чего вздумали толкать посередь ночи?— проворчал Балашов, переворачиваясь на другой бок и снова засыпая.

Уснул и я, а когда проснулся, было утро. В вагоне царило оживление, поезд стоял, и в общей разноголосице улавливались два слова:

— Большой Невер! Большой Невер!

— Где такая станция?— спросил я, окончательно просыпаясь и растирая занемевший бок.

— Прикатили на самую северную точку Амурской дороги.

Вскоре мы выгрузились в одном из тупичков и с удивлением узнали, что сюда прибыл только один наш вагон.

— Вот те и раз! А где еще два?

— А это уже секрет Бамлага, которым он не поделится.

— Разобраться по четыре!— скомандовал старший конвоя.

Два стрелка в добротных шинелях сделали какие-то движения, не похожие ни на «смирно», ни на «вольно», и незаметно поправили винтовки. Чуть в стороне маячили двое незнакомцев, по обличью похожие на лагерных «придурков».

Когда мы привычно «разобрались» и застыли на месте, старший пофамильно проверил всех и нестрого сказал:

— Давай, шагом марш!

— А в какую сторону? Тут две дороги.

— А вот за теми двумя, что пошли влево.

Левее пошли, как мы скоро узнали, воспитатель и помпобыт отдельного лагерного пункта № 7, или ОЛП-7, как мы потом писали свой обратный адрес на письмах-угольничках.

Почему этот лагерь назывался отдельным, да еще пунктом, я так твердо и не знаю. Скорее всего, потому, что на этой станции других лагерей не было и он был автономным, подчиняясь управлению в Сковородине.

Лагерь располагался в версте от станционного поселка, на взгорье у самых сопок, с севера обложивших станцию Большой Невер. С лицевой стороны он ничем не отличался от многих виденных нами ранее, и, только войдя в ворота и узрев справа уходящий вдаль внутренний высокий и прочный забор, можно было понять, что лагерь разделен на две половины. Вход же в ту половину, очевидно, был где-то с другой стороны.

— От кого же эта стена?

— От нашего брата... За стеной женский лагерь,— ответил воспитатель.

Для нас это было открытием, и не только потому, что слово «женщина» для нас давно уже было пустым звуком, не вызывавшим никаких физиологических эмоций, а главным образом потому, что мы никак не могли себе представить женщин в лагерях — наших жен, матерей, сестер! В памяти возник образ Катюши Масловй в окружении арестанток. Потом я вдруг вспомнил об арестованной жене председателя Старорусского райсовета Кузьминой, потом о жене секретаря райкома Васильева, об аресте которой так ярко поведал мне Якушев. Коль они и им подобные арестованы и не вернулись домой, значит, женщины тоже сидят в каких-то лагерях! И вот один перед нами!

— И враги народа есть за этой стеной?— спросил я, холодея от заданного вопроса.

— Всяких там много — и друзей, и врагов.

— Вы и там помощником по быту?

— Разве можно пустить козла в огород?— ответил за помпобыта воспитатель лагпункта.— Туда нас не пускают, там командует женское сословие. Только начальник мужчина, из вольнонаемных.

В мужской зоне было только два, но довольно вместительных барака, было в них много и свободных мест. Нары также были четырехместными.

## Замысел зреет

Итак, за два года заключения я попадаю уже в четвертый лагерь. Все здесь было так же, как и в предыдущих: те же строительные работы при изнурительно длинном рабочем дне, тот же внутренний распорядок с предварительным уведомлением часового, что идешь в отхожее место и ни в какое другое, и такой же по вкусу и питательности завтрак, обед и ужин из одного блюда — баланды, если норма выработки не ниже ста процентов.

Нашу группу разбили по бригадам. В паре с Балашовым я снова стал ходить на плотницкие работы. Несколько бригад строили в поселке двухэтажные дома. И здесь зоны вокруг стройки не было, нам лишь были указаны границы, переступать которые не разрешалось. По углам этих невидимых границ сидели или стояли неизменные часовые. Когда светлое время кончалось, темноту освещали яркие лампы и около одного из часовых дежурила строгая собака.

В январе сорокового года я написал третью жалобу о пересмотре дела, на этот раз на имя Верховного Совета, и сам опустил в почтовый ящик, мимо которого мы всегда проходили. Послал и дал себе зарок: если и по этой жалобе не получу свободы, буду пытаться добывать ее самостоятельно.

Каждый из нас все еще носил в себе надежду на справедливость. Не писали прошений одни лишь реалисты уголовники, понимая лучше нас, что жалобы не помогут. Но мы все писали и писали, живя надеждой, без которой было бы совсем худо.

Работая вместе длительное время, мы с Балашовым крепко подружились, лучше узнали друг друга и душевно сблизились. Он, как и я, рвался всей душой к семье и тоже как манны небесной ждал положительного ответа на свои послания в Москву.

— Не освободят — убегу!— серьезно сказал он однажды.

— Прихвати и меня,— попросил я без улыбки.

Он посмотрел на меня, как бы очнувшись, и уже тише, сквозь зубы, добавил:

— Другого выхода нету. А вот как? Надо обдумать и семь раз отмерить.

С того дня, как только позволяли условия, мы в деталях обсуждали способы и планы побега. Главная трудность была в отсутствии каких бы то ни было связей с окружающим нас вольным миром, без чего всякий побег заранее обрекался на неудачу.

Я вспоминал и рассказывал Михаилу самые различные случаи побегов из тюрем и ссылки таких людей, как знаменитый Котовский или Камо, который не только сам прославился смелыми и дерзкими побегами, но сумел организовать и осуществить побег тридцати двух товарищей из Метехского замка в Тифлисе. Вспомнил о побегах Сталина и Рыкова, о первом Председателе ВЦИК Свердлове, который, будучи уже в третий раз арестован и сослан в Максимкин Яр Нарымского края, совершил оттуда пять побегов, правда неудачных.

— Неудачных потому,— объяснял я,— что в те места даже почта тогда приходила всего два раза в год, а пароход — только один раз. Убежать не так уж трудно, гораздо важнее добежать до намеченного места.

— И я так полагаю,— заметил Миша,— а попытать счастья все-таки надо.

— Савенко тоже пытался, а что получилось?

— Николаю не посчастливилось: где-то, видно, была допущена ошибка, просчет, что-то они не предугадали. Жалко, что не пришлось с ними перемолвиться... И все же попытаться надо. Поймают — так что же? Не убьют. Отсидим положенное в карцере и опять на топор или кувалду с клином...

— За побег есть статья.

— По этой статье полагается самое большое два года, я знаю. Не так уж и много прибавится к нашей восьмерке. А потом не забывай, что нас могут и освободить, а тогда и побег не в счет...

Подобные разговоры возобновлялись все чаще и чаще, чему способствовали условия работы попарно. За общим шумом стройки трудно понять, о чем переговариваются напарники — о побеге или о баланде? Скорее — о баланде.

Вспомнив «Записки революционера» Петра Кропоткина, я рассказал Мише о его смелом побеге из тюремного госпиталя. Но побег этот был бы немыслим без помощи товарищей с воли.

— Но ведь многие убегали и без всякой помощи,— говорил Балашов,— взять того же Сталина. Надо иметь голову и крепкие нервы.

— Нам остается надеяться только на себя и свои

скудные сбережения, которых едва хватит до твоего Боготола.

— Доберемся. Важно умно и вовремя уйти с места и сразу же оторваться от преследования.

Перед отправкой сюда в колонне № 71 нам выплатили за несколько месяцев работы почти по сотне рублей. Это не ахти как много, а все же деньги, без которых не прожить и дня среди незнакомых людей. За осень и зиму мы постоянно перевыполняли норму выработки до 130 процентов и получили в общей сложности еще почти по сотне, тратились же мы только на махорку.

Схематично наш план рисовался так: уйти надо было во время работы, за два-три часа до шабаша, когда начинает темнеть и охранники привязаны к своим постам. За это время следовало попасть на товарную станцию и уехать с первым же составом порожняка на запад.

Ни поселок, ни сама дорога не представляли особой опасности. Опасность крылась в другом: мы не знали, останавливается ли здесь порожняк и как быстро он проходит; останавливается ли он на ближайших станциях и как долго стоит. Придется входить в контакт с проводниками, чтобы узнать, когда и куда пересесть.

Вопрос с одеждой не был проблемой. В сибирских мелких городах и станционных поселках одежда населения мало чем отличалась от лагерной. Сибиряки испокон веков «снабжаются» заключенными за сходную цену. Чистые и новые бушлаты носили не только лагерники, но и жители, так же как и бесконвойные зэки ходили одетыми в гражданское платье.

При каждом лагере были свои сапожные и портновские, работавшие не только на лагерников, но и на вольнонаемных. И если на воле практиковалась работа «налево», то в лагерных условиях такая деятельность процветала в более широких размерах.

— И нам постепенно надо обзаводиться вольной одежонкой,— сказал как-то Балашов.

— Даже незамедлительно,— подтвердил я, приведя в доказательство немало примеров тому, как в мире людей «встречают по одежке».

Смелость и внушительный вид действуют так сильно, что собеседник часто даже и не подумает спросить документы, веря представительному человеку на слово.

— Психическая атака — вот наш главный козырь, когда в кармане нет никакой бумажонки, удостоверяющей личность,— говорил я, увлекаясь.— Смелая напористость с долей изысканного нахальства всегда выруча-

ла удачливых аферистов и ловкачей. Пусть мы и не аферисты, но другого пути у нас нет.

Вскоре и в моем фанерном бауле, купленном за трешку, залегла приличная рубашка и пара хорошего белья. Кроме того, я написал младшей сестре в Ленинград, чтобы она запросила у мамы мой старый костюм, сорочку и очки и держала все это у себя до того, как я попрошу прислать. В письме я тонко изложил, что на последнюю жалобу жду утешительного ответа и на волю надо выйти в приличной одежде. Что если даже и не будет вскорости законного освобождения, одежда мне все равно потребуется. В следующем письме я под каким-то предлогом тонко вставил две строчки из «Интернационала»:

Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой...

И вдруг, к моему ужасу и отчаянию, все полетело насмарку! Когда наша подготовка шла в полную меру, Балашову объявили об освобождении. Произошло это так. В начале апреля, вечером, едва мы успели поужинать и привалиться на нары, чтобы сбросить лишнюю усталость, в барак пришел помпотруду и, подойдя к нашему расположению, спросил:

— Кто тут из вас Балашов?

— Я Балашов,— равнодушно ответил Михаил, не торопясь поднялся, и сел.

— Завтра на развод не выходите, останетесь в бараке.

— Что так?

И мы оба навострили уши.

— Получено постановление о вашем освобождении.

— Нехорошо шутишь, начальник,— помрачнел Балашов.

— Такими вещами не шутят, сами должны понимать.

Балашов сразу весь преобразился, выпрямился и стал будто выше. Сквозь загорелую кожу на щеках проступил яркий румянец, а в глазах появился неведомый блеск.

— Покажите постановление!

— Завтра покажут, можете не сомневаться.

— А что там написано?

— В решении сказано, что дело о вашем участии в крушении поезда прекращено за недоказанностью и вы должны быть освобождены из-под стражи.

Разве можно описать, сколько радостного волнения,

ликования и восторга породило это сообщение! Уже через минуту эта новость стала известна не только в нашем бараке. Наш спальный отсек был окружен плотной стеной арестантов, загородивших проход. Ведь это был первый и пока единственный случай освобождения «врага народа».

— За что ты был осужден? Сколько дали?— раздавалось отовсюду.

И Михаил в очередной раз рассказывал свою историю, с которой я был знаком давно.

В сентябре 1937 года близ Боготола произошло крушение пассажирского поезда с человеческими жертвами. Поезд сошел с колеи из-за износа пути, но такая причина не устраивала следственные органы. Дело передали в НКВД, и на свет выступило «вредительство». Было схвачено и посажено более двух десятков специалистов и руководителей дороги, в том числе и в Красноярске. Но версия о вредительстве не подтвердилась, умысел или враждебность доказать не удалось, и вместо разрекламированного процесса «дело» закончила «тройка» на закрытом заседании. Целая группа работников угодила в лагеря, в том числе и Балашов, а троих на всякий случай расстреляли.

Не было сомнения, что все посаженные и их родственники протестовали и жаловались в Москву. Помогло, видимо, и то, что в деле имелось заключение авторитетной экспертной комиссии, объяснявшей истинные, технические причины катастрофы. Все это, рассудили мы, вынудило Верховный суд вынести решение о пересмотре дела, в результате чего на Мишу и свалилось нежданное счастье.

Почти всю ночь мы не спали от волнения.

Михаил заметно переживал за меня.

— Ты все равно удирай отсюда!— шептал он мне в ухо.— Ищи спутника и удирай. Даже один уходи! И перво-наперво ко мне заезжай, я помогу всеми силами — у меня переждешь недельку или месяц, пока погоня затихнет, потом и спровожу тебя на запад, в твой Ленинград.

Наутро мы расстались...

## Синицын

Вот так сорвался мой план самовольного освобождения. Но мысль о побеге все равно не оставляла меня, она лишь притаилась, ожидая своего часа. Побег вместе с

Балашовым сулил удачу главным образом благодаря возможности «отсидеться» у него в Боготоле, пока не затухнет первый борзый поиск. Но и Боготол не был безопасен: там нас искали бы в первую очередь — это мы упустили из виду. Теперь я один, и для выявления нового надежного спутника потребуется время. Да и найдется ли такой, кому можно довериться до конца?

В нашей бригаде работал мастером на все руки бывший шофер Синицын, по нужде овладевший здесь и плотницким ремеслом. Это был, как говорят, разбитной человек, неглупый, немного нагловатый, но вполне компанейский, внешностью и характером напоминавший мне Пушкина, сокамерника по Старорусской тюрьме.

Случилось так, что через день после отъезда Балашова у Синицына заболел напарник — ненароком отрубил себе большой палец левой руки,— и бригадир предложил нам работать вместе.

— Пока Газатуллин пробудет в санчасти, пройдет недели три. А потом неизвестно, что он сможет делать. Вот и работайте на пару.

В тот же день Синицын перебрался на место Балашова, рядом со мной, и, укладывая свои вещички, сказал:

— Счастливое, видать, место. Зря вы его не заняли.

— А мое тоже счастливое, я вскорости тоже получу вольную,— полушутя-полусерьезно ответил я.

— Ладно, пускай оба места будут счастливыми...

К майским праздникам лагерь спешно заканчивал внутреннюю отделку домов в поселке. В двух работала одна бригада, устраняя недоделки, а остальные были брошены на наш третий дом, где работа кипела споро. Мы с Глебом рьяно окосячивали окна второго этажа, короткие смолистые обрубки стремительно летели во все стороны, громкой дробью стукались по шатким лесам и падали вниз.

— Эй, тише вы, олухи царя небесного!— иногда снизу кричал нам конопатчик.— Голову проломите, ответите перед Берией!

— Не боись, она у тебя крепкая, целой домой свезешь.

Спешка была невероятная. На наш объект почти ежедневно приходил начальник лагпункта и поторапливал:

— Давайте, ребята, не подведите. Постарайтесь и для себя: в праздники, так и быть, два выходных дам.

— Стараемся, гражданин начальник,— отвечали ему чуть ли не хором.— О досрочном освобождении похло-

потали бы, начальничек, а то ни зачетов, ни благодарности нету...

Новые дома были сданы в срок, и с мая наша бригада выполняла незначительные ремонтные работы. В окрестностях лагеря находились разные хозяйственные постройки — конюшня, скотный двор, баня и что-то вроде подсобного хозяйства. Для текущего ремонта этих строений вовсе не требовалась целая бригада в пятнадцать человек — два-три рабочих, не более. Охрана же не имела лишних конвойных. Пожалуй, именно это обстоятельство и вынудило администрацию лагеря пойти на послабление режима. Эта слабина вскоре проявилась в том, что двух-трех зэков, совершенно надежных по мнению начальства, стали только провожать до места работы и оставляли там на весь день, а вечером приходили за ними, чтобы привести в зону. А когда охранников совсем не хватало, сопровождение доверялось бесконвойному десятнику.

Однажды во время развода мне и Синицыну приказали остаться, а когда всех вывели за ворота, наш десятник велел взять плотницкие инструменты, хранившиеся в прикутке за проходной.

— Нас не выпустят...

— Со мной выйдете.

Когда мы вышли и взяли свои орудия труда, десятник повел нас один без стрелка. Это было так ново, что мы всю дорогу оглядывались в поисках привычного конвоира.

— Да не вертитесь вы, ребята,— не вытерпел десятник, шагавший рядом,— голову отвертите... Не будет для вас сегодня охраны, ясно? Работать весь день будете одни. И не только сегодня, но и завтра, если не подведете, не будете блатовать. Понятно?

Безмерно польщенные, мы принялись уверять, что никогда не совершим ничего такого, что могло бы запятнать репутацию лагпункта.

— Ладно, ладно, только не перестарайтесь. Знаем, что порядочные люди, иначе карнач не согласился бы. Вы думаете, так просто уйти из-под конвоя? Новичков или блатных ни за какие коврижки не отпустили бы, а вы все же со стажем, проверенные. А насчет того, что вы враги народа,— выбросьте это из головы! Давно уж все вокруг знают, что никакие вы не враги...

Он привел нас к бане. На ее крыше требовалось заменить кое в каких местах дранку, починить конек да

еще поправить карнизы и двери. Работы было не на один день, о чем мы и сказали десятнику.

— Вот целую неделю и будете ходить сюда. Но при условии, что ничем себя не опорочите.

— Будьте уверены...

Он показал, где брать нужные нам материалы, разыскал сторожа, бесконвойного старика, жившего в пристройке при бане, и сказал ему про нас.

— Пущай приходят, самому будет поваднее,— благодушно ответил старик.

Так, впервые за два с лишним года каторжного труда мы остались безнадзорными...

Передать словами наши чувства невозможно! Первые минуты мы топтались в нерешительности, не зная, как сделать первый шаг в сторону, вертели головами, не присматривает ли кто-нибудь за нами втихаря, не ловушка ли, не стоит ли кто в засаде. Но на всем пустыре, окружавшем баню с ее подсобками, не видно было ни души. Решительно никого, даже старик сторож исчез.

Восторг, удивление, радость, ликование и бессловесная благодарность за дарованную свободу так переполнили душу, что я не вытерпел и пустил слезу. Она скатилась и застряла в моей рыжей бороде.

— Что это ты, арестант, раскислился?— сказал мой напарник, но и сам он вдруг отвернулся без надобности...

Надо ли говорить, что всю неделю мы работали, как никогда, споро и так продуктивно, что десятник только руками разводил, удивляясь качеству работы. Как несказанно хороша свобода, когда человек лишен ее, и как не дорожим мы ею, когда бываем свободными. Воистину, что имеем — не храним, потерявши — плачем.

Все эти дни мы жили словно на небесах и, казалось, впервые видели окружавший нас мир, по-весеннему светлый и прекрасный.

На третий или четвертый день, сидя на коньке отлогой крыши, Глеб тихо сказал, мечтательно глядя на запад:

— Эх, махнуть бы отсюда за темные леса, за широкие степи и прямо... за Урал!

— На волю, значит? Самовольно?

— А как же иначе махнешь? Только так.

— Мне самому иногда приходит в голову такая мысль...

— А меня она не покидает никогда. Вот только как

уйти из такой дали? Семь тысяч километров! Ведь здесь даже нигде и не спрячешься. На каждой станции, в любом поселке все людишки наперечет. Знают друг друга. Чужак сразу в глаза бросится.

— Уйти хоть сейчас можно, а что делать дальше — неясно.

— Вот то-то и оно-то.

Лед был сломлен. Мы стали относиться друг к другу с доверием. И вопрос о побеге стал едва ли не главной темой наших сокровенных разговоров. Мы как бы дразнили один другого, бередя душевную рану. Особенно сильно поднялось в нас желание вырваться из заключения после того, как закончились наши бесконвойные походы. Они нам даже снились теперь. А теплое лето надвигалось все торопливее, озеленяя и оцвечивая все вокруг. Ярко-зеленая тайга и туманные сопки как бы манили нас в свои молчаливые просторы, обещая пристанище и защиту...

## На покос!

В первое июльское воскресенье во время утреннего подъема нарядчик объявил, что сегодня вывода на работу не будет. После баланды нам велели построиться на широком лагерном дворе. Вскоре меж бараками растянулись две шеренги из трех сотен серых, загорелых и почти одноликих арестантов. День был тихий и теплый, солнце щедро дарило нам свою благодать, мы щурились и радовались ему. Как мало нам нужно: немного тепла, покоя, сравнительной сытости, и вот мы уже счастливы, насколько можно быть счастливым за колючей проволокой...

Все в нетерпении смотрели на проходную. Вскоре появился начальник с обоими помощниками.

— Вот что, граждане-товарищи,— начал наш вольнонаемный начальник.— Наш лагерь имеет в тайге покосы, и мы каждое лето запасаем там сено. Из вашего пополнения нужно набрать команду умеющих косить, сушить и стоговать. Таких прошу выйти из шеренги. Заранее предупреждаю,— продолжал он, повысив голос, так как в толпе поднялся одобрительный гомон,— предупреждаю, что филоны и любители костра и солнца больше одних суток там не пробудут. Бездельники там не нужны. Помощник по труду сейчас составит список добровольцев.

Короткая речь начальника взволновала меня сверх всякой меры. Сенокос для меня — дело, с детства знакомое. Перемена обстановки сулила дорогие сердцу воспоминания. Помимо всего, участие в покосе оживляло тайные надежды: печальный опыт предыдущих беглецов подсказывал, что побег во время работ на станции был рискованным и чреват быстрой поимкой. Тайга же — дело другое. Уйти с покоса в глухой тайге при минимальной охране значительно легче, чем из зоны.

Все это мгновенно пронеслось в моем возбужденном мозгу, и я вышел из шеренги. Глеб Синицын тоже перешел в группу косарей. Не прошло и часа, как была сбита большая артель сеноуборщиков, и мы больше уже не думали ни о чем, кроме как о предстоящем путешествии в глубины тайги.

Сборы арестанта недолги: весь скарб умещался в небольшом самодельном бауле-чемодане из фанеры или обыкновенном мешке с лямками, именуемом в лагерях сидором. У меня был небольшой фанерный чемодан мышиного цвета с петлей и накладкой для замка, который, правда, отсутствовал. В чемодане кроме рубашки и пары белья лежали жалкий набор портняжных принадлежностей, кисет с махоркой и непременные писчая бумага и карандаш, которыми нас хотя и не снабжали, но которых, слава богу, и не отбирали, когда эти ценности обнаруживались в посылках.

Когда поутру разноголосая толпа косарей собралась ближе к воротам, у всех были веселые лица и хорошее настроение, как будто людям объявили об амнистии. В ворота проходили солидно и не спеша. Охрана, сопровождавшая нас, состояла всего из пяти стрелков во главе со старшиной плюс две клыкастые овчарки. Нас внимательно сосчитали, пропуская через ворота, а когда все вышли, снова пересчитали. Было нас семьдесят пять человек, в том числе бесконвойная обслуга: десятник и два бригадира, кладовщик-хлеборез и упитанный повар.

Оставшиеся в лагере провожали нас завистливыми улыбками, махали на прощание шапками, а иные кричали вслед:

— Грибов не забудьте насушить!

— Варенья побольше, черничного! В тайге теперь самая ягодная пора настает!

Наши так же весело отвечали:

— Все будет, ждите! Мешков и банок пустых присылайте!

— Не надо пустых, лучше с салом и мясом!..

— Прекратить галдеж!— подал голос старший. Но больше для формы.

Конвой знает, что с нашей группой необходимо сразу же установить мирные отношения, основанные на доверии, а не на страхе. Путь неблизок, жить в тайге придется долго, вдали от проезжих дорог. Кто знает, у кого что спрятано в тайнике души...

Лагерь остался позади. По проселочной дороге не спеша выбрались на большак, протянувшийся от Большого Невера до Якутска почти на полторы тысячи километров. Путь наш лежал тоже на север, но по этому, почти безлюдному тогда, булыжному шоссе мы шли не более сорока километров, делая короткие привалы. Идти было легко и весело. Вот только портили настроение изредка проходившие мимо грузовые машины. Они поднимали такую пылищу, что при безветрии она стояла над дорогой серым облаком, застилала свет и мешала дышать. Тогда шутки и веселый говор сменялись проклятиями:

— Техника, черт бы ее забрал!

— Им, шоферне, хорошо сидеть в кабинах — вся пыль под колесами, а мы — нюхай, чихай да плюйся!

— То ли дело, братцы, лошадка! Трусила бы себе помалу, и никакой тебе пыли!

Нестройная колонна растянулась длинной цепочкой. Где-то позади тарахтели две лагерные подводы, нагруженные продовольствием и нашими пожитками. По сторонам дороги, петлявшей между невысоких холмов и незаметно поднимавшейся, виднелись черные пни, кустарники и редкие коренастые деревья. Когда-то здесь шумел густой лес, но с увеличением населения заметно поредел и отступил далеко от шоссейки.

После трех небольших привалов мы достигли густой тайги и свернули на едва заметную лесную дорогу. Она ползла меж сопок и шла вверх через небольшие хребты. Достигнув очередной вершины, мы делали короткий привал на перекур и любовались окружающей природой. Ее великолепию не было ни конца ни края. Дивный мир сопок походил на бескрайнее море, по которому разгулялись большие и малые сине-зеленые волны.

Июль в тех местах — самый лучший месяц. Солнце светило долгие дни, дожди были коротки и редки. Птичье лето было в разгаре, и со всех сторон раздавалось разноголосое пение. Все окружавшее нас радовало чрезвычайно, даруя обманчивое чувство свободы.

Заночевали мы на одном из живописнейших плоскогорий — здесь было теплее, чем в распадке меж сопок,

да и наблюдать за нами охране было легче. Впрочем, едва ли кто из нас, в том числе и я, думал в ту ночь о побеге: усталость давала себя знать.

И все же после небольшой передышки и горячего супа из пшенной сечки, сваренного тут же походным кашеваром в большом подвесном котле, усталость уступила место лирическому настроению. Люди группировались вокруг балагуров и любителей песни. Кто-то завел грустную арестантскую:

Скрывается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль...

Напев этой песни брал за душу многих, и ее быстро подхватили:

Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль...

А в другой группе звучала иная мелодия:

Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь.
Меня ты встречать не придешь,
А если придешь — не узнаешь...

С наступлением темноты конвой приказал сгрудиться поплотнее, и вскоре наш небольшой бивак затих под охраной бдительных часовых с собаками на длинных поводках.

## На заимке

Так шли мы трое суток. К концу последнего дня дорога заметно пошла под уклон, и перед сумерками мы спустились в широкую долину, на восточном краю которой между редкими лиственницами виднелись какие-то темные, как бы прижатые к земле, старые деревянные постройки. Сверху было видно, как голова нашей растянувшейся цепочки повернула в сторону этих построек, и вскоре мы оказались хозяевами глухого хутора. Это и было целью нашего пути длиной более ста километров.

Итак, мы вдруг очутились в волшебном царстве света, зеленого простора и небывалой доселе свободы. Натуральных щедрот было так много, что я был просто ошеломлен. Не знаю, есть ли на карте Амурской области наша волшебная долина и есть ли у нее название, но я сразу же мысленно назвал ее долиной Доброй Надеж-

ды. Она лежала меж сопок, покрытых густым лесом, где, казалось, никогда не раздавалось топора дровосека. В низких местах торчали высокие и прямые, как столбы, зеленые кочки, образовавшиеся от корневищ кустистой осоки. Если заденешь такую кочку, то она лишь спружинит и снова застынет на месте. Вся равнина скорее была сухой, нежели болотистой, трава на ней росла густая и сочная, заселенная тысячами грызунов, птиц и мелких зверюшек. Миллионы диких пчел, ос, мушек и шмелей хлопотливо жужжали в этой богатейшей кладовой таежного нектара.

Три небольших длинных низких барака, в которых мы разместились, были построены из толстых, почерневших от времени, смолистых, вековых бревен. Бараки стояли вытянувшись в ряд, словно в строю, и имели по одной одностворчатой двери. Напротив бараков, за неглубоким оврагом, на взлобке у дороги стояли по отдельности еще три небольших бревенчатых домика. Все эти постройки, как видно, предназначались для жилья в летнюю пору, так как они не отапливались и не имели потолков, а только кровлю.

Двери из толстых кедровых досок висели на прочных кованых петлях. В противоположной от двери стене виднелось узкое, как в монастырской келье, оконце, еще два узких окошка светились в двух торцовых стенах барака. Внутри тянулись однорядные сплошные низкие нары из грубо отесанных плах, на которых, если не постлать сена, спать было невозможно. Из таких же плах был и пол, но балки под ними давно сгнили. Стола в бараке не было. Впрочем, пищу утром и вечером мы принимали под навесом, стоявшим за бараками рядом с небольшой кухней, а полдник дневальные приносили нам прямо на покос. Мы с Синицыным поселились в первом бараке, заняв места против двери. В заднем, третьем бараке была вторая дверь в отдельную выгородку, в которой жили наши «придурки»— нарядчик, десятник и лекпом. В домиках за оврагом, где была продовольственная кладовая, размещалась охрана.

В пяти шагах от входа в наш барак, поперек оврага, поросшего лебедой, крапивой и чертополохом, лежала вековая лиственница, служившая мостком на ту, запретную для нас, сторону.

Ранним утром все с небывалой охотой принялись за дело: одни приспособились у примитивных бабок и от-

бивали косы, другие точили их или подклинивали косья, третьи ремонтировали вилы и грабли.

Около крытого навеса на столбах за бараками была деловитая суета. Вплотную к навесу прилепилась теплая пристройка, в которой жил на правах сторожа и хозяина седой, как лунь, бесконвойный старик. Теперь он копошился рядом с нами, услужливо помогая выбрать косу по росту. Скольких стариков мне уже пришлось видеть в лагерях за короткое время! Откуда они взялись, кто они в прошлом? Ответ был прост: раскулаченные лет десять назад мужики, вроде Артемьева, тихо доживали свой век, уже не сетуя на судьбу и стараясь не вспоминать о разоренном доме, утраченной семье.

На покос вышли часов около десяти. Густая трава начиналась тут же у дороги, в десяти шагах от барака. Она была еще влажной от росы, и остро отточенные косы сочно клали ее в прямые валы, украшенные цветами. Через час мы веером разбрелись на десятки метров в стороны от зимовья и с каждым часом продвигались, размеренно раскачиваясь справа налево, все дальше и дальше...

Так мы вернулись к крестьянскому труду.

Каждый день мы поднимались часа в четыре, затем наскоро съедали порцию жидкой теплой кашицы с куском хлеба и брали в руки косы. Разговоры, шутки и смех не умолкали на нашем лугу. И хотя каждый помнил, что он всего лишь зэк, среди нас было мало людей, относившихся к этой работе равнодушно. Стрелки́ не маячили перед нами, никто нас не понукал, и сама косьба казалась нам сродни свободе.

Дух соревнования присутствовал и тут, и не ради какого-то плана, а исключительно для того, чтобы помериться удалью, показать, что в тебе есть, на что ты способен, какие неизведанные силы содержатся в твоем костлявом, но еще крепком теле.

— Переку-у-ур!— кричит время от времени один из бригадиров, шагающий среди косарей, и вмиг прекращаются привычные уху вжиги острой тонкой стали по сочной траве или звон бруска по лезвию косы.

Курильщики собираются группами, поудобнее рассаживаются на скошенных валках, слышатся анекдоты, на которые всегда и везде имеется немало мастеров и еще больше слушателей. Иные распластываются на кошенине, раскинув руки и ноги, подставив солнцу небритое лицо с дымящейся самокруткой.

Около двенадцати раздается долгожданная команда:

— Э-ге-гей, каторжане, обе-едать!

Степенно окружаем подъехавшую подводу с горячей баландой, получаем свою долю и отходим прочь. Кормили нас посытнее, чем в лагере: в полдник давали суп и кашу-размазню, пусть жидкие и без мяса, но все же два блюда. Рабочий день на покосе длился от рассвета до потемок, часов двенадцать с гаком.

Вечерами все собирались у своих бараков, но чаще всего — возле нашего, гуртуясь вокруг широченного пня от сваленной лиственницы. Приходили послушать нашего запевалу, хороводистого Федора Гончаренко с висячими черными усами. Иные обращались к нему, переиначивая его имя на украинский лад:

— Хведор Тарасович, продайте ваши усы?!

На что он совершенно серьезно отвечал:

— Вот еще чуток подращу и продам... перед освобождением.

Родом он из-под Полтавы, работал там председателем колхоза, но кому-то помешал, был исключен из партии, затем арестован и как «враг народа» получил от «тройки» десять лет за контрреволюционную деятельность — КРД. Было ему лет сорок. Дома у него остались жена, трое ребят и старая мать. Свою печаль и обиду он выражал в грустных украинских песнях, и многие из нас, русаков, и даже кипучий грузин Саша Майсурадзе научились от него этим напевам.

Вот и сегодня он затянул любимую «Распрягайте, хлопцы, коней...», картинно поставив правую ногу на пень лиственницы и держа «козью ножку» в правой руке, опершейся локтем в колено. Его запев подхватили сразу десяток голосов, и широкая звонкая песня, ничем не стесненная, неслась по широкой долине, трепетно замирая и теряясь среди темнеющих лесных далей.

Копал, копал криныченьку,
Та у зеленом у саду,—

с чувством выводил Гончаренко, и мы дружно и сильно подхватывали:

Та не выйде дивчинонька,
Рано вранци по воду...

Песни пели почти все. Пели даже те, у кого совсем не было голоса, пели движением губ, шепотом, душой. Пели с нами даже наши вечные недруги — стражники, стоявшие тут же, без оружия, в широком кругу, и как бы

показывая, что и они такие же, как и мы,— простые, веселые, добрые люди.

Со стороны, конечно, понять было трудно, кто тут охранники и кто охраняемые. Но эти совместные песнопения были таким же содружеством, каким был, например, недавно заключенный договор о ненападении между Советским Союзом и гитлеровской Германией...

В десять часов поверка и отбой.

На следующий день с утра и до полудня снова покос, а после обеда работа с граблями. И так каждый день. Скошенный в предыдущий день участок уже подсох, провяленную траву следовало сгрести в валки для окончательного проветривания, чтобы вечером или завтра можно было ее копнить и класть в стога. Эти стога вырастали один за другим по мере нашего продвижения вперед по этой долине, и с каждым днем наш рабочий фронт продвигался также все дальше и дальше к юго-западу...

## Новые планы и замыслы

Как-то в дождливый день мы, мокрые до нитки, вернулись в барак раньше времени. Делать практически было нечего, все завалились спать; легли и мы с Синицыным, тихим шепотом обмениваясь разными соображениями.

Его план побега сводился к следующему.

В одну из ближайших темных ночей мы уходим из лагеря и идем по тайге на юго-восток, держась левее той дороги, по которой шли сюда. Через сутки мы выбираемся на Якутское шоссе и будем подстерегать грузовую машину и, если шофер один, останавливаем ее, связываем шофера, и Синицын садится за руль.

— А дальше что?

— А дальше гоним машину вперед к Большому Неверу и, не доезжая километров полста, сворачиваем по любой лесной дороге еще левее и пробиваемся уже пешком к Магдагаче или Тыгде.

— Это безнадежная затея,— говорил я, прикидывая в уме всю авантюрность его плана.— Зачем это мы поедем на Невер, когда к моменту нашего выхода на шоссе весть о побеге может опередить нас?

— Но ведь мы поедем днем, и на шоссе видно будет, кто и где нас поджидает,— не сдавался Синицын, нервно куря.

— Да разве мы проскочим по шоссе, которое можно

перекрыть в любом месте? Ведь это не танк, хотя и против танка есть средства. Нет, Глеб, ничего из этого не выйдет. Надо придумать что-нибудь другое.

Синицын швырнул потухший окурок, перевернулся на спину и, немного помолчав, предложил выйти на воздух:

— Пойдем под навес отбивать косы, пока все спят и бабки свободны. Там никто нам не помешает.

Накинув на плечи сухие бушлаты, мы выскочили вон из барака.

— Куда вас понесло в такую мокреть?!— услышали мы голос бригадира, который спешил под крышу из отхожего места.

— Косы бить!— ответил я не оборачиваясь.

— Вот черти, и тут хотят первыми быть!— беззлобно, а скорее, с гордостью прокричал он и побежал к бараку.

Надо сказать, что в интересах нашего замысла мы в бригаде старались работать лучше других и вести себя примерно. Эта слава стахановцев давала нам известные льготы и некоторую свободу, не нарушающую, конечно, общий порядок. Поэтому наши тихие разговоры наедине могли быть всегда истолкованы как маленькие производственные совещания.

Выбрав бабки и пристроившись так, чтобы нас никто не мог слышать, мы продолжали начатый в бараке разговор под мерное постукивание молотков. Предложения Глеба у меня всегда вызывали какое-то недоверие, какую-то необъяснимую тревогу и сомнения. Во все его планы непременно входил элемент насилия, и вообще его идеи носили плутовской характер.

Постукивая молотком и наблюдая, как под его ударами оттягивается, как бы отрастая, лезвие косы, становясь все тоньше и тоньше, и прислушиваясь к тому, что говорил Глеб, я припомнил наше с ним знакомство три месяца назад.

В первые дни нашей совместной работы я ненароком спросил, за какие грехи его посадили, полагая, что он осужден по какой-то бытовой статье.

— За язык,— недолго думая, ответил он.— А что?

— Мне думалось, что у тебя скорее бытовая, нежели политическая. Значит, КРА?— спросил я, по-вороньи растянув этот неприятный звук.

— Верно. Всем за язык припечатали это КРА, коли никакой другой статьи не нашлось.

— Как-то в гараже шофера завели разговор о перебоях с маслом в магазинах,— рассказывал Синицын не-

много спустя,— и кто-то сказал: «Глеб мало привозит, вот и затор в торговой сети». А я возьми да и скажи, что из колхозов маслозаводы выжимают все без остатка, а сами крестьяне давно позабыли о вкусе масла. «Ну уж это ты врешь!»— бросил один дружок-заправщик. Меня аж зло взяло, как будто я деревни не знаю. «А ты съезди туда хоть разок,— говорю ему,— и посмотри, на чем жарят картошку колхозники. На молочке жарят — вот на чем! А ребятишки обрат пьют, целого-то им мало достается».

Об этом разговоре я и забыл, да следователь напомнил. «Ты,— говорит,— вражья шкура, клевету и антисоветчину разводишь, колхозников разлагаешь своими выдумками». И пошел, и пошел городить, чего не было, о чем я никогда и не думал, не то чтобы говорить. Без битья не обошлось, а я не люблю, когда бьют, да и никто не любит. Потом в протоколе подписал, что верно, говорил я в гараже о жареной картошке на молочке и про обрат... Дали восемь лет, паразиты на теле народном!

Этот рассказ поколебал тогда мое недоверие к нему. И все же теперь я с сомнением подумал: а серьезно ли относится он к нашему замыслу о побеге? По силам ли ему этот сложный и тяжелый путь почти в восемь тысяч километров? Восемь тысяч! Тут потребуется не только ловкость, но и огромное мужество, и находчивость, и напряжение всех сил, смелость и выдержка...

Его предложение о налете на грузовую машину тоже было похоже на одну из его многочисленных лихих авантюр там, на воле, о которых он не раз мне рассказывал. Однако я попытался прогнать эти сомнения. Другого, лучшего спутника в дальнюю дорогу у меня все равно нет, а идея побега опять захватила целиком и безраздельно, хотя я еще и не мог разработать ее во всех деталях, как мы разработали когда-то с Балашовым.

В тот дождливый вечер мы так ни до чего и не договорились. Шли дни и недели. Начался август, такой же теплый и светлый, как и июль. Дождей больше не было, и уборка сена шла довольно успешно и споро.

К середине августа мы выкосили более двух третей всей площади этой равнины, и впереди уже были видны ясные очертания сопок, окружавших ее с противоположного конца. За полтора месяца мы исходили эти два-три квадратных километра вдоль и поперек, обшарили косами и граблями вокруг каждого куста и каждого дерева, «облизали» каждую кочку, зарезали сотни лягушек и полевых мышей и полакомились каплями шмелиного меда

из разоренных гнезд, попадавшихся на прокосе. По всей равнине, если не загораживало какое-нибудь дерево, можно было насчитать не менее сотни стогов сухого, зеленого, пахучего сена.

Возвратясь как-то вечером с покоса, некоторые из нас получили посылки и письма из дома, доставленные кладовщиком, ездившим в лагерь за продовольствием. Посылки выдавались в продуктовой кладовой-каптерке за оврагом. Сестра Маша прислала мне кучу приятных и полезных вещей, собранных совместно со старшей сестрой Полей. В обшитом ящике были сыр и охотничья колбаса, которая не портилась долгое время, литровая банка с каким-то жиром и несколько пачек галет. Были тут и очки в простой темной оправе, купленные лет пять назад. Другие, более модные, были отобраны в тюрьме. Все эти годы очков я не носил, что впоследствии мне помогло...

Самым приятным и важным подарком в этой посылке был еще нестарый темно-синий костюм. В одном из укромных уголков за подкладкой было зашито пять тридцатирублевых бумажек, специально помятых, чтобы они не хрустели при ощупывании одежды. Ох, Маша, Маша! Кто тебя учил конспирации? Маша правильно поняла мои намеки и точно выполнила просьбу.

Теперь у меня собственных денег было около трехсот рублей, и, если принять во внимание непортящиеся продукты, на такой капитал одному, пожалуй, можно было доехать и до Свердловска. Я не знал точно, сколько денег имеет Синицын, но он говорил, что хватит до Урала. Было решено, что все деньги в последнюю минуту будут сложены в моем чемоданчике.

Об этой денежной помощи я ему все же не сказал. Охранник, вскрывавший посылку и просматривавший ее весьма небрежно, костюм лишь встряхнул, ощупал карманы и бросил его тут же на лавку. В благодарность он получил от меня две пачки «Беломора»— плата весьма скромная за богатства, не обнаруженные им.

Итак, все шло отлично, и нужно было уже по-серьезному обдумывать детали побега, тем более что и времени впереди оставалось совсем мало: покос вот-вот закончится. Да и хранение продуктов, как бы они ни были хороши, могло вызвать подозрение: для чего человек их откладывает?

Уходить нужно было именно теперь еще и потому, что в лагере осталась только одна собака. Второй рыжий волкодав с неделю назад занозил лапу, она распухла, и стрелок повез пса в лагпункт к ветеринару. Эти сведения просочились случайно, они были тайной охраны. Единственную собаку едва ли пустят по следу, когда в лагере начнется кутерьма после обнаружения нашего побега. Да еще в темную ночь. Нет, она будет нужнее в лагере, который будет сразу же оцеплен охраной... из двух оставшихся стрелков...

У меня было два варианта побега: первый, которого придерживался Глеб,— с выходом на Якутское шоссе. Я мыслил пересечь его и пешком, чтобы не прибегать к насилию, двигаться таежными дорогами к одной из станций восточнее Невера. Там любыми путями следовало добыть билеты до Новосибирска, где и попытаться устроиться на временную работу сезонника. Правда, этот вариант, как и любой другой, был хорош до тех пор, пока у нас никто не спросит документов. А как только они потребуются, хотя бы при найме на работу, можно считать себя наполовину погибшими...

Да, шансы на благополучный исход резко падали, и по мере все более детальных размышлений дело представлялось почти безнадежным. Это было вроде мрачной игры в страхование жизни, при которой выигрывает мертвый...

План побега сразу на восток, а не на западные станции был основан исключительно на психологии людей, охраняющих и ловящих зэков: куда могут податься беглецы? Конечно, на запад, где гуще население и много городов. Поэтому и поиск начнется в первую очередь, вероятно, в западном направлении. Значит, рассуждал я, сначала нужно вырваться на восток, где-то переждать несколько дней и сесть в скорый пассажирский поезд, идущий на запад.

Когда я изложил Глебу все эти соображения, он сказал:

— И я об этом же толкую, согласен. Значит, нужны билеты, нужны деньги, которые в период реконструкции решают все.

— Сколько же у нас их наберется?— спросил я, желая точно знать, чем располагает мой напарник.

— У меня две сотни есть, но этого мало, и хочешь или нет, а без жульничества нам не обойтись. У тебя ведь и того меньше?— задал он встречный вопрос.

Я кивнул в знак согласия и тут же добавил:

— Зато питания у меня хватит на двоих.

Я тогда и не предполагал, что Синицын давным-давно проверяет тайно от меня все мои сбережения и запасы, куда бы я их ни прятал.

— Но и в порожняке можно удачно укатить.

— Тогда надо топать дальше на запад.

— Ладно, сначала оторвемся, а там решим.

Так, вчерне, был намечен план побега с покосной заимки.

## Измена

Разговор этот происходил числа 22 августа, то есть дня через три после получения посылки. На его глазах я уложил в чемодан все наши запасы и оставил место для пятка дневных порций хлеба. Следовало прикупить еще три-четыре порции, которые положит к себе в мешок Синицын.

Чемодан и мешок в ночь побега должны находиться под нашими нарами, которые были в трех шагах от двери. На половине этого расстояния на балке висел фонарь с коптилкой внутри, зажигался он после отбоя и горел всю ночь. В нашем плане этот фонарь играл довольно важную роль: в момент выхода из барака первый из нас должен его погасить, чтобы второму было легче уйти.

Мы точно условились, что уйдем из лагеря в ночь на 26-е, после второй поверки, то есть в первом часу ночи, и пойдем сразу по дороге, по которой прибыли сюда...

В условленный день утром, когда мы в паре с Глебом шли к дальним покосам, болтая по пустякам, он вдруг оглянулся по сторонам и, убедясь, что нас никто не слышит, сказал:

— Ты уж меня извини, Иван, но уходить я раздумал...

Сначала я даже не совсем понял, о чем он сказал, и только через какие-то секунды дошли до меня эти страшные слова, ударившие как обухом по голове.

— Как же это так?— только и смог я вымолвить, почувствовав, как во мне что-то оборвалось, а в ногах появилась страшная тяжесть.

— Да вот так,— потупясь ответил он и, немного помолчав, добавил:— Безнадежное наше дело, никуда нам не уйти — поймают.

— Нет, ты это серьезно или в шутку?— уже придя в себя, спросил я и приблизился к нему вплотную.

— Конечно, серьезно... Ну далеко ли мы уйдем, даже если нам хватит денег и продовольствия? Сейчас от-

пускная пора, все пассажирские поезда на запад переполнены, и никаких билетов нам не купить. А как без билетов ехать, да к тому же и без документов, если нам даже и удастся попасть ночью на поезд? При первом же контроле нас ссадят, а в худшем случае передадут милиции. И это конец.

Я не хуже его знал, что для нас будет в милиции, тем не менее не сдавался:

— Кому повезет, тот и с колокольни прыгнет и не разобьется. А я верю, что нам повезет... В тесноте еще и лучше ехать. Какого же черта ты раньше не отказался, трус ты несчастный? Держать камень за пазухой до последней минуты... Что я буду делать один? Ведь я мог бы найти другого напарника, понадежнее тебя! Ах ты подлец! Ах ты подлец,— твердил я, не находя других слов.

С ненавистью и презрением, смешанным с отчаянием, я отшатнулся от него, как от чумы, словно боялся заразиться. Это был мой последний разговор с Синицыным, так бесчестно обманувшим меня и предавшим в последние часы.

Я работал, как и все, а в голове моей одна мысль сменяла другую: бежать или не бежать? Сегодня или в другой день? Если в другой, то когда, как, куда? Кроме этих вопросов мучил и другой: а как Синицын? Ведь из соучастника он теперь станет моим противником! Он может и открыть кому следует наш, а теперь только мой замысел. И это может привести к слежке за мной и даже к суровой изоляции. И тогда прости-прощай все мои помыслы о свободе...

Нет, надо уходить, и уходить сегодня же, не медля ни одного часа. Я почему-то был уверен, что сегодня он еще будет молчать, выжидать и гадать, что я буду делать. Но как уходить одному в глухую бездорожную тайгу? И куда теперь уходить, когда Синицын знает наш путь и сразу же наведет на след, который ему известен?

Уходить надо, но совершенно другим путем, и тут в уме сразу же стал развиваться новый план побега, таившийся где-то в подсознании. Путь этот лежал прямо по моей долине Доброй Надежды, до самого ее конца, где она делает глубокий поворот к югу. Надо было уйти в сопки и держать строго на юго-запад, к Сковородину или еще дальше...

А время между тем шло своим чередом. Покоса оставалось всего дня на три, но накошенной травы было много, и поэтому уже с одиннадцати часов большинство работяг перешли на ворошение и стогование. Наша бригада полностью занималась сгребанием валов.

Во второй половине дня пустяковый случай свел меня с человеком, которого раньше я знал только издали. Это был Виктор Волков, учитель истории из Свердловска, по виду скромница и мечтатель, а по разговорам — умный и отзывчивый человек. Был он чуть старше меня, выше ростом, но сутулился, как большинство учителей. Привлекало его лицо с большими, почти круглыми, лазурно-голубыми, добрыми глазами. Когда он улыбался, за толстыми губами выглядывали два ряда ровных белых зубов. Волков подошел ко мне и присел на копну сена, бросив на землю грабли.

— Курево у вас есть?— спросил он, внимательно приглядываясь ко мне, видимо заметив окаменелость моего лица.

— Закуривайте.— И я протянул ему банку с махоркой.

Мое настроение как бы передалось и ему, и он вдруг заговорил взволнованно и торопливо о том, как все ему давно осточертело, как тяжело и мучительно переживать незаслуженную кару, влачить это жалкое существование каторжника, пленника в своей собственной стране. И главное — неизвестно за что.

— И давно бы я ушел без оглядки из этого «рая»,— вдруг сказал он,— но нет верного и надежного спутника.

Его речь вначале я принял как провокацию, как попытку выведать мои тайные мысли. Я резко повернулся и в упор на него посмотрел. Нет, такое лицо и такой взгляд не могут принадлежать провокатору, не могут!

— Что вы так смотрите? В первый раз видите?— спросил он меня, поднимаясь с копны и беря грабли.

— Нет, не в первый,— ответил я и тоже встал на ноги.— И у меня нет желания заживо гнить здесь, но что же делать...

Я замолчал: недалеко послышался голос Синицына, который хоть и издали, но наблюдал за мной. Равнодушно посмотрев на небо и по сторонам, я вдруг решился и спокойно и тихо, как о чем-то незначительном, сказал Волкову, не глядя на него:

— В следующий перерыв я к вам подойду покурить рядом, а вы сядьте где-нибудь в сторонке.

— Ладно,— ответил он, что-то почуяв, и пошел.

В течение почти двух часов, пока не было перерыва, я гадал, привлечь Волкова разделить мой план или нет, хотя я сразу же, как только давеча он заговорил со мной, почему-то поверил ему, и у меня потеплело на душе.

Когда я подошел к нему, у меня уже было твердое намерение открыть ему все, чем бы это ни кончилось.

— Пойдем со мной!— сказал я, перейдя на «ты», передавая ему банку с табаком и бумагой.

— Куда?— оглянулся он, не поняв моего вопроса.

— Да не ищи, то место не здесь,— сказал я.— Пойдем отсюда совсем, из лагеря.

— Как это пойдем?— Он даже растерялся от неожиданности и позабыл о куреве.— Когда? Ведь надо время на подготовку.

— У меня все готово.

И я рассказал ему коротко о плане ухода из лагеря и измене Синицына.

— Первая ночная поверка у нас будет в двенадцать часов, когда уже все спят. Минут через двадцать после этой поверки, когда охранники уйдут в свою избу и все в лагере затихнет, я выхожу из барака и прячусь за самый первый стог сена. Вечером я покажу тебе его. За этим стогом я буду ждать не более десяти минут, после чего ухожу один и меня в темноте будет трудно найти. Постарайся угадать и застать вовремя, чтобы не искать в темноте и не подавать голоса. Не забудь обзавестись парой горбушек. Да уж и адрес свой домашний скажи на всякий случай,— добавил я.

Он все понял и как будто расцвел.

— Ладно, друг, если счастье нам улыбнется, мы будем побратимы до смерти. Я этого никогда не забуду.

До вечера мы с ним больше не встречались, боясь вызвать подозрение у Синицына, к которому у меня с каждым часом росли презрение и дикая ненависть.

Надо сказать, что система нашей охраны сводилась к следующему: утром, после подъема, была общая поверка всех зэков без исключения — подконвойный он или расконвоирован. Затем до десяти вечера нас для этой цели уже не собирали, так как считалось, что днем мы на глазах у часовых, хотя, признаться, за это время я видел их всего раза два. После отбоя, в десять вечера, поверка проводилась через каждые два часа дежурившей парой охранников. Они заходили в барак и при свете своего фонаря пересчитывали спящих. И так в каждом бараке. Закончив обход, они уходили в свое помещение до следующей поверки.

На территории лагеря никто не дежурил — это было бесполезно: наружного освещения не было, зоны тоже. Учитывая сменность постов, охранников на покосе потребовалось бы числом не менее взвода, а на такую

роскошь у лагерного начальства явно не хватало штата. Да и куда можно было отсюда уйти? В практике такого случая, очевидно, еще не было, иначе чем же объяснить простоту нашего охранения.

Именно на это и был рассчитан план бегства: в течение двух часов между каждой ночной поверкой нас фактически никто не стерег, и в любой из этих интервалов можно было спокойно выйти и часа за полтора уйти километров на десять.

Весь остаток дня прошел для меня как в тумане. То мне казалось, что день тянется бесконечно медленно, то я пугался от мысли, что предан и вот-вот меня схватят. Душа моя была в смятении: вдруг Синицын или Волков выдали меня охране и в бараке уже вскрыт чемодан и там обнаружены явные приготовления к побегу?

Тогда всем надеждам конец!

## Глава четырнадцатая

Не знал я с юности кумира,
И преклонял колени я
Лишь пред тобой, невеста мира,
Свобода светлая моя!

Н. Морозов

### Побег

А время шло своим чередом. Вот и закончен рабочий день, и среди шума лагерной суеты уже раздается привычный бой молотков по лезвиям тонких кос, короткий звон которых, затухая, глохнет в туманной прохладе. Вот закончен и ужин, и снова, как почти каждый вечер этого незабываемого лета, перед отбоем зэки с Гончаренко во главе поют то протяжно-заунывные, то разгульно-веселые песни. Подтягиваю и я, но думы мои далеко. В кругу поющих арестантов в сгущающихся влажных сумерках я замечаю и Волкова, старающегося не смотреть в мою сторону, и Глеба, который следит за мной все так же зорко, и весельчака Майсурадзе, и бригадиров, и, наконец, почти рядом со мной старшину охраны. Человек он незлой, и мне становится немного жаль, что, если удастся наш побег, его ждут крупные неприятности.

«Прощайте, товарищи мои дорогие!»— хочется гром-

ко сказать мне всем, с кем я скоро расстанусь. Но я должен молчать.

Синицын кажется равнодушным, но я чувствую, что он не в своей тарелке. Не ведая, что же я наконец решил, он теряется в догадках. Стоит мне посмотреть в его сторону, как он сразу же отводит взгляд.

— На поверку становись!

Эта долгожданная команда выводит меня из тревожных раздумий, и я вместе с другими занимаю свое место в строю.

— Раз, два, три... семь... девятнадцать... тридцать пять,— звучит в ушах счет караульного, и наконец последняя для меня команда:— Разойдись! Отбой! По баракам!

...Через полчаса в нашем бараке спят почти все, и лишь в дальнем углу кто-то еще ворочается и вздыхает. Синицын тоже не спит — это я точно знаю: он даже дыхание затаил. Его крайне интересуют мои намерения. Он замер от волнения. Уйду или не уйду? И если уйду, то когда и куда?

Он лежал рядом со мной, не далее полуметра, и оба мы не произносили ни слова. Конечно, он не будет спать, пока не получит ответа на все свои вопросы... Подлец! С каким ожесточением я проломил бы ему череп, если бы в это время знал о его новой чудовищной подлости. Подлости, за которую сами зэки задушили бы его скопом. Я без колебаний убил бы его, пусть это и стоило бы мне еще верных десяти лет заключения. Но по наивности и доверчивости, вернее, из-за природной веры в людей я еще ни о чем не догадывался...

В бараке все спят, кроме нас двоих. Но вот и сосед по другую сторону от меня что-то заворочался и завздыхал. Неужели тоже не спит? Как медленно тянется время! Дверь открыта — она у нас всегда настежь, так как ночи теплые, а комары почему-то залетают редко. За дверью темно, ночь безлунная, пасмурная. Между нами и дверью, чуть влево, висит еле мерцающий фонарь. Похрапывают уставшие невольники...

Но вот слышен приглушенный разговор за стеной, и через минуту в помещение входят с фонарем «летучая мышь» двое. Сегодня они начали проверку не с нашего, а с крайнего барака, потому-то и задержались на десяток минут, показавшихся мне вечностью. Начинается привычный счет, на который я раньше не обращал внимания.

— Все?— тихо спрашивает один из них, останавливаясь у двери.

— Все! Куда же им деваться?!— отвечает так же тихо другой, и они не торопясь выходят из барака.

Я знаю, что сейчас они перейдут по стволу дерева через овраг и возвратятся в свою сторожку коротать время.

— Кажется, начинает моросить,— говорит один.

— Да, пожалуй, к утру разнепогодится.

Слышно, как один из них ступил сапогом на бревно и пошел, другой остановился, чтоб облегчиться по малому делу. Но вот через бревно перешел и второй, вторично стукнула дверь в сторожку, и вскоре стало абсолютно тихо. Даже храпящие во сне будто замолкли.

Лежал я, как и многие, обутый в свои солдатские ботинки, приобретенные как раз перед сенокосом, и, как только все затихло, сел, свесил ноги, коснувшись пола, и нащупал ими под нарами свой чемодан. Он тут. Застегнул гимнастерку, подтянул ближе свой бушлат, вынул кисет и скрутил цигарку. Все это я делал спокойно и не спеша. Затем встал, обернулся и взглянул на Синицына. Даже при слабом свете фонаря я видел, как он смотрел на меня широко открытыми, испуганными глазами, не произнося ни слова, как придавленный. Я увидел его малоношеную кепку, надел ее и тихо сказал, отворачиваясь:

— Я ее возьму, моя очень плохая.

— Возьми,— едва выдавил он, продолжая напряженно следить. Он, видимо, только сейчас понял, что я собрался-таки в дальнюю дорогу.

Я спокойно надел бушлат, подошел с самокруткой в губах к фонарю, потянулся на цыпочках к огоньку, чтобы прикурить, и погасил фонарь.

Взять из-под нар баул и выскочить на волю стоило нескольких секунд. А через минуту я был уже за стогом сена, высокая шапка которого едва обозначалась на фоне темного неба. Я зашел за стог, приставил к ноге чемоданчик и стал ждать, считая время по учащенному пульсу...

Было необыкновенно тихо вокруг, ни малейшего дуновения ветра, порошинки дождя падали совсем неслышно. «Какая удача,— подумалось мне,— никаких следов не останется, пускай хоть целая свора собак ищет меня». Да и кому взбредет в голову, что я скрываюсь в полусотне метров от караулки?

Волков вот-вот должен подойти. Мой слух напряжен до крайности. Но что это? Я вдруг слышу чьи-то возбужденные голоса на той стороне оврага. Нагибаюсь, беру

свой багаж и, делая шаг, выглядываю из-за стога. Теперь мне довольно хорошо видно, как к нашему бараку по бревну быстро двигаются, покачиваясь, два светлых пятна. Это фонари в руках охранников. Слышно несколько голосов сразу. Тревога?

Да, нет сомнений, это тревога...

Что же случилось?! Но что бы там ни случилось, а Волкова нет, и теперь он, бедняга, уже наверняка не сможет прийти, дабы не выдать меня и нашего места встречи. Я разворачиваюсь в сторону спасительной долины и бегу по ней крупными и неслышными шагами, все быстрее и быстрее, набирая в легкие все больше и больше воздуха, давясь от него.

Позади грохнул выстрел, а затем раздался громкий крик: «Не выходить из бараков!» Звуки глухо ударили в сырую тишину ночи и замерли. Главное — нужно держаться одного направления, куда бы оно ни вело, лишь бы не на восток. Кружиться и путаться было бы гибельным, и я бежал в направлении запада, спотыкался о кочки в кромешной тьме, поднимался и вновь бежал, сжав зубы, с замкнутой душой, с судорожно хлопающим сердцем, которое, казалось, сейчас оторвется — и я умру...

Бежать в полном смысле этого слова не было никакой возможности среди невидимых во мгле преград — бугорков и кочек, сплетений нескошенной травы и предательских ямочек и ям, днем совсем неопасных. Я падал, вставал, кидался вперед, не выпуская баула, опять падал, и все же скорость всех моих отчаянных движений в их совокупности была равна бегу. Единственной целью было — отдалиться от лагеря как можно дальше и стать недоступным для преследователей. Позади я услышал еще два глухих выстрела — значит, там началась какая-то кутерьма, непослушание...

И вот я в очередной раз упал, налетев на какое-то препятствие. Чемодан выскользнул из ослабевших пальцев и тоже куда-то кувырнулся. На мгновение у меня помутилось сознание, но сразу же проявилось вновь. Сердце бухало сильно и часто, до боли, и воздуха все не хватало. Наконец я пришел в себя, хотя и не мог еще сдвинуться с места, как будто меня кто-то держал снизу. Я перевернулся на спину и сел на что-то колючее и шаткое.

Вначале я испугался, а затем обрадовался: ведь это всего-навсего кочки! Те самые высокие пружинистые кочки, макушки которых мы с таким старанием обкаши-

вали всего лишь месяц назад. Милые мои кочки! Ах, какие же вы чудесные кочечки!

Их было много, они занимали площадь более гектара, стояли часто, и между ними или по ним можно было пробраться только днем, да и то с риском свернуть шею. Находились они в полукилометре от лагеря, значит, я успел пробежать в темноте пятьсот немереных метров по мягкой и неровной кошенине, в ватнике и с грузом в руке, пробежал и чуть не умер от разрыва сердца...

Нахлынула слабость. Как я ни пытался встать, ноги не повиновались: они сгибались сами вопреки моим усилиям. Тело отказывалось работать, будто избитое. Оно не подчинялось рассудку. Обожженные быстрым дыханием легкие болезненно дергались, не вбирая воздуха. Изнеможение одолело меня...

Но от счастья не умирают. А я испытывал счастье, хотя и был совсем один в моей темной молчаливой долине. Мой побег удался! Но радоваться было рано: надо уходить все дальше и дальше. Через четверть часа я все же поднялся, нашел чемоданишко и стал ощупью пробираться сквозь чащу кочкарника; обходить его в темноте не имело смысла, это могло только сбить с направления.

Со стороны лагеря не доносилось больше ни звука. Продолжающий моросить мельчайший дождик создавал пелену, стену, через которую звуки уже не проникали. Я осторожно и медленно пробирался, опираясь чемоданом о кочки, высота которых доходила почти до пояса, и думал, что же произошло в лагере.

А произойти там могло вот что.

Когда Синицын наконец понял, что я все же ушел, то, видимо боясь, что его, как моего напарника и соседа по нарам, могут взять под подозрение и затаскать по следователям, он решил обеспечить себе алиби. Вслед за мной он, очевидно, тоже поднялся, бросился к домику охраны и там донес:

— Я проснулся, а Ефимова рядом нет. И свет погашен...

Весть о побеге сразу же всполошила обитателей бараков, и многим немедленно захотелось в уборную. Отсюда и выстрелы, чтобы испугать, и крик «Не выходить из бараков!». Ну а что могло быть дальше? Дальше не могло быть ничего.

Заключенный за номером таким-то исчез, в лагере его больше нет. А где его искать — неизвестно, ибо легче найти иголку в стоге сена, чем человека в необозримой сибирской тайге. Стог сена можно перебрать весь

по травинке, и иголка найдется. Приамурскую тайгу с миллионом больших и малых сопок, сотнями ручьев и речек перебрать, как сено, нельзя, а значит, и разыскать человека тоже нельзя, если не знаешь направления его пути. Единственное, что остается сделать,— это дать знать в ближайшие посты заграждения, если они есть, поставить на ноги всю свободную от нарядов охрану, которой нет. И при всем этом ни один из ищущих не знает, где и когда я выйду из тайги, если вообще выйду... Для них поиски были неразрешимой задачей, и только роковой для меня случай мог помочь их усилиям.

Но прежде чем начнутся активные поиски, нужно еще как-то уведомить управление лагерей о случившемся. А это, учитывая отсутствие телефона на заимке, займет в лучшем случае два дня, пока нарочный домчит до Невера на неоседланной лошаденке.

Между тем я совсем успокоился и шел уже не спеша и лишь только теперь почувствовал, что я весь мокрый от пота и от моросящего дождя, продолжавшего замывать мой след...

Шел я все медленнее: мешали заросли кустарника и могучие редкие деревья, видимые, только когда нащупаешь их рукой. Спешить, в сущности, было уже некуда. Я был волен распоряжаться своим временем и самим собой. В моем чемодане — деньги, запас продовольствия, белье, костюм. Завтра утром я обмоюсь, надену его взамен того, что на мне, и пойду дальше своей тропой из долины Доброй Надежды.

Я все брел и брел вперед, шатаясь от усталости, ноги заплетались, сохло во рту, томила жажда. Чемоданишко мой уже казался двухпудовой гирей. Но когда я дошел до самого крайнего стога, сметанного всего лишь день назад в самом дальнем конце южной излучины долины, я почувствовал безмерную усталость и понял, что идти больше не в силах. Я устал и от длинного трудового дня с его волнениями и страхом, и от сумасшедшего бега по кочковатой долине. И вместе с тем я был уже твердо уверен, что для лагерной охраны я совершенно недосягаем. Что ей оставалось делать? Пошарили в темных окрестностях с собакой, следа по мокрой траве не нашли, и тем дело кончилось. Теперь там рассчитывали на естественный ход вещей, который рано или поздно приводил заключенного обратно в лагерь...

Ни о чем больше не думая, я свалился около стога, зарылся в сено и как бы куда-то провалился в одно мгновение.

## В безвыходном положении

Было еще темновато, когда я проснулся и, распаренный в теплом сене, выбрался из стога. Дождь перестал, но воздух был насыщен влагой. Восточная часть неба уже светлела, значит, было часов пять, и в лагере скоро объявят подъем... Я живо представил себе, как там начнется обсуждение ночного происшествия. Большинство, если не все, безусловно, рады тому, что нашлась все же отчаянная голова, рискнувшая пробиться на волю. И разговоры об этом будут длиться несколько дней, пока не станет известно, пойман беглец или ему, вопреки всем преградам, удалось перехитрить всех и вся и уйти. Если беглеца поймают и приведут в лагерь — а приведут и покажут обязательно, для острастки и в назидание другим,— всем станет жаль его потраченных зря усилий и до боли обидно за неудачу. Если об исчезнувшем не просочится никакого слуха, все вздохнут с облегчением: ушел благополучно, и дай ему бог удачи!

Рассвет приближался. Окружающий покой, тишина и легкая радость переполняли меня. Я встал, отряхнулся и бодро зашагал в глубину тайги, подальше от долины, которая теперь в любой час могла стать уже не доброй, а злой. Прошел не день и не три, прошло всего лишь пять часов, как я вырвался из лагеря, и засиживаться вблизи него опасно. Вчерашний сенокос совсем рядом, и мои товарищи вскоре придут сюда снова, если мой побег не даст им нежданного дня отдыха. Если к этому стогу подойдет кто-нибудь по нужде, он непременно увидит мой след, и догадка, что недавно здесь был их товарищ, быстро облетит всех... И я поспешно зашагал по болотистому редколесью, ущельем уходившему к юго-западу. Ботинки звучно чавкали во влажном, мягком и толстом слое мха, сквозь который пробивались редкая осока и хвощи.

Скоро ноги намокли уже выше щиколоток, но я упорно шагал все дальше и дальше от места своего ночлега. «Выберусь,— думал я,— найду какой-нибудь ручеек, обмоюсь, обсохну, переоденусь». Прошло более часа, взошло над сопками солнце — значит, я прошагал не менее пяти километров, и вот впереди в сухом распадке я увидел неглубокий ручей.

Найдя удобное, пригретое солнышком место, я снял бушлат и ботинки, повесил на сук, чтобы пообсушило, и

разделся догола. Достал кусок туалетного мыла, полученного в посылке, по пояс вошел в прохладную воду и основательно вымылся. Взяв из чемодана чистые носки, майку и трусы, я с удовольствием натянул их на себя. Костюма решил не трогать: в нем будет жарко — ведь бушлат бросить нельзя!— а во-вторых, еще неизвестно, сколько дней мне придется блуждать по тайге. Подумав об этом, я бросил в ручей арестантские гимнастерку и брюки и принялся за стирку.

О еде я пока не думал вовсе, голода почему-то еще не ощущал, как не ощущает его больной, перенесший тяжелую операцию. Мои мысли были заняты приведением в порядок своего «гардероба» и подготовкой к долгому пути. Быстро выстирав верхнюю одежду и развесив ее на ветерке против солнца, я присел у чемоданишка и стал разбираться в своих дорожных запасах, начиная с хлебных горбушек. Их было четыре по восемьсот граммов. Вот колбаса, полголовки сыра, непочатая банка с жиром, галеты, соль, граммов триста пиленого сахара, самодельный нож. Костюм положил рядом. Получилось вроде ларька коробейника или причиндалов охотников на привале на известной картине Перова, не хватало только спутников, ружья, водки и собаки.

На самом дне под газетой была моя канцелярия и в конверте деньги — необходимое средство для дальней и трудной дороги. Достаю конверт и чувствую, что он... пуст. Увы, он действительно пуст! В нем нет ни одного рубля из тех, что были накоплены тяжелым каторжным трудом, а также и тех, что мои сестры сумели оторвать для меня из скромного семейного бюджета. Я лихорадочно и бессмысленно обшариваю голое дно чемодана, в какой-то горячке перетряхиваю все свое хозяйство вновь и вновь, как будто деньги могли куда-то ненароком выпасть. Денег нигде нет...

Деньги украл Глеб, украл либо в предыдущую ночь, либо вчера, незадолго до моего побега. Проверял мои «капиталы», соблазнился и украл, а потом отказался бежать. Только этот негодяй знал о них, и никто больше. Только он видел, как я укладывал продукты и вещи. Он не видел только денег, но знал, что с собой я их не носил. Но как же, как же он смотрел бы мне в глаза, если бы я остался и обнаружил пропажу?!

Удар по нервам был так силен, что я почувствовал, как покрываюсь холодным потом. Что же мне теперь делать? Как быть? Еды мне хватит дней на десять, если

расходовать бережливо, а потом что? Если я даже рискну поехать в даровом товарном вагоне, то и там мне потребуется пища. А когда я еще выйду без компаса из тайги, особенно если вдруг закроется солнце и я потеряю ориентир в этом лабиринте бесчисленных сопок?

Отчаянию моему не было предела, оно было неизмеримо. Я ткнулся лицом в сырой мох и заплакал.

Вспоминая те злополучные минуты, я задаю себе вопрос: почему я все же решился идти дальше? Ведь у меня не было впереди никаких перспектив, никакой надежды на успех, никакой абсолютно! Что же толкало меня вперед? Надежда на добрых русских людей — чутких, мудрых, понимающих. Я вдруг вспомнил слова Балашова при расставании: «Даже один уходи, если не будет верного товарища. Люди помогут...»

В мрачном отупении я пробыл недолго. Машинально сложил все снова в чемодан, отломив лишь небольшой кусочек хлеба и сунув его в рот. Накинул железную накладку, просунул в петлю деревянную чеку на бечевке, заменявшую замок, надел уже просохшую одежду и пошел, подчиняясь скорее врожденному зову жизни и воли, нежели разуму...

Уже к полудню, перелезая через завалы валежника, я за что-то зацепился и с треском свалился в бурелом. Это падение вспугнуло какого-то зверя, видимо отдыхавшего где-то рядом после ночной или утренней охоты. Он с не меньшим шумом выскочил из темного завала и так стремительно бросился по склону, что я не успел и рассмотреть его.

Лесное происшествие несколько отвлекло меня от мрачных дум. Оказавшись на вершине оголенной гряды, я осмотрелся. Вокруг была неоглядная амурская тайга без конца и без края — низкорослая даурская лиственница, редкая приземистая сосна, сибирская ель и пихта. Весь этот темно-зеленый мир молча хранил какую-то тайну, известную только ему, а над ним, словно далекий морской прибой, иногда перекатывался шум вершин, таинственный и мудрый разговор лесного братства.

...Тут и там я неожиданно натыкался на препятствия: трясину, или огромный валун, неведомо откуда взявшийся, или на целое нагромождение седых камней в дикой заросли. Иногда путь преграждали огромные залежи гниющего валежника, сквозь который смело прорастали молодые деревья. В мире природы ничего не исчезало бесследно, а только видоизменялось, переходило из одного в другое.

Наблюдая окружающее, я понял, что компаса мне совсем не потребуется: заблудиться здесь было нельзя, если взять правильное направление и не сойти с ума. Каждый камень и каждое старое дерево, обросшие с одного бока серым мхом, указывали, где находится север, а где нужный мне юг.

Вечерняя темень застала меня на одной из еле приметных таежных троп. Спешить, в сущности, было некуда, и никакая опасность мне не угрожала. Против здешних зверей я успел обзавестись увесистой дубинкой, а против людей... Но люди все разные, и против этой породы живых существ требуется различное оружие. Ну какой дубинкой следовало бы отплатить Глебу или Бложису? Рассуждая сам с собой, я выбрал для ночлега могучую разлапистую лиственницу, длинные ветви которой склонялись шатром до земли, образуя у ствола уютную темную пустоту с толстым мягким слоем сухого игольника. На этом пряном ковре под естественным навесом я и провел свою вторую ночь свободы.

За весь следующий день я поел только дважды и без особого желания, принуждая себя жевать хлеб, чтобы жить, хотя и не видел ничего хорошего впереди. Уже перед вечером, взобравшись на очередную горную гряду, я увидел далеко внизу на поляне жилой дом с небольшими строениями вокруг него. Людей вокруг не было видно, но все же я перепугался до смерти. Возможно, это был покинутый стан какой-нибудь геологической партии, а может быть, такая же заимка, в какой я жил совсем недавно...

У страха глаза велики, а мне надо было опасаться вдвойне. Я — беглец, за мной уже начата охота, и я должен прятаться. Озираясь по сторонам, я торопливо сполз с высоты и стал уходить назад и в сторону. Я не сомневался, что меня уже ищут, поэтому не спешил к людным местам, выгадывая время.

Весь мой путь по тайге, редколесью и сопкам был трудным и, как мне казалось, безнадежным. Коварное ограбление лишило меня веры в благополучный исход, между тем я все шел и шел, медленно, но все дальше и дальше отдаляясь от лагеря, держась все время юго-запада. В те дни я еще не представлял, сколько на моем пути встретится добрых и отзывчивых людей, среди которых отогреется и оттает от обиды и горя сердце.

Однажды под вечер, спускаясь в очередной распадок меж сопок, я почувствовал тяжелый, тошнотворный запах, какой бывает от гниения мертвого крота или иного

зверя или птицы, не раз виденных нами в жаркую пору лета на лесной дороге. Но то бывал запах мимолетный, быстротечный, здесь же он был сильный и стойкий, до удушья насытивший недвижимый воздух. «Что тут может быть?»— думал я в нерешительности. Спускаться ниже или обойти стороной это неприятное место? Наверное, гниет какой-нибудь зверь, бежавший со смертельной раной от неверного прицела охотника. Но какая может быть охота в августе?

Какая-то необъяснимая сила влекла меня в сторону запаха, и я боком заскользил по склону. Чем ниже я спускался к подошве сопки, тем гуще становились заросли и тем тошнотворнее был устоявшийся, будто спрессованный спертый воздух. Склон стал отложе, а заросли гуще. Вдруг они расступились, и я оказался на небольшой полянке, освещенной предвечерним солнцем. И почти сразу же увидел на земле человека. Я испугался и отпрянул, но нестерпимый смрад приковал меня к месту: ведь это мертвец! Я выпустил чемодан и, преодолевая удушье, подошел ближе. Человек лежал вниз лицом, раскинув руки, как будто его кто-то толкнул в спину и он так и не поднялся. Я увидел страшную работу времени. Лохмотья лагерной гимнастерки едва держались на остове трупа, обжимая темные провалы грудной клетки и позвоночник. Меж изношенных ботинок и вздернутых полуистлевших брюк проглядывали белеющие кости голени. Череп был покрыт присохшими черными волосами, кепка валялась рядом. Из коротких рукавов гимнастерки высовывались кости скрюченных пальцев, вцепившихся в траву. Над этими тленными остатками все еще роились редкие тяжелые жирные мухи, перелетая с места на место, а вокруг трупа копошились жуки и белые черви, с ненасытной жадностью уничтожая последний материальный след человека.

Я со страхом стал пятиться назад, не в силах оторваться от мрачной картины разложения и тлена. Запах гниющего тела преследовал меня еще долго. Кто он? Отчего и когда умер? Вероятно, такой же, как я, несчастный беглец, потерявший дорогу и силы и умерший здесь безвестно. Неужели он мог заблудиться? Нет, заблудиться он не мог. Очевидно, долго шел, оголодал и обессилел. А может быть, его поразил какой-нибудь недуг и он умер от мучительных болей? Никто этого не узнает...

К полудню пятого дня я взобрался на самый высокий, как мне казалось, хребет и с его вершины увидел вер-

стах в десяти, в горячем солнечном мареве, очертания далекого города, редкие дымки заводских труб и отблески светлых зданий. Это был, несомненно, город Сковородино — цель моего пути из тайги. Но я не обрадовался, а, скорее, перепугался, потому что этот город мог стать и концом моего путешествия, вместо того чтобы быть его началом. Что мне даст этот незнакомый райцентр с небольшим числом жителей, где местные власти знают всех наперечет? В таком городе можно только отсиживаться, не выходя днем на улицу, а выбраться из него без денег и верных друзей, увы, невозможно. У меня как раз и не было ни денег, ни друзей. Не было никаких перспектив, кроме одной: явиться в милицию с повинной.

Эта мысль еще более окрепла, когда, уже в сумерках, я подходил по лесной дороге к окраинам города и наткнулся на «объект» работы заключенных. Здесь что-то строилось: был виден котлован и траншеи под фундаменты. Тут же в сторонке стоял переносной горн с кучкой каменного угля на земле. Он мне напомнил о Коле Савенко...

Уже в потемках я выбрался по незастроенной улице к ее населенной части. Наружного освещения я не заметил, да оно мне не особенно и требовалось. Увидев скамейку против одиноко стоявшего деревянного домика с двумя светящимися окнами, я присел на минуту для передышки перед прыжком в неизвестность.

Сердце стучало тревожно, а в голове все те же мрачные мысли о полной безнадежности моего положения. Что же делать теперь в этом незнакомом городке? И вот я решил зайти в этот домик и узнать, где находится милиция. Пускай ей достанутся лавры за поимку «бежавшего врага народа»...




# Часть третья

## Глава пятнадцатая

Свет не без добрых людей.
Поговорка

### Я люблю вас, люди!

Итак, решение принято, но как тягостно его выполнять! Я поднял голову и посмотрел на темное, но уже прозвездившее небо, спокойное и молчаливое. Оно было таким же, каким я видел его ровно три года назад, в последнюю, позднюю августовскую ночь, когда прощался с родными на ступеньках крыльца, не зная о том, что долго не увижусь с ними, а затем медленно шел в окружении трех оперативников к ожидавшему за

углом «черному ворону» — служебному автомобилю опричнины нашего времени...

Серпик луны рожками влево тогда стоял где-то выше и на другой стороне небосвода; та роковая ночь уже близилась к рассвету. Сегодня луна смотрела на меня так же безучастно, несмело поднявшись над горизонтом и как бы проверяя, давно ли потухла вечерняя заря. Что сулит мне эта ночь? Вот сейчас зайду в этот чужой дом, и какие-то незнакомые мне люди укажут путь до отделения милиции, а может быть, и отведут туда сами, чтобы я не успел передумать. А что тут можно еще придумать? Я, пожалуй, самый одинокий человек на всем белом свете! Даже посоветоваться не с кем.

Я медленно поднялся со скамейки и под тяжестью своего креста сделал несколько шагов к этому бревенчатому домику, стоящему на отшибе. Бесшумно поднявшись на крыльцо, я перевел дыхание и прислушался: в доме было тихо, как будто там никого и не было, хотя окна светились. Улица тоже была беззвучной и по-прежнему пустынной, только где-то над западной частью города виднелось зарево — отблеск освещенной товарной станции, и оттуда доносились приглушенные короткие гудки маневровых паровозов. Я толкнул незапертую дверь, вошел в прихожую, нашарил внутреннюю дверь и несмело постучал.

— Войдите, не заперто,— ответил спокойный мужской голос.

Я вошел и оказался в жилом, без переборок, помещении. Потускневшие неоклеенные стены просторной комнаты скрадывал свет неяркой лампочки, висевшей без абажура почти под самым потолком, обшитым вагонкой. У окна за столом сидел мужчина лет сорока в кителе железнодорожника с фонарем в руках. Он, видимо, чинил его. У противоположной от двери стены на топчане лежал второй мужчина в нижней сорочке и брюках. По казенной невзрачной обстановке я заключил, что попал в служебное помещение, что-то вроде дежурки.

— Добрый вечер, товарищи! — сиплым от волнения голосом сказал я и нерешительно опустил у ног свой баул.

— И вам так же,— повернув ко мне голову, ответил сидевший у стола, а второй лишь приподнял голову, мельком взглянув в мою сторону и что-то буркнув спросонья.

Я робко и растерянно переступил с ноги на ногу,

удивленный такой встречей. Я думал, что каждый, кто меня увидит, сразу же заподозрит что-то неладное,— ведь этой всеобщей подозрительностью заражали наш народ в течение последнего пятилетия. Однако ничего подобного пока не было.

— А вы садитесь, в ногах правды нет,— продолжал между тем первый, подвигая ко мне ногой стоявшую рядом табуретку.

— Рассиживать мне у вас не придется,— ответил я, сделав робкий шаг к табуретке.— Я зашел лишь узнать, где тут у вас находится отделение милиции.

Первый уже более внимательно посмотрел на меня, повернувшись на табуретке в мою сторону и окидывая взглядом с головы до ног. Попробую нарисовать автопортрет. Перед ним стоял почти его ровесник выше среднего роста, с загорелым осунувшимся лицом, заросшим рыжеватой щетиной. На переносье — очки в темной оправе, из-за стекол смотрели настороженные глаза. Бушлат защитного цвета, темные брюки, пузырившиеся на коленках и обтерханные внизу, порыжевшие красноармейские ботинки... Видно, что человек пришел издалека и смертельно устал.

Но разве этим Сибирь удивишь? Всяких бродяг перевидела она и ко всему привыкла.

— Что же с вами случилось? — уже заинтересованнее спросил он, оставив в покое свой фонарь.— Может быть, вам нужен врач, а не милиция? Вы, наверное, нездешний? Откуда в столь позднее время?

— Я бежал из концлагеря и несколько дней пробирался по тайге, пока не набрел на Сковородино... Ведь я попал в Сковородино? — не переводя дыхания, выпалил я.

Услышав такие слова, оба они встрепенулись. Тот, что лежал, живо приподнялся, сел, сбросив ноги с топчана, и зашарил рукой под подушкой. Нащупав папиросы и все еще удивленно глядя на меня, он закурил.

— Да, это Сковородино,— не торопясь сказал первый. В его голосе мне послышалось участие.— Зачем же вам милиция, если удалось вырваться? Курите?

Я кивнул головой.

— Что же вы стоите?! Садитесь, пожалуйста! — Он достал с края стола початую пачку «Звезды» и протянул мне.

— Спасибо вам, но от пшеничных я отвык, курю махорку.— И я зашарил в своих карманах.

Наступила пауза, решавшая многое в наших отноше-

ниях. Я наконец сел на табуретку, уже не торопясь достал из кармана кисет и лепесток газетной бумаги, стал сворачивать махорочную сигарету. А они молча курили, усваивая услышанное... Рассказывать им обо всем или нет? Какой-то внутренний голос подсказывал мне: не таись, откройся, перед тобой честные рабочие люди, они не сделают тебе зла... И, как бы поощряя мою откровенность, второй сунул ноги в ботинки, встал и спросил:

— И долго вы там находились?

— А какое сегодня число? — спросил я.

— Двадцать девятое...

— Если с тюрьмой, то выходит три года с неделей. Арестован двадцать второго августа тридцать седьмого.

Они переглянулись. Второй, заметно волнуясь, подошел ближе и нерешительно спросил:

— Из «врагов народа», значит?

— Угадали...

— Рисковый и смелый, видать... Убегать, однако, мало кому удавалось оттуда,— почти восхищенно сказал он и, прихватив от своего топчана табуретку, сел рядом с нами.

— Мне только непонятно, к чему же в милицию переться, коль ушли благополучно из этого ада? — спросил с удивлением первый.

И тогда я торопливо, без особых подробностей, рассказал им о себе: об аресте и следствии, о приговоре анонимной «тройки» и о трех годах каторги, в течение которых я написал три безответные жалобы.

— С одним хорошим напарником мы задумали побег еще полгода назад, но судьба нас разлучила совсем неожиданно. Его освободили. Это было еще в лагере на станции Ерофей Павлович. А потом с небольшой группой меня перевели в лагерь Большой Невер. Вот тут и появился напарник Синицын, с которым мы и уговорились бежать. Но он меня предал в последнюю минуту.— И я рассказал им, как это все произошло. И о краже скопленных на дорогу денег.

Меня слушали почти не дыша.

— Нет изводу подлецам и негодяям! — с сердцем воскликнул первый, когда я закончил. Он встал и заходил по комнате, густо дымя уже второй папиросой.

— Как же вы, неглупый по всему человек, могли связаться с таким пройдохой? — возмущался второй, раздавив окурок в крышке из-под леденцов, служившей взамен пепельницы.

— Видимо, от природной доверчивости к людям...

Но разве легко разгадать человека, его нутро, да еще в заключении, где каждый замкнут в самом себе! — оправдывался я, отмечая, как удивительно идет беседа и какой отклик рождает она у этих двух незнакомых мне людей.

— Да, правильно говорят: простота-то хуже воровства. Вперед наука,— покачал головой второй, потирая щетинистый подбородок широкой ладонью.

А первый между тем зашел в угол, отгороженный высоким дощатым щитом, как ширмой, и забряцал там чайником. Я услышал, как он черпал воду и лил ее в чайник, потом подкачал и зажег примус.

— Ладно, мужики,— сказал он, возвращаясь,— что случилось, того уж не исправить. Теперь надо обмозговать, как наладить вам дорогу дальше. Откуда сами-то?

— Из-под Ленинграда.

— Дорога дальняя, ничего не скажешь,— сокрушенно заметил он и задумался.

— А я так смекаю, что добираться ему нужно пока на порожняке,— заговорил второй.— Он идет отсюда ходко и задерживается только при сменах паровозных бригад или для пополнения воды. Другого не придумаешь...

— Порожняк порожняком, это подойдет, но без денег ему все равно не обойтись,— заметил первый, шаря по своим многочисленным карманам.

— А вы все же раздевайтесь,— обратился ко мне второй.— Чайком побалуемся, да и бороду вам поскоблить не помешает.

— Почти неделю не брился...

— Оно и видно, что не вчера... Раздевайтесь, теперь уж вам торопиться особенно незачем.— И он поднялся и пошел к висевшему на глухой стене шкафчику за чайной посудой, в то время как первый протянул мне красную тридцатирублевую кредитку:

— Возьмите вот, на первый случай,— смущенно сказал он.— И рад бы помочь побольше, да нечем, получка вот-вот...

Я взволнованно вскочил с места и запротестовал:

— Зачем же еще это! Ведь вы сами не богачи, не надо мне!

— Ладно, ладно! Мы все же близко от дома и перебьемся как-нибудь, а ваш путь далекий, и каждый рубль пригодится.— Он встал, поймал мою правую ладонь, положил в нее деньги и пожал ее с чувством.— Берите на счастье, не краденое, трудовое... А теперь скидывайте

бушлат! Вон и чайник закипел, сейчас мы и чаек заварим.— И он быстро прошел за щит.

Второй в это время накрывал на стол: нарезал пшеничного хлеба, поставил песок и сливочное масло на блюдечке, очистил от кожуры несколько картошин и покрошил их в видавшую виды алюминиевую миску.

— Только огурца соленого и не хватает да чарки водки,— пошутил он, вытряхивая в картошку последние капли постного масла из бутылки.

А я, стянув наконец с плеч свой бушлат и повесив его на гвоздь у косяка двери, разбирался в своем бауле, выкладывая на край стола свои дорожные припасы. Вынул и лагерный хлеб, от одной из паек которого была выщипана добрая половина.

— А это зачем? — сказал второй, показывая глазами на мое продовольствие.— Думаете, не хватит того, что на столе?..

— Хватит-то хватит, но ведь я не в гости зван!..

— А вот сегодня как раз и будете нашим гостем,— подхватил первый, выходя из-за ширмы сразу с двумя чайниками и ставя их на стол один на другой. Заметив мой хлеб, он спросил: — Лагерной выпечки? За дорогу так и не съели?

— Аппетита не было... Ягодами подкармливался, как глухарь.

Показывая на непочатую, уже черствую горбушку, он спросил:

— Это ваша дневная норма? Сколько же она весит?

— Восемьсот граммов — стахановская пайка. Больше этой не бывает.

— Что ж, с хорошим приварком за глаза хватит... По скольку часов работали?

Я сказал, что по солнышку: от восхода до захода.

— Каторжанам на Сахалине в царские времена выдавали по три фунта на день и мяса до полфунта,— заметил он.

— Антона Павловича вспомнили? — сказал я, пристраиваясь к столу.

— Давненько читал, а вот как кормили тамошних арестантов, почему-то запомнилось... Не где-нибудь живем, а возле Бамлага, так кое-что о вас знаем. Наслышаны и о кормежке. Не густо... А теперь давайте чаевничать, пока заварка не проветрилась.

Когда я вместе с ними поел настоящей картошки и напился крепкого индийского чая, которых не пробовал, кажется, вечность, я как будто вновь ожил. О чем мы

говорили, я уже не помню, но белый свет мне казался намного милее, а перспективы на ближайшее будущее не такими безнадежными...

Потом я сидел перед осколком зеркала, прислоненного к фонарю, и не торопясь скоблил безопаской многодневную щетину. А рядом два незнакомых мне и вместе с тем таких сердечных и близких человека непрестанно дымили и горячо, хотя и вполголоса, обсуждали занявший их головы вопрос: как лучше и побыстрее «протолкнуть» меня подальше за Байкал... На краю стола лежали так никем и не тронутые мои беглецкие припасы, в том числе несколько тонких колбасок со вздутиями шпига, почти полголовки сыра, галеты и банка топленого жира.

Мои друзья, видимо, давно работали вместе и знали друг друга хорошо. Во всяком случае, доверяли один другому полностью.

Обращаясь ко мне, первый сказал:

— Сейчас вы идите на товарную, ищите состав порожняка, стоящего паровозом на запад, забирайтесь в любой вагон — и с богом. А это, все, что выложили, забирайте в свой чемодан, пригодится.— И он решительно сдвинул к самому краю стола все мое продовольствие впридачу с хлебом, нарезанным к чаю.

— Пожалуй, лучше я его сам провожу,— сказал второй,— а то, не ровен час, еще заблудится.

Потом, что-то вспомнив, он сунул руку в карман брюк и протянул мне сложенный червонец:

— Возьмите, пригодится в дальней дороге. К сожалению, больше нет, кроме мелочи...

Я в «благородном негодовании» отстранился, закинул руки за спину и замотал головой:

— Не возьму, нет, нет...

— К чему вы жеманитесь, словно барышня! — сказал он, высматривая на мне место, куда бы засунуть свой червонец.— Вам не на цветы дают, а на жизнь. Берите! — И он всунул деньги в нагрудный карман моей поношенной армейской гимнастерки, списанной в Красной Армии и принятой лагерем для обмундирования зэков.

«Русская, добрая, распахнутая душа!» — растроганно подумал я и вновь раскрыл свой баул.

— Возьмите тогда хотя бы часть этого! Не могу я принять от вас деньги, не зная, куда и когда верну!

— Ну, к чему это мальчишество?! «Верну» — «не верну»! Мы же не кредиторы, а товарищи.

И все же я настоял на том, чтобы оставить у них банку с жиром.

— Ладно уж, оставь, упрямый ты человек,— вздохнул первый и отнес банку за ширму.

Сборы мои были минутными, и из дому мы вышли все вместе. На какое-то мгновение мы задержались на крыльце, на которое два часа назад я поднимался, как Христос на Голгофу. Синее небо все вызвездило. Ранняя ночь уже плотно окутала затихший городок, и лишь товарная станция вдали светилась и шумела.

Крепко стиснув мою руку выше локтя, первый тихо сказал:

— Прощай, брат, не унывай и будь смелее. Настойчивый и храбрый человек и шилом выкопает колодец! Ясно? Но и об осторожности не забывай...

Он стоял ступенькой выше, как бы охраняя нас, и, хлопнув меня на прощание по плечу, добавил:

— А подробностей о себе любому встречному говорить не следует. Лучше выдумывай побольше и поскладнее: вранье и похвальбу в наше смутное время любят больше, чем прямоту и правду. Ни пуха вам!

Он остался стоять на крыльце, прощально подняв руку, а мой спутник повел меня знакомыми ему переулками.

До товарной станции мы дошли минут за двадцать. Мой спутник ловко и умело перебегал по вагонным площадкам длинных товарных составов, легко нырял под вагоны, изредка остерегая меня словами «не ушибись». Я едва поспевал за ним. Когда перебрались через последний состав и перед глазами высветились просторы широкого путевого хозяйства с десятком пар сияющих рельсовых путей, мой провожатый приостановился и огляделся:

— Помешкай тут чуток, а я поищу, что нам надо.— И он торопливо пошел в сторону стоявшего под пара́ми длинного товарного состава.

Я приставил баул к ноге, снял кепку и вытер ею вспотевшее лицо и шею. Бушлат чуть сдвинул с плеч. От меня шел пар.

Несколько минут спустя подвижная фигурка моего спутника показалась на фоне дальнего луча прожектора. Разглядев меня, он поманил к себе рукой.

— Нам здорово повезло, приятель,— заговорил он, когда я подбежал.— Этот порожняк — до Иркутска, мне сам машинист сказал. И будет останавливаться редко и ненадолго, лишь для забора воды и при смене паровозных бригад. Порожняку на запад теперь дают зеленую

улицу. Если все пойдет по расписанию, то меньше чем за трое суток отмахаете полторы тысячи верст с гаком. Недурнецки?!

Потом мы прощались, долго не разжимая сцепленных рук. Я вскарабкался с его помощью в вагон, а он еще раз помахал мне рукой.

— Старайтесь не выходить, не открывать дверей без надобности и не высовываться, особливо днем на разъездах и станциях. Воздуху там для одного с избытком... Счастливо до дому доехать! Желаю удачи!

— И вам счастья, здоровья и удачи во всем... За все вам спасибо,— говорил я, задвигая с его помощью тяжелую дверь. Потом, привалясь спиной к притвору, я едва сдерживался, чтобы не зареветь от нахлынувших чувств...

Через какое-то время пробуксовал паровоз, потом раздался негромкий свисток, и поезд плавно стронулся с места, перестукиваясь буферами, пошатываясь на стрелках и быстро набирая скорость... Я все стоял в темноте вагона, привалясь к двери и обтирая щеки ладонями от набегающих слез.

## Шилка

Чувство опасности долго не покидало меня. Я все еще находился в районе лагерей и лагерного сыска, где число заключенных раз в десять превышало численность всего местного населения. Неудивительно, что весь остаток ночи я метался от одной щели к другой, чтобы определить, где едем. Я все забывал, что перегоны между станциями здесь тянутся часами. За остаток ночи поезд нигде не останавливался, и лишь по мельканию будок путевых обходчиков и скользящим по стенам вагона световым лучам я угадывал очередной разъезд. Значит, пройдено еще пятьдесят или более километров от того места, куда меня три года назад тайком везли в запертом арестантском вагоне. А теперь я тоже тайком мчусь назад.

Перед полуднем нервы мои настолько ослабли, а чувство бдительности настолько притупилось, что не помню, как, вытянувшись в грязном углу, я мертвецки уснул.

...Проснулся я оттого, что поезд почему-то стоял и вокруг была необычная тишина. Желтоватый луч предвечернего солнца мерцал на обшивке вагона. Не ощущая

ломоты в онемевших суставах, я вскочил от какого-то необъяснимого предчувствия беды. Меня охватила смутная тревога, остро защемило в груди. Почему мы стоим и почему так тихо? Что это — станция, разъезд?

Но тишиной были полны лишь первые мгновения, потому что затем я услышал зловещие звуки, от которых по телу поползли мурашки, а сердце, как будто его толкнули, застучало чаще и тревожнее. Далеко в хвосте поезда кто-то проверял вагон за вагоном, отодвигая и задвигая тяжелые двери. Действовал, видимо, один человек, и, похоже, конник, так как время от времени слышалось: «Стой», «Тпру-у» или «Вперед!» Вполне возможно, что поезд был остановлен на каком-то глухом разъезде по особому указанию и машинист ждал, пока конный страж проверит весь состав...

Я мысленно считаю, сколько вагонов уже проверено: пятый, восьмой, десятый... Мой вагон ближе к паровозу, а всего их в составе не менее шестидесяти. Будет ли проверяться весь состав? Если да, то что мне делать? Двери во всех вагонах открываются только с одной стороны. Противоположные двери заперты щеколдой снаружи, завязаны проволокой, и через них выскочить нельзя. Как я об этом не подумал при посадке? Почему не догадался откинуть щеколду и с другой стороны вагона? Дубовый болван!

Но куда я денусь от меткого стрелка, если бы и удалось выскочить из вагона с этой стороны... Здесь какой-нибудь маленький разъезд среди необъятной тайги, где весь лес вырублен на широкой полосе, как зона отчуждения, и где и поезда-то никогда не останавливаются! А что, если дверь задержать с этой стороны? Будто ее заело. Неужели стрелок сильнее меня, и я не смогу противостоять его силе? Но это вызовет еще большее подозрение, и стрелок, естественно, захочет во что бы то ни стало открыть дверь...

А лязг дверей все ближе и ближе ко мне. Даже слышно, как звенят удила, как ступают копыта по гравию. Словно мышь, я мечусь по вагону, решаясь наконец открыть дверь, чтобы выпрыгнуть вон, нырнуть под вагон и стремительно бежать куда угодно, только подальше от этой ловушки!

И вдруг, будто над головой, раздается протяжный отходной гудок паровоза, и поезд разом трогается, рывками набирая скорость. Как видно, машинист отстоял положенное время, а лагерный охранник действовал не столь расторопно. И двери не в пример тяжелые, а от

тяжелой работы он давно отвык. Он махнул машинисту рукой, дескать, трогай, и машинист с радостью ухватился за рычаги: он не мог не знать о своем пассажире...

Что бы там ни было, а судьба мне опять улыбнулась. Но этот случай так меня напугал, что я решил сойти с поезда на первой же крупной станции и ехать дальше только в пассажирском, любой ценой, но только с людьми!

Где же мы едем? Сколько километров осталось позади? Ответ я мог получить только на станции.

Выкурив подряд две цигарки крепчайшей махры и оправясь наконец от пережитого страха, я торопливо, как будто вот-вот будет станция, стал стаскивать с себя гимнастерку и лагерные брюки, достал из баула рубашку и костюм и довольно быстро преобразился. И как раз вовремя: приотодвинув немного дверь, я увидел на взгорье редкие домики и одиноких коз, подвязанных на веревках к кольям. Потом замелькали дома почаще, и поезд, виляя на стрелках, стал замедлять движение, втягиваясь на товарные пути.

Я отчетливо понимал, что, как бы ни была велика эта станция, на улицах мне появляться не следует. Значит, прежде всего необходимо узнать, когда прибывает с востока пассажирский, где-то временно переждать, а затем попасть на платформу к моменту его прибытия. И вместе с пассажирами из вагонов войти в вокзальное помещение. А там решать и действовать по обстоятельствам.

Как только мой товарняк остановился в узком промежутке между другими составами, я быстро спрыгнул, смело прошел к его голове и приветливо помахал машинисту кепкой. Теперь я не сомневался, что машинист знал о своем безбилетном пассажире еще в Сковородине, когда мой незабвенный друг справлялся у него, куда и когда он поведет свой порожняк. Усатый машинист, а из-за его спины и чумазый помощник заговорщически мне улыбнулись и как будто подмигнули. Еще через минуту я уже справлялся у стрелочника, когда прибывает пассажирский с востока.

— Курьерский около полуночи, а почтовый вот-вот должон подойти. Минут через десять ему и семафор откроют.

Спрашивать о названии станции я поостерегся.

Оставшееся время было посвящено постройке всеобщего пользования, куда и цари пешком ходили, и едва подошел поезд, как я уже влился в гомонящую толпу

мчащихся к вокзальному буфету пассажиров, на ходу успев прочесть выцветшую вывеску: «Шилка».

«Вот она, прославленная в песнях знаменитая Шилка»,— думал я, усаживаясь на широкую скамейку в зале ожидания. А в шумном вестибюле уже слышался предупреждающий голос дежурного по станции:

— Граждане пассажиры, поезд стоит всего семь минут! Стоянка поезда семь минут!!!

В голове возник рискованный план: едва уйдет поезд, я сразу же пойду в отделение милиции, но не для сдачи в плен, а с заявлением, что в этом поезде меня обокрали и я остался без билета, денег и основного имущества... Наступление — лучшая защита, вспомнилось мне. И вообще надо взять на вооружение хорошее правило, коим пользовались десятки людей, оказавшись в подобном положении: идти туда, где тебя не ждут, селиться и жить там, где по логике вещей тебя быть не должно. Не медля больше ни минуты, я встал в хвост очереди к буфету. Выпив без закуски сто граммов водки и взяв пачку дешевых папирос, я вышел с остатками пассажиров на перрон и спросил дежурного, где находится линейное отделение милиции.

— А вот как зайдете за вокзал, так прямо и идите по улице. В самом конце направо и будет милиция. По вывеске узнаете.

И я, как всякий вольный гражданин нашей счастливой Родины, смело зашагал по указанной улице. В теле разливалось тепло и какая-то удаль, а в голове — фантастическое нахальство. А вот и небольшой дом милиции, дверь которого я и открыл без страха и сомнения. Оставив чемоданчик и бушлат в приемной на глазах у дежурного милиционера, я смело подошел к двери в комнату начальника, предварительно узнав, свободен ли он. Войдя в кабинет, я увидел в углу за простеньким письменным столом явно скучавшего милицейского начальника с одной «шпалой» на петлицах. Подойдя к самому столу, я поздоровался и как можно естественнее сказал:

— Помогите в беде, товарищ капитан...

— В чем дело? Откуда и кто вы? — с напускной строгостью спросил он, присматриваясь, встречал ли меня в своих владениях или нет.

— Я ленинградец и ехал издалека, да вот случилось такое, что дальше и ехать нельзя.

— Не очень понятно. Говорите точнее.

— Коротко говоря, в этом поезде у меня вытащили

бумажник со всем содержимым, включая и билет до Ленинграда...

— Как же это могло случиться среди бела дня?

— Признаюсь честно: перед обедом я выпил...

— Оно заметно: водкой от вас несет, как из бочонка,— с нарочитой строгостью заметил капитан.

— Если честно, я еще с утра выпил как следует, и перед Могочей укачало... От Хабаровска лежачих мест не было, и я почти не спал. А в Могоче освободилась багажная полочка... Проснулся в Нерчинске, хотел в буфете поправиться, хватился за пиджак, а от бумажника и след простыл...

Врал я вдохновенно, вспоминая все названия по чистому наитию, мгновенно. Впрочем, мы знали на память почти все станции от Читы до Благовещенска, потому что этот путь вспоминали часто...

— Откуда едете?

— Из Комсомольска. Я техник-строитель, отработал по вербовке два года без отпуска и вот наконец вырвался отдохнуть на целых три месяца. А теперь не знаю, как и добираться буду.

Начальник долго мерил меня взглядом и наконец строго сказал:

— У меня тут не собес и не касса взаимопомощи. Паспортов всем проезжим растяпам я тоже не выдаю. Но и находиться вам здесь, в Шилке, тоже не разрешаю... Почему не поехали до Читы? Там ведь областной центр, большой город.

— Побоялся, что ссадят раньше, где-нибудь в дыре. А тут все же хотя и небольшой, но город. Посоветуйте что-нибудь...

— Тут тоже не город, и в таких делах я не советчик. Даю вам двадцать четыре часа — и чтобы за это время вашего духу здесь не было.

— Но ведь у меня нет денег на дорогу! На тридцатку, которая затерялась в кармане, далеко не уедешь...

— А вот это уж меня не касается. Всего хорошего!

Из кабинета я вышел еще более уверенно. Подмигнув заговорщицки дежурному, я не спеша перекинул бушлат на левую руку, а правой прихватил за ременную ручку баул. Я был окрылен: меня не приняли за беглого зэка или бродягу и даже не заподозрили. Это уже хорошо. Теперь нужно во что бы то ни стало добыть денег, чтобы ехать дальше. И обязательно с билетом. Настроение мое настолько поправилось, что на обратном пути к вокзалу я мысленно напевал:

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала...

Старинная арестантская песня была сложена словно бы для меня: почти все так — и Шилка, и стража, и таежный зверь. Все это было. Вот только стражник в меня еще ни разу не пулял. Но ведь и путь мой еще не окончен, далеко не окончен. А насчет «пулянья», так это могло случиться и сегодня утром... Держись, Иване! Жизнь лишь начинается, и впереди еще все те же семь тысяч километров...

## Свободный труд

Семь с лишним тысяч километров — это даже не «за сто верст киселя хлебать», как говорится в народе! Тут на каждой версте можно засесть безвылазно. А чтобы не засесть, не нарваться на роковой случай, надо попасть в пассажирский поезд только с билетом, как и все граждане. А на билет нужны деньги. Что оставшаяся тридцатка, подаренная друзьями на хлеб? До Ленинграда потребуется, вероятно, не меньше пяти сотен, а где их взять? Я один-одинешенек, и помощи ждать неоткуда. Но и от людей прятаться мне нельзя, наоборот, только от них и можно получить помощь и поддержку.

К вокзалу я подходил уже без песен бродяг. Мое легкомыслие схлынуло, но оно было как разрядка, в которой я так нуждался. Я внимательно приглядывался, не видно ли поблизости каких-нибудь «вольных» строек, не осталось ли тут чего-нибудь недоделанного: сарая, двора для коз, какой-нибудь пристройки?

Вокруг вокзала было тихо и почти безлюдно. Впрочем, сам городок находился немного южнее, в долине реки Шилки, и там, очевидно, работа нашлась бы. Но в город идти было страшно и рискованно. Надо искать работу где-то тут, поблизости. И немедля!

В вестибюль вокзала я вошел со стороны улицы и снова заглянул в буфет. Буфетчица прибиралась в буфетной витрине и, взглянув на меня, признала: всего минут пятнадцать назад она наливала мне стопку водки, самому последнему в стоявшей очереди.

— А вы разве не уехали с поездом? Не успели? — удивленно спросила она.

— Уехать мне было не на что, вот и остался...

— Как так — не на что? А сюда как же приехали?

— Обворовали меня в этом поезде где-то между Могочей и Нерчинском, вот и остался на бобах...

— Да как же это так? Вот беда-то...

— Вот так. Заснул, видимо, крепко у висящего пиджачка, а проснулся перед Нерчинском, хватился за карман, а бумажника и нет. А в нем и дорожные деньги, и билет до Ленинграда.

Она обалдело слушала мою выдумку и сочувственно вздыхала, а я, достав папиросу и закурив, продолжал, мысленно прикидывая, что чем больше людей будут знать мою историю, тем лучше:

— Теперь ломаю голову, где бы заработать сотни две на билет хотя бы до Новосибирска... Не подскажете ли, где тут можно найти выгодную халтурку?

Она с минуту подумала, потом нерешительно сказала:

— Может быть, в нашей системе что-нибудь найдется. Слышала я, как однажды Степан Алексеевич, наш заведующий, жаловался, что он разорится на штрафах за какую-то несделанную дорогу... Но это, наверное, вам не подойдет? — Она подошла к окну и выглянула наружу. Увидев кого-то на платформе, она сказала: — Вон там на площадке с кем-то разговаривает начальник нашего торга. Спросите у него, может, он что и придумает.

Я поблагодарил ее и вышел. В пяти шагах от дверей спиной ко мне стоял солидный начальник и разговаривал с пожилым рабочим в спецовке. Потоптавшись возле него, пока он не обратил на меня внимания, я робко спросил, нет ли для меня какой-нибудь временной работы. Торговый начальник местного масштаба бегло посмотрел на меня и, будучи удовлетворен моим внешним видом, спросил:

— А что вы умеете делать?

— Строитель может делать многое. А я строитель по профессии...

— Постойте-ка, постойте,— он на мгновение задумался.— Кажется, что-то такое недоделанное у нас здесь есть... Надо узнать у заведующего буфетом... А вот, кстати, и он — легок на помине!

Откуда-то из-за моей спины появился человек в одежде военного образца. Он, видимо, слышал наш разговор, потому что, подойдя, сразу же подхватил его:

— Работенку я мог бы подбросить, если работяга не очень разборчив.

— Вот и отлично, и ладно,— сказал начальник торга.— Вы договоритесь с ним, Степан Алексеевич, а я пойду восвояси, и так подзадержался у вас.

Степан Алексеевич завел меня в свою конторку позади буфета и сел за стол, предложив мне место напротив. Назвал он себя Миловановым, и эта фамилия ему шла до чрезвычайности. Он действительно выглядел симпатичным и милым человеком моих лет, а его почти круглое, чистое, слегка курносое лицо как будто излучало доброту и напоминало веселый детский рисунок, изображающий улыбающееся солнце. На нем были диагоналевые синие галифе, заправленные в крепкие русские сапоги, суконная, защитного цвета гимнастерка под широким ремнем, один из карманов которой был набит деньгами. В этом я убедился, когда он через несколько дней рассчитывался со мной за выполненную работу. В этих карманах, как он говорил, находилась дневная выручка буфета перед сдачей ее инкассатору.

Оглядев меня еще раз, он сказал:

— Давайте знакомиться: кто вы, как здесь очутились, откуда и куда едете, почему в нужде?

Наверное, он перед встречей был в буфете и буфетчица успела кратко поведать обо мне: его вопросы как раз соответствовали моей легенде.

Не торопясь я повторил ему свою версию, которая все более и более расцветала подробностями. Под конец я сказал:

— Основные свои сбережения я перевел в Ленинград на свое имя, и поэтому там никому их не выдадут, кроме как мне лично. Вот и приходится часть отпуска потратить на заработок, иначе не выберешься из ваших прелестных мест.

Он засмеялся, потом нерешительно сказал:

— Работенка-то предстоит довольно пыльная. Не уверен, возьметесь ли за нее: кому ни предложу — все нос воротят... А делать позарез надо.

— Давайте любую, выбора у меня нет. Рабочий костюм у меня есть — вору он не потребовался, а грязь отмоется.

— Надо бы сходить на место и посмотреть, но сегодня уже поздно. Если сговоримся, то завтра поутру сходим.

— Вы все пугаете работой, а сути не говорите.

— А суть вот в чем. На окраине станционного поселка есть у нас свинарник, но к нему ни подойти, ни подъехать. Построили его когда-то без всякого раздумья на

дурацком косогоре, и теперь этот косогор превратился в огромную и скользкую навозную кручу... Короче говоря, к свинарнику надо сделать подъезд хотя бы для телеги — дорогу метров двадцать длиной. Сможете? Силенка есть? — с надеждой вопросил он.

Выбора у меня не было, и мысленно я благодарил бога, что хоть такой заработок нашелся. А к грязной работе мне не привыкать, она мне не в новость. Прожив в деревне до восемнадцати лет, я знавал и выполнял всякие работы. В июньскую навозницу, бывало, напачкаешься и нанюхаешься в любом скотном дворе такого, от чего интеллигентного городского жителя стошнило бы сто раз.

Мои раздумья буфетчик воспринял, очевидно, как попытку найти повод для отказа. И он заговорил уже просительно:

— Да вы не беспокойтесь насчет заработка! Была бы работа сделана, а в оплате я не обижу, отблагодарю!

— Степан Алексеевич, выбирать мне не приходится. Дело в том, что задерживаться здесь я долго не могу, милиция не разрешает.— И я рассказал ему о свидании с начальником милиции.

Милованов хитровато улыбнулся и воскликнул:

— Вот и хорошо! Значит, мне не нужно докладывать ему о беспаспортном работнике... А за сколько дней вы справитесь с делом, роли не играет. Утром раненько я за вами зайду и провожу к «объекту».

— А с ночевкой моей вы как решите? Все же несколько суток мне придется где-то жить...

— Вам нужен только ночлег. Ночевать будете здесь, в этой конторке... Правда, койки или дивана у меня здесь нет, но на столы или стулья можно подостлать подшивки газет. Надеюсь, несколько ночей как-нибудь перетерпите?

— Перетерплю как-нибудь,— в тон ему ответил я и уже более внимательно осмотрел помещение.

Небольшая комната имела одно окно и вторую дверь. Было тут два стола, конторский шкаф и полдюжины стульев. Милованов сказал:

— Дверь в буфет на ночь запирается. Запирается и наружная, но, поскольку вы здесь будете ночевать, запираться будете изнутри сами. Наш счетовод находится в отпуску, так что вы никому мешать не будете.

Взаимно довольные, мы расстались до утра.

Расположившись в первую ночь на жестких стульях (потом я спал на сдвинутых столах), я благодарил судь-

бу, пославшую мне и человеческое доверие, и работу, и крышу над головой.

Рано утром мы вышли за станционный поселок. Зеленых насаждений вокруг не примечалось, за поселком к югу до самого горизонта виднелась желтеющая даурская степь, и лишь где-то далеко-далеко за нею синела полоса хвойного леса. Прошагав вдоль путей метров двести, мы пересекли их и поднялись на небольшое плоскогорье. Горизонт расширился, и в километре к северу я заметил знакомые очертания сторожевых вышек.

— Теперь тут только один лагерь,— сказал Милованов.— А года три-четыре назад было несколько, когда велись работы на вторых путях. Теперь вот только этот и остался.

От одного вида этих вышек у меня замурашило по спине, и я понял, что всякие экскурсии, даже в районе станции, мне противопоказаны. И в часы прихода пассажирских поездов мне к ним и носа не следует показывать: переодетые оперативники наверняка высматривают тут «подозрительных» пассажиров.

— Вот мы и пришли,— сказал Милованов, показывая на пригорок, на котором стоял длинный приземистый свинарник.— Эти скоты,— кивнул он в сторону стада свиней,— совсем испортили местность, а главное — подъезда нет.

Большой свинарник, принадлежавший ОРСу железной дороги, был действительно построен не на месте, бездумно и второпях. Полевая дорога, подведенная сюда по кромке косогора, была заезжена и загажена. Тут действительно было ни пройти, ни проехать. Свинарник стоял посреди полевого участка гектара в три и был обнесен изгородью в три нитки колючей проволоки. Столбы изгороди кое-где накренились, поскольку поросята любят почесаться о них.

— Почему же его построили не на месте?

— Построен вроде бы на месте — вон рядом водоразборная колонка. А вот благоустроить не успели: дорогу и заборчик сделали на скорую руку, легонькие, как для телят, а не для этих хряков.

— Ладно, попробуем устроить вам подъезд к этому терему. Давайте шанцевый инструмент,— сказал я, снимая пиджак и выбирая за оградой место почище, где бы раздеться, а заодно и разуться, чтобы окончательно не загубить свои армейские ботинки. Ехать мне еще далеконько.

Степан Алексеевич принес лопату, кирку и лом.

— Ни пуха вам, ни пера.

— Да уж какие тут перо и пух.

Он от души рассмеялся:

— Вот именно... Курите? — Он вынул из широченных галифе кожаный портсигар, открыл его и, ловко вытолкнув папиросу, протянул мне.

— Как правило, курю махрец, но и папиросы пользую, хотя и редко: наши амурские снабженцы не часто баловали нас папиросами, больше к махорке приучали,— отвечал я, беря папиросу.

Врал я смело и вдохновенно: откуда мне было знать, что в Комсомольске-на-Амуре торгуют махоркой чаще, чем папиросами? А может быть, наоборот. Не мог же я ему сказать, что за три года лагерной жизни я выкурил не больше десяти папиросных пачек.

— А как насчет пообедать? — спросил я.

— Там посмотрим. Приходите, с голоду у нас не умирают. Я сейчас же распоряжусь, чтобы для вас оставляли в буфете.

И он, мое солнышко, деловито зашагал к станции, попыхивая беломориной и иногда оглядываясь на меня.

Наметив трассу, я принялся за дело, знакомое до тонкостей. Работа моя была тяжелой и неприятной, грязной. Надо было перекопать и перебросить на другую сторону дороги не менее ста кубометров полунавоза-полугрунта. Но это был первый за три года некаторжный труд, без понуканий, без сосущей тоски по желанной свободе. На мое счастье, рабочий материал свободного труда легко поддавался, тем более что сбрасывать с лопаты приходилось под гору. Мои тощие мышцы меня не подвели, и гераклов труд по очистке авгиевых конюшен я выполнил дней за пять, работая от зари до зари по пятнадцать часов. Надобно было спешить — ни на минуту не забывал я предупреждения линейного начальника милиции о немедленной очистке Шилки от моего нечистого духа.

В середине дня я приходил на полчасика в буфет, где по указанию Милованова мне подавали сытные обеды, в то время уже нормируемые. Ко мне он заглядывал каждодневно и справлялся:

— Как дела, Леонид Сергеевич? (Так назвался я при знакомстве с ним).

— Как у Берта на заводе, Степан Алексеевич, только дым пожиже да труба пониже,— отвечал я ему так или еще какой-нибудь прибауткой.

Он присаживался на корточки на минуту, мы закури-

вали его папиросы. Дело двигалось значительно быстрее, чем он предполагал, и у него было хорошее настроение.

Вечерами, если у кухарок не оставалось ничего из вторых блюд, я брал в буфете хлеба и закусывал остатками продуктов из своего баула, запивая чуть теплым кипяточком из буфетного титана. И каждый раз в таких случаях я с благодарностью думал о своих сковородинских друзьях, так предусмотрительно сметавших со стола в баул мои продовольственные запасы. Потом устраивал себе ложе на столах, стелил две годовые подшивки «Читинской правды», клал под голову пиджак и кепку, накрывался бушлатом и засыпал как убитый.

На следующий день после окончания всех работ я случайно столкнулся с бдительным начальником милиции, обходившим свои владения. Он сразу меня узнал:

— Вы почему еще здесь? Где скрывались эти дни?

— Я не скрывался. Я зарабатывал деньги на дорогу,— без испуга отвечал я и, вынув из нагрудного кармана, показал ему четыре полусотенные банкноты, полученные вчера от Милованова.

Степан Алексеевич, на счастье оказавшийся тут же, авторитетно подтвердил:

— Этот товарищ работал у нас, привел в полный порядок известную вам дорогу к свинарнику.

Начальник, видимо, собирался сделать разнос и поначалу нахмурился, но, услышав, что не прописанный у него житель не бродяжничал, а принес социальную пользу, он помягчел. Однако потребовал:

— Выехать сегодня же! Нечего здесь прохлаждаться...

Прощаясь, мы с Миловановым долго и молча смотрели друг другу в глаза. Потом я отвернулся, а он тихо сказал:

— Счастливо доехать, Леонид Сергеевич!..

Всю прошедшую неделю он так меня и звал, хотя запомнил и «мою» довольно звучную фамилию Истомин. Но вчера вечером, когда он отсчитал деньги и ждал, пока я напишу ему расписку, я вдруг потерял контроль над собой и совершил ошибку: подписываясь, я по въевшейся привычке начал выводить фамилию Истомин с буквы «Е». И хотя я мгновенно исправился, выкрутив замысловатый вензель, он все же должен был заметить мой промах, заметить также и волну краски, проступившей сквозь мой загар, и то, как я инстинктивно сжался. Заподозрил ли он что-нибудь неладное? Вероятно, да. Пото-

му что сразу как-то весь притих и ушел в себя. Разве можно забыть свою фамилию... И, прощаясь сегодня, он с затаенным значением опять назвал меня по имени и отчеству.

Милый мой Алексей Степанович! Я не мог тогда вести себя иначе, не мог открыться. Прости меня за обман.

## Балашов и другие

Как и неделю назад, пассажиры из переполненного поезда хлынули к буфету, а я, единственный пассажир, садившийся на этой станции, опрометью кинулся к своему вагону с билетом до станции Боготол и, не обращая внимания на протесты пассажиров и крики проводницы «Местов нет!», бодро протолкался к его концу.

Эти поезда, носящие номера 71 и 72,— восточный и западный, первый на восток, второй на запад, в Москву,— иронически назывались «международными». В них ездил весь простой люд, кто не берег времени, но экономил деньги на скорости движения. Я тоже экономил, а скорость пассажирского не сравнима со скоростью порожняка. Заботы мои появятся позже, дня через три, а пока я был бесконечно рад тому, что снова среди людей, а не в добровольной одиночке пустого товарного вагона.

В Чите, после высадки многих пассажиров, я накрепко занял освободившуюся от вещей самую верхнюю полку, разостлал бушлат и, поставив в изголовье почти опустевший баул, почувствовал себя на верху блаженства. Окружающее казалось не реальной действительностью, а чудесным сном. Но коль скоро человек сравнительно легко привыкает к испытаниям и тяжелым лишениям, с хорошим он свыкается еще быстрее.

Новые пассажиры, мало-помалу пополнявшие вагон, считали меня уже старожилом, а те, что были в купе еще до меня, настолько ко мне привыкли, что запросто делились своими пищевыми запасами и тем настойчивее угощали, чем упорнее я отказывался есть чужой хлеб. Впрочем, я не так уж упорствовал, скорее, ради приличия: ведь харчей со мною уже никаких не было, да и купить их было затруднительно, так как на станциях я старался не выходить, боясь потерять полку.

Большинство моих спутников по вагону были пассажирами дальнего следования: отпускники с путевками в

Крым, запоздавшие студенты, командировочные «толкачи» на уральские заводы и им подобные. Меньшая часть, постоянно меняющаяся, была по преимуществу местными жителями, переезжающими в пределах области. Они, как правило, не зарились на лежачие места, сидели или стояли в проходах.

Мимо Байкала поезд проходил днем, и теперь я с иным чувством смотрел на это глубочайшее и красивейшее озеро, вспоминая просветительные лекции Малоземова и Городецкого и былинные междометия Кудимыча. Где они теперь, мои хорошие, незабываемые товарищи по несчастью?

Но вот и Байкал остался позади. До Боготола нужно проехать еще Иркутскую и всю Красноярскую область, то есть не одни сутки пути длиною около полутора тысяч километров. В Шилке я мог бы взять билет до Новосибирска, денег на билет у меня хватало, но тогда не оставалось бы ни рубля на хлеб насущный. Главное же было в другом: без документов и знакомых я в Новосибирске не имел бы пристанища, и неизвестно, как заработал бы на дальнейший путь. Там я мог оказаться в полном тупике. В Боготоле же я рассчитывал на Балашова. Я верил в него, как в самого себя!

На станцию Боготол поезд прибыл с рассветом. Сам город был в шести километрах к югу от станции, и, пока я добирался до него и разыскивал нужную мне улицу, прошло около двух часов. Однако я не спешил, чтобы не булгачить людей. Семью своего друга я застал за скромным завтраком. Не берусь описать нашу встречу. Я и сейчас, вспоминая о ней, начинаю волноваться. С первого взгляда мой друг понял, что я прибыл по собственному почину...

— Ждал я тебя, но не так скоро,— взволнованно говорил он, крепко обнимая.— Раздевайся и знакомься: вот моя отчаянная супруга Катя, которая о тебе все знает, а это наши потомки,— указывал он на ухоженных детей-погодков, сидевших у стола, мальчика и девочку, ходивших во второй и третий классы.

— Мойся, садись и закусывай, а потом отдыхай и молчи до вечера. Днем с ребятами покормишься, а разговаривать будем за ужином...

Вскоре все они ушли: старшие на работу, а дети в школу. Почти целый день я домовничал один в небольшой двухкомнатной квартире двухквартирного одноэтажного дома, вначале удивляясь необычности позабытой домашней обстановки, от которой я уже отвык, а по-

том все более проникаясь неизъяснимым уютом и домашним теплом. Здесь повсюду была видна заботливая рука хозяйки-матери, хлебнувшей немало горя и нужды, пока обреченный кормилец изводился за колючей проволокой ни за что ни про что...

Часов около трех пришли из школы Валя и Костя, помылись и сразу же сели за стол, разложив тетради и учебники.

— А обедать? — спросил я, наблюдая за их деловитостью.

— Мы же в школе на перерыве ели! А теперь сначала уроки,— сказала Валя, выдавая себя за взрослую. Потом спохватилась и спросила: — А вы сами-то покушали?

Я помотал головой.

— Зачем же голодать так долго? Папа с мамой когда еще придут. Я сейчас вам суп разогрею.— И она опрометью кинулась на кухню.

Я пошел за нею и стал накачивать примус. Отобрав у девочки кастрюлю с супом, я отправил ее к учебникам. Съев на кухне полную тарелку вкусного мясного супа, заправленного перловкой, вышел побродить. А вечером, когда за ужином собралась вся семья, я снова почувствовал, что меня здесь приняли как самого близкого человека. Михаил принес четвертинку и хорошую селедку, при взгляде на которую у меня засосало под ложечкой: ведь и эту «роскошь» я не пробовал очень давно. Хлопотливая Катя нарезала в большое блюдо свежих огурцов и сочных помидоров, обильно полила их подсолнечным маслом и поставила кастрюлю дымящейся паром разваристой картошки.

Когда Михаил откупорил четвертинку, Катя заметила:

— На радостях можно бы и целую взять!

Михаил хитро переглянулся со мной и, улыбаясь, ответил:

— Бутылок не было, пришлось взять две половинки,— и как ни в чем не бывало смело достал из брючного кармана еще одну маленькую. Все рассмеялись.— Гулять так гулять! Такие встречи один раз в жизни бывают, да и то не у каждого. Помнишь, как мы гуляли за штакетником в Ерофее? — спросил он меня.

— Разве это можно забыть? Конечно, помню!

— Тогда расскажи Катюше, да и я послушаю.

И пока мы выпивали по одной да закусывали, а потом и по другой, я рассказал Кате о весне тридцать девятого года, когда моя плотницкая бригада строила штакетную ограду вдоль дощатых тротуаров в поселке станции Еро-

фей Павлович. Работали мы тогда дружно и споро, норму выполняли почти вдвое, и деньги у нас, хотя и небольшие, водились. И питание по работе было лучше. И хотелось выпить.

Однажды мы упросили хозяйку углового дома, возле которого тогда работали несколько дней, чтобы она купила нам на всю бригаду бутылок пять водки и принесла в зону. Сговор происходил тихо и незаметно для охранника, когда она, с его разрешения, забирала у нас стружки и щепки домой на растопку.

— Мы поставим между столбами будущей калитки свое пустое ведро и в него положим деньги. Потом попросим у стрелка, чтобы вы принесли нам водицы. В воду вы и поставите бутылки.

Женщина охотно согласилась. Когда по уговору она собралась уходить со двора, пустое ведро с деньгами уже стояло на месте. Я крикнул стрелку:

— Разрешите хозяйке дома принести нам свежей водицы?!

— Давай, пускай несет,— начальственно разрешил он, зная, что мы каждый день заказываем ведро воды, а иногда, в жаркие дни, выпиваем и по два: май в том году был щедрым на тепло.

Водка поспела к полднику, то есть к черпаку постной жидкой сечки неизвестно из какой крупы. Я подошел к десятнику, человеку бывалому, отбывавшему пять лет за какое-то должностное преступление, и спросил совета, как употребить водку до приема баланды.

— Очень просто: вылейте по бутылке водки в кастрюлю на четверых, накрошите в нее хлеба и выхлебайте, как суп. Ясно? Только ведро с водой себе в круг поставьте и сделайте вид, что тюрю собираетесь делать. Вместо первого блюда...

— А охранник так и не увидел? — спросила Катя, позабыв о еде.

— Кто об этом знает? Может, и углядел, да виду не подал. Они, наши сторожа, тоже люди, и у них свое рабочее время идет. Для него важно, чтобы мы не разбежались и не выходили за пределы зоны. И шевелились на работе.

— А убежать можно было? — спросила Валя.

— Конечно, можно, а далеко ли убежишь? Ты спроси папу, надолго ли убегали жулики.

— Жулики и хулиганы убегали иногда с таких объектов,— включился в рассказ и Миша.— А куда убежишь? Ограбят чью-нибудь квартиру, пропьют наворованное,

а поутру их, еще тепленьких, найдут в чьем-нибудь сарае и приведут в тот же лагерь.

— Ну а какова была тюря? — спросила хозяйка.

— Никогда нам ее не забыть!

И я рассказал, как мы сидели по-турецки вокруг своих мисок, черпали ложками водку с кусками хлеба и с превеликим трудом глотали этот «суп».

— А помнишь, что было с нашим десятником? — улыбнулся Миша.

— Разве можно забыть? Ведь ему водки досталось из каждой бутылки, а в кружку входит не меньше четвертинки. А закусывал-то он... рукавом. Свой-то полдник, что в кармане был, он уже давно сжевал по кусочку...

И, глядя больше на хозяйку, я рассказал, как мы, уходя с объекта вечером в лагерь, втолкали его, упирающегося и с матюгами, между двумя нашими шеренгами, а он шебутил и пытался идти отдельно. Как же, он ведь начальник над нами!.. Стражник, конечно, все это видел,— в охрану дураки редко попадаются, а этот наш подсменный дураком не был,— все он, конечно, заметил и в душе, наверное, благодарил нас, что мы сумели обуздать десятника и довести до зоны. Ведь охраннику тоже могло влететь от своего начальства за допущенную пьянку на объекте...

— Значит, ему влетело? — спросил Костя.

— Нет. Перед лагерем десятник все же сообразил и притих и через ворота прошел даже не шатаясь и как положено — отдельно.

— А охранники страшные? — опять спросил Костя.

— Разные бывают, но страшных мы не видели. Кроме того, и охранниками-то их называют не совсем правильно. Нас же никто не украдет! Чего же нас охранять? Вернее будет называть их сторожами или стражниками. Потому что их обязанность — стеречь порученных им заключенных, стеречь, чтобы не потерялись...

В тот вечер у Балашовых мы беседовали долго, ребята уже спать улеглись. Потом мы с Михаилом вышли на улицу и сели на лавочку под окнами покурить. Тут я и рассказал ему, откуда и как удалось мне уйти, о краже у меня денег, неоценимой помощи неизвестных мне людей в Сковородине и о своем «трудовом подвиге» в Шилке.

— Ну ты и смелый, Иван! И счастливый, бродяга!

— Ты пока не хвали, а то я, чего доброго, еще завоображаю. Тут просто привалила удача, а может быть, и

счастье. Ты лучше подумай, как мне здесь подработать рублишек двести, чтобы хотя до Кирова доехать.

— Я знал, что тебе надо помочь, и сегодня кое-куда успел наведаться и кое с кем поговорить,— обрадовал он меня.— Работа найдется, не тужи. Тут у нас намечается одно важное строительство, и на станции простаивает много поездов с материалами: не успевают разгружать. Берут всех желающих. Многие наши ребята ходят вечерами на разгрузку и неплохо зарабатывают. Вот и я смекнул: я оформлюсь на работу, чтобы потом получить деньги, а ты будешь за меня работать хоть сутками, под моей фамилией. Если не возражаешь, то утром я и оформлюсь.

Это было самое лучшее из того, на что можно было здесь рассчитывать. Обрадованный удачей, я сразу согласился.

На другой же день, под вечер, я вышел на работу под фамилией Балашов и рьяно взялся за дело. Напарник мне попался старательный, и дело у нас спорилось. Выгружая из вагонов различные стройматериалы, я вспоминал свои студенческие годы в комвузе, когда в воскресные дни я со своим другом Истоминым ходил на погрузочные работы в Ленинградский торговый порт. Подумал я и том, что в первые десять дней своей вольной жизни я уже второй раз нанимаюсь на работу под чужой фамилией...

В Боготоле я заработал около трехсот рублей, торжественно врученных мне Михаилом по окончании работы. Разгрузка простойных вагонов закончилась, новых составов пока не ожидалось, а другой работы подыскать не удалось. И проедаться здесь дольше мне не было смысла.

— Поеду дальше, авось где-нибудь еще подвернется случай заработать.

— Поживи еще. В крайности я перехвачу у кого-нибудь сотняжку — глядишь, и хватит до дому.

— Нет, надо ехать. Лишний день — лишний расход. А в долги тебе залезать незачем. От тебя я ничего не возьму, не старайся. Пускай Катя добывает билет до Кирова на семьдесят второй, коли у нее есть знакомая кассирша на вокзале, и делу конец.

Так и решили. А утром, когда все покинули дом, я долго раздумывал, не продать ли здесь на барахолке свой бушлат и баул. Эта коммерция может прибавить мне еще рублей пятьдесят — шестьдесят. Но когда я подумал, что без багажа и верхней одежды дальний пассажир может вызвать естественное подозрение у окружа-

ющих, то решил отложить эту затею на крайний случай. Кроме того, без бушлата мне пришлось бы целую неделю валяться на голой полке. Для меня это не было бы тягостным, к жесткому я давно привык, но коль ты пассажир — чем-то все же должен походить на пассажира, значит, следует иметь минимальную экипировку. Да и костюм было жаль затаскивать, все же он пока у меня «выходной».

Днем я побродил по городу, а потом дошел и до станции, чтобы пооглядеться и посмотреть расстояния по карте. Размышляя о дальнейшем пути, я очутился на пустующей площади у одного из привокзальных ларьков не то с квасом, не то с галантереей. Перед окошком ларька увивался бравый молодец в полувоенной форме, вовсю стараясь завлечь в свои сети молоденькую продавщицу. Ухажер стоял ко мне спиной, играя всем своим гибким станом. Я остановился в пяти шагах и, не сдержав любопытства, стал наблюдать за развитием романа.

Заметив, что его подруга смотрит куда-то ему за спину, молодец машинально обернулся и посмотрел на меня отсутствующим взглядом, продолжая что-то говорить ей. Однако, увидев его, я почувствовал, как ноги мои начинают подкашиваться, а тело покрылось холодным потом. Передо мной стоял охранник колонны № 71, который год назад не однажды водил нашу бригаду на постройку штакетной ограды. Он смотрел на меня, а я на него, как кролик на удава, и если бы его мысли не были заняты другим, он бы сразу заметил, как побледнело в ту минуту мое лицо и какой животный страх выражали мои расширенные глаза...

«Узнал или не узнал?» — думал я в эти мгновения, сделав огромное усилие, чтобы отвернуться. Кажется, я все же сумел выдавить подобие поощрительной улыбки по его адресу, повернулся и пошел, едва отрывая чугунные ноги от земли.

Между тем мой охранник снова оборотился к улыбчивой ларечнице, не придав, вероятно, мне никакого значения. Я же, придя в себя, по здравом размышлении рассмеялся над собой: «Эх и болван же ты, братец! Вот уж истинно — пуганая ворона и куста боится!»

В лагере все мы выглядели одноликой массой, зэками без имен и фамилий. Всякий охранник отвечал не персонально за Иванова и Сидорова, а за количество сданных под его охрану заключенных. А какие они? Серые, стриженые и без очков. Здесь же он был не охранником, а обычным безответственным обывателем и пе-

ред собой увидел тоже обывателя, да еще и в очках... Но не раз вспоминал я об этой встрече, не забыл ее и теперь.

Когда я потом рассказал обо всем Балашову, он не на шутку встревожился и даже вспылил:

— Ну зачем тебя понесло на станцию?! Чего ты там забыл?

В тот же вечер Катя вручила мне билет до Кирова (бывшая Вятка). Через сутки, рано утром еще в потемках, Михаил проводил меня до станции. В ожидании поезда мы грустили, не находя слов для разговора. Оба мы знали, что жизнь моя впереди ничего радужного не сулит. Удастся ли где-то прижиться и в качестве кого? Обещать друг другу мы ничего не могли, даже писем, потому что и переписка со мной могла обернуться трагедией для всех. Было ясно одно: мы расстаемся с ним навсегда, во всяком случае на многие годы. Когда подходил поезд, мы по-братски крепко обнялись... Потом я с подножки вагона смотрел сквозь слезы, как уныло он стоял на низком перроне, махал мне старой форменной фуражкой, а другой рукой вытирал глаза. Затем его фигура растворилась в утреннем тумане, и я потерял еще одного хорошего товарища и друга. Четвертого за две недели. Не слишком ли много потерь?..

В ближнем от входа купе, где я занял багажную полку, ехали отпускники и командированные, на нижней полке — женщина моих лет, инженер-геолог, с путевкой на побережье Крыма. Через сутки пути, где-то между Новосибирском и Омском, когда мои соседи стали удивляться тому, что у меня почти нет никаких вещей и я не принимаю участия в общих трапезах, мне пришлось рассказать им в горестных выражениях выдуманную и уже ставшую привычной для меня легенду обобранного перед Шилкой прораба из Комсомольска, историю, все более обраставшую событиями и фактами.

— И вот я еду, но еще не знаю, доеду ли,— продолжал я излагать истину, перемешанную с неправдой.— Скажу вам откровенно: билет у меня взят только до Кирова, а как и на что поеду дальше — не знаю. На работу, как известно, даже на временную, без связей и знакомства беспаспортному рассчитывать трудно. Простойные вагоны с грузами и запущенные свинарники здесь встречаются нечасто...

Последняя фраза всех рассмешила, после чего меня дружно пригласили к столу. Спутникам моим вскоре стало известно и о других подробностях моей биогра-

фии: в Ленинграде у меня живут мать и замужние сестры с детьми, а сам я пока не женат.

— Ну вот этому уж никто не поверит,— сверкнув улыбкой, заявила геолог.— В таком возрасте, да еще в Ленинграде, и вдруг — не женаты! Уж не сочиняли бы...

В этом вопросе я действительно не врал: жена от меня отказалась.

— А что же тут особенного? — вмешался один из пожилых спутников, запивая кислым лимонадом зачерствелый бутерброд.— Если он строитель и всю жизнь ездит с одной стройки на другую, ничего удивительного я не вижу. Конечно, не без временных привязанностей, не так ли? — обратился он ко мне.— Да и по внешности видно, что над ним давно не было женского присмотра...

Приятные на эту тему разговоры за едой на другой день кончились тем, что наша курортница вдруг предложила мне взаймы деньги.

— Что вы, что вы! — запротестовал я.— Заем в таких условиях все равно что подарок. Ведь я могу их вам вернуть и не вернуть — гарантий никаких нет!

— А я вовсе и не рассчитываю на возврат. Просто я имею возможность помочь вам небольшой суммой. Это меня не разорит. А вам принесет пользу. Ну берите же, берите.— И молодая женщина сунула мне в нагрудный кармашек целую сотню рублей.

Да, бывает в жизни, когда случай сводит двух незнакомых людей, и, глядишь, протянулась незримая ниточка от одного сердца к другому... С каким невыразимым чувством я записал себе ее адрес. Дал и свой ленинградский адрес, увы, вымышленный, так как не знал еще, где будет проживать Леонид Сергеевич Истомин, каковым я представлялся... А в это время подлинный Истомин, ничего обо мне не зная, продолжал жить и овладевать науками в столице Армении.

В Свердловске мы сердечно расстались. Все они поехали на Москву, а я сошел, чтобы пересесть на поезд, идущий по северной дороге.

## У последнего перегона

Итак, я в городе Кирове. Потребовалось более двадцати дней, чтобы добраться от Сковородина до этого города, где я оказался на прочном якоре. Я проехал почти всю Российскую Федерацию с востока на запад. Пересек де-

сять областей и Бурятскую автономную республику. А дальше — стоп, тупик. Позади — около семи тысяч километров, а впереди — еще полторы, отделяющие меня от цели, но этот сравнительно небольшой отрезок оказался самым трудным. Билеты в Ленинград здесь продавались только при наличии паспорта с ленинградской пропиской или по командировке...

Почему я задумал ехать в Ленинград, а не в какой-нибудь другой, более доступный город? Ответ простой: в этом крупнейшем городе мне легче затеряться и меня труднее найти. Кроме того, здесь живут мои кровные родные, которые помогут мне. Ни в Калининскую, где я родился, ни в Ярославскую область, где я жил и работал до двадцати лет, мне ехать нельзя, потому что именно там будут меня разыскивать. О Старой Руссе и думать нечего. Только многомиллионный Ленинград может меня спасти от нового ареста и водворения в места, может быть даже более отдаленные...

И вот этот город почти рядом и в то же время недосягаемо далеко. В кассе мне билет, естественно, не продали. Я сижу в скверике у привокзальной площади в самом мрачном настроении. Как же мне выйти из положения? День двигался к полудню, а затем и к вечеру, а я все сидел на скамейке или ходил вокруг нее как на привязи и ломал голову, как же быть. Или не быть.

И тут до моего слуха стал доходить разговор какой-то молодой пары, присевшей на противоположной скамейке.

— Ну и что же? — говорил мужчина.— Доедем и так, важно, что билеты купили!

— Все же это мне не нравится — в комбинированном. Один сиди, другой лежи,— отвечала ему с недовольством женщина, видимо жена.— Ведь до Ленинграда не час езды!

— Но, Клавочка, ты же сама видела, что делается у кассы?! Все равно выбора у нас не было.

Он стал закуривать, а я, как охотничья собака, почуявшая дичь, поднялся со своего места и, вынув папиросу, решительно направился к этой паре.

— Разрешите прикурить! — обратился я к мужчине.

Тот был в хорошем настроении оттого, что злополучные билеты лежали у него в кармане. Он охотно зажег для меня спичку и, видимо чтобы покончить со своим неприятным разговором, спросил:

— Транзитный пассажир или местный житель?

— Транзитный, только, увы, безбилетный.

— А куда едете? — спросила его подруга.

— В город Ленина.

— Почему же безбилетный, если транзитный?

Я в отчаянии махнул рукой: дескать, не спрашивайте, и без того тошно.

— Нет, все же интересно, почему без билета? — настаивала она, видно еще не остыв от своей билетной эпопеи.

— История длинная и едва ли для вас будет интересной,— отвечал я, ни о чем так сейчас не мечтая, как о внимании к собственной персоне.

Так что же со мной случилось? Супруги готовы были меня выслушать, и я не дал долго себя уговаривать.

— Вы ленинградцы? — на всякий случай уточнил я.

— Да,— быстро сказал мужчина.— Не коренные, правда. Но живем все же более пяти лет. А уроженцы здешние.

— А где работаете, если не секрет?

— Я — на фанерном заводе старшим техником в отделе главного технолога, а жена — медицинской сестрой в поликлинике,— охотно сообщил мужчина и протянул мне руку: — Будем знакомы, Борис Ильичев, а это моя жена.

— Клава,— мило улыбаясь, ответила его подруга.

— Истомин Леонид Сергеевич, инженер,— нисколько не смущаясь, ответил я.— Рад с вами познакомиться, хотя наше знакомство будет мимолетным.

— Почему же мимолетным? — полюбопытствовала Клава.

— Потому, что вы сегодня уезжаете, а я остаюсь здесь на весьма неопределенное время. Я же безбилетный.

— Во-первых, мы едем не сегодня, а лишь через неделю,— сказал мой новый знакомый, зажигая потухшую папиросу,— а во-вторых, может, что-нибудь придумаем для вас. Не принято у ленинградцев оставлять земляков в беде.

— Так вы из самого Кирова?

— Нет, из района. Из-под Котельничей,— сказал мой знакомый.— Там живут мои родители. Мы проводили у них отпуск.

— Но Котельничи, если я не ошибаюсь, находятся почти в ста километрах отсюда в сторону Ленинграда,— сказал я.— Почему же вы здесь брали билеты?

— В Котельничах можно купить лишь общие билеты. Плацкартных мест на промежуточных станциях не достанешь. А здесь бывают...

Молодые ленинградцы располагали к полному доверию, и мне хотелось рассказать им все начистоту. Однако чувство самосохранения остановило меня.

— Мы с вами почти сослуживцы,— обратился я к Борису,— и, пожалуй, могу назвать несколько известных нам обоим фамилий. Вы Громова знаете? Слышали о таком?

— Это бывший управляющий «Фанертреста»?

— Да, именно он. Затем Смирнов, главный инженер этого треста.

— Как же, как же!.. Но Громова давно уже нет в тресте, как и в Наркомлесе.

— Где же он теперь? — спросил я, впрочем уже и сам догадываясь.— Я порвал с фанерным производством пять лет назад и, естественно, не следил за продвижением кадров.

— Да нет, тут дело не в передвижении. В тридцать седьмом году была раскрыта какая-то вредительская организация в «Фанертресте», и участников ее арестовали. В числе арестованных был и Громов. Его, кажется, расстреляли, а Смирнов, как выдвиженец Громова, долго подвергался разным притеснениям, пока снова не вернулся на Старорусский завод. А вы откуда их знаете?

И я рассказал о своей недолгой работе на Старорусском фанерном комбинате, только не в качестве секретаря парткома, как было в действительности, а в должности старшего строителя.

— Человек я, к счастью, был тогда одинокий, долго сидеть на одном месте не любил, как и многие молодые люди, ищущие свое призвание и место в жизни. А тут я услышал хорошие вести о Комсомольске-на-Амуре и решил туда махнуть. Было это в начале тридцать седьмого года. Проработал я там безвылазно более трех лет, заработал кучу денег, получил отпуск чуть ли не на полгода, а он, как видите, задерживается...

— Так что же все-таки случилось? — спросила Клава с неподдельным интересом.

— Да, давайте уж все откровенно, начистоту! — сказал Борис.

Пришлось поведать им все ту же версию своих приключений с кражей документов и денег. Упомянул и Балашова, как случайного знакомого, оказавшего мне услугу.

— Вот теперь сижу здесь и жду манны небесной. Деньги на билет есть, но без документов его не купить.

Похоже, моя история задела за живое, и Борис о чем-то задумался.

Прошли тягостные, мучительные для меня мгновения, решившие в моей жизни многое.

— Знаешь что, Клава,— вдруг сказал Борис,— давай пригласим к себе Леонида Сергеевича, если, конечно, он не возражает.— И он вопросительно посмотрел на меня.

Я кивнул в знак согласия.

— Вот и хорошо,— продолжал он.— У нас там, правда, не ахти что, но все же природа, а у вас все равно отпуск. Походим в лес по грибы да подумаем, как вам добираться до дому.

— Может быть, в Котельничах купить мне билет? Там же у вас и знакомых больше, чем здесь...

— А ведь это идея! — воскликнул Борис.— Уж какой-нибудь, хотя бы входной, стоячий, а купим. До Волховстроя или до Мги всяко сумеем купить.

— Ну а оттуда и пешком можно дойти! — повеселел я, прикидывая, что они могут взять билет и до Понтонной, где сами жили.

— Значит, едем к нам? Решено? — спросил Борис.

— Спасибо вам, мои милые друзья-земляки! — воскликнул я, глубоко тронутый их вниманием и доброжелательством.

И вдруг чувство презрения к себе опалило меня. Я испытал порыв встать на колени перед этими милыми людьми и просить прощения за обман. Но что было делать? Ведь я был политический беглец, сталинский каторжник урожая 1937 года. Мой арест и моя каторга сами по себе были порождением лжи. Так не садиться же мне снова в тюрьму во имя этой черной неправды!

Час спустя мы уже все вместе ехали в Котельничи. Предпринятая в тот же день попытка Бориса купить билет не увенчалась успехом. Но он не унывал и, как бы соревнуясь в борьбе с трудностями, на другой день с раннего утра собрался в поход.

— Сегодня билет будет,— хитро подмигнул он.

Клава сказала по секрету, что Борис ушел «нажимать» через райком. Там у него работал давнишний приятель, и если тот не в командировке — поможет.

Перед обедом Борис наконец вернулся. Он еще издали помахивал билетом:

— До Понтонной зеленая улица обеспечена! Вместе

с нами до конца и в одном вагоне! От Понтонной до Ленинграда всего двадцать три километра на «подкидыше».

«Подкидышами» звались до войны пригородные поезда на недалекие расстояния. А в них и без билета ездят... У меня гора свалилась с плеч: теперь я наверняка буду в Ленинграде.

Дни, проведенные в семье Ильичевых, были самыми светлыми за эти три минувших года. Погода стояла на редкость сухая и теплая после недавно прошедших дождей. С раннего утра, еще засветло, мы уходили далеко в лес, прихватив с собой малышей, племянников Бориса, и по краюхе душистого домашнего хлеба с чудесными малосольными огурцами. Домой возвращались с полными корзинками грибов и ягод.

Вся семья Ильичевых — отец и мать, имена которых, к сожалению, уже позабылись, а также семья его старшего брата, жившая в другой половине пятистенки, относились ко мне и моим бедам так же, как и большинство русских людей относится к несчастью ближнего. За стол садились впятером, хозяйка наливала всем из одного горшка, чай пили из одного самовара. Единственным моим вкладом в общий котел были ягоды и отличные грибы, собирать которые я умел с детства. Кроме того, мы с Борисом в эти дни успели перебрать всю штакетную ограду палисадника, сменить в ней несколько столбов и даже напилить дров на зиму.

В воскресенье, накануне отъезда, я продал на местной толкучке ненужные теперь бушлат и баул. Гимнастерку и брюки я аккуратно завернул в газету и перевязал бечевкой: еще пригодятся.

Так в атмосфере теплоты и дружбы пролетело это солнечное время среди добрых людей. Потом — более суток в переполненном поезде до Понтонной, где мы и расстались. Доехать до самого города не составило большого труда.

Вот наконец и платформа вокзала. Ленинград. Поезд остановился, и я почти бегу под своды знакомого здания. Выйдя из подъезда на широкую площадь, я с облегчением вдыхаю полной грудью и только по мокрым щекам и ряби в глазах понимаю, что плачу от нахлынувшей радости.

Мой долгий и тернистый путь окончен. Озираясь с боязнью на каждого милиционера, я спешу на трамвайную остановку и с нетерпением жду нужный мне трамвай № 24 до Театральной площади.

Так закончился второй этап моей жизни и начинался третий — тревожная жизнь под чужим именем в социалистическом обществе, которое и я строил.

# Глава шестнадцатая

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
В своей стране я словно иностранец.

Сергей Есенин

## Родные и друзья

Радость счастливой встречи описать невозможно, как невозможно описать воскрешение из мертвых. С сестрами и зятьями, как и их детьми, отношения у меня всегда были сердечными и искренними. Расстояние от Ленинграда до Старой Руссы не такое уж большое, оно нас никогда надолго не разделяло. Каждое лето мы встречались в Старой Руссе, только летом 1937 года зятья не застали меня...

Временное пристанище я нашел у старшей сестры Поли. Она, муж ее, Павел Иванович, и двое детей жили в заднем темном дворе дома № 57 по проспекту Римского-Корсакова, занимая на четверых комнату в пятнадцать метров в коммунальной квартире, где жили еще две семьи. Младшая сестра Маша с мужем Сергеем и тоже с двумя детьми жили напротив, под крышей здания бывшей Финской церкви, стоящей на месте и по сей день против дома № 57. Там, в церкви, была самостроем оборудована на чердаке квартирка из двух комнат, одну из которых и занимала семья Маши. Там было еще теснее... Павел работал прорабом на заводе, и теплилась надежда получить через него какую-то работу. Читатель может себе представить, каково было жить впятером в такой комнатушке, где на ночь надо было устраивать минимум три постели.

Через несколько дней приехали из Старой Руссы заметно постаревшая мама и возмужавший брат Михаил, которому исполнилось 26 лет. Они привезли мне все необходимое из белья и одежды, что сумели сохранить. Теперь я внешне снова ничем не отличался от других. Ничем, кроме одного: у меня не было права на житель-

ство, а стало быть, и права на работу и жизнь. Я стал человеком вне закона, или, как говорили в старину, человеком вне прав и состояния.

В кругу моих близких уже с первых минут нашей встречи стал обсуждаться вопрос о легальной возможности моего существования. Конечно, я могу жить у сестер, невзирая на вопиющую тесноту, но я ведь не мальчик, а взрослый человек,— надо работать, чтобы содержать себя и мать. Помнится, уже в первый вечер я вдруг спросил у матери, озаренный пока еще не определившейся новой мыслью:

— А в каком состоянии наш брательник Николай?

Это был мой младший брат, уже семь лет находившийся на излечении в психолечебнице под Псковом по причине острой эпилепсии.

— С Колей все хуже и хуже,— ответила мать, и в глазах ее появились слезы.— Последний раз он был у нас два года назад в сопровождении медсестры и выглядел совсем ненормальным. Ведь ему уже двадцать четвертый год пошел... А в прошлом году я сама к нему ездила, да только еще пуще расстроилась: уж больно жалким и несчастным он выглядел... Отпускать его из больницы больше не будут, как несамостоятельного.

Я понимал мать: говоря о Николае, она думала и обо мне. Ее сыновья, и младший и старший, были по-своему несчастны, и она не видела способов помочь им. Вот тогда и возникла у меня идея присвоить себе имя брата. Эта мысль имела довольно прочное основание и могла, в случае осуществления, дать мне право на законное бытие на этом бюрократическом свете.

...Мои родители, малоземельные крестьяне, до 1910 года жили в Тверской губернии, имели там дом со двором, гумно с сараем, лошадь, корову, овцу и небольшой надел земли. Оба состояли во втором браке, причем отец имел от первой, умершей жены двух, уже взрослых, дочерей, почти на выданье, а мать моя, в свою очередь, принесла в приданое пятилетнюю дочку Полю, овдовев в двадцать лет. В 1905 году, в год их свадьбы, матери было двадцать пять лет, а отцу почти пятьдесят. Через год после свадьбы родился я, долгожданный сын в девчоночной семье, шестой рот, как говорится в народе о многодетных семьях. А сколько ртов могло быть еще впереди?..

Крестьянину всегда надо было думать прежде всего о земле-кормилице, и, если надел мал для прокормления семьи, нужно искать побольше. В 1910 году отцу по-

сле долгих поисков удалось сторговать у бездетного бобыля старый, вросший передней частью в землю домишко с усадьбой и небольшим наделом земли в деревне Чопорово Угличского уезда соседней Ярославской губернии, куда в марте и переехала вся семья со всем движимым имуществом и скотом, продав на родине всю недвижимость, включая и земельный надел.

В следующем году здесь родилась сестра Мария, через три года появился на свет Михаил. Но перед тем обе дочери отца от первого брака вернулись на свою родину и вышли там замуж. Тем не менее численность семьи сохранялась на уровне шести едоков, из них трудоспособных практически двое — отец и мать, так как Поле было всего тринадцать лет... В осеннюю пахоту 1916 года отец неожиданно умер, оставив маму с малыми детьми и в беременности. В мае 1917 года родился мой второй брат, Николай.

Год был трудным: еще не закончилась опустошительная первая мировая война, совершилась Февральская революция. Незадолго до смерти отца сестра Поля уехала в Петербург и поступила в няньки-прислуги, таким образом старшим в семье после матери был я, десятилетний «кормилец». Вот как получилось, что только я в этой семье родился в Тверской губернии, тогда как все младшие были уроженцами Ярославской. Именно это обстоятельство и легло в основу идеи присвоения имени брата Николая, фактически отрезанного от семьи навсегда и из-за болезни не имевшего паспорта. Следовало лишь обдумать в деталях способ оформления гибридного документа, отображающего биографические данные двух братьев, родившихся в разное время и в разных местах.

Но пока эта идея созревала, а затем многократно обсуждалась в семейном кругу, надо было жить и где-то работать. Теперь я был не один: матери в прошлом году исполнилось шестьдесят лет, и годы тяжелых переживаний за двух сыновей состарили ее еще больше. У Михаила, с которым она жила эти годы, имелась своя семья и свои заботы — двое малых детей. Мне нужны были деньги на поездку в ярославскую деревню. И тут мне помог мой зять Павел.

В то время он работал прорабом-строителем на заводе, который выполнял срочный заказ военных; заказ выполнялся под его руководством. Делалась значительная партия деревянных снегоочистителей для очистки аэродромов от снега. Павел знал о моих плотницких успехах и предложил мне попробовать себя на этом зака-

зе. Между прочим, Павел Иванович Филиппов в середине первой пятилетки руководил переделкой бывшей немецкой кирхи, что стояла на улице Герцена, 58, из которой и получился затем Дом культуры работников связи. Он мне предложил:

— Приходи, погляди, как делают эти сани, познакомься с чертежами, и, если возьмешься, я кого-нибудь оформлю, а работать будешь ты.

Получалось вроде того, что было в Боготоле. Павел пояснил, что цех этот не режимный, расположен вне территории завода и работают там по преимуществу в вечернее время.

Так уже на третий день пребывания в Ленинграде я обзавелся нужными инструментами и приступил к работе. В этом временном цехе работало человек семь.

Снегоуборщики имели весьма хитроумную конструкцию и вместе с тем были технологичны в изготовлении. При известном навыке плотник средней руки мог их изготовить в течение трех дней, а расценки были весьма высокие.

Здесь я впервые понял, что, несмотря на мирный договор с Германией, страна, пусть и с запозданием, начала готовиться к обороне: где-то строила новые аэродромы, которые требовалось в зимнее время очищать от снега...

За двадцать дней работы я изготовил и сдал на «отлично» пять саней, и уже набил руку, но опытная партия саней была закончена, и, к великому моему сожалению, я снова стал безработным.

Но и жизнь торопила к легализации. В Ленинграде, где я когда-то учился и куда часто наезжал, у меня была масса знакомых, встреч с которыми я опасался. Были знакомые и среди соседей сестер. Все они знали, где я жил и кем работал до ареста, и длительное пребывание у них на глазах, а не в Старой Руссе могло навести их на ненужные размышления. Обидно, что я должен был сторониться хороших людей. Многие при встречах мне говорили:

— Сколько невинных ни в чем позабирали и посадили, а выпускать что-то не торопятся... Посчастливилось вам, Иван Иванович. В рубашке родились, что скоро вышли оттуда...

Если бы они только знали, в какой рубашке обрел я себе свободу! Не ровен час, кто-нибудь подумает, почему это Ефимов не едет к себе, а живет здесь и ходит куда-то в спецовке. И среди добрых людей мог найтись

«бдительный», который заподозрит неладное... Фискальство процветало. Сталин и Берия были в полном здравии...

Надо было немедленно ехать в родную деревню и добывать какие-то права на жительство. В Ленинграде жило немало ярославцев, в том числе моих земляков. Через них и можно было навести справки о наших общих знакомых, еще живущих на родине. За несколько дней до моего отъезда мы с Машей побывали в одной хорошо знакомой семье, которая каждое лето наезжала в деревню рядом с нашей. Ехали мы к Мироновым без боязни, решив сразу же сообщить, что я реабилитирован. Алексей и Катя Мироновы имели троих детей. Он работал проводником, а Катя хлопотала по дому. Жили они более чем скромно. Жизнь во всем дорожала, хотя о социализме, уже якобы построенном в нашей стране, было объявлено официально на весь мир с самых высоких трибун...

Наш визит к землякам дал достаточную информацию обо всех, кто мне мог потребоваться в моих хлопотах. Я сказал, что хочу навестить друзей и знакомых и немного отдохнуть.

Собирая меня в дорогу, мать говорила:

— Поезжай, Ванюша. Люди помогут встать на ноги, не обидят. Белый свет держится на добрых людях, а не на злых, а людей добрых всегда больше, чем недобрых.

И вот я снова в пути. Что ожидает меня в родных местах, где я не был восемь лет, с тех пор как в 1932 году, по окончании комвуза, ездил туда за мамой и Николаем, чтобы навсегда увезти их с собой? Много ли осталось там моих товарищей по трудной комсомольской жизни? Как они встретят меня, зная, что три года назад я был репрессирован и угодил в лагерь? Я думал о своем друге со школьной скамьи Леше Муравьеве. Несколько лет мы с ним пастушили, пастухами нас приняли и в комсомол в 1922 году. В 1925 году наши пути разошлись: меня направили на политпросветработу, избачом в соседнюю волость, еще через четыре года командировали учиться в областную совпартшколу, а затем в комвуз. Потом — партийная работа и журналистика. Муравьев же остался крестьянствовать в своей деревне Пазухино, а в годы коллективизации выдвинулся на работу в Радищевский сельсовет. Рассчитывал я на помощь и Федора Чистякова, бывшего соседа, первого комсомольца и первого коммуниста из нашей деревни. С того же двадцать пятого года он на советской работе, теперь, кажется, в райцентре в Угличе.

Поезд-тихоход под утро довез меня до Калязина и ушел на Москву, а мне следовало дождаться, когда из Углича придет «подкидыш» в три вагона по новой ветке, проложенной в период постройки Угличской ГЭС. А прежде заштатный городок, бывший уездный, затем районный центр, был связан с внешним миром лишь великой матушкой Волгой, мелевшей здесь каждое лето так, что и пароходы не ходили, а кроме реки — булыжным большаком, обсаженным березами.

Эта старинная дорога Углич — Рыбинск — Ярославль существует и поныне, только каменное полотно ее поизносилось и местами разрушилось, и слышен на ней не грохот крестьянских подвод, а гул редких грузовиков. Большинство старых берез отжило свой век, остались от них лишь трухлявые пни, да пошла в рост ольха. Новых посадок на дороге я не видел.

Углич почти не изменился за две с лишним пятилетки. Как и раньше, его украшали десятки многоглавых закрытых соборов и церквей, и лишь чуть-чуть выше по Волге «красовались» несколько зданий электростанции и внушительная плотина-мост через Волгу вместо старого деревянного парома. Впрочем, были и другие изменения. Я глянул и похолодел: недалеко от гидроузла раскинулись концлагеря Волгостроя, окруженные заборами и сторожевыми вышками.

Даже здесь, в центре Древней Руси, и ниже, по всей Волге, протянул свои щупальца спрут всесильного всесоюзного ведомства НКВД. Жутко мне стало от вида этих ненавистных заборов с колючей проволокой среди чистых русских опрятных деревень, лесов и пажитей, по соседству с творениями древнего русского зодчества. Бежать, бежать из города, по улицам которого я когда-то бодро шагал в чоновском отряде и с которым была связана моя комсомольская юность...

От Углича до нашей деревни было двадцать верст. Попутных машин не было видно, и я, приспособив свою сумку за плечами, пошел по знакомой дороге. По ней надо было идти верст пять, потом свернуть на проселочную вправо. Вышел я из города около полудня, а часам к четырем уже входил в знакомое с детства село.

На самом его краю раньше стояло приземистое, под железной крышей, деревянное здание Народного дома. Оно было построено незадолго до революции на средства местного кредитного товарищества. Здесь когда-то был центр всех массовых культурно-просветительных

мероприятий села и округи. Особенно притягивал этот дом с конца первой мировой войны, когда из больших городов голод прогнал в деревни всех ярославцев с семьями и домашним скарбом. Молодежи появилось вокруг столько, что Народный дом почти всегда был полон, особенно в долгие зимние вечера. Теперь его не было. Как я потом узнал — сгорел от неизвестной причины.

От этого места широкая улица-дорога пересекала село с запада на восток. По обе ее стороны раньше стояли опрятные, в густых палисадничках, крестьянские дома, окна и карнизы которых были разукрашены затейливой резьбой старых умельцев. Ближе к центру дорога расширялась и раздваивалась, делая большую петлю вправо. В центре этой петли размещалась церковь с просторным кладбищем за оградой, рядом — торговые ряды с коновязями, больница и двухэтажное здание школы, ранее — двухклассной церковноприходской с пятилетним сроком обучения, в которую я начал ходить осенью 1914 года.

Вокруг красивой церкви Николы Мокрого была обширная площадь, по краям которой стояли самые большие и красивые полутораэтажные и двухэтажные дома, прежде занимаемые почтой, чайной, библиотекой, а также сельской «знатью» — интеллигенцией и священнослужителями. Впрочем, все это было в далеком прошлом, когда в селе проживало около пятисот человек; было оно волостным центром, справлялись здесь весело все древние русские праздники, включая рождество, масленицу с катаниями вокруг кладбища и пасху...

Теперь село выглядело тихим и безлюдным, вымершим. Уже давно вернулись в города все прежние горожане, за ними в большой мир потянулись и другие, здесь же остались доживать свой век лишь старики. На месте сожженных деревянных торговых рядов с коновязями стояла одноэтажная сельская лавка, двухэтажное старое здание бывшего волостного правления занимали сельсовет и библиотека-читальня; каменный дом с деревянным мезонином, где раньше была чайная, теперь назывался Дом крестьянина.

В чайной сидели три незнакомых мне мужчины и лениво попивали чай вприкуску. Буфетчицы я тоже не знал. В мезонине теперь было общежитие, но остановиться там я не мог: для ночлега надо было предъявить паспорт. Как осложнилась жизнь в моем Отечестве! За истекшие десять лет здесь изменилось многое: я никого

не узнавал, не узнавали и меня. Все как-то помельчало, даже удивлявшая всех церковь с высоченной колокольней теперь показалась как бы вросшей в землю и какой-то притихшей...

В сельсовете, в первой комнате, за столом сидела незнакомая миловидная женщина лет тридцати. Я поздоровался.

— Вы из района?— спросила она, принимая деловой вид.

— Дальше,— загадочно ответил я.

— Неужели из области?— уже тревожнее прозвучал ее голос. Она чуть привстала с места, щеки порозовели.

Я ободряюще засмеялся:

— Куда там из области, почти из центра! Из Ленинграда я.

— А вот как! По какому же делу?— повеселев, спросила женщина и села на свое место.

— А я в гости приехал. Ведь я здешний. Нахожусь в отпуску и решил навестить свою родину, друзей и знакомые места. Кто у вас теперь председателем?

— Муравьев.

— Алексей Алексеевич?!

— Он самый. Только сегодня его не будет. С утра отправился по колхозам и сказал, что вечером пойдет прямо домой.

— В Пазухино? Он все еще там?— спросил я, как будто не зная, где живет Муравьев.

— Да, в своем доме.

Я сказал, что моя деревня рядом и мы с детства были с ним большими друзьями. Даже в школе сидели на одной парте.

— Вот обидно-то, что не застали.

— Ничего страшного. Я все равно собирался к нему домой.

Так я познакомился с секретарем сельсовета. Звали ее Верой Петровной, и была она родом из самой дальней деревни Большая Дуброва и поэтому знать меня не могла. Однако она живо обрадовалась, когда я назвал свою деревню и несколько известных в свое время фамилий местных работников и активистов.

— Теперь почти никого не осталось. Один только Шульгин еще держится, да и того давно сманивают в район.

— А где он работает?

— Директором здешнего маслозавода... Не работа, а мученье. Заводик небольшой, поставка молока идет с

перебоями. А вы же Шульгина знаете — он на месте сидеть не будет: как был кипучим, так и остался... Таких мало теперь.

— Наше племя!

— Да, ваше... Часто сам ездит и за экспедитора, и за заготовителя. Он живет тут, в Радищеве, в бывшем поповском доме.

Провел я в сельсовете больше часа, а затем собрался в Пазухино.

Проезжей дорогой жители четырех заречных деревень пользовались только в летнюю пору, если надо было ехать на колесах. Пешеходы же испокон веков ходили по тропе, проторенной поперек запаханных полос радищевских хуторян. И никакие рогатки и прочные изгороди, устанавливаемые между полями владельцами земель, дела не меняли: тропа жила как бы сама по себе. Ее перепахивали, а она сразу же возникала вновь и вновь, и ею пользовались все, от мала до велика, жители деревень, расположенных за речкой Кисьмой.

Эта речка петляла с юга на север куда-то к Волге по неширокой низменности, поросшей непролазной ольхой и брединой, и поила своей водицей всех живущих в ее долине.

Но эта тропа лишь на треть шла поперек пашен, ближе к реке она спускалась на заполоски и луга, а против Чопорова и Пазухина торилась уже по негодной низине и кочкарнику. По этой тропе я не ходил ровно десять лет, и вот судьба заставила снова вернуться в эти края.

На половине пути, против нашей деревни, что виднелась как на ладони за речкой, метрах в пятистах, я выбрал кочку посуше и присел покурить. Солнышко грело в спину и хорошо освещало заречье и нашу поредевшую от частых пожаров деревню, а правее ее, в пойме реки,—ольховый лес, почему-то называемый Грачами. И память неотвязно повела в прошлое — в полунищенское детство, отрочество и комсомольскую юность.

## Смерть отца

Наш отец умер неожиданно в самый разгар осенней пахоты 1916 года, не успев закончить посев озимых, за полгода до рождения третьего сына, Николая. Его смерть была самым страшным ударом для всей семьи. В тот день отец вернулся с поля рано, после обеда, ка-

кой-то усталый, робкий, напуганный и беспомощный, с землистым цветом лица. Таким мы, дети, не видели его никогда и испугались.

— Где мать?— спросил он нас тихо, повалив плуг набок, а вожжи закинув на спину Гнедому.

— Ма-а-а-ма!— закричала Маруська и опрометью побежала к калитке.— Мама, иди скорее, тятя приехал!..

Мать, всполошенная внезапным возвращением отца, торопливо вышла из загоро́ды, на ходу вытирая руки о холщовый передник:

— Что с тобой? Почему сегодня так рано?

Отец посмотрел на нее как-то особенно пристально, потом на нас, как на посторонних, и тихо ответил матери:

— Что-то худо мне стало... Распряги лошадь и пусти на гумно, а я пойду и прилягу на полчасика...

С большим трудом поднялся он по ступенькам крыльца, в сенях по привычке снял сапоги с налипшей землей, повесил на гвозде у двери пиджак и картуз, босиком вошел в избу. Я испуганно, как тень, молча следовал за ним с неясным предчувствием какой-то беды.

— Тять, ты заболел?— тихо спросил я.

— Заболел, Ванятка, тяжело мне, тошнит.

Отец побрел в спальню, за шкаф, и лег не раздеваясь поверх одеяла, в верхней рубашке и грязных штанах, чего с ним никогда не случалось. А я сбегал к рукомойнику и принес из-под него рукомушку. Поставив ее на пол перед кроватью, я спросил:

— Маму позвать?

— Позови, пусть придет.

И больше он с постели не встал.

А по деревне уже ползли и ползли зловещие слухи:

— Ивана Ефимова мужики попугали...

— Как попугали? За что?

— Лишний вершок от межи прихватил плугом к своей полосе.

— До земли-то он больно жадный.

— Может, и не зря попугали...

— Будешь жадным... Вон у него сколько ртов.

«Ртов» в нашей семье в ту осень было только пять, считая и взрослых. Поля еще зимой уехала в Петербург и удачно поступила в няньки в одну приличную семью, а Паша после жатвы поехала в Тверскую губернию к старшей сестре Анне помочь по хозяйству. Но все равно наш земельный надел мог плодить лишь нищих или батраков.

— Кто же его постращал? Пуглив он больно.

— Говорят, Николай Трубка... Да кто-то из Щадиных.

Очевидцы и свидетели вскоре нарисовали полную картину случившегося на поле.

Объезжая с плугом последнюю, зачистную борозду, отец случайно или с намерением прихватил лемехом и привалил к своей полосе четыре-пять вершков ничейной земли. Пахавшие рядом мужики, увидев это, будто бы кричали ему, что, дескать, не дело он делает, но тот как бы не слышал, продолжая спокойно идти за плугом, вольно или невольно нарушая установленный порядок землепользования, суровое право частной собственности. Николай Чистяков первым подбежал к отцу:

— Ты что, не видишь, так твою мать, куда прешь своим плугом?!

Он схватил отца за пиджак и стал трясти его, не выпуская кнута из левой руки и нещадно ругаясь. Чистяков, прозванный Трубкой за то, что, заядлый куряка, он признавал только трубку, был невысок ростом и не был ни силен, ни ловок, но задирист и криклив, как бешеный петух.

Будь отец посмелее и погрубее, он отпихнул бы Чистякова шутя, а мог и сдачи дать. Но он по природе своей был добрым и неспособным на насилие, даже при самозащите.

— Да ты что, Николай, да разве я... Отпусти меня, ради бога, отпусти!— испуганно бормотал он, силясь оторвать от себя клещом вцепившегося соседа. А тот, чувствуя робость отца, продолжал наскакивать на него, держа одной уже рукой за ворот рубахи, а другой пытаясь ударить кнутовищем.

— Я те отпущу, тверской черт! Я те научу, как припахивать себе чужую землю!— остервенело голосил Чистяков, матерясь и как бы подзывая к себе соучастников.

Побросав лошадей, размахивая кнутами, бежали от своих полос рослые братья Щадины, Андрей и Николай.

— Дай ему хорошенько, дай по зубам!— кричали они на бегу, подбадривая Трубку.— Ишь какой охотник нашелся на дармовую землю!..

Ободренный поддержкой, Чистяков с еще большим исступлением продолжал трясти отца и, дико блестя вытаращенными глазами из-под мохнатых бровей, не переставая кричал на все поле:

— Мы тебе покажем, как прихватывать из чужой бо-

розды! Ах ты, чертов апостол, мать твою так! Земли захотел?!

Пятясь от Чистякова, ухватившись за его кнутовище, отец запнулся и упал в борозду, увлекая за собой и своего обидчика. Но тот быстро оторвался и встал на колени. Потом поднялся, задыхаясь, и вместе с подбежавшими братьями стал пинать лежачего.

Стайка ворон, старательно подбиравшая по пашне червей и личинок, испуганно поднялась и отлетела на ближайший огород. Гнедой в тревоге повернул назад голову и, покосив покрасневший глаз в сторону осатанелых мужиков, тихо заржал, как бы предостерегая об опасности.

Когда отец с трудом поднялся на ноги, в глазах его блеснули отчаяние и злоба. Он поднял засохший комок земли, замахнулся им, но не бросил, а выпустил его из руки и вдруг, схватившись за живот и застонав от боли, снова упал. Драчуны сразу притихли, только теперь заметив столпившихся вокруг мужиков и баб, молча наблюдавших за происходящим. Отрезвев и почуяв недоброе, они пошли к своим упряжкам, озираясь по сторонам.

Все собравшиеся вернулись к своим полосам. Отец же, охая и постанывая, сначала встал на четвереньки, поднял и отряхнул затоптанный картуз. Потом сам поднялся и шатаясь подошел к своему плугу. С натугой вывернув его из борозды, он повернул лошадь в сторону заполоска. Кое-как поставив плуг на подплужник, он тихо поехал к деревне, изредка оборачиваясь к оставленной полосе, как бы прощаясь с ней навсегда...

У отца сразу же началась рвота, долгая и изнурительная. Мать почти не отходила от постели, стараясь чем-нибудь облегчить его мучения. А я умчался в село. На нашу беду фельдшера Громцевой не было дома: она только что ушла по вызову в Большую Дуброву и появилась у нас только утром. Она внимательно и долго осматривала отца, пытаясь узнать, что с ним произошло, но он ничего не сказал, пробормотав лишь, что неловко упал на пашне в борозду. Мы все стояли в тесном промежутке между кроватью и печкой, подавленные и ничего не понимающие. А мать, всхлипывая в передник, успокаивала хныкавшего и жавшегося к ее коленям Мишку. Потом мать нагнулась к фельдшерице и что-то тихо шепнула ей на ухо.

С минуту подумав, Громцева прощупала под стоны отца его живот и сказала:

— Заворот кишек.— И, направляясь к рукомойнику, добавила тихо: — Такие случаи в практике почти неизлечимы.

Отец промучился еще почти сутки и затих совсем...

Тогда я был еще слишком мал и неразумен, чтобы сполна понять, какую непоправимую беду принесла эта смерть в нашу семью. Мое детское сердце лишь замирало от мысли, что отца вот-вот вынесут из дому чужие люди и зароют на кладбище в землю. До меня еще не доходило сознание того, как тяжело будет матери поднять нас на ноги.

Так, раньше положенного времени, в десять лет я становился взрослым. Ждать от Поли какой-нибудь денежной помощи было нельзя. Нужда ощущалась уже повсеместно. Мировая война была в полном разгаре, выметая все излишки из карманов населения.

Хоронили отца всей деревней. На кладбище были и прямые виновники его смерти. Могилу выкопали в самом углу, и там вскоре вырос небольшой холмик без креста. На его приобретение у нас не было денег, а сделать и поставить самому мне было не под силу.

Деревянный березовый крестик, сделанный моими руками, появился здесь лишь года через два, и стоял он много лет на могиле среди красивых, фигурчатых, деревянных и железных крестов и каменных надгробий.

Как мне помнится, отец никогда не выходил из равновесия, и это качество его характера заметно отделяло его от соседей, запальчивых, хотя и беззлобных, крикунов. Он был тих и ровен. За это его и не любили: с волками жить — надо по-волчьи выть или хотя бы подвывать, а он, бедняга, этого не умел. К матери и к нам он относился также терпеливо и ровно. Уже после его смерти, вспоминая о нем, мать рассказывала:

— Его мягкость выводила меня из себя, и я порой кричала на него, как девка. Однажды он все же не выдержал и, к великой моей радости, послал меня к черту. И тут же испугался и покраснел: «Прости меня грешного, господи!» — и перекрестил рот... За это, наверное, прозвали его Апостолом.

Пятьдесят лет спустя я тщетно пытался разыскать могилу отца. Часть кладбища незадолго до того прирезали к больничному двору, и могила отца, как и десятки других, оказалась под огромной свалкой дворового мусора. Как будто не было рядом пустующей земли, кроме кладбищенской. Сто лет стояла эта больница на одном месте, и никогда не накапливалось рядом с ней ненужного хлама...

Вспоминал я и памятное лето 1930 года, когда, будучи студентом, приезжал в родной дом на свои первые летние каникулы. Незабываемое время!..

К тому лету здесь уж повсюду были колхозы, организованные в прошедшую осень и зиму. Был колхоз и в нашем Чопорове, деревеньке в четырнадцать дворов, и мать моя вступила в него в числе первых. Среди организаторов был и наш сосед, сын Николая Трубки — Федя Чистяков, работавший тогда председателем сельсовета, и его помощник — секретарь сельсовета Алексей Муравьев.

В первый же субботний вечер мы поговорили с Федором по душам обо всем, и о коллективизации в частности. Этот вопрос его очень волновал, и говорил он как-то обрывочно, нервно, чего-то не договаривал, и было заметно, что эта тема ему тягостна. Беседа наша закончилась тем, что он пригласил меня на завтра в сельсовет:

— Приходи, не пожалеешь. Посмотришь, как мы будем расторговывать кулацкое имущество...

— Какое имущество?

— Ну то, что отбирали у раскулаченных по сельсовету крестьян...

В сельсовет я пришел задолго до торгов. В большой, метров в тридцать, комнате Федор и Алексей сверяли по спискам «национализированные» у мужиков домашние хозяйственные вещи, сложенные в пяти больших сундуках. Зрелище было необычным, и я поближе подсел к старинным сундукам, окованным по углам и крест-накрест на крышках блестящей жестью, и с интересом стал наблюдать, как Алексей вынимал из них кулацкое имущество, а Федор отмечал его в списках.

— Четыре куска серого холста.— И Муравьев отбрасывал в сторону тугие скатки серой мешочной ткани.

— Есть,— отвечал Федор, делая пометку в списке.

— Черная шуба с подбором.

— Отметил.

— Девять полотенец новинных с ручной вышивкой.

— Давай дальше.

— Три бабьих сарафана из домотканого полотна с вышитыми рукавами.

— Есть три бабьих! Что там еще?

— Две скатки тонкой беленой новины по десять аршин для полотенец и нижнего белья. Это, кажется, сундук Коксановых из Дубровы,— отвлекся секретарь,— наверняка в приданое дочкам ткалось...

— Давай, давай!.. Мало ли на что ткалось, да оттокалось,— мрачно ворчал Федор, все более нахмуриваясь и нагибаясь над столом.

— Полсапожки новенькие...— И Леша, любуясь, поставил на пол девичьи башмаки с резинками на подъеме.— Три пары,— уточнил он.

— Есть.

— Большая шерстяная шаль! Это, кажется, самой Коксанихи — видел я на ней в позапрошлую масленицу...

— Ты что тут, вечер воспоминаний намерен устраивать? Давай побыстрее, мелодрама потом...

— Две скатки крашеных домотканых... А ты не очень ори на меня: у меня тоже нервы имеются,— с опозданием обиделся помощник.— Пиджак суконный с жилеткой...

— Отптичил.

— Подштанники из беленой новины, шесть штук... Мужские.

— Подштанников женских не бывает...

Это замечание Федора Ленька игнорировал и продолжал:

— Два дубленых полушубка, поношенные.

— Есть поношенные...

— Две шапки каракулевые, молью тронутые... Это, кажись, Юдина Алексея Ивановича. Скупой был, жалел носить даже по воскресеньям.

— На них не написано чьи. Давай дальше...

В углу у печки стояли две плетюхи — так у нас назывались большие круглые корзины, плетенные из прутьев черемухи или ивы. В плетюхах, что стояли в углу, лежало десятка два чугунов разных размеров: ведерных — для варки пойла телятам и коровам, а также средних и небольших — для щей и супов. Каша же в наших местах варилась и упаривалась в горшках. Тут же, рядом, прислоненные к стене, стояли новые валенки, всунутые голенищами один в другой. Муравьев захватил несколько пар в одну охапку и понес к столу для отметки.

Покончив с носильными вещами, сельские администраторы принялись за «жесткие» предметы домашнего обихода. Чего тут только не было, нажитого годами тяж-

кого труда! Сколько выдумки, сноровки, терпения и мастерства вложено в большинство этих самими владельцами изготовленных предметов! Мне вспомнились годы после смерти отца, годы войны и «военного коммунизма», когда ничего из нужного для жизни нигде не продавалось, а изготовлялось самими крестьянами, женщинами главным образом.

Всю долгую зиму, бывало, мама пряла лен и куделю, а затем, уже к весне, наматывала на мотовило, установленное в сарае, пряжу, чтобы затем ее заделать в кросны и ткать для нужд семьи тонкие и грубые холсты на рубахи и штаны, на юбки и пальтишки. Затем эти холсты выбеливались на мартовском-апрельском снегу, а груботканое еще и красилось в цвет темной охры, вываренной из ольховой коры. Никаких других красок в те годы купить было негде, да и денег на покупку у нас чаще всего не было. Уйдя в эти воспоминания, я лишь вполуха слушал диалог между моими друзьями.

Перечень вещей продолжался, и около сундуков заметно вырастали аккуратно сложенные вороха одежды и белья.

— Лампа «молния» без стекла, медная,— уже без энтузиазма говорил Алексей.

— Отметил лампу,— отвечал ему Федор.

— Швейная машинка фирмы «Зингер» с ножным приводом,— продолжал Алексей, потрогав футляр.

— Отптичил, чеши дальше.

— Часы настенные «Мозера»... Гири запутались в цепочках,— бормотал Муравьев.

— Побыстрее, не тяни,— торопил Федор, все более наливаясь раздражением и закуривая, пока Алеша копался в цепочках.

— Два ушата новеньких, липовых,— докладывал Алексей.

— Какая тебе разница — липовые они или дубовые? Дальше!

— Разница есть — за дубовые больше дадут...

— Дадут, во что кладут! Давай поторапливаться! Надо еще самим залу подготовить под аукцион. У тети Кати сегодня выходной, самим надо прибираться.

Подготовка к торгам продолжалась.

Федор был хмур и небывало раздражен. По всему было видно, что этого дела он не одобрял и делал его с нескрываемым отвращением, по долгу службы. Его тяжелое настроение передавалось и мне. Да и Алексей был не в восторге, хотя иногда и балагурил.

После полудня состоялись торги, тупого драматизма которых ни забыть, ни описать невозможно. На лицах трех десятков аукционеров, сидевших в просторном зале сельсовета,— крестьян и местных служащих — было написано такое выражение, будто покупали они что-то нечистое, жульническое, заведомо краденое.

Смущенные люди покупали эти вещи только потому, что в другом месте, в лавках, промышленные товары отсутствовали, а здесь все это продавалось за дешевку — цены никто не набивал... Купившие тотчас отворачивались, пряча глаза, как от черного тяжелого стыда, быстро забирали купленное и ни минуты больше не оставались в помещении.

Я сидел в полутемном углу зала и слушал происходящее с закрытыми глазами. И мне порой мерещилось, как открывается дверь и в зале появляется Коксаниха из Дубровы, у которой, как и у Ивана Степановича из нашей деревни, было тоже пять дочерей, и их надо было растить, воспитывать, учить и одевать. Уж не этой ли семьи продавалась здесь швейная машинка фирмы «Зингер», которая до революции стоила двадцать два рубля с годовой рассрочкой платежа и которая была в каждой состоятельной семье? В руках Коксанихи — железный, почерневший от печной копоти ухват на длинном, отполированном жесткими ладонями ухватище. Она стучит этим ухватом по полу, сверкая глазами, и грозно спрашивает: «Вы чем тут занимаетесь, шаромыги проклятые?! Бабьими сподниками да полсапожками торгуете? Своих-то не изготовили? Нате уж и ухват: теперь он нам не нужен!»

Не дождавшись конца этого невиданного аукциона, я ушел домой и до вечера валялся на остатках прошлогоднего сена в сарае, не желая ни с кем ни видеться, ни говорить.

«Что, неужели это и есть теория марксизма-ленинизма в действии?» — тревожно думал я, сочиняя разоблачительный очерк в «Правду», которому так и не суждено было увидеть свет...

Теперь Алексей Алексеевич, уже семейный человек, сам вершил дела в сельсовете. К нему-то мне и надо было поторапливаться, только он один мог мне помочь. Впрочем, я шел к нему как бы ради брата Николая, которому тоже нужны «чистые» документы...

Уже темнело, когда я, перейдя по знакомому мостику через Кисьму, подходил к дому Муравьева. Еще издали увидев его маленькую, но крепко сбитую фигурку,

что-то делавшую около крыльца, я на минуту остановился. В душе моей мгновенно пронеслось все наше милое, нищее, голопузое детство, трудное отрочество и боевая, неугомонная юность. Он сызмала был невелик ростом и неширок в плечах, и этот его недостаток послужил поводом тому, что еще с первого класса мы дали ему кличку Муравей, к которой он привык и никогда не сердился, а лишь моргал своими белесыми ресницами. Эта кличка прочно и надолго пристала к нему еще и потому, что и по характеру своему, по складу души он был живым и вертким, как муравей, и на редкость деятельным и хлопотливым.

— Здорово, Леха!— торопясь к нему, крикнул я.

Он вздрогнул, обернулся, вглядываясь в темноту, и, узнав меня, обомлел:

— Да никак Ванюха?!

— А ты думал кто?!

Леша бросил топор и шагнул ко мне. Я проворно опустил сумку на землю, порывисто кинулся ему навстречу и облапил друга со всей силой неизбывного чувства встречи.

— Поля!— крикнул он, обернувшись к окну.— Погляди-ка, кто к нам пожаловал!..

Через минуту пополневшая Поля с накинутым на плечи теплым платком стояла рядом, а две ребячьи головы прилипли к стеклу из темноты избы и с удивлением глядели, как незнакомый дядя целуется с их мамой, а отец стоит рядом и блаженно улыбается.

— Откуда ты взялся, шалая голова? Ведь тебя уже давно и несколько раз похоронили...

— Воскрес, Пелагея Ивановна! Не мог я совсем умереть, не простившись с вами.

— Ну, тогда пошли чаевничать!— И она, живо вскочив на крыльцо, скрылась в избе.

— Видал, как скачет муравьиха?— весело говорил Алексей, подбирая и пряча под крыльцо топор и колун.—А теперь пошли в мой муравейник.— И он повел меня по позабытым сеням в дом.

В просторной избе светили две керосиновые лампы — в кухне на суденке у печки и в просторной передней горнице, в проеме дверей которой стояли девочка лет четырех и два мальчика, с любопытством смотревшие на меня большими глазами.

— Целый детский садик!— сказал я, знакомясь с Валей, Павликом и двухлетним Гурием, уцепившимся за платье сестренки.

— Это не все,— заметил Алексей.— В зыбке еще Виктор имеется, вон погляди.

Я заглянул в затененную сторону горницы и увидел чуть покачивающуюся люльку на потолочной пружине.

— Что-то вы торопитесь, друзья мои: за каких-то семь лет успели четырех потомков приобрести. Богато живете. Надо было пораньше жениться и все это делать не спеша...

— Так уж вышло у нас, с запозданием... Давайте-ка к столу. Соловья баснями не кормят.

Из сумки были извлечены городские гостинцы — пакет сладостей для детей, городская закуска и бутылка «Московской» для взрослых. С ее помощью был съеден целый чугун горячей рассыпчатой картошки с солеными огурцами и рыжиками, заправленными душистым льняным маслом, а потом мы долго сидели втроем за самоваром и наперебой рассказывали друг другу о прошлом и будущем, о потерях и находках, о родных и знакомых. Вспоминали и Федю Чистякова, женой которого была старшая сестра Леши — Антонина Алексеевна. Теперь они жили в Угличе.

— А ты не позабыл знаменитую распродажу мужицкого имущества, помнишь, в тридцатом — торги в сельсовете?— спросил я.

— Разве это позабудешь? Но и думать об этом долго нельзя. Иначе работать стало бы невозможно. Все течет, все замывается, как наша Кисьма... Ты бы о себе поведал поподробнее: как там было? Как посчастливилось вырваться оттуда? В Старой Руссе как живется? Тетя Фекла здорова ли? Что делает Михаил, как Колька?

Рассказывая им о своей жизни, семье и родных, я как бы ненароком сказал, что младший, Николай, наконец выздоровел и скоро появится дома.

— Для паспорта ему потребуется метрика, и я попутно захвачу с собой. Не помешала бы ему и справка из колхоза, что он отпущен на отхожий промысел в город. Все же он с матерью три года работал в колхозе, и эта бумага будет лучше, чем справка из психлечебницы.

— Правильно. Метрику завтра найдем и напишем и справку такую сварганим. Когда они выехали к тебе в Руссу?

— Осенью тридцать второго. Хотелось бы, чтобы это было как будто теперь, а не восемь лет назад.

— А зачем ему писать, что восемь? Справка-то будет датирована теперешним временем. Укажем, что он колхозник, и вся недолга.

— А как там у нас, в Чопорове? Колхоз-то еще есть?

— Есть, но, наверное, скоро будем объединять. Что это за колхоз в восемь дворов и десяток трудоспособных? Председательствует там ваш сосед Саша Чистяков... Донской-то тоже загремел в тот год. В общем, осиротела мужиками деревня, совсем мало осталось, убывают постепенно: кто в могилу, кто в город, кто...— И он махнул рукой.

— В нашем крае и до революции мужиками было негусто в деревнях, а ведь справлялись?!

— Что ты мне объясняешь? Сам знаю, что не было гуще, но тогда все работали на себя, а не на дядю, ни со временем, ни с погодой не считались!— рассердился Муравьев.— От земли брали тогда не только для себя на круглый год, а еще и продавали. Ярославщина была исстари производящей, а не потребляющей. Порода коров славилась на всю Россию! А льна сколько продавали!

Так и засиделись с воспоминаниями за столом допоздна. Дети давно уже посапывали в своих постелях, а мы все никак не могли наговориться.

## Перевоплощение

На другой день повеселевшая Вера Петровна быстро откопала на дне большого сельсоветского сундука-архива тяжеленную, ветхую церковную книгу в толстом переплете за 1917 год, в которой мы нашли запись рукой попа отца Григория о том, что от Ивана и Феклы Ефимовых 15 мая родился ребенок мужского пола и назван при крещении Николаем.

Справку она написала с явной охотой и размашисто подписала ее. Потом отнесла к председателю на подпись и, полюбовавшись метрикой, с удовольствием поставила на ней гербовую печать.

— Вот вам и метрика, пусть живет ваш братец на здоровье и растет на радость невестам.

— Да он уже вырос...

— Но не женат еще?

— Не женат. В нашей семье только Михаилу повезло с женой.

— А вам?

Я промолчал, как бы любуясь полученной справкой. Слушавший из-за двери наш разговор Муравьев сердито сказал, вороша бумаги:

— Уж больно ты любопытна, Вера Петровна... Была и у него жена, да не стало. Она оставила мужа в беде и вышла за другого.

— Не следует ее винить, Алеша. Времена были такие, когда и отец с сыном разводились, чтобы уцелеть.

Потом Вера Петровна куда-то вышла, а я сел за ее стол, положил перед собой справку и теми же чернилами и ручкой быстро и аккуратно переправил в годе рождения единицу на нуль. Появились цифры 1907. Так, в первый и последний раз в жизни я совершил наказуемое преступление — подправил документ. Но это был грех во спасение, который даже по многовековой и самой строгой христианской морали не считался грехом.

А под вечер мы с Алексеем направились в нашу деревню к Александру Николаевичу Чистякову, как условились накануне. Сорокалетний Саша, еще один сын Николая Трубки, весь вечер то без умолку болтал о пустяках, то без особой причины плакал, слушая мою повесть и не переставая пропускать одну рюмочку за другой. Между разговорами и была написана необходимая справка для Николая, которому разрешался выезд на заработки в связи с окончанием полевых работ в колхозе.

К Муравьевым ночевать меня не отпустили:

— В кои-то веки попал в свою деревню — и уходить?! Ну уж нет, не пустим!— запротестовали Саша и Шура.— А ты, Алеха, ступай один, а не хочешь, так тоже ночуй, у нас места хватит... А Ванюшку не пустим, так и знай!

— Да ладно уж, раскудахтались! Пускай ночует, завтра увидимся.

На другой день я решил навестить и директора завода Шульгина. Домашние сказали, что он у себя в конторе, но собирался ехать в Углич на склад. Это было мне кстати, и я заторопился, чтобы застать его на месте. Контора и сам маслозавод находились в просторном, с переборками, доме бывшего сельского лавочника Постнова, в другой стороне села. Петю Шульгина я застал уже садящимся в кабину полуторки.

— Слышал я от Веры Петровны вчера, что ты здесь, и даже обиделся, что не зашел,— говорил он, когда мы взаимно тискали друг друга.— Жаль, что мне в район ехать, а то пошли бы вместе по колхозам и по пути накалякались обо всем. А потом отметили бы твой приезд. Теперь жди до вечера, пока не вернусь.

— Я ведь человек незанятой и с удовольствием проехался бы с тобой до Углича. Пока ты там устраиваешь

свои дела, я еще раз, на прощание, схожу в кремль, посмотрю достопримечательности...

— Вот и отлично, совсем складно получается! Тогда оба в кузов!— И мы устроились наверху среди ящиков и бочонков со свежим сливочным маслом — продукцией маслозавода.

Поездка была удачной во всех отношениях. Мы и наговорились вдоволь за полтора часа пути до Углича, а затем, пока Шульгин занимался своими делами, я успел сходить в паспортный стол районной милиции и подал заявление на выдачу мне паспорта, приложив к нему свои фотографии, метрическую выписку и справку из колхоза.

Чтобы походить больше на мужика, нежели на интеллигента, я еще в Ленинграде успел сфотографироваться без очков и без галстука. В таком виде я предстал и перед работником паспортного стола. Внимательно посмотрев документы и бегло взглянув на меня, паспортист сказал:

— Зайдите через два дня за паспортом.

«Два дня... Что может произойти за эти два дня?— раздумывал я, выйдя из милиции.— Да ровным счетом ничего, если все так хорошо обошлось в легендарной Шилке!» И я спокойно пошел искать Шульгина.

Проводив его до машины и сославшись на необходимость повидаться с Федей Чистяковым, я вышел на набережную. Вот она, матушка Волга! Сооружение электростанции чуть выше этого места началось в 1936 году, но рабочих рук было мало — через год появились и здесь «нахально-вербованные», а вместе с ними и охранные вышки концлагерей. С этого высокого берега их силуэты на том берегу были видны как на ладони; где-то на улице я видел и транспарант: «Дадим ток Москве 7-го ноября 1940 года!» И дадут. Зэки все могут! И среди этих тысяч зэков едва ли найдешь хотя бы одного из тех, кто был раскулачен на Ярославщине осенью 1929-го и весной 1930 года... Одних расстреляли, других рассеяли по Руси.

Думать обо всем этом — одно расстройство.

Отпущенные мне два дня до получения паспорта я решил провести у Федора Чистякова. Адрес его у меня был.

Купив бутылочку «Московской», сладостей для ребят и кое-какой закуски, направился на Первомайскую улицу, к дому № 21. Этот одноэтажный деревянный двухквартирный дом занимали две семьи: с одной стороны

жил оперативный работник НКВД района с женой, а с другой — семья моих соседей по деревне — Тони и Феди Чистяковых с двумя детьми. У них были две комнаты и кухня с русской печкой.

Рабочий день уже кончился, и вся семья оказалась дома. Федор был искренне рад моему приезду. Я подробно рассказал, где и с кем был вчера и сегодня, утаил лишь о посещении милиции.

— С тебя приходится,— потребовал Федор, узнав, что меня реабилитировали и я теперь пока отдыхаю.

— А тебе только бы выпить!— подала свой голос Тоня, знавшая слабости своего мужа.— Лишь бы случай подвернулся. Посидели бы и за чаем хорошо, без выпивки.

— Не сердитесь, Антонина Алексеевна!— уважительно сказал я.— Причина действительно необычная и важная! Во-первых, мы не виделись тыщу лет, а во-вторых, Федор Николаевич прав: за удачливость в жизни, за везенье, за счастливое освобождение!— И я решительно достал из сумки все, что захватил с собой.

В этот вечер мы наговорились обо всем, о прошлом и настоящем. Тоня даже успела слезу пустить.

Служебная карьера Федора Николаевича не сложилась по разным причинам и обстоятельствам. Женился он по тем временам рано, потом родился первый ребенок, а с ним прибавились и заботы и расходы при небольшом жалованье. Окончив пять классов нашей школы, он впоследствии нигде не учился, за исключением каких-то краткосрочных курсов совработников. Времена менялись, и требования повышались. Человек он был скромный, застенчивый и чуткий к чужим бедам. А таких работников обычно оттесняют на задний план. Власти нужны люди жесткие, непримиримые, не признающие ни стонов, ни воплей. А Федор был не таким. На глазах у начальства никогда не вертелся и не юлил, а поскольку он звезд с неба не хватал, то и в районном центре служил не в больших чинах. И начал понемногу выпивать...

Перед войной у него была броня от призыва, однако уже осенью 1941 года он добился отправки на фронт и был зачислен политруком роты. В этом звании он и погиб под Москвой в зимние месяцы, поднимая красноармейцев из окопов в атаку...

Его сын в восемнадцать лет стал летчиком-истребителем и погиб незадолго до окончания войны...

Алеша Муравьев погиб на фронте в 1943 году. У Пелагеи Ивановны осталось пятеро сирот, при этом стар-

шей девочке Вале было всего семь лет. Пятеро детей в самые трудные годы! При уходе на пенсию по возрасту ей назначили пенсию в... 16 рублей. В колхозных кассах было не густо, а, скорее, пусто, и поэтому до пенсии в 25 рублей ей пришлось поголодать еще не один год.

...Когда на третий день в милиции мне вручили тонюсенький трехмесячный паспорт, я вздохнул с облегчением. Жизнь действительно начиналась заново. Теперь я не беглец из тюрьмы и не враг народа, не имеющий права на жительство. Отныне я рядовой колхозник тридцати трех лет от роду, грамотный, отпущен на работу в любой город. Теперь меня может разоблачить один лишь Великий случай, лишь кто-нибудь из моих прежних бдительных друзей. И то если кому-нибудь из них попадутся на глаза мои документы.

Глядя на свой тоненький, в два листка, паспорт — подлинный, со всеми подписями и печатью,— я вдруг вспомнил Кудимыча, который вторично угодил в тюрьму и лагеря за одно лишь отсутствие у него «вида на жительство». Тогда, в камере Старорусской тюрьмы, он говорил о черно-белом паспорте, которого ему недоставало. Вот такой паспорт и был у меня в руках.

Держись, Иван-Николай, будь осторожен и бдителен, если хочешь остаться на воле! Упрячь свою былую профессию подальше, заберись, где поглубже и поглуше, и не высовывайся. Докажи, что и в личине плотника ты остаешься человеком-коммунистом. Придут еще лучшие времена, когда кумиры-временщики будут низвергнуты, а ленинская правда снова восторжествует. Путевка в жизнь у тебя в руках, живи и работай — тебе это в будущем зачтется...

И не унывай, Иван, не унывай! Считай за благо, что ты жив! Что ты уже можешь ходить по советской земле, как и всякий труженик. Чего же еще тебе надо?

## В новой профессии

По возвращении в Ленинград, временно прописавшись у сестры, я лихорадочно искал работу. Надо было обезопасить родных от всякой неожиданности, поскорее куда-то определиться и не мозолить глаза соседям по лестнице.

Одно из многочисленных объявлений привлекло мое внимание: «Ленинградское окружное военно-строительное управление ЛенВО приглашает строителей всех спе-

циальностей на работу в городе и с выездом. Предоставляется общежитие. Справки по адресу и телефону...»

Через час я уже был на бульваре Профсоюзов, в доме № 4, и предъявлял в отделе кадров свой паспорт с временной пропиской, заявление с просьбой о принятии на работу и справку из колхоза. Все документы были в порядке.

— Сейчас у нас имеется работа только с выездом. Если согласны, будем оформлять.

— Согласен. Оформляйте.

С путевкой управления я поехал на Ярославскую улицу, где находилась контора одного из строительных участков, оформился в тот же день в штат в качестве плотника и, самое главное, получил направление в общежитие, где вскоре и был прописан постоянно.

Первые дни жизни в новых условиях были трудными и в известной степени опасными. В тюрьме и лагерях мы оставались самими собою, такими, какими были до заключения. Мы не скрывали ни своей бывшей принадлежности к партии, ни своего прошлого, ни своих привычек. И хотя тюремщики всеми силами и средствами старались сделать из нас послушных роботов, душ наших они переделать не могли. Наш внутренний мир был для них недоступен. Мы находили друзей и товарищей по своим склонностям, по духу и образу мышления. Это обстоятельство давало возможность жить не теряя своего лица.

Здесь же условия жизни и работы были почти теми же, но я был «иной». Теперь я был среднеразвитым крестьянином, плотником средней руки, с присущими этой категории людей суждениями и взглядами на жизнь. И речь свою надо было приспособить под этот уровень. Главное — не оказаться белой вороной и тем самым не разоблачить себя. Чтобы вжиться в новую среду, сравнительно одноликую и однородную, я больше слушал и отмалчивался, нежели говорил сам. Помогло мне знание деревни и психологии крестьянства, а также длительное общение со строителями в лагерях. Так, день за днем я втягивался в жизненный ритм коллектива строителей, приспосабливаясь к нему решительно во всем.

В течение месяца я вместе с другими рабочими ходил на отделку дома на Малой Охте, а в середине декабря весь коллектив участка вместе с конторой выехал на станцию, что севернее Кандалакши.

В стороне от станции силами заключенных строился аэродром. Нашему коллективу было дано задание: за пять месяцев построить городок из сборных элементов для будущей летной части. На подготовленных летом столбах-фундаментах нам предстояло собрать и отделать под жилье два десятка стандартных щитовых домов. Они представляли собой длинные бараки с коридорами посредине, куда выходили все двери комнат и печные топки.

Вскоре после приезда мне пришлось пережить несколько тягостных минут, заставивших лишний раз убедиться, как непрочно мое положение. После Нового года истекал срок моего временного паспорта, который следовало заменить на постоянный, пятигодичный. И когда меня вызвали в милицию для получения нового документа и вдруг пригласили в комнату начальника, я не на шутку перепугался, хотя, как выяснилось потом, паспорта здесь вручал лично начальник отделения.

— Ваша фамилия?— спросил он, когда я вошел.

— Ефимов.

Начальник выбрал из кучки новых паспортов мой, развернул его и стал внимательно проверять. Это меня насторожило, а сердце вдруг защемило и повело куда-то вниз... И вероятно, я совсем изменился в лице, когда начальник ни с того ни с сего выдвинул средний ящик стола и, не вынимая оттуда, стал не спеша листать какой-то большой список и внимательно просматривать одну из его страниц... «Список беглых... Сверяет данные моего паспорта с данными в списке?» — промелькнуло у меня в голове. Минута, пока он смотрел этот список, показалась мне вечностью. Меня прошиб холодный пот, однако я старался держать себя спокойно, будучи абсолютно уверенным, что данные в паспорте не совпадут со сведениями, полученными из моего лагерного формуляра.

— Распишитесь вот здесь в получении,— наконец сказал начальник.

Когда он вручил мне драгоценную книжечку с местной пропиской и я повернулся к выходу, меня основательно качнуло, и, не схватись я за дверную скобу, начальник наверняка заметил бы, что со мною что-то не-

ладное. Не знаю, что было бы дальше, если б он заметил. Настроение мое было в те минуты хуже, чем то, с каким я уходил из милиции в Шилке. Еще много дней спустя я не мог прийти в себя от пережитого страха...

А между тем сезонная наша жизнь текла своим чередом. Днем — работа на несильном морозце, кое-какая закуска в обеденный перерыв, а поздним вечером — обед и отдых. Под общежитие и контору был занят один из двух ранее собранных домов. В комнатах, убого обставленных самодельными скамейками и столами, жили по семь-восемь человек, спали на знакомых мне двухъярусных нарах «вагонной» системы. На бытовые условия никто не сетовал, понимая, что они временные. К тому же и заработок здесь, не в пример ленинградскому, был значительно выше — платили по полярному, почти вдвойне. Это важное обстоятельство в известной степени смягчало и наши трудности: в зимние месяцы мы работали при свете неярких фонарей, скудно освещавших рабочие места. Сборные детали и стеновые щиты зачастую надо было раскапывать из-под глубокого снега.

Городок авиаторов строился справа от линии железной дороги, а летное поле — слева. Лагерь заключенных находился от нас довольно далеко. Из-за темноты и занятости мы ни разу не видели ни лагеря, ни аэродрома: своей работы было по горло. Еще в первые дни на общем собрании мы взяли обязательство закончить работы на месяц раньше, с тем чтобы Первое мая 1941 года отпраздновать в Ленинграде. Самый характер стройки, как и спешность ее, красноречиво подтверждал, что страна готовилась к возможной войне. Как видно, у Генштаба мало было веры в мирный договор с фашистской Германией.

Строительство мы закончили, как и обещали, досрочно. В Ленинград я вернулся уже бригадиром плотницкой бригады. В этой должности я и пробыл до начала войны. В моем новом военном билете на имя рядового Николая Ефимова было написано, что в кадрах не служил и проходил когда-то вневойсковое обучение. В военном билете лежал мобилизационный листок с обозначением явки на сборный пункт в первый день мобилизации. Мой подлинный военный билет, со званием старшего политрука роты, со всеми отметками о прохождении учебных сборов в учебных центрах комсостава, находился в следственном деле, где-то в архивах НКВД.

## Глава семнадцатая

> Не может сын глядеть спокойно
> На горе матери родной,
> Не будет гражданин достойный
> К отчизне холоден душой.
>
> Н. А. Некрасов

### Тяжелая година

В солнечный воскресный день 22 июня, гуляя в парке культуры и отдыха имени Кирова, я услышал о вероломном нападении Германии, а в понедельник, пойдя с утра на призывной пункт в Александро-Невскую лавру, я уже не вернулся оттуда. Всех живущих по общежитиям не выпустили даже проститься с родными — прощались через ограду. Я был зачислен рядовым в 172-й медсанбат 122-й стрелковой дивизии, а ночью наш поезд, состоявший из теплушек и платформ с вооружением, уже мчался на север, откуда мы вернулись менее двух месяцев назад.

Двойные нары в теплушках были такими же, как и в 1937 году. У многих новобранцев, в том числе и у меня, с собой не было даже узелка с самым необходимым. Не оказалось и денег — на сборный пункт все явились спозаранку, позабыв обо всем на свете.

Но все были в приподнятом настроении.

— Подумаешь, трагедия: зарплаты не получили! Женам больше достанется, семьи попользуются,— резонно говорил сорокалетний мой сосед по нарам, когда я, выбросив в окно коробку из-под «Беломора», сказал ему, что еду без копейки денег и закурил последнюю папиросу.

— Ладно, потерпи денек,— сказал другой новобранец.— Завтра или послезавтра будем в своей части и получим казенный табачок.

Иные, напичканные лозунгами о войне на чужой территории или побывавшие в занятых нами прибалтийских и финских городах в минувшую кампанию, самоуверенно говорили:

— Через два дня на трофеи будем жить! Про свое барахло никто и не вспомнит,— чужого будет много.

На таких «героев» смотрели косо и недоверчиво, чувствуя, что едем мы не на легкую прогулку, а на трудную и затяжную войну...

Привезли нас на место только на четвертые сутки. По пути, на каждой крупной станции, нас опережали поезда

с танками и артиллерией, броневиками и ящиками с боеприпасами, и мы пропускали их, выжидая с тоской и неприкрытой завистью на запасных путях: когда же освободится дорога для нашей «боевой» единицы? Впрочем, пополнение медсанбата занимало только один вагон. В остальных были приписные пехотинцы других частей Карельского и Северного фронтов.

На станции Кемь нас догнал и остановился рядом очередной состав с платформами, тесно загруженными танками и зенитными пушками. Веселые танкисты млели от жары в своих толстых шлемах и распахнутых кожанках. Они сидели или стояли у своих машин, нагретых июньским солнцем, и от безделья с хрустом грызли сухари, запивая водой из фляжек. С обеих сторон слышались шутки и обмен мужскими любезностями.

— Хотя бы сухарями угостили, герои Севера!— крикнул я, так как наше «довольствие» уже иссякло и голод давал себя знать.

Меня поддержали:

— Действительно, подбросили бы сухариков?

— Об чем разговор?! Чего ж молчите? Этого добра хватает!— ответил с платформы старший из танкистов с тремя угольничками на петлицах.

Он нагнулся к бумажному мешку и, захватив сколько мог, высыпал мне в кепку пригоршню душистых ржаных сухарей. Его примеру последовали и другие танкисты.

В Кандалакше часть состава, в которую входили и наши вагоны, отцепили и повезли по новой ветке на запад, к новой границе с Финляндией. Проезжая через Алакуртти, бывший пограничный поселок на старой госгранице, мы увидели изуродованное немецкой бомбежкой взлетное поле прифронтового аэродрома, старательно выравниваемое бульдозерами до... новой бомбежки. Чуть в стороне виднелись разбитые вдребезги или полусгоревшие деревянные дома военного городка, точь-в-точь такие же, какие мы два месяца назад сдавали заказчику... Вероятно, такая же судьба постигла и наш поселок в Африканде: фашисты бомбили по всей глубине границы.

В сумеречную заполярную ночь на 27 июня мы выгрузились на станции Кайрала, где-то на полпути от Алакуртти до новой государственной границы, и поступили в распоряжение молодого лейтенанта, представителя медсанбата № 172, который и повел нашу команду на экипировку.

Два часа спустя, обмундированные, накормленные, вооруженные трехлинейными винтовками и непременными противогазами, побрякивая пустыми котелками,

мы бодро шагали в предутренней тиши навстречу войне. Природа Заполярья была мне давно знакома. Севернее этих мест, в Кольско-Лопарском районе, я работал в 1927—1928 годах политпросветчиком, часто ездил по своему району, куда входила и Кандалакша.

В этот прекрасный, чарующе-тихий и вместе с тем строгий край скалистых гор, многочисленных озер и долин вторглась война. Но в эти дни, когда на Западном фронте фашистская лавина уже катилась с боями по землям Белоруссии, Украины и Прибалтики, сжигая и уничтожая на своем пути все живое, здесь было относительное затишье. Разрушив воздушными налетами в первый день войны наши приграничные, ничем не прикрытые с воздуха аэродромы, военные городки и склады, гитлеровская армия не то не могла пробить нашей обороны на суженном участке, не то чего-то выжидала, не проявляя активности. И нам, не знавшим о положении дел на западе, лишенным всякой информации, все военные приготовления здесь показались игрой, мирными маневрами. Даже почти непрерывные полеты немецких самолетов над линией железной дороги и параллельным ей шоссе мало что говорили о настоящей войне.

Наутро с вновь прибывшими знакомился начальник медсанбата, высокий и стройный брюнет, интендант третьего ранга Темников. Затем нас распределили по подразделениям, и я с десятью другими земляками был зачислен в эвакуационный взвод.

Медсанбат расположился на высоком плато, поросшем негустым лесом. Правая граница нашего палаточного городка находилась на почти отвесном крутом обрыве, а глубоко под нами, в узкой долине, уходящей на запад, посверкивали две стальные нитки железной дороги, и рядом с нею темнела полоса кое-где разбитого бомбежками шоссе. Пока не было боев, наш взвод нес караульную службу. В такой караул назначили и меня. Укрывшись в зарослях можжевельника на кромке обрыва, мы, необстрелянные новобранцы, дотошно выспрашивали кадрового старшину-санинструктора о первых днях войны на этом участке. Показывая на разрушенные деревянные строения по ту сторону трассы, он рассказывал:

— Всего неделю назад там располагался штаб дивизии со всеми своими службами. А на второй день войны немцы разбомбили его.

— А где же была противовоздушная оборона? Наши самолеты? Чем же занималась разведка? Убитых много было?

— Разведка уже давно доносила о скоплениях воинских частей по ту сторону границы, и штаб заблаговременно перебазировался в лес. Убитых было немного: там оставался только караул да кое-кто из хозяйственников. А насчет нашей авиации — то тут дело темное, секретное...

Лес, где располагался медсанбат, хорошо просматривался с низко летавших самолетов. Однако до начала июля ни одна бомба не была сброшена в его расположение. Самолеты противника летали так низко, что мы видели летчиков в кабинах. Однажды кто-то из бойцов не выдержал и сделал несколько прицельных выстрелов из винтовки по самолету. Тот как-то неестественно вильнул, набрал высоту и быстро скрылся за лесом.

— А ведь, пожалуй, влепил!— весело крикнул стрелявший боец, перезаряжая винтовку.

— Во всяком случае, пробоину сделал,— согласился кто-то.

Так это было или нет, но мы осмелели и решили стрелять, если самолеты появятся вновь. Но получилось иначе. Через полчаса прибежал запыхавшийся караульный начальник и накричал на нас:

— Кто стрелял? В кого стреляли?

Старшина доложил:

— Стрелял боец Ежкин, товарищ младший лейтенант. Стрелял по самолету и, кажется, зацепил его.

— Кто вам позволил стрелять?—строго спросил карнач.

— Так ведь война же! На войне полагается стрелять...

Разговор на эту тему был продолжен после смены. Помкомбата по боевой части собрал весь караульный взвод и приписанных к нему санитаров и учинил нам полный разнос:

— Вы демаскируете наше расположение! Всякую стрельбу, в том числе и по самолетам, я категорически запрещаю! Это есть приказ!

Красноармейцы роптали:

— Зачем же нам дали винтовки? Сучки сбивать или печеную картошку из костра выкатывать?!

— В нас будут стрелять и кидать бомбы, а мы им спины подставлять и кланяться?

— Прекратить гражданские разговорчики! Вы в действующей армии или на Сенном рынке?

Вот так мы и воевали в первые дни... Многое нам казалось странным. В том числе приказ «не гневить противника!».

2-го или 3 июля немецкие войска перешли в решительное наступление и нанесли удар на нашем направлении... Наступила страдная пора и для нас. Из полковых перевязочных пунктов раненые прибывали пешком и на повозках. Наши санитарные машины заработали в полную нагрузку: ездили прямо на передовую и подбирали раненых. Медсанбат переместился восточнее километра на два, так как вражеские снаряды стали разрываться совсем рядом.

Наши отступающие части несли большие потери. За неделю все обширные палатки были полностью забиты ранеными. Хирурги работали круглосуточно, валясь с ног от усталости. Стояли белые ночи, и бои шли не прекращаясь круглые сутки. Авиация противника висела над нашим расположением постоянно, а наши воздушные силы за десять дней боев появлялись в числе двух-трех «ястребков» раза три.

10 июля, приехав на передовую в очередной раз, наша «санитарка» оказалась в центре вражеской бомбежки. Звено «мессеров» с немыслимой скоростью и яростью обрушилось на наши тыловые подразделения. Едва мы успели выскочить из машины с носилками, чтобы бежать за тяжелоранеными, как рядом с автобусом разорвались бомбы. «Воздух!» — закричал кто-то запоздало, когда мы уже распластались, кто где мог. Место было совсем открытое, виднелись лишь редкие кустики можжевельника, между которыми метались бойцы... Боли в ногах я почти не почувствовал, а лишь ощутил мгновенные обжигающие уколы в стопах и что-то горячее в сапогах: пулеметная очередь зацепила и меня.

Очнулся я уже на перевязочном столе. Рядом сидел наш начальник интендант Темников и держал свою руку на моем пульсе, а две сестры следили, как из квадратной медицинской банки убывала по трубке переливаемая мне кровь.

— Очнулся? Вот и молодец! Все будет хорошо. Жаль, что жгутов не наложили. Много крови потерял. А кровь постепенно восстановится, был бы жив,— успокаивал он меня, хотя в те минуты, кроме глубокой апатии после общего наркоза, я ничего не ощущал.

Лежал я в полузабытьи, а когда прояснялось сознание, задумывался: мы так «хорошо» готовились к войне, что даже санитарам не объяснили, как надо оказывать первую помощь раненому. Вот так, видимо, и возили на всех фронтах раненых с поля боя: без предвари-

тельной перевязки, без обыкновенного жгута. И часто привозили умерших от потери крови... В довоенные годы мы жили в самоуспокоенности: воевать будем «малой» кровью и на чужой территории. А при наступлении, разглагольствовали наши теоретики, потери всегда бывают небольшими... Больно мне было, бывшему коммунисту и политработнику, осознавать реальность.

Через несколько часов меня вместе с другими ранеными погрузили в машину и увезли в сумерках ночи к санитарному поезду, который и доставил очередную партию в армейский госпиталь, в город Кандалакшу. В этом госпитале в течение суток большинству из нас сделали врачебный осмотр и повторные перевязки. Сделали перевязку и мне, но то ли из-за невнимательности, то ли по невежеству перевязали неудачно, так как уже через сутки температура у меня пошла вверх. Началась гангрена правой стопы. В тот день подали к пристани санитарный пароход из Архангельска, куда и должны были эвакуировать раненых. А я наблюдал за температурным листком, который был подколот к карточке, висевшей на задней стенке койки. Видел и посиневшие пальцы ноги, не закрытые бинтом. И когда санитары с носилками подошли к моей койке, я попросил немедленно позвать главного хирурга госпиталя. Врач подошел, все понял, и я снова оказался в операционной под общим наркозом, во время которого рану на правой ноге так обработали, что рубец на выходном отверстии сквозной раны оказался длиной двенадцать сантиметров и залечивался он полгода...

Пребыванием в армейском госпитале и закончилась для меня фронтовая жизнь. Мы отступали под напором вооруженного до зубов противника на земле, в воздухе и на море, отступали, неся неисчислимые потери в живой силе, оставляя на расправу врагу миллионы мирных жителей. Эти обстоятельства довольно быстро развеяли все иллюзии. Шапками мы врага не закидали, да и вооружены были соответственно — винтовками XIX века, из которых выпадали затворы.

После выхода из госпиталя я стал инвалидом Отечественной войны, хотя и в этом качестве отслужил в тыловых частях армии до марта 1946 года. В то же время примерно мне была вручена медаль «За оборону советского Заполярья» на имя Николая Ивановича Ефимова. А еще много лет спустя, уже на собственное имя, я получил медаль «За отвагу». Она была выдана за ранение. Небезынтересно заметить, что по англий-

ским законам раненный на поле боя солдат или офицер награждается орденом «Пурпурное сердце». Но будь и у нас такие ордена, боюсь, на всех бы не хватило...

Огромный пароход, привезший в Архангельск первую партию покалеченных, был свидетельством того, что где-то совсем рядом взаправду грохотала война, жестокая и опустошительная, в которой каждый день гибли тысячи моих соотечественников. В светлых классах трехэтажной школы, тесно заставленных лазаретными койками и превращенных в госпитальные палаты, стоял запах карболки, йода и гниющего человеческого тела. Стонали раненые, забинтованные так, что у иного и глаз не видно; сновали сестры милосердия; добровольные сиделки дежурили круглосуточно у коек тяжелораненых.

Приходили делегации от заводов и предприятий, школ и вузов, колхозов и рыбных промыслов, из далеких и ближних поселков. Население здешнего края, как и всякий далекий от войны тыл, о войне пока слышало только по весьма скупым и малоправдивым сообщениям Совинформбюро да по хвалебным, бодрительным газетным заметкам военных корреспондентов — что войска наши на всех фронтах упорно продвигаются... неизвестно куда или упорно обороняются от наступающего противника. И только в госпитале население воочию убеждалось, что действительно идет кровавая война, и не на чужой, а на своей территории, и несет она людям горе, смерть, плен и опустошение.

В нашей переполненной палате находились преимущественно тяжелые, надолго прикованные к койкам бойцы. Посетители тесно заполняли проходы, оставляли скромные подарки — папиросы и табак, носки и носовые платки, туалетное мыло и кисеты с махоркой. Минуту или две в глубоком раздумье и скорби смотрели на нас, плакали и тихо уходили, как из покойницкой.

Пионеры и школьники иногда спрашивали, округлив глазенки при виде сочившейся через бинты крови:

— Вам очень больно?

— Больно, детка, но терпеть можно.

— А когда вылечитесь, опять на войну?

— Если окажусь здоровым — обязательно опять.

— А воевать очень страшно?

— Да уж чего веселого в войне... Ведь это не игра...

— А вы фашистов видели, какие они?

— Я не видел, спроси у другого. Меня покалечило осколком бомбы или снаряда — не разобрал... Войны-то

настоящей, чтобы встречь друг на друга идти, я еще не испытал, врать не буду. И пленных не видел.

Через месяц мне сделали еще одну операцию. Ни с того ни с сего вдруг повысилась температура, а левая стопа начала болеть. Рентген установил, что в пятке сидит пуля.

— Откуда она взялась при входном и выходном отверстиях?— удивился лечащий хирург.— Будем делать операцию...

Когда извлекли пулю, оказалось, что это лишь ее латунная оболочка, пуля попала в кость, но не пробила ее, а повернулась на девяносто градусов, расплавленный свинец частично вытек, а оболочка осталась.

— Видимо, была нестерильной, поэтому и дала о себе знать,— сказал хирург, промыв и передав мне пулю на память.

Изредка госпиталь навещали артисты с концертами, которые проводились в спортзале в первом этаже. Вскоре после посещения госпиталя главным хирургом округа мне на правую ногу ниже колена сделали гипсовый сапог с отверстиями против ран. Теперь и меня ходячие добровольцы сносили «на кокурках» вниз на концерт. Такие, как я, составляли первый ряд, лежа прямо на полу, а позади нас располагались остальные — «сидячие» и «стоячие».

В конце августа с первой партией тяжелораненых меня эвакуировали в тыловой госпиталь № 2514, где-то под Обозерской, в сторону Вологды. В январе сорок второго врачебная комиссия признала меня ограниченно годным, и я выписался из госпиталя. Хозяйственники приобули нас в летние ботинки из каких-то отходов, вручили хромоногим полуинвалидам клюшки, одели в поношенные бушлаты, значительно худшие, чем тот, в котором я добирался до Котельничей, и вскоре мы оказались в батальоне выздоравливающих в пригороде Архангельска, кажется в Цигломени. Не будь Ленинград в блокаде, меня списали бы подчистую и отпустили домой, но в мой город дороги не было, и я застрял в тех краях надолго.

Странно выглядел наш батальон, занявший несколько рабочих бараков этого поселка. Целая рота состояла из одноглазых, не менее двух рот хромых, с клюшками или без оных. Все это были обстрелянные воины, хотя и не всем пришлось пострелять самим. Я выпалил лишь несколько раз в сторону противника и не знаю, был ли от этого толк. На войне попадают в цель очень редкие пули...

Батальон наш все время пополнялся и в той же степени сокращался. Годные к строевой службе направлялись на учебные сборы, в школы и в маршевые роты, а потом снова на фронт. Нестроевые рассасывались по тыловым формированиям. Инвалидов отпускали домой... если их дома не были заняты немцами.

В начале мая я тоже был «завербован». Но перед тем надо сказать о причинах создания части, в которую я был зачислен. Дело в том, что из-за невозможности доступа в Мурманский порт союзнических караванов с грузами по ленд-лизу, последние шли теперь на Архангельск, и здесь их принимала группа интендантов во главе с членом Государственного комитета обороны, известным полярником Иваном Дмитриевичем Папаниным. Для охраны и сопровождения этих грузов в действующую армию при Архангельском военном округе был создан 7-й отдельный местный стрелковый батальон с местонахождением в пригороде Архангельска — Исакогорке. Формировался он из нестроевиков территориальной приписки, то есть из местных жителей, пожилых и совсем молодых ребят, нигде не служивших. Но командиры рот этого батальона заглядывали и в наш героический батальон выздоравливающих. Вот так я и попался на глаза командиру третьей роты 7-го ОМСБ товарищу Соловьеву, который взял меня к себе старшим писарем роты.

## Тыловая служба

В этом батальоне я прослужил около двух лет. Будучи ротным писарем и часто бывая на глазах у начальства, я поневоле был отмечен им как «грамотный и рассудительный», хотя в армии рассуждать не положено. Томясь от духовной пустоты, я рискнул проявить себя и как-то к слову сказал замполиту батальона, что обладаю некоторыми познаниями в истории и других общественных науках и мог бы проводить беседы с красноармейцами.

— На какие темы, какое у вас образование?

— Я окончил когда-то совпартшколу в Ленинграде...

— Вы же беспартийный.

— Был когда-то комсомольцем, но выбыл как переросток... В совпартшколы принимались и комсомольцы, и беспартийные из советского актива на соответствующие отделения,— выкручивался я как мог.

— Это я знаю. Над вашим желанием я подумаю.

По времени этот разговор совпал с периодом активного наступления немцев на Сталинград и выходом по этому поводу особо жестокого приказа Сталина. В нем требовалось: «Ни шагу назад!»— и повелевалось создавать штрафные батальоны... А в заключение говорилось: «Да осенит вас великое знамя русских полководцев Суворова, Кутузова, Нахимова...» — и называлось еще несколько славных имен, два десятка лет до того всячески поносимых как служителей царей. Что же, кого еще Сталину было вспоминать, после того как пять лет назад по его же приказу были уничтожены красные маршалы, полководцы и весь генералитет...

Замполит Петухов думал недолго. Уже наутро он вызвал меня и предложил:

— Могли бы вы для начала прочесть лекцию о Суворове?

«Ничего себе начало»,— подумал я и, чуть поколеблясь, сказал, что могу.

— Что вам для этого потребуется?

— Литература, которую наверняка можно найти в окружном Доме Красной Армии в Архангельске. И неделя на подготовку.

Замполит согласился, и я зачастил в Архангельск. На мое счастье, в это время появился теперь всем известный роман Раковского «Суворов», и прежде всего я взялся за него. В нем оказалось столько документальности, фактуры, что ничего мне больше и не требовалось. Ведь тогда мы только и начали вспоминать о знаменитых российских полководцах и флотоводцах.

Через неделю я сообщил Петухову, что готов, и показал свои записи и конспект. Он остался доволен. По всем ротам было объявлено, чтобы завтра утром весь личный состав батальона был на лекции о полководце Суворове.

По лекционной работе я соскучился: когда-то это было моей любимой профессией. Я был безмерно счастлив, видя, как внимательно слушают мой рассказ все — от новобранца до опытного солдата. Позади меня сидели все командиры взводов и рот во главе с заместителем по политчасти старшим политруком Петуховым...

Меня удивило, что почти за два часа моей лекции ни один из слушателей не «клюнул носом». Объяснялось это, вероятно, не только новизной материала и простотой его изложения, но и тем, что лекцию читал не политрук, а свой брат солдат, почти рядовой. Лекция вызвала большое оживление среди бойцов и очень много

вопросов. Когда слушатели шумно покидали столовую, замполит, не скрывая явного своего удовольствия, чистосердечно говорил:

— Порадовали вы всех нас, спасибо! Я ничего подобного и представить не мог! Многое и сам впервые услышал. Большое спасибо, товарищ Ефимов!— и он крепко, с чувством пожимал мне руку.

Мой комроты Соловьев улыбался шире всех: как же, это из его роты писарь, он его откопал... И я улыбался во весь рот, как школьник, получивший отличную отметку, и ликовал в душе. Есть еще порох в пороховнице!

Мой успешный лекционный дебют совсем покорил замполита Николая Александровича, бывшего партийного работника. Он понял, какой «клад» ему достался, и сразу же прибрал меня к рукам. Отныне все важнейшие доклады на политические темы он поручал мне. Даже некоторые политбеседы с командирами проводил я, и он непременно присутствовал. Вскоре я получил очередное звание сержанта. А потом и старшего сержанта и был переведен в штаб батальона старшим писарем.

Осенью 1942 года в распоряжение нашего батальона был предоставлен давно пустовавший поселковый рабочий клуб. Я был назначен начальником этого клуба с задачей организовать художественную самодеятельность. Вскоре удалось собрать довольно сильную группу из талантливых солдат и поселковых девушек, и наш кружок самодеятельности активно заработал. Надо сказать, что в свою комсомольскую юность я довольно сильно пристрастился к самодеятельному искусству, был участником многих спектаклей, а позднее, будучи избачом, организовал не один кружок сельской драматической самодеятельности. Теперь все это ожило в памяти.

В то время издательство «Искусство» выпустило немало интересных одноактных комедий на патриотические темы. Мы их получали из Архангельского Дома Красной Армии. Одна из них, не помню уж автора, называлась «Цари в обозе». Это была острая сатира на претендентов на русский престол после захвата России гитлеровцами. Мы ее поставили, и пьеса всегда вызывала у зрителей бурный восторг. С интересной и занимательной программой мы ездили по ближайшим воинским частям, готовившим маршевые роты, и выступали перед бойцами, убывающими на фронт. Я был и организатором, и главным исполнителем. Поэтому не следует удивляться, что командование батальона всячески по-

ощряло мою работу и делало некоторые поблажки, например разрешило жить на частной квартире наряду с другими командирами. К Новому году я получил звание старшины...

Между тем из блокированного Ленинграда шли печальные вести от сестры Поли: по весне умер от голода ее муж Павел Иванович, служивший на Октябрьской дороге, а 9 сентября умерла мать, переехавшая в город из Старой Руссы незадолго до захвата ее немцами. Похоронили их, как и всех блокадных ленинградцев, в братских могилах на кладбищах города, адреса которых мне так и не удалось установить по сей день. Но в войне погибли не только зять и мама. Много лет спустя мне стали известны подробности гибели и брата Николая. Сразу же после захвата Пскова фашистами началась обычная для них акция. Все психлечебницы Пскова и его окрестностей были в один день сожжены вместе со своими обитателями. Подробные сведения о гибели брата и других несчастных я узнал после реабилитации, в 1956 году.

Менее чем за полтора года я получил несколько благодарностей в приказах по батальону и несколько «подачек» в виде денег, которые вручались мне без расписок. Откуда они брались, я не знаю, возможно даже, что из чьего-то личного кармана. Летом 1943 года комбат капитан Шангин позволил себе невероятное: дал мне десятидневный отпуск для поездки в Ростовский район Ярославской области, чтобы навестить сестру Машу с детьми, живущую там у родственников мужа после эвакуации через Ладогу в мае 1942 года.

— Почему вы не вступаете в партию, товарищ Ефимов?— пытал меня не однажды Петухов, проницательно глядя мне в глаза.

— Не считаю себя достаточно подготовленным для такого шага,— уклонялся я от его настойчивых вопросов.

— Зачем же вы неправду говорите?! Вы подготовлены больше, чем требуется даже не для рядового члена партии... У вас, видимо, есть какая-то другая причина?

Я изворачивался как мог:

— Коль я не вступил в двадцать или, скажем, в двадцать пять лет, то теперь, когда мне скоро стукнет сорок, вступать как-то неудобно, вроде бы для личной карьеры.

— Вступают и в пятьдесят, дело не в годах...

— И в годах тоже. Я знаю, что в правительственную партию вступают и в шестьдесят лет — те, кому не хва-

тает ума и таланта, а я в свое время пропустил и не хочу пользоваться случаем...

— Ты что же, так и думаешь всю войну старшиной прослужить?— более откровенно спрашивал Петухов в другой раз, переходя на приятельское «ты».— Вступай в партию, и мы тебя отправим на краткосрочные курсы, и вскоре ты получишь звание политрука, станешь офицером. Все данные у тебя для этого имеются.

Сколько силы требовалось мне, чтобы сдержать порыв и не раскрыться перед этим прямым и понимающим человеком. Ему и невдомек, что мой партийный стаж был бы не меньше, чем у него, а военное звание, какое он имел в 1943 году, мне было присвоено еще в начале 1932 года! Этот умный человек понимал, что война будет долгой и что с моим тяжелым ранением я могу сделать военную карьеру только посредством вступления в партию. Я это знал не хуже его, но отвечал:

— Подожду немного, дайте подумать...

А он настойчиво продолжал:

— Чего же тут еще думать?! Вступай, рекомендующих я тебе найду и сам поручусь с удовольствием.

Но я продолжал упорствовать по непонятной для него причине. Он отходил от меня рассерженным.

Незадолго до Нового года просочился слух о расформировании нашего батальона по причине отсутствия... работы. Вследствие больших потерь в составе ходивших к нам караванов союзников поставки по ленд-лизу передислоцировались на юг, через район Персидского залива и далее через Кавказ, и содержать в штатах целый батальон без достаточной его загрузки не имело смысла. Все приуныли, не ведая, кого и куда теперь закинет военная судьба. Вскоре приказом по округу две роты полностью сократили, и вместо батальона осталась отдельная рота. В числе довольно большой команды я вскоре отбыл в Вологду, в 33-й запасный стрелковый полк. Накануне отбытия бывший комиссар батальона, а ныне политрук отдельной роты Петухов с сожалением сказал:

— Не послушал меня, не вступил в партию, и теперь приходится расставаться.

Прощаясь, он торжественно достал из нагрудного кармана и вручил мне свою рекомендацию в партию, заверенную политуправлением военного округа:

— Держи, друг, и знай, что я верю в тебя, как в самого себя. Если решишь вступить в партию в Вологде, пусть моя рекомендация будет первой.

И мы расстались навсегда. Все мои попытки последних лет разыскать его след так и не увенчались успехом. А как бы хотелось, пусть через много лет, развеять его недоумения.

## На завоеванной земле

В конце 1944 года, когда наши армии готовились к окончательному разгрому гитлеровской Германии, в Вологде формировались штаты военно-продовольственных пунктов для войск, уже переступивших государственную границу, то есть для работы на Западе. Военнослужащими был представлен только караульный взвод и командный состав, остальные штаты — повара, официантки, кладовщики — заполнялись вольнонаемными, то есть гражданскими лицами. Старшина административной службы Ефимов Н. И. стал кладовщиком продсклада...

Новый, 1945 год мы встретили в теплушках длинного поезда, тащившего наши формирования через Москву, разоренный Смоленск, разрушенный Минск, Вильнюс, Гродно, Белосток, Остроленко и далее уже через немецкие города, вплоть до Алленштейна. В древнем Вильно мы оказались в первых числах февраля и простояли в нем почти месяц на запасных путях. Казалось, про нас забыли, никаких дел у нас не было, и мы знакомились с этим замечательным городом, его историческими памятниками и улочками, ходили в кино и всё недоумевали, когда же определится наше будущее. 19 февраля в город привезли гроб с телом умершего от ран командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Черняховского. На похороны прибыло много высших и старших военачальников. Был многолюдный митинг. Черняховского похоронили на главной площади города, который был отбит его войсками у оккупантов. На этом месте ныне ему поставлен памятник.

Наши армии в те дни пробивались все дальше и дальше на запад и северо-запад. Войска 3-го Белорусского фронта, к которому мы принадлежали, рвались через «польский коридор» к Данцигу, стремясь отрезать пути фашистским войскам, отступавшим по Прибалтике. Наконец, когда вся южная и средняя часть Восточной Пруссии была очищена прорывом на Кенигсберг и бои переместились к северу и западу, мы двинулись к месту назначения.

Алленштейн, куда мы прибыли по горячим следам

наших войск, был вторым по величине городом Восточной Пруссии.

Впереди шли бои, а здесь, уже в тылу, мы развертывали военно-продовольственный пункт, чтобы снабжать продуктами проходивших по этим магистралям отпускников, госпитальников, воинские подразделения, а впоследствии и репатриированных. Главная военная комендатура отвела для продпункта привокзальную гостиницу со всем ее хозяйством. В этой гостинице всего лишь несколько дней назад находились постояльцы. Все свидетельствовало о поспешном бегстве, неимоверной панике и страхе перед стремительным прорывом 3-го гвардейского корпуса генерала Н. С. Осликовского... Повсюду валялись носильные и домашние вещи и предметы: мужские, женские, детские... На столах остались недоеденные обеды, а на обширных плитах кухни — застывшие, уже покрытые плесенью готовые блюда.

Во всем этом хаосе надо было разобраться, а поскольку своими силами убрать все помещения от хлама и мусора мы не могли, начальник пункта капитан Лозинский поехал в главную комендатуру за помощью. Под вечер он вернулся.

— Завтра будет рабсила!— весело сообщил этот бывший кубанский казак, посверкивая глазами из-под густых бровей.— Комендант распорядился прислать сюда целую команду...

— Каких-нибудь доходяг-инвалидов?— заметил старшина хозяйственного взвода.

— В юбках, и целую сотню!

— Держись, братва, носительницы великой немецкой расы прибудут,— сказал черноусый шеф-повар Сергеев.

— Фрау и фрекены? О, це гарно!— обрадованно сказал просто повар Миша Гребенюк и со значением покосился в сторону табунка наших девушек единственным правым глазом. Левый, по цвету почти неотличимый от правого, был искусно подобран вологодскими окулистами вскоре после его выхода из госпиталя.

За долгую дорогу Миша ухитрился отрастить модные усики и сейчас победно пощипывал их.

— Подумашь, герой-красавчик!— фыркнула одна из девчат.

Тут вмешался Лозинский:

— Чтоб никакого фрекенства не было! Понятно вам?

— А что же тут запретного?— вмешался пожилой и рассудительный хлеборез Артамонов с двумя нашивка-

ми о ранениях на левой стороне гимнастерки.— Вреда для человечества не будет, если помешать арийскую кровь с русской. Для грядущих поколений даже будет полезно...

Наши девчата засмущались и разошлись, а Лозинский сказал:

— Митинг на эту тему закрываю. А ты, Гребенюк, и другие тому подобные,— покосился он на мужчин,— об ухаживании за немками и всяких там смешениях забудьте! Чтоб и разговоров об этом я больше не слыхал. Ясно? Все! Давайте по местам...

...Рано утром к гостинице колонной по четыре в ряд подошла большая группа немецких женщин разных возрастов и по-разному одетых, но все в передниках. Старшина галантно пригласил всех в просторный вестибюль: «Битте!» — и поставил задачу перед ними, распределив по этажам. Как он с ними объяснялся, один бог ведает... Мы же, складские работники, принялись за переоборудование примыкающих к гостинице дворовых построек, отведенных нам под склады. Из комендатуры нам передали, чтобы продпункт завез себе из пригородного элеватора рис. Вскоре тяжелые мешки прибыли к складу. Сидевший за рулем грузовика механик Богаевский рассказывал:

— Элеватор — до неба! А риса в нем — за месяц не перевозить!

— Заливал бы меньше, Вася! Откуда взяться рису в голодной Германии?

— Черт его знает откуда, а только рис — японский, хрустит в руках, как крахмал, и синевой отливает.

Шоферы с других машин подтвердили сообщение Богаевского.

Рис из элеватора поступал к нам без меры. По книгам мы его оприходовали тонн тридцать, как нам было велено, и столько же навалили его в три свободных номера в первом этаже гостиницы, но без учета...

Потом откуда-то навезли тонны две голландского сыра в головках и несколько мешков разных круп. Товарищи из хозяйственного взвода собрали по окрестным полям и лесам отощавших коров, телят и других копытных, и у продпункта появилось собственное стадо скота голов на пятьдесят. По весне они нагулялись и откормились, и теперь у нас не было заботы о мясе. Во дворе кроме легковой и двух грузовых немецких машин появились два сильных битюга, которых мы запрягали в телеги и разъезжали по хуторам за картошкой, хорошо сохранившейся в неглубоких ямах.

В сутолоке и заботах первых недель мы почти никуда не выходили, хотя и знали, что в городе все еще проживает несколько сот семей, оставленных мужчинами... Первое время они жили в своих квартирах, иные — в трехэтажных домах на одну-две семьи, что создавало некоторую опасность: война еще продолжалась, и не было гарантии, что удирающие вояки и гестаповцы не заглянут к себе домой. В марте все семьи были переселены в один из пригородных рабочих поселков, и там было создано немецкое гетто.

Жизнь в немецких городах резко отличалась от нашей собственной, отечественной действительности. Здесь не было скученности и тесноты пресловутого коммунального житья, как и прочих житейских неудобств, столь привычных советским гражданам. Первая же наша прогулка по городу и по его опустевшим, но еще попрежнему обставленным квартирам поразила нас необычайно. В больших, добротно построенных домах одна семья занимала четырех-пятикомнатную квартиру: спальни для детей и для взрослых, столовая, кабинет с приличной библиотекой; среди книг мы находили переводы Льва Толстого и Чехова, Достоевского и Тургенева. Отдельная игровая комната для детей, гостиная...

— Вот жили, гады!— восхищенно ругал немецкие удобства Гребенюк, обходя простор квартиры рядового служащего и трогая пальцами слой пыли на полированной поверхности пианино или стола, серванта или буфета.

— У нас в таких хоромах живут, пожалуй, только наркомы да секретари обкомов!— кричал кто-то из наших, обследуя кухню.

— Или на худой конец академики,— ворчал Артамонов.

Возражать тут не имело смысла: вещественные доказательства были налицо.

— Понятно, почему они так яростно защищают свою страну,— размышлял Артамонов, слесарь из Воронежа.— Не хотят менять свои хоромы и шик-блеск на прелести жизни в коммуналке или на хату под соломенной крышей...

— Ладно, будут и у нас отдельные квартиры. Дай кончиться войне и залечить раны — все и у нас будет,— осаживал я.

— Будет, когда нас убудет. Эту песню я слышу уже двадцать лет. На двенадцати метрах в коммуналке за

эти годы я уж семью вырастил, троих на ноги поставил, дышать уж нечем, а ты — «все будет». Пока травка подрастет, лошадка с голоду помрет.

— И все же ты поостерегись вслух об этом говорить,— тихо сказал я Артамонову.

Он испуганно оглянулся и накрепко замолчал.

— Ты уж очень осторожничаешь, Николай Иванович,— заметил мой «тезка» сержант Николай Зубков, тоже складской работник.— Мы ведь не в России, бояться некого.

— Береженого бог бережет,— сказал я.— Соглядатаи могут быть повсюду, учти это!

— Согласен, учтем,— ответил он.

Нас на складе работало четверо: я, Зубков, ларечник Никитин и заведующий складом старший сержант Чснягов, большой пройдоха и хапуга. Жили мы в одной большой комнате в первом этаже крыла, примыкающего к дворовой территории, жили дружно, и все у нас спорилось.

Жизнь продолжалась. Веяло теплом, ярко светило солнце, на деревьях густела листва, все улицы давно были очищены от бытового хлама, трупов. Их находили и в бомбоубежищах, и на чердаках, немало их, одетых в гражданское, было и на обширных путях станции. Уборкой занимались также немцы из пожилых. На запад мимо нас все еще следовали редкие составы с войсками и новейшим вооружением для последних битв. На восток шли в одиночку и группами отвоевавшие солдаты и офицеры. К нам они приходили за пайками по аттестатам или чтобы переночевать на мягких пуховиках... Почти у каждого на груди орден, или медаль, или целый букет наград и нашитые полоски о ранениях: красные — легкое ранение, золотые — тяжелое.

Встречая нас, русских, на немецкой земле, в роли обычных мирных интендантов, они расплывались в улыбке, а замеченная на ином из нас боевая медаль или нашивка о ранении вызывали желание пообщаться.

— А мы думали, что тут одни тыловые крысы! Откуда? Где воевал? Куда ранен? Где лечился? Ясно! Тогда надо размочить рубцы!— И находилась фляжка со спиртным. И размачивали...

Немного спустя и над нашими головами загремели выстрелы-салюты в честь победы над фашистской Германией. Праздничные восторги длились несколько дней.

— Ну, скоро и по домам. Вот-вот демобилизация...

С мая все лето шли поезда на восток с трофейным оборудованием, войсками и репатриированными. Войска проходили без остановок, а репатриированных надо было кормить. Вот тут-то и пригодились наши бычки и коровы: требовалось не только мясо, но и молоко, так как в эшелонах было немало детей. Поезда эти задерживались на два и три дня не столько из-за занятости путей или недостатка в продовольствии, сколько из-за длительных проверок русских людей армейскими органами НКВД и контрразведки. Унизительные и долгие проверки воспринимались всеми болезненно: виноваты ли эти люди, которых немцы угнали к себе в тыл?! Виноваты ли они, эти белорусы, смоляне, псковичи, орловские и курские мужики, и бабы, и их дети, что Красная Армия безоглядно отступала на восток более полутора лет, бросая их беззащитными на истребление, расправу или угон в рабство?! А теперь проверяем, не завербованы ли. Себя бы проверили...

Восточные области Пруссии по мирному договору передавались Польской республике, в том числе и город Алленштейн, который позже был переименован в Ольштин, центр воеводства. Город быстро заселялся, обживался, ремонтировался. Открывались магазины, бани, ларьки, пивные, закусочные, аптеки, фотоателье и все остальное, что полагается городу. Появились электричество, горячая вода. Как по мановению волшебной палочки открылись булочные, кафе, кофейные, на прилавках — изобилие потребительских товаров!

Все возрождалось и росло как на дрожжах. Уже в июле можно было видеть, как по торговым улицам на фуражных тесовых дрогах хлебопекари развозили по частным булочным и закусочным белую румяную выпечку. Такие же дроги развозили пиво, лимонад, минеральные напитки, и эти же дроги забирали обратно свободную посуду или тару из-под хлебных изделий. Все это двигала частная инициатива и предприимчивость, которой так не хватало у нас.

Спиртное вначале появилось в виде самогона, продаваемого потихоньку, с оглядкой, в частных галантерейных ларечках. С появлением воеводских учреждений в магазинах стала продаваться так называемая «Варшавская монополевка», изготовлявшаяся в Варшаве по старым русским смирновским рецептам из чистейшего хлеба... О всех этих водочных новостях нас информировал Чиснягов, от которого теперь постоянно попахивало спиртным. Вскоре он стал основным поставщиком «мо-

нополевки» для капитана Лозинского. И неучтенный рис потек мешками в обмен на водку...

Моя попытка навести в этом деле порядок кончилась тем, что меня отчислили из штатов и направили в запасный полк, стоявший в городе. Так я оказался писарем в штабе этого полка.

Однажды в штабе полка я встретил капитана Козюпу, начальника так называемой этапно-заградительной комендатуры. Его направили ко мне для оформления документов на десяток солдат, которых он отобрал для пополнения комендатуры. Увидев меня, он удивился:

— Как ты сюда попал, Николай Иванович, и давно ли?

— Дней десять, пожалуй,— ответил я.

Он присел рядом, и я рассказал ему, как меня сплавили в запасный. Надо сказать, что весь личный состав комендатуры стоял на довольствии в столовой нашего продпункта. Поэтому за полгода близкого соседства все мы знали друг друга по имени и отчеству. У Козюпы, очевидно, было иное мнение обо мне, поэтому он, недолго думая, предложил мне перейти к нему.

В комендатуре я получил должность заведующего делопроизводством и казначея — завделказначея! В доме комендатуры по соседству с нашей гостиницей свободного места было много, и я облюбовал для себя целую мансарду под крышей — светло, просторно и весьма удобно.

Одно из писем, пришедшее из Ленинграда, принесло печальную весть: мой брат Михаил погиб через десять дней после окончания войны. Почти всю войну он был личным шофером командира дивизии; затем эта дивизия дислоцировалась где-то в районе Белостока, недалеко от границы нашей Украины с Польшей. Ночью, во время возвращения в штаб, «виллис» командира дивизии был обстрелян бандитами. Командир и шофер были убиты первой же очередью. По брезентовому кузову, где находились четверо наших солдат, ударила другая очередь, но убила не всех — одному удалось открыть дверку и вывалиться в кусты, его спасла темнота. Бандиты вытащили из машины пять трупов, сели в нее и уехали. Только через сутки раненому солдату удалось добраться до воинской части и сообщить о случившемся. Именно от него и узнала о гибели Михаила его жена — Анна Васильевна.

А новости из Старой Руссы я узнал от своего друга Истомина, которого просил осторожно навести справ-

ки о моей бывшей семье. Ему удалось списаться с моей женой Зинаидой Яковлевной (Вильнит во втором браке), и он получил от нее подробную информацию. Перед захватом немцами Старой Руссы большая часть ее населения эвакуировалась в Ленинград, но Зина, как учительница, была эвакуирована вместе со школой куда-то за Урал. Перед войной, пока я был в заключении, она родила двух девочек, а мужа ее в начале войны взяли на флот, и через год он погиб в Кронштадте. В годы эвакуации в Сибири умерли обе девочки Зины и ее отец, и в 1944 году она вернулась в Старую Руссу со своей матерью и моим сыном Юрой. Той же осенью Юра, ходивший во второй класс, погиб от взрыва какой-то немецкой пакости, которую он со своим школьным другом раскопал в развалинах дома...

И вот итог: за годы войны только в двух семьях, состоявших из двенадцати человек, погибли или умерли от голода восемь.

В марте 1946 года нашу комендатуру отозвали назад и демобилизовали. В Ленинграде я снова поселился у сестры — вдовы Поли, в той же полутемной комнате, что и перед войной. Поля жила с младшей дочкой Ниной, родившейся в 1930 году. Ее старшая дочь, моя племянница Шура, с первых дней войны была мобилизована в армию, окончила курсы связисток, и ее зачислили в зенитную батарею, что стояла на Марсовом поле, в центре Ленинграда. Там она подружилась с командиром батареи лейтенантом Миркиным, они вскоре поженились, после войны перевелись в Сталинград, где она живет с сыном и по сей день. Ее муж, полковник в отставке, умер несколько лет назад.

Начались поиски работы. Кто я и что я? Плотник, каменщик или землекоп? Но для таких работ я был уже непригоден. Тяжелое ранение обоих стоп, к тому же еще застуженных в забайкальской вечной мерзлоте, лишило меня специальности строителя. Значит, надо было искать применения себе на каком-то ином поприще.

Надо сказать, что в роли старшего писаря роты в 1942 году мне пришлось выписывать красноармейские книжки для всего состава роты, в том числе и для себя. При заполнении книжки в соответствующей графе «Образование» я тогда записал: «Среднее, окончил Ленинградский финансово-экономический техникум». Почему мне тогда пришла в голову такая мысль, не знаю, но эта запись появилась и в новом воинском билете, заполненном в Октябрьском райвоенкомате с моей красноармей-

ской книжки. А затем она перекочевала и в трудовую книжку, хотя никаких подтверждающих документов у меня не было и быть не могло...

По образованию я экономист-теоретик. А в моем комвузовском дипломе указана и специальность — преподаватель политической экономии, эту любимую мной дисциплину я знал на «отлично». Хорошо знал я и экономическую политику, так что для освоения прикладной экономики база у меня была. В армии я довольно близко соприкоснулся с этим предметом и для начала мог теперь рассчитывать на получение должности счетовода. Ну а дальше сама жизнь заставит крутиться серое вещество, на то оно и вложено в голову. Диплом? Но кто будет спрашивать у солдата-фронтовика диплом после такой разрушительной войны, уничтожившей столько архивов...

Проработав несколько месяцев товароведом в своем довоенном ведомстве, я поступил на постоянно действующие курсы главных бухгалтеров, что находились на улице Некрасова, 18, и стал посещать их с усердием. Под осень меня приняли старшим бухгалтером в главную бухгалтерию радиозавода, что в Гавани на Васильевском острове.

## Первые сюрпризы

Не прошло и полугода после того, как я стал осваиваться на новом месте, когда одна случайная встреча надолго лишила меня покоя. Однажды вечером, собирая бумаги в ящик своего письменного стола, я вдруг увидел человека, оживленно беседующего с нашим главным бухгалтером. Увидел и обомлел. Это был Федор Двоенко, который, как и я, в 1934 году работал инструктором в аппарате Старорусского райкома партии и более года жил со мной в одной квартире. В тридцать пятом, помнится, он получил направление на учебу в Комакадемию, но связи с районом не порывал. Он знал о всех событиях, происходивших в Старой Руссе; скорее всего, знал и о том, что я был арестован и осужден как «враг народа». Теперь он, видимо, работал где-то здесь, в Свердловском районе, и пришел на завод по служебным делам. Разговаривая с собеседником, он машинально обводил взглядом пустеющую бухгалтерию и тоже увидел меня. Чтобы опередить события, я быстро поднялся, приветственно помахал рукой и, улыбаясь, пошел к нему.

«Только бы не успел ничего спросить обо мне у главбуха... Только бы не успел!..» — молнией проносилось у меня в голове, а сердце готово было выскочить из груди.

— Здорово, Двоенко!— сказал я, протягивая руку и мысленно умоляя его не произносить моего имени.

— Здорово,— ответил он, пожимая мою руку.

— Ты все тут у нас закончил?— спросил я, не давая ему инициативы в разговоре.

— Да вроде бы все.— И он посмотрел на моего начальника. Главбух кивнул в знак согласия.

— Тогда пошли, а по дороге поболтаем!— И я потянул его к двери.

По моей выцветшей солдатской гимнастерке, надетой под пиджаком, и по золотой нашивке о ранении он понял, что я из демобилизованных. Значит, вопрос о тюрьме отпадал. Но у этого всегда недоверчивого и подозрительного человека могло возникнуть много других вопросов: если я, например, реабилитирован после ранения в битве под Сталинградом, где сражались «враги народа», навербованные в лагерях в штрафные батальоны, то я должен быть восстановлен в партии. Об этом правиле он знал. А если так, то почему служил после того не политруком или комиссаром, а рядовым? Ведь на мне все еще солдатская гимнастерка! Да мало ли что могло возникнуть в его голове?

Пока мы выбирались с территории завода, а затем из Гавани на Средний проспект, он узнал, где и сколько я воевал, в каком звании, когда и где демобилизовался. Он, в свою очередь, успел рассказать, что всю войну был на Ленинградском фронте, около года комиссарил у партизан, а с окончанием блокады снова вернулся на место. На какое место, я не стал уточнять.

— Где ты живешь?— спросил я.

— На Большом.

— Тогда я провожу тебя до дома.

По Девятнадцатой линии мы вышли на Большой проспект. Наконец он задал, видимо, мучивший его вопрос:

— В партии восстановлен?

Я покачал головой:

— Меня выпустили перед самой войной. Не успел начать хлопоты о восстановлении, как началась война и я сразу попал на Северный фронт. Я знал, как трудно восстанавливаться репрессированному...

— Но ведь ты, надеюсь, полностью реабилитирован?!

— Да, но пятно осталось. А ты сам знаешь, как недо-

верчиво и подозрительно смотрят на таких иные товарищи...

— А как же иначе?— ответил он, не уловив иронии в моих словах.

— Вот и я так смотрел, пока не хватил беды и горя сам.

— Можно было бы восстановиться и в звании, раз вины за тобой нет никакой.

— Конечно, тут ты прав полностью...

Чувствовалось, что он остался недоволен тем, что я все еще не восстановился. Он сразу же стал сух и лаконичен, а когда подошли к его дому, поторопился проститься у парадной. Правда, мы и прежде никогда с ним не сидели за одним столом, хотя и умывались из-под одного крана, но встретить старого товарища и не пригласить его в дом — это было выше моего понимания. Двоенко и раньше держался особняком, но в данную минуту его сухость и осторожность я воспринял однозначно. Что было бы, если бы он давеча первый меня узнал и окликнул? Мог и главбух обратиться ко мне перед уходом по имени и отчеству. Я почувствовал, что Двоенко для меня опасен. Возможно и то, что он не поверил моим объяснениям. Теперь я стал для него чужим, прочим...

Я был страшно напуган этой встречей, напуган так, что всю дорогу домой думал лишь об одном: что мне делать дальше? Куда спрятаться от подобных встреч и можно ли вообще избежать их, если мир чертовски тесен?! Если останусь на этом заводе, подумал я, то рано или поздно моя тайна будет раскрыта. А это начало конца...

Но обстоятельства устранили угрозу разоблачения.

В феврале и марте 1947 года райвоенкоматы города проводили переаттестацию командного состава запаса, не служившего в армии в годы войны и имевшего устаревшие воинские звания. В Октябрьском райвоенкомате, где я состоял на учете, тоже начала работать такая комиссия, и я был привлечен в эту комиссию как старший писарь штаба полка, согласно специальности в воинском билете.

Среди десятков товарищей, с которыми мне пришлось беседовать при заполнении ими анкет и прочих документов, судьба послала ко мне начальника планово-производственного отдела одного из центральных конструкторских бюро Наркомата судостроения. Оба мы в прошлом были преподавателями, и у нас нашелся об-

щий язык, тем более что и в настоящее время мы работали в родственных областях. Когда я мимоходом посетовал, что не удовлетворен своей работой, Николай Васильевич Тихомиров спросил:

— А чем именно не удовлетворены?

— Мне больше по душе оперативная работа, более разнообразная, нежели чисто бухгалтерская.

— Приходите к нам, в ЦКБ, в мой отдел!

— А на какую должность?

— Есть у меня вакансия старшего инженера финансово-договорной группы. Я думаю, что вам это подойдет.

— Но у меня утерян диплом...

— Там посмотрим, может, обойдется и без диплома.

## Глава восемнадцатая

Не бойтеся! Уж не откроет он
Своих очей! Уж острого жезла
Не схватит длань бессильная, и казни
Не изрекут холодные уста!

А. К. Толстой

### Опасные встречи

В начале апреля я уволился с радиозавода и был принят в ЦКБ. Работа здесь оказалась действительно интересной и живой — как раз по мне. Она включала в себя большой объем деловой переписки, и первые же мои письма, связанные с договорами с поставщиками и заказчиками, пришлись по вкусу моему начальнику. Он был доволен своей находкой...

Но перед тем мне пришлось пережить немало тревожных дней, связанных с проверкой моих анкетных данных.

Целых две недели я жил как на иголках, ежечасно ожидая разоблачения моей легенды, изложенной в пространной анкете и автобиографии. Под маской деловитости я прятал свое истинное состояние, постоянно думая лишь об одном: вот явится сейчас строгий оперативник или еще более строгий человек в защитной форме из Большого дома на Литейном, посмотрит на меня сурово и скажет:

— Погуляли, гражданин Ефимов, и хватит. Ваше место совсем не здесь: лагерь давно по вам скучает... Собирайтесь!

Этот страх разоблачения и нового ареста преследовал меня все дни, пока начальник отдела кадров не поставил своего штампика на пропуске. Но он, этот страх, не отпускал меня еще десять лет... Все те годы я старался реже показываться в людных местах, чтобы не встретить кого-нибудь из своих прежних знакомых. Случайную встречу с Двоенко я никогда не забывал. Немало пережили за меня и мои родные.

В конце 1947 года я женился и переехал от сестры на квартиру жены. Через год у нас родилась дочь Наташа, Наталья Николаевна. Поначалу моим родственникам, живущим через два дома на том же проспекте, было трудновато таить мое прошлое от новой родни, но месяц за месяцем, год за годом все постепенно притиралось, и в конце концов и подрастающее поколение племянниц и племянников уже твердо звало меня дядей Колей.

Через год после женитьбы мне пришлось испытать еще одну опасную встречу. Ленинград — очень большой город, однако и в нем может быть тесно...

В первые послевоенные годы во всем ощущалась нужда. Еще сохранялась карточная система на промтовары, были трудности с одеждой. Даже, например, в пошивочном ателье, чтобы заказать новомодную шляпку, следовало сдать старую, желательно мужскую, из которой мастера и создавали нечто фасонистое. В одно из таких ателье на площади Репина мы и зашли однажды с женой, захватив с собой мою трофейную шляпу. День был воскресный, и в приемной ателье было полно посетительниц, рассматривавших под стеклом скромные образцы женской послевоенной моды.

Жена тоже потянулась к витринам, а я от нечего делать озирал потолок и стены. Вдруг я заметил, как от общей группы отделились две молодые женщины, собираясь уходить, и одна из них, что была помоложе и черты лица которой мне показались знакомыми, пристально посмотрела на меня, потом что-то сказала своей спутнице и, подойдя ближе, нерешительно спросила:

— Ваня Ефимов?

Я мог ожидать любого вопроса, только не этого. В мозгу мгновенно пронеслось: «Кто она? Как отвечать? Знает ли она меня?»

— Нет, вы ошиблись, меня зовут Николаем,— сказал я машинально, настолько я уже сам отвык от своего имени.

— Неужели ошиблась? Не может быть,— смутив-

шись, промолвила она и еще раз переглянулась со своей спутницей.— Вы очень похожи на того, кого я назвала. Даже голос и интонации до удивления схожи,— продолжала она с недоверием и сомнением, осматривая меня с головы до ног.

А я уже вспомнил, кто эта незнакомка, и пришел в ужас. Это была младшая сестра Нади, с которой я года два дружил лет семнадцать назад, будучи студентом комвуза. Звали ее Таней, она была моложе своей сестры года на три-четыре, теперь ей было, вероятно, около тридцати пяти. Я бывал довольно часто в их семье на Восьмой линии Васильевского острова, подолгу засиживался с Надей, что всегда вызывало недовольство и даже ревность с ее стороны. Боже, как прошлое все еще преследует меня!

Несомненно, она узнала меня, и ничто ее не убедит в обратном. Мне же ничего не оствалось, кроме упорного запирательства.

— Вы в самом деле ошиблись. Возможно, вы спутали меня с моим братом-близнецом, до крайности схожим со мной... И его действительно звали Иваном. Но он погиб на фронте, и я, к сожалению, не могу ничем помочь вам.

— Извините меня за назойливость, но такого поразительного сходства я еще никогда не видела. Жаль, что я ошиблась... Еще раз извините.— И обе женщины поспешно вышли на улицу, ни разу не оглянувшись.

Этот разговор длился минуты две, мне же он показался долгой пыткой. Больше всего я опасался появления жены — не знаю, как бы я изворачивался при ней.

Жена твердо знала, что кроме Михаила, действительно погибшего в войну и судя по фотографиям совершенно непохожего на меня, у меня не было никакого другого брата. Семейная тайна так крепко хранилась моими родными, а друзья моей юности — ленинградец Яша Хотяков и ереванец Леонид Истомин — так умно и непроницаемо вели себя при наших редких встречах, что у нее решительно не было никакого повода сомневаться в том, что́ она знала о прошлом своего мужа.

До войны на Невском в доме № 88 жила знакомая мне еще с 1929 года большая семья Хотяковых: отец, мать, два сына и дочь — все погодки; Яша был старше меня года на полтора, Римма — моя ровесница, и соответственно на год моложе был Исаак. С Риммой я познакомился еще в Мурманске, в драмкружке клуба совторгслужащих, а когда осенью двадцать девятого посту-

пил в комвуз, стал вхож в эту семью, как в родную. Яша, Яков Наумович, с первых же дней знакомства стал моим задушевным другом, эта дружба продолжается и по сей день, то есть целых пятьдесят лет. Появившись в городе в сороковом году, я снова сошелся с этой семьей, единственной, кроме моих родных, посвященной в мою тайну.

После войны я постарался сразу же навести справки о своих бывших знакомых по Ленинграду. Оказалось, что почти никого из них не осталось в городе: одни погибли в блокаду, другие на фронте, а третьи, видимо, не вернулись из эвакуации. Старики Хотяковы умерли, Римма еще перед войной вышла замуж и в сорок первом вместе с мужем переехала в Астрахань. Исаак после войны тоже не вернулся в Ленинград. На Невском теперь жил один Яков, женившийся после войны.

И вот вдруг выясняется, что в этом городе все еще живут люди, помнящие меня, хотя бы Таня Рузова... Много ли их и как вести себя с ними, если произойдет новая встреча? Ведь жизнь слагается из множества случайностей, из бесчисленных противоречий и кажущейся нелогичности...

Однажды, придя с работы, я обратил внимание на дубленый полушубок в прихожей, издающий специфический запах. «Кто бы это мог быть?»— подумал я.

Из комнаты вышла жена и, направляясь на кухню, сказала:

— Там тебя давно ждет какой-то деревенский родственник.

Я вошел в комнату с тревогой в груди. Трехлетняя Наташка, разбросав игрушки, подбежала ко мне с криком «Папуля пришел!», а из-за стола поднялся высокий мужчина лет за шестьдесят и пристально, молча посмотрел на меня. Протягивая руку и вопросительно глядя ему в глаза, я подчеркнуто сказал:

— Будем знакомы: Николай Иванович Ефимов.

Его седеющие брови чуть дрогнули, а в уголках глаз появилась понимающая улыбка.

— Мы ведь давно знакомы, только ты позабыл. Я — твой зять, Михаил Туманов.

«Так вот это кто!»— обрадованно подумал я и мгновенно вспомнил и свое позабытое детство, и любившего меня мужа старшей сестры Анны, дочери моего отца от первого брака. Жили они в Калининской области.

— Немудрено, Михаил Тимофеевич,— облегченно и обрадованно сказал я, от души заключая его в свои

объятия.— Свершилось столько событий, что и вспомнить трудно... Да и не виделись мы, кажется, лет тридцать.

— Даже больше: в Чопорове я у вас был в первый и в последний раз вскоре после смерти папаши, кажется в самом начале первой мировой войны.

В Ленинград он приехал погостить к замужней дочери, побывал и у моей сестры Поли — там его вкратце посвятили в семейную тайну.

Когда жена унесла на кухню остатки посуды и принялась за мытье, Михаил Тимофеевич сразу же посерьезнел и, понизив голос, сказал:

— У нас недавно были незваные гости и спрашивали о тебе...

— Эко куда их занесло — Ефимовы там не живут с десятого года! А теперь идет пятьдесят второй!

— Вот и спрашивали, не бывал ли перед войной или вскоре после войны. Потом мне в сельсовете сказали, чем интересовались гости: не приезжал ли Ефимов за метрикой, не хлопотал ли о паспорте? А ты так хорошо упрятался, что и родня-то не скоро разыщет!— с восхищением сказал Михаил Тимофеевич и снова переменил тон:— А мы в первый-то раз страшно все перепугались. И все из-за портрета...

— Как в первый раз? Из-за какого портрета?

— Первый-то раз приходил один еще в сорок первом... А с портретом вышло так: мой меньшой кончал десятилетку и увлекался фотографией в школьном кружке. Вот он как-то возьми да и увеличь твою карточку, что прислал ты еще задолго до войны. Портрет получился хороший, я сделал для него рамку и повесил в переднем углу, чуть не с иконами рядом... Вот он увидел этот портрет и привязался: когда и откуда взялся? Почему так почетно храните, да еще на видном месте? Разыскали ребята ту старую пожелтевшую фотографию и объяснили, как получился портрет. И все равно не успокоился: «Зачем храните, ведь он — враг народа?!» А я ему: «Вам враг, а мне почти брат, где хочу, там и вешаю».—«А лучше вам убрать его подальше»,— посоветовал он. Вскоре все же портрет мы убрали и спрятали. Не ровен час...

Родной мой Михаил Тимофеевич... Совесть его была чиста, как и душа, воспитанная долгой и нелегкой жизнью крестьянина, в трудном одиночестве поднявшего на ноги большую семью. Ведь свою жену Анну он потерял рано.

— Да ты не расстраивайся,— успокоил он меня, понимая, как я воспринял его неприятное сообщение.— Все обошлось, и все обойдется.

Так велись поиски беглого «врага народа». Дорого же он стоил нашим опричникам! И как же велик этот аппарат бездельников, и во сколько же он обходится налогоплательщикам?!

...В том же пятьдесят втором году я перешел на работу в плановый отдел НИИ имени академика А. Н. Крылова, но пробыл там менее полугода.

Зайдя однажды по делу в отдел за своим спецчемоданом, среди сотрудников, всегда толпившихся там, я вдруг увидел знакомую женщину. Увидел, и... сердце ушло в пятки. Она тоже заметила меня и, как мне показалось, равнодушно кивнула. То была Галя Кузнецова, соседка и подруга моей племянницы Шуры, жившая до войны со своей матерью и сестрой прямо под нами, то есть под комнатой, где я поселился в семье Поли сразу же после побега. Галина знала меня с тридцатых годов, знала и о моем несчастье в 1937 году... Увидев ее, я тут же понял, что должен как можно скорее бежать из института.

На другой же день, выдвинув какой-то благовидный предлог, я перевелся в одно из конструкторских бюро нашего главка. И не напрасно: после реабилитации мне рассказали, что в те дни, когда я столкнулся с Кузнецовой, одному из моих родственников она якобы сказала при встрече:

— Пусть Иван Иванович уходит из института. Иначе ему может быть худо!..— Она даже не знала тогда, что я живу под чужим именем.

Сердце — вещун: оно всегда мне подсказывало правильный выход из явно провального положения.

В течение послевоенного десятилетия вспышки преследования советских людей, огульных обвинений и арестов наблюдались не однажды. Памятным для ленинградцев останется так называемое «ленинградское дело», когда были расстреляны многие руководители Ленинграда, а тысячи ни в чем не повинных руководителей рангом поменьше были сняты с работы и исключены из партии, репрессированы. Памятным останется и липовое «дело врачей-отравителей», состряпанное НКВД в 1952 году, а также многолетний психоз борьбы с космополитизмом, охвативший страну в конце сороковых годов, в результате чего возник «железный занавес» между Востоком и Западом.

И вся эта истерия человеконенавистничества как в партии, так и в стране велась якобы от имени и в интересах партии и советского народа... А в сущности это была всего лишь подлая ширма для прикрытия безудержной борьбы Сталина за упрочение непререкаемой личной власти!

## Конец затемнению

Неожиданная смерть Сталина была воспринята партией и народом как величайшая утрата. Горе было искренним и всеобщим, и трудно было свыкнуться поначалу с мыслью, что кумира больше нет и не будет... Но иного чувства и представить невозможно. Сталин был для всех «Лениным сегодня!». Так было установлено и затвержено во всей официальной публицистике, истории, наглядной агитации, художественной литературе, драматургии, поэзии — во всех видах искусства! Этой догмы держались гении и бездари, таланты и приспособленцы, всеми силами выцарапывая себе Сталинские премии, почет и славу...

Писатель с мировым именем А. Н. Толстой в угоду требованиям времени прервал свою знаменитую трилогию «Хождение по мукам», чтобы срочно написать и издать в 1937 году повесть «Хлеб»— хвалебный гимн Сталину и Ворошилову. Менее чем через год он был обласкан, выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР и избран... от Старорусского избирательного округа. Как и когда он стал «земляком» старорусцев, никому не известно.

Сотни лукавых историков становились кандидатами наук, а затем и докторами не за полезный вклад в общественную историю, а за удачное извращение фактов, за подтасовку, за умелое восхваление «талантов» Сталина и его «звездной» роли на земле.

Дети, едва начав говорить, заучивали, как молитву, бездарные стишки вроде: «Я Сталина не знаю, но я его люблю!» Странная заочная любовь! Кто мог осмелиться говорить иначе?! Талантливый поэт или писатель, ни разу не упомянувший в своих произведениях имени Сталина, на многие годы уходил в небытие: его произведения не печатались, а случайно увидевшие свет — замалчивались. В 1937 году сотни таких писателей и поэтов оказались в тюрьмах и концлагерях, где в большинстве своем

и погибли с клеймом «врага народа». Так было при Сталине.

Его странную смерть я воспринял как избавление от затянувшейся страшной болезни, которая и меня давила все эти годы. Так же восприняли ее многие сотни тысяч коммунистов и рядовых граждан, невинно пострадавшие при нем. Показалось лишь странным само его умирание. Впрочем, наше поколение помнило множество странных смертей. Странно умер Серго Орджоникидзе, и странно был убит Сергей Миронович Киров. Странно ушел из мира смертельный враг Сталина Троцкий, и странно умер вдали от родины верный ленинец — дипломат Раскольников...

Но постепенно, иногда спустя многие десятилетия, люди начинают узнавать обо всем странном. Они узна́ют многое из того, что еще не знаем мы, ныне живущие, узна́ют потому, что прошлое, каким бы оно ни было, не может убрать всех своих следов, и по ним люди восстанавливают истину, создают подлинную историю. Но это будет, видимо, после нас...

Смерть Сталина и ликвидация Берии в самом скором времени принесли и ощутимые благие перемены: прекратилась незримая слежка за людьми, стало меньше беззаконий. Незадолго до XX съезда партии оставшиеся в живых безвинно осужденные стали выходить из тюрем, лагерей, возвращаться из ссылки на свободу. Все дышало надеждой на новые, лучшие времена.

В феврале 1956 года состоялся XX съезд партии, и в народе поползли слухи о том, будто сразу же после официального закрытия съезда и ухода иностранных гостей состоялось закрытое заседание, на котором Первый секретарь ЦК Никита Сергеевич Хрущев сделал специальный доклад, разоблачающий беззакония, произвол и злоупотребления властью в период господства Сталина.

Вскоре дошла до нас и другая молва, будто на предприятиях и в организациях, на широких собраниях рабочих и служащих зачитывается секретный доклад товарища Хрущева «О культе личности Сталина». Содержание доклада уже передавалось из уст в уста. Наконец и у нас объявили, что вечером в красном уголке будет зачитываться закрытое письмо ЦК КПСС. После работы небольшой зал нашего уголка был забит до предела. Сидели во всех проходах, на многих стульях по двое. Не могу найти слов, чтобы выразить овладевшее мною чувство, когда я

сидел среди сослуживцев в душном, переполненном помещении и затаив дыхание, готовый разреветься, слушал этот доклад и как будто освобождался от незримой тяжести. Я все чаще и чаще оборачивался на товарищей, мне хотелось громко сказать им, что я из числа тех, кто невинно пострадал. Что все услышанное ими не вранье, а горькая правда, даже только малая частица правды. Если бы они могли только представить себе всю правду, видеть всю картину содеянных преступлений, у них помутился бы разум. Но я молчал, хотя все во мне клокотало и ликовало. Кажется, конец многолетнему страху! Но я был все еще Николаем, а Иван все еще разыскивался среди двухсотмиллионного населения, с тем чтобы быть водворенным за решетку.

И все же для меня это были счастливые дни! Самое чудесное в том новом ощущении бытия — что страх разоблачения и ареста исчез. Я был уверен, что рано или поздно все дела репрессированных людей будут пересмотрены.

Слушавшие доклад были так поражены, что выходили с собрания молча. У многих были родственники или знакомые, семьи которых в той или иной степени пострадали. Был здесь и Ефим Яковлевич Локшин, заместитель начальника ЦКБ, исключенный из партии в дни «ленинградского дела», снятый с должности директора пятого завода и тоже не восстановленный. В партии он состоял с 1925 года, когда работал шофером в Московской ЧК, а в тридцатых годах, по окончании Промакадемии, стал директором судостроительной верфи, принадлежавшей Наркомату внутренних дел. В те годы НКВД не церемонился и с чекистами школы Дзержинского.

Разные люди были на этом собрании...

Через несколько дней я написал о себе подробное письмо в Центральный Комитет партии. Вскоре получил ответ, что письмо мое послано Верховному прокурору, а оттуда поступило извещение, что мой вопрос рассматривается в Новгороде, откуда мне и следует ждать ответа. Новгородский прокурор вскоре сообщил, что дело мое пересмотрено еще 20 февраля и прекращено за отсутствием состава преступления.

Когда я прибыл в Новгород, чтобы получить форменный документ на свое имя, в архиве МВД мне показали мое следственное «дело», в котором находились не только доносы Козловского и Бложиса, но и мои жалобы из лагерей. Только на одной из них была резолюция не-

известного вельможи: «К пересмотру дела нет оснований...» Паспорта и прочих моих документов в «деле» не оказалось, хотя в протоколе обыска они упоминаются. Не нашлось в архиве и двух отдельных папок, одна из которых представляла для меня исключительную ценность. В ней были подшиты десятки документов, характеризующих меня как комсомольского и партийного работника с первых дней моей деятельности, то есть более чем за десять лет. Здесь были справки о том, где, кем и когда я работал, характеристики, разные удостоверения и прочее, заменявшее в те годы трудовую книжку и паспорт.

— Куда же все это исчезло?— взволнованно спрашивал я у начальника архива, майора госбезопасности.

— Мне думается, что все эти документы и бумаги были уничтожены или в период следствия, или в момент передачи «дела» в архив, то есть после решения «тройки». А скорее всего — в период следствия, поскольку эти документы были в вашу пользу. Следователи были заинтересованы очернить вас! Вы заметили, что доносы Бложиса и Козловского хранятся? Они были нужнее...

## Люди и судьбы

В Новгород мне пришлось ехать не ради любопытства к своему следственному «делу». Я помнил его отлично. Причина была в другом. Когда я обратился в Октябрьское отделение милиции за сменой паспорта, произошел долгий разговор, в котором выяснилось, что мне необходимо представить подлинные документы, изъятые при аресте.

— По ним мы скорее обменяем вам паспорт, а иначе придется ждать, пока мы сделаем нужные запросы и получим ответы.

Увы, документов не нашлось... Пользуясь пребыванием в Новгороде, я решил навестить своих старых товарищей, чтобы они дали отзывы обо мне, нужные при восстановлении в партии. Так сказали мне в горкоме. Служебный адрес Алексея Петровича Лучина, коммуниста с 1930 года, мне сообщили в архиве. В бытность мою в «Трибуне» Алеша Лучин работал инструктором промышленного отдела. В годы Отечественной был одним из руководителей партизанского движения в заильменских лесах. Теперь я шел в областное управление торговли, где он начальствовал. Наша встреча произош-

ла в его кабинете. В приемной я выждал свою очередь и вошел к нему в качестве просителя.

— Здравствуйте, Алексей свет Петрович,— церемонно сказал я, не скрывая радостной улыбки.

— Откуда ты, мертвяк, взялся?— с удивлением спросил он, выходя из-за ответственного стола и сердечно здороваясь.

В кратких словах я поведал ему свою эпопею. Потом заговорил он:

— В феврале прошлого года мне позвонили из нашей прокуратуры и спрашивали, знаком ли я с тобой. Я ответил, что знал Ефимова по совместной работе в газете, но он, говорю, в тридцать седьмом был репрессирован и посажен. «Знаем, что посажен,— ответили мне,— но его «дело» пересмотрено по протесту прокурора и прекращено. Нужно известить его об этом или хотя бы родных, но никому не известны их адреса».—«Но лагерь-то, где он сидит, узнать можно?»— спрашиваю я, а мне отвечают: «Ушел он из лагеря более шестнадцати лет назад, и след его затерялся. Теперь хотя бы родственников его разыскать, порадовать их и снять пятно...»

— А ты, гляди-ка, и сам отыскался,— весело говорил он на прощание, написав свой отзыв.— Надеюсь, что скоро сообщишь и о восстановлении?

— Непременно!— ответил я, будучи уверенным, что восстановление в партии займет ничтожное время.

Но меня подстерегало горькое разочарование. Не прошло еще и года после исторического съезда, а на моем пути к партии уже воздвиглись баррикады...

Из Новгорода я поехал в Старую Руссу, где по-прежнему жил мой близкий друг и товарищ Михаил Федорович Горев. Получалось так, что на протяжении ряда лет он принимал от меня дела и должности, как бы следуя за мной по пятам при моем передвижении по службе. Но в начале 1938 года он перешел из Дома политпросвещения не в редакцию, а в аппарат райкома партии, когда его избрали вторым секретарем. После войны он долго работал секретарем парткома Заильменьского лесосплава.

Разговоров у нас накопилось много, и касались они преимущественно двадцатилетнего прошлого. Зная, что Горев был в курсе всех политических событий тех давних и страшных для Старой Руссы лет, я спросил его, где же теперь находится наш общий «друг» Бельдягин.

— Жив и здоров наш Бродягин. Работает, как я слы-

шал, в Боровичах в сфере коммунального хозяйства...

— Почему же он сменил профессию?

— Сам-то он не сменил бы, да жизнь заставила. Его ведь судили в тридцать девятом году, и к этому делу лично я причастен.

И Горев рассказал, как в его бытность секретарем райкома стало поступать много жалоб родственников людей, посаженных в тюрьму, о нарушениях законности и злоупотреблениях в райотделе НКВД.

— Жалобы поступали к нам отовсюду: из Москвы, из редакций газет, из области — с просьбой разобраться. Этих жалоб скопилось так много, что пришлось создать специальную комиссию для их проверки, мне поручили возглавить ее. Вот так и получилось, что вместо партийной работы я почти полгода занимался расследовательским делом. Впрочем, это тоже партийное дело... Наш район, как ты помнишь, был кустовым, и райотдел вел следственные дела по целой группе смежных районов — Лычковскому, Поддорскому, Демянскому, Залучскому и Валдайскому. Старая Русса, конечно, всему задавала тон, в том числе и по количеству арестов. К тому времени оно заходило за сотни и даже тысячу, но мы разбирали дела только тех, кто еще находился под следствием.

— Значит, моя персона в твои заботы не входила?

— Нет, ты был уже «конченым», как и все сгинувшие в тридцать седьмом году. Наша власть на вас не распространялась... Так вот в итоге трехмесячной работы комиссия составила пять томов документов, изобличающих Бельдягина и его мастеров в явных злоупотреблениях властью.

— А как реагировал на это сам Бельдягин? Неужели спокойно взирал и не протестовал?

— Да нет. Бельдягина уже с год не было в Руссе. За успешное выкорчевывание «врагов народа» он был повышен в должности и уже возглавлял Псковское окружное управление НКВД. Вот так-то, друг мой Иван... Итоги нашей работы и наши предложения были рассмотрены бюро райкома, и было решено передать материалы на Бельдягина и трех следователей областному прокурору. После проверки наших материалов прокуратурой Бельдягин и трое следователей были арестованы и сели на скамью подсудимых.

— Неужели их судили?

— Представь себе — да. Бельдягина присудили к расстрелу, а следователям дали по пятнадцать лет.

— К высшей мере, а он жив и здоров?!

— А ты не спеши. После суда все они обжаловали решение областного суда в Верховном, и тот снизил меру наказания. Расстрел Бельдягину был заменен на двадцать пять лет тюрьмы, а следователям срок убавили до пяти лет.

— Какой милостивый наш Верховный суд! А вот наши жалобы до него не доходили... Сильна и мудра наша пролетарская Фемида! К бельдягиным она нашла смягчающие обстоятельства, а к ни в чем не повинным проявила равнодушие и... беззаконие.

— Похоже на то,— согласился Михаил.

— А как же случилось, что Бельдягин не отсидел и двадцати пяти лет?

— Похоже, что он не отсидел и десяти. Его видели на свободе сразу же после войны.

— Каким образом?!— негодовал я.

— А черт их знает, не понимаю сам, хоть убей...

Потом была интересная встреча с Владимиром Павловичем Крижанским, работавшим в начале тридцатых годов в Старой Руссе заведующим роно. Он хорошо меня знал и настолько ценил, что не однажды предлагал директорство в любой из средних школ города. В конце 1934 года его назначили заведующим Леноблоно, а его квартиру в Руссе мы поделили с Двоенко. После долгих поисков я разыскал наконец адрес Крижанского. Он работал директором образцовой средней школы в Луге. Я написал ему большое письмо и просил о встрече. Вскоре он приехал на совещание работников средних школ, позвонил мне, а вечером пришел ко мне домой. Тут я и узнал еще одну грустную историю.

— В тридцать шестом году меня перевели на работу в Наркомпрос на должность начальника одного из управлений,— рассказывал мне Владимир Павлович.— Потом, как известно, арестовали наркома просвещения Андрея Сергеевича Бубнова, старого большевика, бывшего члена Военно-революционного комитета. Помнишь этого героя Октября?

— Кто же его не помнит...

— После его ареста оказались в опале почти все его заместители и начальники управлений, якобы выдвиженцы Бубнова. Коли Бубнов враг, значит, и других надо проверить. Цепная реакция. Так заведено у нас уже не первый год... А кто завел? Это одному ЦК да Сталину было известно. Вместо Бубнова наркомом был назначен Тюркин, неизвестная среди просвещенцев личность, ставленник Маленкова. От Тюркина, видимо, потребова-

ли очистить аппарат Наркомпроса от «последышей» Бубнова, и естественно, что первой жертвой стал я, еврей Крижанский.

Владимир Павлович замолчал, выпил рюмку и закурил.

— И вскоре арестовали?— спросил я.

— В том-то и дело, что нет, но от этого не легче. В моем управлении работал известный тебе по Старой Руссе директор педтехникума Шифрин Борис Михайлович, мой выдвиженец, весьма неглупый мужик.

— Помню его хорошо...

— Так вот его и некоторых других арестовали, а я стал опальным: дескать, сам ставленник врага народа Бубнова да еще пригрел под своим крылышком другого врага, наводнил аппарат управления чуждыми элементами. Да и в ЦК на меня смотрели косо из-за активной поддержки, которую я имел со стороны Надежды Константиновны Крупской — она работала в нашем управлении, в отделе внешкольного воспитания.

Так вот, меня сняли с должности и исключили из партии за то, что не отрекся ни от Бубнова, ни от Шифрина, ни от других, считая их всех ни в чем не повинными... Но зато мою жену, тоже работавшую в наркомате, убедили от меня отречься. Она забрала нашу дочь и съехала с квартиры...

Целых два месяца в начале тридцать восьмого я был без дела, сидел дома, как в норе, под домашним арестом. Днем и вечером спал или бегал за продуктами, а с двенадцати ночи и до рассвета «дежурил» у стола за бутылкой водки. Сидел один, ожидая звонка непрошеных гостей. Весело, не правда ли? Чемоданчик с бельем и табачком поставил у двери. И вот однажды, часа в два ночи,— продолжал Крижанский,— когда у меня уже началось помутнение в голове, раздался звонок в дверь. Я поднялся, оглядел стол, допил остатки из стакана, закурил и пошел открывать. Распахнул дверь — и на меня буквально упал мой старый друг Шифрин, худой и обросший. Я схватил его в охапку, втащил в прихожую, обнимаю, а он мне: «Осторожнее, мне больно!»

В комнате он снял пиджак, повернулся ко мне спиной и попросил поднять рубашку... Вся его спина от шеи до ягодиц была исполосована чем-то вроде шомполов. Сине-багровые, кровавые полосы... во всех направлениях. Что-то чудовищное.

«Вот тебе свидетельство нашей гуманнейшей следственной практики!— сказал он, морщась, осторожно

заправляя рубашку в брюки.— Потребовали подписки, чтобы я никому ни гу-гу».

А я все не мог осознать, что передо мной живой Борис. «Обвинения не подтвердились, и поэтому отпустили по чистой»,— сказал он.

Вскоре после освобождения и восстановления Шифрина в партии,— продолжал Крижанский,— меня вызвали в партком наркомата и предложили подать заявление о восстановлении в партии. «Почему я должен подавать заявление? Исключали-то меня без всякого заявления?!»—«Так требуется по форме...»—«А я за формой не гонюсь. Как исключали, так и восстанавливайте. Вины перед партией у меня не было и нет...»

Так и не написал. Долго думали, как быть, советовались где-то в верхах и наконец восстановили без заявления... Должность моя была уже занята, и меня зачислили в резерв, уплатив за два месяца безделья. Тюркин предложил мне ехать в Сталинград и принять ректорство в пединституте, а когда я наотрез отказался, потащил к Маленкову. Тот встретил нас стоя за своим обширным столом в величественной позе — заложив два пальца правой руки за борт защитного кителя,— видно, старался походить на нашего великого и непогрешимого.

«Что скажете?»— не пригласив сесть, спросил надменно.

Я бесцеремонно уселся в глубокое кресло у стены, а нарком по стойке «смирно» стал докладывать о моей строптивости и отказе ехать по назначению.

«ЦК поддерживает мнение наркома и согласен с его решением»,— ответил Маленков. Таков был итог этой встречи.

В общем, пришлось мне ехать в Сталинград. Созвонился со знакомым мне секретарем обкома по делам просвещения, он принял меня поздно вечером. Я рассказал ему о своих неприятностях и о визите к Маленкову. Секретарь выслушал меня, потом вынул из стола какой-то пакет, показал на него и тихо сказал: «Немедленно возвращайся обратно, иначе тебя завтра же здесь арестуют... Ничего не спрашивай — не скажу, но запомни: ты у меня не был и, естественно, со мной не встречался. Понятно?»—«По-онятно»,— еле выговорил я и, пожав его руку, немедленно уехал на вокзал... Тебе, я думаю, тоже понятно, что было в том пакете...

И все же я остался в Наркомате просвещения, правда на пониженной должности. Вскоре и война началась. Комиссарил в дивизии. Тяжелое ранение в ноги сделало

меня малоподвижным. Лет семь все же проработал в Ленинграде директором Института повышения квалификации школьных работников. От квартиры далеко, а с каждым годом с ногами было все хуже и хуже... Нашли мне подходящее место в Луге, где при одной средней школе была квартира. Вот так, Ванюша, сложилась судьба. И это еще в лучшем виде... Теперь расскажи мне о себе поподробнее. Как тебе удалось так долго хорониться?

Я рассказал ему то, о чем не писал, и с облегчением вздохнул:

— Теперь всем моим страхам и волнениям, кажется, конец. После съезда все стало иначе, все меняется.

Он посмотрел мне в глаза с какой-то укоризной, а потом отчетливо, чуть не по складам, произнес:

— А ты искренне уверен, что все скоро переменится?— Он сделал ударение на словах «все» и «скоро».

— Мне кажется, что решения съезда по этому вопросу ясны и обязательны для каждого,— уверенно ответил я.

— Верно, обязательны. Но разве можно вот так сразу изменить все? Да, многое будет иначе, но когда? Невозможно изменить в год и в два то, что складывалось, созидалось и укоренялось в психике людей десятилетиями. На чем воспитана вся партия, на чем воспитаны уже два поколения?

Я задумался, а он продолжал разъяснять сказанное, с каждым словом подрубая мои надежды, как когда-то подрубали надежды о скорой свободе Гриша Малоземов и Никитин.

— Ты пойми меня правильно, Иван, и не подумай, что я ставлю под сомнение сказанное и решенное на Двадцатом съезде. Но надо исходить из реальности, а не из директивы. А реальность состоит в том, что дела делаются людьми, живыми работниками, ныне сущими, привыкшими к определенным условиям и методам, диктуемым системой. Эта система наложила глубокий след на психологию и характер этих людей. А их — миллионы! Из числа этих миллионов тысячи и тысячи управляют государством, партийным аппаратом, начиная от первичной организации и до ЦК и Совета Министров страны. Все они жили и действовали так, как их приучили жить и действовать в течение трех десятилетий... А если учесть несменяемость многих из них, особенно в центре, то въевшаяся в сознание привычка стала уже натурой, характером, которые не так-то просто перестроить, и

они не уступят место чему-то новому, в корне отличному от старого. Старые кадры, как правило, консерваторы!

— Все это верно, но за невыполнение решений съезда эти же работники будут нести ответственность.

— Ох и наивный же ты человек, и жизнь тебя ничему не научила. Конечно, будут отвечать, а как же иначе! Но искушенные в казуистике деятели всегда найдут лазейку и оправдание! Ты вот еще что учти: огромное число работников партийного аппарата в душе недовольно решениями съезда и всячески будет противиться их реализации. Конечно, не явно, это всякий дурак понимает. Но будут! Я не хочу быть пророком, но почти уверен, что скоро ты на собственной шкуре испытаешь этот саботаж.

— Ты сомневаешься в моем восстановлении в партии?

— Не сомневаюсь я, но случится это не скоро, придется не один пуд соли съесть. Хлопот тебе достанется...

— Из чего это вытекает?

— А зачем, ответь, пожалуйста, потребовались наши характеристики и отзывы — вроде рекомендаций для вновь вступающих? Если тебя репрессировали по наветам, по политическим мотивам, которые с реабилитацией сами собой отпали, то зачем же тебе отзывы?

— Вообще-то логично!..

— Конечно, логично. И мне сразу показалось нелогичным требование отзывов-рекомендаций. Значит, кто-то противится вашему восстановлению! Ты — персона нон грата, как выражаются дипломаты. Да и случай-то необычный: человека присудили сидеть, а он бежал из заключения. Это раз. А потом присвоил чужое имя и скрывался, жил тайно, вроде бы обманывал нашу совершенную систему. Вот тебе и два, три и четыре... Ты пойми меня, что все это я говорю не в упрек тебе. Окажись я в такой ситуации и при таких возможностях, я бы поступил так же...

— Ведь я не жульничал с чужим именем! Я честно работал и честно воевал. Никакого проступка не совершил...

— Все правильно, однако те, кто тебя посадил, и сейчас еще у власти, и они глубоко уверены, что и в тридцать седьмом, и до того, и после того они действовали правильно, на законном основании, руководствуясь директивами партии и ее ЦК. Впрочем, не будем опере-

жать события. Мне от души хочется, чтобы все твои хлопоты как можно скорее и успешнее закончились.

...Через четыре года, когда я все еще не был восстановлен, Владимир Павлович неожиданно умер от разрыва сердца за своим рабочим столом. Каким же он оказался пророком в тот памятный вечер в январе 1957 года!

И как раз в конце того января мне выдали новый паспорт на имя Ивана Ивановича. А длилась эта процедура тоже почти год, вместо месяца. Впрочем, я сам с юных комсомольских лет ратовал за претворение в жизнь всяких директив вышестоящих органов, хотя не все они были верными и обдуманными. А идеальными они вообще никогда не были, иначе не породили бы такого махрового бюрократизма, приносящего людям страдания.

Истекший год был насыщен и другими событиями. В конце декабря на Пленуме ЦК были исключены из состава ЦК и Президиума ЦК старейшие деятели партии — Молотов, Маленков и Каганович — как противники претворения в жизнь решений XX съезда партии. Время не считается ни с какими авторитетами!

## Глава девятнадцатая

Не страшны ему громы небесные,
А земные он держит в руках.

Н. А. Некрасов

### Тени бложисов

После этой беседы прошло несколько лет «хождения по мукам». Работники партийного аппарата, воспитанные в атмосфере непререкаемости, выросшие на дрожжах культа личности, все еще не могли отрешиться от прежнего стиля, все еще цеплялись за старое, молчаливо одобряемое сверху. Они были твердо убеждены в том, что и прежде делали и поступали по-ленински и, выполняя свой долг, исключали из партии по первому же навету или подозрению в неблагонадежности...

Вскоре после того, как моя апелляция со всеми собранными характеристиками, в том числе и рекомендацией замполита Петухова, оказалась в партийной комиссии Ленинградского обкома, инструктор комиссии вызвал меня и сказал:

— Все материалы теперь пойдут в первичную парторганизацию по месту вашей работы для обсуждения и решения по существу.

— Но меня исключала не наша первичная парторганизация. Меня исключал пленум Старорусского райкома партии — только для того, чтобы отдать в руки НКВД уже как беспартийного...

— Похоже, что так, судя по имеющимся в архиве документам. Но существует порядок, что восстановлением занимаются первичные организации.

— Не вижу в этом логики. Меня исключали двадцать лет назад по политическим мотивам. Что может знать об этом наша парторганизация? Меня не вновь же принимают в партию!

— В данном случае дело будет решаться на предприятии, где вы работаете.

— Разве так восстанавливают реабилитированных? Что же о них могут знать, если они только что вернулись из лагерей или из ссылки?

Инструктор чуть замялся, подыскивая слова.

— Большинство восстанавливается райкомами или горкомами, но вы ведь вернулись из лагеря не вчера и не сегодня, вы фактически на свободе более пятнадцати лет. Пусть и восстановят вас коммунисты, среди которых вы работали... Чего вам их бояться, если совесть чиста?

И в самом деле, бояться мне было нечего. Десять лет я проработал почти в одном ЦКБ, во всяком случае в одном управлении Министерства судостроения. И за десять лет в моей трудовой книжке, кроме поощрений и благодарностей, ничего нет. Однако, когда я уходил из Смольного, на душе у меня было неспокойно. Почему все-таки мое дело не решено в горкоме или обкоме, по примеру всех остальных? Неужели здесь какой-то умысел, подвох?

До того как меня вызвали на заседание партийного бюро, все его члены, очевидно, предварительно знакомились с материалами дела. Поэтому заседание продолжалось недолго: вопрос уже был решен положительно, хотя с таким случаем никому из членов бюро никогда не приходилось сталкиваться. Но еще до бюро моя история стала едва ли не главной темой в разговорах коммунистов — слишком уж она была для них необычной.

Десяток лет среди них находился не только свидетель давних событий, о которых было сказано на съезде, но и живая жертва тех беззаконий и нарушений норм партийной жизни. Непросто было это осознать. Даже

мой начальник Александр Васильевич Тихомиров как-то замкнулся и стал более официальным...

Все с интересом ждали очередного партийного собрания, но на нем мой вопрос почему-то не был поставлен, хотя меня пригласили присутствовать. Оказалось, что нашлись недоброжелатели, как всегда и везде, и настрочили анонимное письмо секретарю обкома небезызвестному Фролу Романовичу Козлову о том, что Ефимов и такой и сякой — небылиц с три короба. Это письмо, пересланное в Невский райком партии, и задержало развитие дела.

Назначенная партийным бюро комиссия стала разбираться с этим поклепом и попросила у меня ряд справок. Потом поступило письмо от начальника отдела, в котором задним числом приписывалось мне чуть ли не разглашение государственной тайны, якобы имевшее место восемь лет назад. Оба навета, естественно, не подтвердились, но камень был брошен, и от него, как по воде, пошли круги все шире и шире...

Следующее собрание было долгим и бурным. После оглашения нового решения бюро: «Принять Ефимова в партию через год»— посыпались вопросы, на которые председатель собрания и секретарь партбюро едва успевали отвечать. Начались страстные прения, а по сути — горячий спор между моими сторонниками и членами бюро, которое обосновало свое мудрое решение тем, что Ефимову нужно дать годичный испытательный срок.

— Какое еще нужно испытание старому коммунисту?!

— Хватит, наиспытывали!

— Почему вторичное рассмотрение дела происходило за закрытыми дверьми, без участия Ефимова? Что за секреты? Это не по уставу! Или стыдно было?!

— Восстанавливать немедленно! Поиздевались над человеком, и хватит. Надо и меру знать...

— Голосуйте!

Такова была реакция сослуживцев и товарищей — прямых, честных и откровенных. Большинством голосов собрание отменило решение бюро и вынесло свое решение — восстановить меня в партии. В Невском райкоме, очевидно, уже в самом начале вознамерились «завалить» мое восстановление под любым предлогом. Но предлога не было, и партбюро приняло первое свое решение. Когда же в руках райкомовцев оказались подметные письма в обком с резолюцией «разобраться»,

как бы сам собой появился удобный повод для отказа. Инструктор райкома Курочкин дал соответстующие указания, после чего и состоялось тайное от меня заседание бюро, решение которого было отвергнуто собранием.

В справке, которую Курочкин готовил для бюро райкома, были особенно выделены все мои «грехи», упоминавшиеся в письме Козлову и опровергнутые проверяющей комиссией. И даже мои теоретические «ошибки» тридцатых годов были им вытащены на свет божий как мертвая, но значительная, по его мнению, «улика».

На заседании бюро райкома представитель нашего партбюро, вопреки Уставу партии, выступил не в поддержку решения партийного собрания, а за второе, уже отвергнутое собранием решение нашего бюро. Секретарь райкома только этого и ждал:

— Вам придется, товарищ Ефимов, годик поработать поактивнее, проявить себя на общественной работе, а потом снова подать заявление о приеме.

— Но меня исключали из партии не за пассивную работу, а совсем по другому случаю. Я по профессии партийный работник, а не беспартийный новичок, впервые вступающий в партию.

— А почему бы и не вновь?— спросил секретарь.— У меня есть предложение,— оживился он и оглядел членов бюро.— Ввиду недостаточно активной общественной работы, а также длительного перерыва в партийном стаже предложить товарищу Ефимову подать заявление о вступлении в партию вновь, на общих основаниях.

— А как же решение общего собрания?— спросил я.

— Но решение-то не единогласное! А кроме того, оно для нас совсем не обязательное!

Молчавшие все время члены бюро кивком головы согласились с таким предложением: оно, видимо, уже раньше было обусловлено и с ними согласовано кабинетно, «келейно».

Это решение вполне солидного органа партии заставило вспомнить разговор с Крижанским. В самом деле, разве можно отказать в восстановлении бывшему партийному работнику и пропагандисту лишь за то, что он недостаточно активно работал в месткоме предприятия, да еще за то, что велик перерыв? Значит, есть какая-то иная причина, не подлежащая огласке, о которой не говорят, но которую имеют в виду. И этой причиной, безусловно, является мой побег и жизнь под чужим именем. Что до революции признавалось революционным

подвигом, то в нашем социалистическом обществе было недопустимо.

Итак, мне дали понять, что грехи мои тяжки и им не будет прощения. Хотя времена культа личности и осуждены, но все, что создано в годы этого культа, остается незыблемым и долго еще будет проявляться в действиях многих людей, вставших у руля политической власти.

Колесо издевательства завертелось. Началась борьба правды с неправдой, настойчивая и длительная...

## Крючкотворство

— Ну-с, так что же мне с вами делать?— спросил инструктор горкома Быстров, когда мы поздоровались и я сел на указанное им место напротив.

Все было почти так же, как ровно двадцать лет назад, при первом моем знакомстве со следователем Громовым в следственной камере Старорусской тюрьмы. Разница была лишь в том, что обстановка здесь была совсем иной. Вместо маленького, сколоченного арестантами из невысохших досок шаткого стола да двух табуреток здесь стоял большой, под красное дерево, письменный стол да дюжина удобных полумягких стульев вдоль стен кабинета. И в окно глядели не черные, зарешеченные стены тюрьмы, а золоченые главы монастыря, сотворенного гением Растрелли.

И вопрос был задан почти такой же. Разница была лишь в интонации и внутреннем содержании голоса: Громов будто спрашивал совета, как поскорее освободить меня из тюрьмы, в тоне же Быстрова сквозила почти угроза и явное недоброжелательство, нетерпение, скрытое желание поскорее покончить со мной, побыстрее разделаться навсегда...

Это был человек такой же невысокий и кряжистый, как и Громов, но тот был намного моложе, а этот выглядел моим ровесником, а может быть, чуть постарше. Густая седина была аккуратно причесана. Из-под насупленных бровей смотрели на меня недобрые глаза, чаще всего поверх очков — признак дальнозоркости...

— Как что делать? Восстанавливать, и побыстрее!— бодро ответил я, прочно устраиваясь на удобном мягком стуле.

— Уж очень вы скорый! Скоро вам удалось бежать из лагеря, а тут придется подождать,— сказал он, перелистывая мое пухлое «дело».— Смотрите, что тут у вас

наворочено: и дерзкий, немыслимый побег, и незаконное присвоение чужого имени, и обман на каждом шагу, обман партии и Советского государства, обман наших органов!— тоном обвинителя уличал меня Быстров.

— Ну и что же из того? Если бы меня не посадили ни за что, ничего этого и не было бы... Вам хотелось, чтобы мы все там подохли?— уже рассердясь, перешел я в атаку.

Он неловко заерзал на стуле.

— Никто не хотел, чтобы все там умерли, но и бежать не следовало бы. Кто отсидел положенное и вернулся, тот уже восстановлен, а вы сами усложнили свое положение...

— Кто отсидел и вернулся... А те, кто не вернулся? Как с ними? Они так «врагами» и умерли от голода и изнурения? Или вы их посмертно наградили?

— О них разговора сейчас нет,— остановил он меня жестом пухлой ладони.— Сейчас разговор лично о вас, и разговор не из приятных.

— Мы встретились, как я полагаю, не для расшаркивания друг перед другом, а для делового разговора. В моем деле все предельно ясно. Все справки и характеристики имеются, а жизнь моя после побега вся как на ладони — записана в красноармейской и трудовой книжках.

— Все это очень мало стоит по сравнению с проступком, который вы совершили,— с побегом из заключения... Он, видите ли, не согласен с решением суда и поэтому не хочет нести наказания!— со злой иронией сказал мой собеседник.

— О каком суде вы говорите? О произволе следователей и заочных беззакониях особых «троек»?

— Тогда это не считалось произволом и беззакониями...

— Неправда! Грубое и явное нарушение законности и тогда наказывалось! Вам, видимо, неизвестно, что начальник Старорусского райотдела НКВД еще в тридцать девятом году был приговорен к высшей мере?!

— Мне неизвестно, но если это и было, то как редкое исключение из правил.

— Согласен. Но все тогдашнее уже осуждено историей и Двадцатым съездом партии,— сказал я, теряя равновесие.

— Ладно, хватит об этом,— спохватился инструктор, видимо поняв, что зашел слишком далеко в своих откровениях.— Будем разговаривать о сути. У вас, това-

рищ Ефимов, слишком слабы шансы на восстановление в партии...— Он стал заглядывать в отдельные, заложенные клочками бумаги документы, и продолжал:— Вот смотрите: решение партсобрания не единогласное... В решении райкома, который вам отказал, отмечается не только малоактивная работа в месткоме, но и прямой отказ от нее...

— А вам разве неизвестно из этих же бумаг, что перед тем мне как раз за мою активность в течение года снижались премиальные из квартала в квартал?

— Ну, это уж дело администрации. Она распоряжается премиальными фондами, а не работники.

— Вот именно, что одна она, а не бюро и не месткомы на местах, о силе которых мы так много говорим. Вся сила у администрации, и она снижает премиальные, по сути, за критику и активность в общественной работе, хотя находит для этого повод во всяких якобы имевших место служебных просчетах. Всем давно уже понятно, как это делается...

— Вот видите, вы и тут выражаете свое мнение, отличное от общего. В вашем положении надо быть потише, поскромнее, товарищ Ефимов.

— Но вы же обвиняете меня в пассивности, и я отвечаю! Где же логика? Я просто уже не знаю, как же должен вести себя коммунист в подобных ситуациях...

— Вы уже двадцать лет не коммунист!

— Я больше тридцати лет коммунист, еще с Ленинского призыва! Им и умру, независимо от вашего решения. Я уже вижу, что вам хочется завалить мое дело, а не помочь в восстановлении правды. Видно, вам приятней восстанавливать мертвых, чем живых...

— Не говорите глупостей. Я представляю горком и обязан подробно разобраться во всем. Живых мы тоже восстанавливаем. Вот тут в «деле» имеются две выписки о вынесенных вам выговорах. И оба — за язык, за высказывания своего мнения, своей точки зрения. Уж очень вы смелы и беспокойны.

— Меня учили, что партия отличается от остальной массы прежде всего смелостью суждений и ответственностью за них. А эти выговоры были бы давно сняты, если бы к ним не добавили тюрьму. И они будут сняты, как только восстановлюсь в партии...

— Долго ждать придется...

— Подожду, мне не к спеху. Я защищаю не потерянное служебное кресло с мягким ковром в кабинете, я отстаиваю только свою честь, если вам понятно это слово...

В таких тонах и выражениях наш разговор продолжался еще с полчаса, а затем мы распрощались, крайне недовольные друг другом.

— О дне заседания парткомиссии мы вас известим через вашу парторганизацию,— сказал инструктор на прощание, отмечая мой пропуск из Смольного.

Перед заседанием комиссии, как и полагается, Быстров ознакомил меня с пространной справкой, составленной им для комиссии по моему делу. Заседание длилось сравнительно недолго и проходило в спокойных тонах. Быстров, видимо, рассказал кое-кому из членов о характере нашей с ним беседы, поэтому в ходе заседания вопрос о побеге не выпячивался. Однако, когда я в конце заседания спросил о мнении комиссии по существу моего дела, председатель уклончиво ответил:

— Мы этого вопроса не решаем, а лишь готовим данные для бюро горкома. Как оно решит, так и будет.

— Но свои рекомендации вы все же подготовили?

Председатель уклонился от прямого ответа. И это меня насторожило. Я не сомневался, что проект решения у комиссии уже был, но допытываться о нем не стал, понимая, что они вправе не сообщать мне о нем. Уверен был и в том, что этот проект не в мою пользу, в чем я убедился через несколько дней. Не зря же Быстров так старался...

В приемной у кабинета, где проходило заседание бюро Ленинградского городского комитета партии, находилось около двух десятков вызванных «персональщиков» и представителей заинтересованных парткомов и райкомов. Но от Невского райкома здесь никого не было. Перед началом заседания технический секретарь уведомил по списку об очередности разбираемых дел. Мое дело стояло на очереди седьмым или восьмым.

Рядом со мной в приемной сидел человек лет на пять старше меня. Мы разговорились полушепотом. Оказалось, что судьба этого человека во многом схожа с моей, с той лишь разницей, что в лагеря он попал вскоре после убийства Кирова, когда Ленинградскую партийную организацию захлестнула очередная волна репрессий...

— Более пяти лет я находился в Печорском лагере и добывал в шахтах уголек,— рассказывал он.— В сорок первом году осенью мы с напарником тоже рискнули бежать, но через неделю были пойманы. Добавили нам

за побег еще по два года, а когда закончился общий срок, определили бессрочную ссылку в том же районе.

— Сколько же вы там пробыли?

— До середины пятьдесят пятого года, то есть ровнешенько двадцать лет... Целое поколение людей выросло за это время...

— А почему восстанавливаетесь только сейчас?

— Для того немало причин. Уже в качестве ссыльного я работал как вольнонаемный, по своей специальности горного инженера. Ежемесячно ходил отмечаться, как поднадзорный... После Двадцатого съезда в Ленинград вернулся не сразу: захотелось приехать с деньгами, потому что с квартирой тут дела обстояли не лучшим образом... Все же прошло два десятка лет, выросли дети, появились внуки, и жилье стало архитесно.

— А могли бы там восстановиться?

— Что вы! Там это совсем невозможно. Вы не представляете себе, что такое Печора! Фактически это огромная область, целый архипелаг лагерей, и в этом каторжном крае население разделено на два основных сословия — на заключенных и тюремщиков с их огромным аппаратом насилия... После Двадцатого съезда там практически ничего не изменилось, лишь число политзаключенных резко сократилось. А лагерное начальство лишь форму сменило. Особенно рьяных зверей куда-то потихоньку переместили, а те, кого сократили в связи с уменьшением заключенных, устроились на должности вольнонаемных. А поскольку они сменили только форму, а не сущность свою, между нами и ними взаимоотношения не изменились. Мы оставались бывшими зэками, а они — законниками и защитниками правды... В такой ситуации восстанавливаться там в партии было просто безнадежно.

— На парткомиссии были? Что вам сказали?

— Без комиссии нельзя, как мне объяснили. Ее мнение, кажется, в мою пользу, а как решится вопрос на бюро — не знаю...

Бюро заседало в огромной комнате, которая могла свободно вместить более сотни людей. По задней стенке против входа стоял очень длинный стол под светлозеленым сукном, и в центре его восседал первый секретарь горкома Иван Васильевич Спиридонов. Члены бюро занимали несколько кресел в комнате справа от председателя. Пока вызванный шел по проходу к столу председателя, все заседавшие успевали подробно его рассмотреть...

— Садитесь, товарищ Ефимов,— сказал мне Спиридонов, указывая на специальное место за небольшим столиком напротив себя, но на достаточном расстоянии.

Поклонившись всем, я сел, а Спиридонов предоставил слово по моему делу заместителю председателя парткомиссии.

На таком важном и ответственном заседании я оказался впервые в жизни — среди совершенно незнакомых и, как мне показалось, очень строгих людей. Но прежде я не однажды бывал почти рядом с Кировым и видел этого обаятельного человека на собраниях партийного актива города в зале Таврического дворца, когда мы, комвузовцы, занимали все проходы к трибуне, как бы охраняя нашего Мироныча. И все люди, битком заполнявшие великолепный зал, казались мне тогда близкими и родными, спаянными в дружную братскую семью. Здесь же я сразу почувствовал к себе холодную неприязнь.

Докладчик начал читать заготовленную Быстровым справку. В ней сообщались сведения о моем партийном прошлом и особенно подчеркивалась моя неполноценность как коммуниста, мои политические и теоретические ошибки и взыскания за них. В этом месте особенно уколола слух фраза: «Вызванный в парткомиссию старый коммунист Бложис, хорошо знавший Ефимова до его исключения из партии, дал на Ефимова отрицательную характеристику».

Вот как? Значит, опять Бложис? Откуда? А почему же отзывы Горева, Лучина, Крижанского и, наконец, рекомендация замполита Петухова лишь вскользь упомянуты и не приведены дословно или хотя бы в выдержках? Странная позиция у партийной комиссии... Справка заканчивалась подробным и смачным описанием моих «проступков», связанных с побегом из лагеря.

— У вас есть какие-нибудь вопросы или замечания по зачитанному документу?— спросил меня Спиридонов, когда докладчик умолк и положил бумаги на стол.

— У меня есть только одно замечание: справка составлена явно тенденциозно. Все отрицательное в ней выпячено, не дано ни одного смягчающего обстоятельства, будто за двенадцать лет пребывания в партии до ареста я только и ошибался. Нет ссылки на особые условия и обстановку тридцатых годов, осужденные теперь всей партией. Это не объективный и доброжелательный документ для восстановления в партии, а, скорее всего, тенденциозное обвинительное заключение...

— Что было, то и записано,— ответил докладчик.

— Но Бложиса-то вы зачем притянули, как дохлую крысу? Неужели потому, что именно по его доносу и пасквилю я был арестован?

— Нам неизвестно, что вы попали в тюрьму по вине Бложиса.

— Так спросили бы...

Гробовое молчание, переглядывание...

Все последовавшие вопросы задавал один лишь Спиридонов, он же вел и полемику по спорным моментам. Тон и направленность этих вопросов и замечаний, а также комментарий моих ответов не оставляли сомнений в плачевности моих позиций. Но и молчать я не мог, не имел права, особенно когда первый секретарь явно сам не понимал сути дела.

— Видите, сколько за вами грехов и промахов, товарищ Ефимов! Сколько ошибок и домыслов... Вот, для примера, разве правильно вы ответили на вопрос слушателей, почему не был расстрелян Зиновьев в тридцать пятом году? Неправильно ответили, не по-партийному...

Как известно, на процессе по делу так называемого «Московского центра» в январе тридцать пятого года Зиновьев, Каменев и другие подсудимые, тоже старые питерские коммунисты, были осуждены на разные сроки. Обвинялась эта группа в террористических действиях, и в частности в организации убийства Сергея Мироновича Кирова... Вскоре после этого процесса на очередной моей лекции о международном положении в зале Курортного театра мне был задан вопрос: почему Зиновьева не приговорили к расстрелу? Я ответил примерно так: Зиновьев — старый революционер и теоретик, бывший вместе с Лениным в эмиграции, член ЦК с 1907 по 1927 год, член Политбюро и председатель Исполкома Коминтерна, к тому же еще и много лет секретарь Ленинградского обкома. Расстреляв его, мы тем самым нанесли бы моральный урон мировому коммунистическому движению, подорвав его нравственный авторитет в широких партийных массах за рубежом.

Вот так я и объяснил Спиридонову тогдашний свой ответ по заданному вопросу.

— И ответили вы все-таки неверно,— упорно повторял председательствующий.

— А как бы вы ответили, Иван Васильевич? — спросил я, начиная терять спокойствие.

— Уж во всяком случае не так...

— Но ведь я правильно ответил! И этому сейчас имеется наглядное подтверждение.

— Какое еще подтверждение? Что вы выдумываете?

— А минувший Двадцатый съезд, разоблачивший и осудивший период культа личности! Разве разоблачение того, что творилось у нас при Сталине, не подорвало авторитет КПСС у коммунистов всех стран, не оттолкнуло миллионы рядовых членов партии от коммунизма, связавшего себя с насилием?!

— Это ваши собственные выводы?

— Почему собственные? Это же факт. Эти выводы делает каждый коммунист, болеющий за партию, за ее ленинские принципы!

— Вон какой вы принципиальный и скорый на выводы!

— Меня так воспитывали и учили!

В споре со Спиридоновым я распалился и потерял контроль над собой; надо было соглашаться во всем, каяться и просить чуть ли не на коленях прощения и пощады, а я вступил в полемику — да еще с кем?! — совсем упустив из виду то обстоятельство, что в его лице приобретаю сильного и опасного недруга... Впрочем, едва ли раскаяние мое помогло бы делу!

Мои, может быть, резкие, но по существу правильные ответы явно не понравились первому секретарю горкома. Он переглянулся с членами бюро, за все время не проронившими ни слова и не задавшими мне ни одного вопроса, а затем авторитетно сказал:

— Плохо вас воспитывали, товарищ Ефимов. Придется подучиться еще... Походите в кружок марксизма-ленинизма, поактивнее поработайте в своем профсоюзе, а потом подайте заявление в партию на общих основаниях вновь, как вам и рекомендовали в Невском районе. Вреда от этого не будет.

Затем, обращаясь к членам бюро, спросил:

— Вы согласны с предложением парткомиссии?

Большинство молчальников кивнули головами, кто-то еле слышно сказал «да».

— Итак, восстанавливать вас в партии не будем, товарищ Ефимов. Вступайте вновь на общих основаниях.

Так я и пошел к выходу как побитая собака. Отказ бюро горкома я переживал несколько месяцев, а когда подал апелляцию в бюро обкома, Спиридонов уже был избран там первым секретарем. Мои шансы явно шли на убыль, а когда меня пригласили в парткомиссию обкома, я убедился, что дела мои еще хуже, чем я полагал.

В кабинете председателя парткомиссии Козьмина кроме меня находился и его заместитель. Чувствовалось, что разговор будет полуофициальный. После краткого знакомства председатель перешел к делу:

— А что вы скажете, Иван Иванович, если рассмотрение вашего заявления отложить на один год? Не разбирать его теперь?

— Почему?

— Во-первых, это совпадет со вторым предложением вашего партбюро — оно ведь рекомендовало вам восстанавливаться через год,— а во-вторых...

— А во-вторых, вы боитесь, что Иван Васильевич, став секретарем обкома, затвердит свое предыдущее решение, принятое на бюро горкома? Я думаю, что он довольно памятливый...

— Положим, что это не совсем верно. Заседаниями бюро обкома не всегда руководит первый секретарь. Во-вторых, мы считаем благоразумнее отложить дело, пока страсти, поднятые вокруг него, не утихнут... Согласитесь, товарищ Ефимов, дело ваше действительно из ряда вон выходящее. Такого среди тысяч не отыщется...

— Вы уверены, что через год я буду восстановлен?

— Конечно, уверены, иначе мы этого не предложили бы.

— Но ведь эта отсрочка вызовет нежелательный резонанс в среде моих товарищей по работе, искренне болеющих за меня. Они подумают: «Не поторопились ли мы с его восстановлением? Поскольку его затирают и в райкоме и в горкоме, а обком вообще дело откладывает, значит, у Ефимова что-то неладно... Преступная личность!»

— Не бойтесь и не расстраивайтесь. Мы позвоним по телефону и в райком, и вашему секретарю, объясним им суть дела и порекомендуем привлекать вас к выполнению партийных заданий как кандидата партии.

— Если вы считаете свое предложение правильным и сделаете все, чтобы меня не оттолкнули от организации, я согласен.

— Ну вот и хорошо! Это совсем другое дело, нежели вступать на общих основаниях, как рекомендовано на горкоме,— обрадованно сказал председатель комиссии, будто у него гора с плеч свалилась. Они оба заметно ожили.

— Что я для этого должен сделать?

— Напишите на имя областной парткомиссии заявле-

ние с просьбой рассмотреть вопрос о вашем восстановлении в партии через год.

Две минуты спустя такое заявление было у Козьмина в руках.

— Вот и отлично. А теперь пожелаем вам всего хорошего.

И мы расстались надолго...

Решение вопроса об очередном этапе издевательства было выполнено блестяще. В течение целого года нашему секретарю никто не звонил ни из горкома, ни из райкома и никаких партийных заданий мне не поручалось,— в обкоме, видимо, решили, что я успокоился, чего они настойчиво добивались, и сочли на этом мое дело поконченным...

Двадцать с лишним лет тому назад нечто подобное совершил в Старой Руссе Бельдягин. После длительной «обработки» в следственных застенках и выдержки в одиночке ему удалось уговорить меня подписать протокол допроса. Теперь, как видно, история намерена повториться. И она, рассуждая логически, не может не повториться: судьи-то остались те же! Они целы и невредимы... Уговорив меня отложить дело на год, Козьмин, вероятно, рассчитывал на то, что мне надоест эта волокита и через какое-то время я позабуду обо всем и не буду больше их тревожить.

Но все ошиблись, ошиблись из-за непонимания самой сути моей настойчивости. Она диктовалась не стремлением получить какую-то ответственную должность, какой-то пост с хорошей зарплатой. Моя работа и заработок вполне меня удовлетворяли, хотя к журналистской работе меня еще тянуло — было мне все же не семьдесят лет, а только пятьдесят! Главной моей целью было доказать всем этим выскочкам тридцатых и сороковых годов, что и мы не лыком шиты, что наше поколение, так беспощадно истребленное Сталиным и Гитлером, скорее всего, лучше, а не хуже их, что мы духовно чище перед партией и народом, чем они думают. Я боролся с этими аппаратчиками за все свое поколение, оставшееся в безвестных могилах...

Поэтому, чем больше передо мной возводилось баррикад, тем настойчивее мне хотелось их разрушить. Тут была затронута моя партийная и человеческая честь! И на моей стороне был Двадцатый съезд. Если я откажусь от борьбы за восстановление, то и мои товарищи могут засомневаться во мне, будто я в чем-то грешен, в чем-то повинен, не оправдал их веры...

Через год и два месяца я подал заявление в обком с просьбой рассмотреть мою апелляцию.

И все повторилось снова как по писаному. После заседания парткомиссии обкома, которая так же, как прежде и городская, не высказала своего мнения, было заседание бюро обкома. Руководил заседанием второй секретарь обкома Попов, и за двадцать минут, пока разбиралось мое дело, он даже не повернул головы в мою сторону, и я не уверен, видел ли он меня вообще. Все мои просьбы и объяснения не дали желаемых результатов — председательствующий твердил одно, как заученное:

— Длительный перерыв, отсутствие прямой связи с партией, слабая общественная работа. Предлагается вступить на общих основаниях.

Таково было содержание заранее принятого решения.

Через несколько месяцев — а это было уже начало 1960 года — я написал горькое письмо Первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву, и вскоре после этого потухшие было страсти вокруг моего дела вновь разгорелись, как головешки на ветру...

# Глава двадцатая

Будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе.
Лишь бездарный покоряется судьбе.

Абай Кунанбаев

## Первая ласточка

Однажды в конце рабочего дня меня остановил в коридоре член партийного бюро и замсекретаря Михаил Абрамович Фрид. Пожав руку, он вдруг сказал:

— Зайдемте в партбюро, есть интересные новости.

Наше ЦКБ уже двенадцатый год занимало совершенно непригодное для конструкторской работы помещение — пустовавшее с военных лет здание Дома культуры имени Бабушкина в Невском районе. Наши рабочие комнаты и зальцы, выгороженные из бывших полутемных фойе, темных переходов, зрительских лож, театральной сцены и артистических, в большинстве своем не

имели естественного освещения. Одну из таких комнатушек, оборудованную на месте бывшей ложи первого яруса, занимало партийное бюро вместе с комитетом комсомола. Туда-то мы и зашли с Фридом.

— Садитесь и слушайте,— торжественно-доверительно сказал он, усаживаясь за столом напротив меня.

Я почувствовал, что завел он меня сюда неспроста: видимо, дело связано с моим письмом товарищу Хрущеву. Так и оказалось.

— Вы писали в Центральный Комитет? — спросил он.

— Писал,— не задумываясь ответил я.

— Мы так и подумали, когда к нам нагрянул высокий гость из Москвы.

Я молчал, не перебивая, спросив лишь разрешения закурить.

— Курите, бог с вами.— Фрид был некурящим.— Неужели до вас не дошел слух, что здесь был инструктор Комитета партийного контроля ЦК Ларионов?

— Как же я мог слышать, если парторганизация от меня наглухо закупорилась?

— Это вы уже преувеличиваете. Вы сами себе внушили, что это так, а на самом деле отношение к вам у коммунистов не изменилось: все же мы работаем вместе почти десяток лет... Так вот, Ларионов, перед тем как прийти к нам, побывал в райкоме и уже там настроился по-боевому. Потребовал решительно все протоколы бюро и собраний, на которых упоминалось ваше имя в связи с восстановлением, и внимательно их изучал. Вызывал почти всех членов тогдашнего и теперешнего состава партбюро и дотошно узнавал все подробности и частности. Было заметно, что он крайне недоволен позицией, занятой впоследствии членами бюро, то есть когда оно без вашего участия приняло противоположное решение и вынесло его на собрание. Досталось и Александру Григорьевичу...

— Какой же вывод вы сделали после его посещения?

— Мы поняли, что бюро совершило большую ошибку. У Ларионова сложилось совсем иное мнение о вашей истории.

— Значит, мои шансы повышаются? Что-то светит?

— Определенно светит. Так что ждите вызова...

Буквально на другой день после этого разговора я получил открытку из Смольного, в которой меня просили прибыть туда в такую-то комнату к товарищу Ларионову.

Михаил Сергеевич Ларионов в то время курировал

Ленинградский обком в качестве полномочного представителя ЦК. Принял он меня приветливо, и уже с первых его слов я понял, что дела мои действительно сдвинулись с мертвой точки.

После недолгой беседы Ларионов предложил мне приехать на заседание комитета. На это предложение я ответил:

— Имеет ли смысл моя поездка в Москву? Если у вас складывается иное мнение, отличное от решения обкома, тогда вопрос может быть решен и без меня.

— Все же я рекомендую приехать. У членов комитета могут быть вопросы, на которые я не смогу ответить, не зная сути.

Дней через десять после этого я получил вызов из ЦК, а через день уже шагал по Москве.

Накануне заседания комитета, как мы и договорились, я был у Ларионова. После дополнительных и уточняющих вопросов и моих разъяснений он зачитал подготовленную им справку. Факты были те же, что и в ленинградской справке, но звучали они совершенно иначе, не было той предвзятости, нарочитости.

Наутро было заседание. Мне навсегда запомнились строгая дисциплина и организованность в работе всех звеньев аппарата ЦК. Приглашенные являлись в точно назначенное каждому время. Члены Комитета партийного контроля собирались в той же просторной приемной, где и все остальные, вызванные на заседание и отметившиеся у секретаря. В точно установленное время в приемной, над дверью зала заседаний, прозвучал звонок, и члены комитета вошли в кабинет. Вместе с ними прошли туда представители обкомов и инструкторы КПК, оформлявшие дела апеллирующих.

Затем, по второму звонку, секретарь произносил фамилию вызываемого. Накануне Ларионов мне сказал, что наше дело разбирается вторым.

— Следующая очередь ваша,— предупредил секретарь, когда первый человек зашел в зал заседаний.

Вскоре из зала вышел пожилой, совершенно седой человек, вытирая платком вспотевший от волнения лоб.

— Ну, как ваши дела? — тихо спросил я.

— Все хорошо,— так же тихо успел ответить он.

Шверник — тогдашний председатель КПК — в этот день отсутствовал, и на его месте сидела пожилая женщина, как мне потом сказали, Андреева, заместитель Шверника. По установленному здесь порядку первое слово по делу принадлежало инструктору, готовившему

материалы. Ларионов доложил существо моего дела, потом мне было задано несколько вопросов, после чего Андреева сказала:

— Вот мы вас восстановим в партии, а вы снова откажетесь выполнять общественную работу,— и улыбнулась, как бы говоря: «Вот из-за каких пустяков таскали вас по комиссиям более трех лет».

Я объяснил, как было в действительности, а сам подумал: «Почему все насупясь молчат? Неужели ни у кого нет других, более серьезных вопросов? И почему никто не выступает и не вносит никаких предложений или советов?»

— Выйдите на несколько минут,— попросила Андреева.

Я вышел с удивлением и тревогой в груди. Почему при мне никто ничего не сказал? К чему такая таинственность, скрытность? От кого? И Ларионов почему-то больше ни словом не обмолвился... Что за всем этим кроется?

Когда меня позвали вновь, Андреева сказала, что я восстанавливаюсь в партии и решение комитета будет послано в Ленинград. Председательствующей, очевидно, было просто стыдно сказать, какое именно решение они приняли под давлением деятелей сталинской школы. В полуведении я вернулся в Ленинград.

В новеньком партийном билете, который я получил вновь двадцать три года спустя, в графе о времени вступления — октябрь 1926 года — была сделана приписка: «Перерыв с августа 1937 г. по март 1960 г.» Именно об этом и постыдились сказать мне там, в Москве. Так повсеместно все еще проявлялась власть тех, кто служил и угодничал Сталину. Да, по моему «делу» в комитете единогласия не было. И все же частичная победа над несправедливостью была одержана. Оставалось добиться полной победы.

Двадцать второй съезд партии, проходивший в октябре 1961 года, продолжил линию борьбы с последствиями культа личности. Сталин был выдворен из Мавзолея, а вскоре все стали свидетелями того, как стаскивали с пьедесталов памятники кумиру. По всей стране их было понаставлено бесчисленное множество. Огромные железобетонные памятники-уроды стояли у границ Москвы и Ленинграда, при въездах на главных магистралях. Подходила грузовая машина с краном, рабочие весело наки-

дывали на фигуру бывшего «вождя народов» петлю стального троса и, крикнув шоферу: «Трогай!» — молча смотрели, как падал окаменевший Сталин на мерзлую землю, и она гудела глухими голосами миллионов погубленных в годы его царствования людей...

Стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина», опубликованное в «Правде» в октябре 1962 года, попадало в самую точку, оно отражало истинное положение в нашем далеко еще не устроенном обществе даже через девять лет после смерти кумира. Оно отвечало и моему настроению:

...Пусть мне говорят: «Успокойся!» —
Спокойным я быть не сумею.
Покуда наследники Сталина есть на земле,
Мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее.

## «Принято единогласно»

В течение последовавших пяти лет я дважды обращался в Центральный Комитет с просьбой об изъятии перерыва в моем партийном стаже и дважды, не без помощи Ленинградского обкома, получал отказ. В конце 1965 года, когда я в третий раз подал заявление по тому же вопросу, инструктор Полещук посоветовал мне написать апелляцию на имя предстоящего XXIII съезда:

— Президиум этого съезда будет сам рассматривать все заявления, а если вы будете настаивать на разборе здесь, то дело опять затянется... В январе — феврале напишите на имя съезда, и все будет хорошо, без волокиты...

Но волокита как раз с этого и началась.

В конце февраля шестьдесят шестого года я написал апелляцию съезду, и вскоре мне сообщили, что мое заявление направлено по назначению. А в начале марта я получил вызов в парткомиссию обкома, которая, получив из ЦК мое заявление, снова стала готовить материалы для бюро обкома.

Не буду описывать в деталях всю эту канительную и постыдную историю: она была точно такой же, как и в самом начале, то есть в 1957 году, когда заседанием руководил Спиридонов. Бывший первый секретарь Ленинградского обкома в это время уже вознесся высоко. По мягкой ковровой дорожке, о которой когда-то говорил мой однокамерник по Старорусской тюрьме мореход Веснин, от двери до стола Спиридонова в хоромах

Кремлевского дворца надо было пройти полсотни шагов. Иван Васильевич возглавлял теперь Совет Союза Верховного Совета СССР, будучи его председателем. Растут деятели. Вот и честный служака Бложис вскоре получит персональную пенсию и орден Трудового Красного Знамени, а этот Ефимов по их милости все еще обивает пороги партийных учреждений в поисках истины...

На сей раз заседанием бюро обкома руководил второй секретарь Г. В. Романов, и прошло оно быстро. На все мои доводы он твердил одно и то же при гробовом молчании всех остальных:

— Нет основания для изъятия перерыва, так как он соответствует действительности. У вас двадцать лет не было фактической связи с партией — это и зафиксировано в ваших партийных документах.

— Но разве я виноват в этом перерыве? Если бы меня не посадили, сохранилась бы и связь. Наконец, я почти двадцать лет работаю на одном предприятии и так или иначе связан с партийной организацией. Я же не в подполье работаю, а на глазах у всех!

— Бюро не считает возможным пересматривать решение КПК, и мы не будем его пересматривать.

— Но ведь у других, что пробыли в заключении и в ссылке по двадцать лет, вообще не было никакой связи с партией. Однако они восстановились без перерыва в стаже!

— Некоторые восстановлены с перерывом, и вы в том числе... Ваше ходатайство отклоняется,— упорно твердил Романов.

Так они и решили. В райкоме мне дали прочесть выписку из протокола этого заседания. Все происшедшее казалось мне каким-то кошмаром, нереальностью, иезуитским хитросплетением, недоступным пониманию нормального человека...

Между тем задолго до открытия XXIII съезда в народе стали ходить слухи о том, что на этом съезде предполагается реабилитировать... Сталина. Слухи и разговоры были упорными, шли они из Москвы и, видимо, имели реальные основания. Потом среди коммунистов начались разговоры, что будто большая группа партийных, научных и общественных деятелей Москвы, поверив слухам об этой дикой затее, якобы написала в Центральный Комитет протест против намеченного или лелеемого кем-то проекта реабилитации...

В номере «Правды», сообщавшем об открытии съез-

да и первом дне его работы, были опубликованы отчетный доклад ЦК и несколько первых выступлений делегатов. В речи делегата Москвы— секретаря Московского городского комитета партии — была фраза примерно такого содержания: за последнее время среди нашей интеллигенции распространялась молва о том, что настоящий съезд якобы намеревается реабилитировать Сталина, оправдать его. Я заявляю, что это недоразумение. Никакой реабилитации не может быть, потому что решения съездов партии не отменяются. Со старым покончено навсегда. Ленинские нормы партийной жизни, восстановленные XX и XXII съездами, остаются нерушимыми.

Прочтя это выступление, я в тот же день написал письмо в Москву, в редакцию «Правды», которое озаглавил: «Бюрократическое крючкотворство или политическая линия?» Ссылаясь на приведенные слова из речи делегата, я писал, что они лишь для обмана доверчивых людей, лишь для лозунгов, которым грош цена, так как в практике жизни все это извращено и не соответствует истине. В качестве примера я описал все свои «хождения по мукам» в поисках правды, которой так и не нашел, потому что старое и укоренившееся имеет больше силы, нежели новое. И спросил у редакции, как это называется — бюрократизм или официальная политическая линия, скрывающаяся за удобными, но ничего не стоящими лозунгами?

Недели две спустя после отправки письма я получил приглашение в Смольный. В открытке было написано, чтобы я позвонил по указанному телефону товарищу Иванину, инструктору КПК. Потом я был в Смольном и долго беседовал с незнакомым мне инструктором Комитета партийного контроля. Совершенно незаметный, ниже среднего роста, скромно одетый человек лет сорока пяти, со спокойной речью и жестами, товарищ Иванин показался мне таким же умным и дальновидным работником ЦК, как и его предшественник Ларионов. Мы поздоровались с ним так дружески приветливо, как будто знали друг друга давно. Мне сразу же бросилось в глаза мое объемистое, листов на восемь, письмо в «Правду», лежавшее на самом краю стола. Иванин заметил мой взгляд, поэтому я сразу же спросил:

— Давно оно у вас?

Вопрос был нелепый, так как я сам послал его всего пару недель назад.

— Как только поступило из редакции и побывало у товарища Пельше. А потом ко мне.

— По этому вопросу вы и вызвали меня?

— Да, по этому,— ответил он и добавил: — Зря вы поторопились с этим письмом.

— Почему же зря? Меня так возмутил здешний «разбор» моей апелляции к съезду, что я был готов на все, на любое безрассудство.

— Я не вижу в этом безрассудства, но и торопиться не следовало бы. Дело в том, что съезду поступило столько различных жалоб и заявлений вроде вашего, что президиуму съезда пришлось бы прозаседать, разбираясь с ними, полгода. Поэтому еще за месяц до съезда было специальное решение ЦК: передать все заявления обкомам, крайкомам и ЦК национальных компартий, которые должны были их пересмотреть и вынести решения на уровне съезда.

— Не тот уровень у Ленинградского обкома! — не удержался я от ядовитой реплики.

— Ваш не из худших,— спокойно ответил Иванин.— Боятся ошибиться... По тому же решению ЦК и предполагалось, что возможны отказы и неправильные подходы к вопросу, и эти ошибки должны затем пересматриваться в Москве и уже пересматриваются.

— Но откуда мне было знать об этом решении ЦК?

— В обкоме вам должны были объяснить.

— Наш обком последователен до конца: один раз отрубил — будет рубить и дальше. Он последователен даже в своих ошибках.

— Не будем заниматься критикой ошибок обкома, для этого есть товарищи постарше и поавторитетнее нас. Давайте лучше поговорим о вас и ваших делах.

К моему удивлению, он стал спрашивать о моей повседневной работе и домашней жизни, о семье, занятиях и личных увлечениях. Всего моего рассказа хватило на пять минут, и он остался вполне доволен. Перейдя к моему письму, он сказал, что скоро будет заседание комитета и мой приезд в Москву весьма желателен. Иванин пообещал выслать вызов и в заключение сказал:

— Постарайтесь приехать накануне дня, указанного в вызове, чтобы встретиться со мной и предварительно поговорить...

Кабинет председателя комитета был тот же и вроде бы другой. Шесть лет назад, во времена Шверника, длинный стол находился слева, теперь он стоял справа, у

больших светлых окон. В общем, как будто ничего не изменилось, кроме передвижки мебели да цвета стен, а между тем воздух стал как будто иной...

Председатель комитета А. Я. Пельше занимал свое место в торце длинного стола, а слева и справа от него садились члены Комитета партийного контроля, человек двенадцать. На противоположном конце стола, справа и слева, были места для инструктора КПК и представителя того обкома или крайкома, чей «персональщик» обсуждался, а между ними садился жалобщик. Вдоль левой, безоконной, стены стояли диваны и кресла для представителей «с мест», которые раньше находились в приемной.

Арвид Янович Пельше объявил, что будет рассматриваться вопрос об изъятии перерыва в партийном стаже коммуниста Ефимова, и предоставил слово инструктору Иванину для оглашения справки по сути вопроса. Я заметил, что эта справка уже лежала на столе перед каждым членом комитета и они ее читали.

Едва Иванин успел прочесть десяток строчек справки, как один из сидевших за столом, воспользовавшись секундной паузой, сделал знак рукой и сказал:

— Пожалуй, не стоит дальше читать, товарищ Иванин. С этим документом, кажется, мы уже успели все познакомиться, и вопрос, по-моему, совершенно ясен.

— Да-да, не стоит читать,— поддержали еще два-три голоса.

— Тогда предоставим слово товарищу Ефимову,— объявил Пельше.— Что вы хотели бы еще добавить или сказать? — обратился он ко мне, подбадривая взглядом.

Такого оборота я совсем не ожидал и, признаюсь, растерялся. О чем мне было говорить, когда у них все документы под рукой? Однако порядок есть порядок, и я сказал, что хлопочу о полном восстановлении не потому, что эта неполномерность в стаже лишала меня каких-то льгот или привилегий. Мне через два месяца исполнится шестьдесят лет, и жаль, что более десяти лет из них ушли на беспробудные хлопоты и поиски правды. Я сказал, что не мог понять и не понимаю до сих пор, почему она повернулась ко мне спиной. Сказал, что хочу, чтобы мне объяснили причину такой дискриминации. Ведь я ищу всего лишь справедливости, и ничего больше. Избавиться от пятна на своем честном имени — вот и все, чего я добиваюсь.

После моего выступления сидевший справа от Пельше его заместитель попросил слова для выступления:

— В деле товарища Ефимова все предельно ясно, не ясно лишь одно — почему так долго тянется волокита с восстановлением. Он был незаслуженно обижен в тридцать седьмом году несправедливым исключением из партии с последующим арестом. Бежав через три года из заключения, он не прятался, как преступник, не затаил злобы, как этого можно было ожидать, и с началом войны попал сразу же на передовую...

— Интересно, как бы он не пошел на фронт? — перебил оратора пожилой член комитета, сидевший спиной к окну.— Была объявлена всеобщая мобилизация, и он не мог не явиться на призывной пункт!

— Все так,— продолжал выступавший,— но вы забываете, что Ефимов носил имя брата, психически ненормального человека, и стоило ему заявить о том, что он недавно из психлечебницы, да еще из псковской, откуда и справок не запросишь,— его освободили бы вообще от службы в армии. С первых дней войны Ефимов попал на Карельский фронт и был тяжело ранен. Однако и в качестве полуинвалида он продолжал служить делу защиты Родины. О том периоде его безупречной службы есть свидетельство в «деле» — рекомендация замполита Петухова.

Затем взяла слово женщина, сидевшая недалеко от меня. Обращаясь прямо ко мне, она спросила:

— Не кажется ли вам, что своим побегом из лагеря вы значительно ухудшили положение остальных заключенных? Там должен был усилиться режим и введены дополнительные строгости ко всем обитателям...

Кто-то заулыбался наивности вопроса, но только я собрался встать и ответить, как Пельше, остановив меня, громко сказал:

— Кто же в подобной ситуации станет раздумывать о режиме? Тут спасалась жизнь! Да и какое там, в рабочем лагере, может быть усиление режима? За побег в данном случае отвечает охрана, а не администрация. Какое может быть наказание сотням неповинных заключенных? В худшем случае их не выведут из зоны на работу. А это для них не наказание, а милость, вроде подарка...

— Я понимаю, что, может быть, не совсем правильно поставила вопрос. Я хотела сказать, что всякий побег ухудшает положение оставшихся заключенных...

— Это не столь существенно,— дополнил кто-то слова Пельше.— Для битых лишний удар не страшен.

Зато на душе у них наверняка радость и даже зависть к удачливому беглецу.

— Кто еще желает выступить?

Поднялся тот же пожилой член комитета.

— Я считаю, что установленный когда-то комитетом перерыв в партийном стаже является своего рода наказанием за его побег из лагеря и обман органов НКВД...

— Это совсем неправильная позиция! — вступился первый оратор.— Пусть за это наказывают судебные органы, если они найдут в этом какую-то вину!

Кто-то, видимо из новых членов комитета, спросил, обращаясь к товарищу Пельше:

— А на каком основании в шестидесятом году аппарат комитета рекомендовал принять такое неумное решение?

Инструктор Иванин взглянул на Пельше. Тот молча кивнул, и Иванин быстро залистал мое распухшее от бумаг «личное дело».

— Это не так,— заговорил он, найдя нужную страницу.— Вот справка, когда-то подготовленная инструктором КПК Ларионовым. В ней было то же предложение, что и сегодня: восстановить без каких-либо ограничений!

— Стало быть, и тогда были расхождения во мнениях? Они-то, видно, и положили начало этому затянувшемуся делу.

Слово попросил один из сидевших на диване.

— Я многое повидал и наслушался в своей жизни, но такое дело слышу впервые. Судьба товарища Ефимова действительно необычна, трудна и, я бы сказал, трагична, и нам следовало бы быть повнимательнее к таким судьбам. Наказан он был жестоко, и вместо извинения перед такими, как он, за совершенные когда-то безобразия мы продолжаем наказание. Не пора ли кончать с подобными явлениями в нашей практике?

В этом же духе выступили еще двое, и наконец Пельше предложил слово представителю Ленинградского обкома.

Тот поднялся, оглядел всех и, вздохнув, сказал:

— Товарищи, я выступаю за изъятие перерыва из партийного стажа товарища Ефимова...

— Вот как славно! — весело и громко воскликнул Пельше.— Представитель обкома, отказавшего Ефимову в его просьбе, выступает против решения обкома!

Эта реплика не смутила Чернявского, а, скорее, вдохновила, так как он почувствовал в тоне и словах председателя не упрек, а одобрение.

— Я говорю это как коммунист и как представитель обкома,— продолжал он.— Сегодня, вернее, вчера я впервые увидел в деле Ефимова документ, который настолько меня поразил, что я не мог не пересмотреть явно ошибочное предложение, поддержанное мной на областной парткомиссии. Этот документ — выписка из протокола пленума Старорусского райкома от двадцать второго августа тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Согласно этой выписке Ефимова обвинял на пленуме сам начальник районного отдела НКВД, у которого уже были доносы на Ефимова. Ефимов же на этом пленуме вместо оправданий и самозащиты выступил с критикой работы райотдела НКВД, возглавляемого Бельдягиным, обвинил начальника НКВД в разгроме партийной организации района, выступил против его беззаконий и бесчисленных арестов коммунистов...

— Честно скажу,— совсем тихо продолжал Чернявский,— лично я в подобной ситуации едва ли нашел бы в себе мужество выступить с такой речью... Вот эта партийная принципиальность, прямота и честность Ефимова и заставили меня встать сегодня на его защиту вопреки решению нашего обкома... Да и обком, мне думается, принял бы иное решение, будь его работники понастырнее в поисках важных документов, особенно давнишних.

Это выступление окончательно склонило чашу весов в мою пользу.

В заключительном слове Пельше сказал:

— Прежде всего следует заметить, что в отношении к товарищу Ефимову было нарушено постановление Центрального Комитета тысяча девятьсот пятьдесят шестого года о восстановлении в партии всех репрессированных по политическим мотивам коммунистов и реабилитированных судом без каких-либо ограничений. Следует только удивляться, почему в шестидесятом году комитет мог «забыть» об этом постановлении и вынести такое странное решение по делу...

— А его побег из лагеря, а присвоение чужого имени?! — снова не удержался кто-то.

— Но если бы его не арестовали и не засадили за решетку, то и бежать бы ему неоткуда было! — возразил Арвид Янович.— И чужое имя ему не понадобилось бы. У него и свое неплохое имя. А что касается всяких там ошибок, то у кого их не было и не бывает? Деятельность работника оценивается не ошибками, а успехами и деловыми качествами. А как видно из всех характеристик и отзывов, Ефимов неплохой работник и принципи-

альный коммунист. Поэтому, подводя итоги обсуждения дела, я полагаю, надо отменить предыдущее решение комитета...

— Правильно!

— Как это отменить наше же собственное решение? — не сдавался пожилой оппонент, привстав с места.

— А так, что оно неправильное,— деликатно ответил ему Пельше.— Мы живем в такое время, которое диктует нам необходимость отменять принятые ранее явно неправильные решения и выносить правильные, отвечающие истине... Предлагается изъять перерыв в партийном стаже товарища Ефимова и считать, что он сорок лет непрерывно является членом партии. Есть ли возражения против этого решения?

— Нет!

— Возражений нет!

— Будем считать, что решение принято единогласно?

— Да, да!

Даже мой оппонент больше не стал возражать.

— На этом, товарищ Ефимов, ваше затянувшееся дело считается завершенным,— улыбаясь, обратился ко мне Арвид Янович.— Вы по-большевистски принципиально защищали свою правоту и своего добились.

Это было 17 июня 1966 года.

Так закончилась моя многолетняя борьба за правду.

# Какими мы были

«Лагерная тема», заявившая о себе в начале 60-х годов публикацией в журнале «Новый мир» повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вскоре была закрыта. Исповедальное слово XX съезда КПСС, разоблачение культа личности Сталина пришлось не по нутру системе партийно-государственной власти, им же созданной. Система пережила своего творца и в свидетельских показаниях тех, кого она десятилетиями гноила за колючей проволокой ГУЛАГа, справедливо усмотрела суд над собой. Суд этот, начатый более тридцати лет назад, был волевым порядком прекращен, и дело отложено в долгий ящик.

Сегодня, когда система трещит по швам и, надо надеяться, скоро окончательно рухнет, мы, да и не только мы, задаемся вопросом: что же с нами было? Что это — тупик логократии? Ужасная ошибка политических деятелей Октябрьской революции, ввергших страну в пучину трагедии, размеры которой превзошли самые страшные испытания, которые когда-либо выпадали на долю народов? Или все-таки несмотря ни на что мы на правильном пути?

Великое достоинство нынешнего времени в том, что теперь мы можем вслух задаваться такими вопросами. Однозначного ответа нет и, видимо, никогда не будет. Но что-то ясно уже и сейчас, и прежде всего — что само стремление построить общество по единому плану ущербно, ибо предполагает власть, которая нетерпима к многообразию мнений и идей в обществе, а именно количеством мнений и идей и определяется его творческий исторический импульс. Ленинская новая экономическая политика после жесткого периода «военного коммунизма» была решительнейшим поворотом к многоукладности нашей жизни. Теперь мы знаем, что без демократии, без гласности, без плюрализма это невозможно. Увы, тогда, в начале двадцатых, все получилось наоборот: под лозунгом борьбы за единство партии началось свертывание дискуссий, закончившееся расправой над инакомыслием

и инакомыслящими. Нэп тяготел к демократии, а политическая власть — к тоталитаризму. В одной берлоге оказалось два медведя, и нэп был изгнан. Вместо реальной экономики запрягли принудительный труд, подстегнув его социальной, лозунговой демагогией. Это была всенародная трудовая повинность, выгодная только системе в лице ее сложившегося партийно-советского аппарата. В стране возникла ситуация, когда «целый народ, полагавший, что он посредством революции ускорил свое поступательное движение, вдруг оказывается перенесенным назад, в умершую эпоху...»*

Да, так не раз случалось в истории революций — когда они завершались по сути контрреволюциями. При этом идеал, двинувший вперед народные массы, как бы сохранялся, ибо он «исключительно только в будущем, а в настоящем человек имеет дело только с тем, что противоречит этому идеалу, и вся его деятельность от несуществующего идеала обращается всецело на разрушение существующего, а так как это последнее держится людьми и обществом, то все это дело обращается в насилие над людьми и целым обществом. Незаметным образом общественный идеал подменивается противообщественною деятельностью. На вопрос: что делать? — получается ясный и определенный ответ: убивать всех противников будущего идеального строя... В достижении общественного идеала путем разрушения все дурные страсти, все злые и безумные стихии человечества найдут себе место и назначение...»**

Книга Ивана Ивановича Ефимова — об этом. Впервые я прочел ее весной 1980 года, когда он принес рукопись в Лениздат, в редакцию историко-партийной литературы, где я тогда работал. О публикации ее в то темное издательское время не могло быть и речи. На свидетельские показания о сталинских репрессиях давно был наложен цензурный запрет, а Лениздат как раз был охвачен верноподданнической лихорадкой — ЦК КПСС разрешил ленинградскому издательству выпустить трилогию воспоминаний Леонида Ильича Брежнева. Большая честь и большое доверие... Другая история писалась тогда, но та, подлинная, что в воспоминаниях Ивана Ивановича, была как ожог, а рубцы от ожога — они навсегда. Я прочел рукопись и позвонил ему. Так мы подружились.

Первые страницы этой книги были написаны еще в памятном 1956 году, последние — в 1979-м. Вспоминать пережитое было непросто,— ведь до того целых шестнадцать лет Иван Иванович жил как бы не свою жизнь, а жизнь своего брата, и память была его врагом — в любой момент она могла его выдать. Теперь надо было восстановить то, что раньше он старался вытравить. Трудно давался и сбор необходимых материалов, так как документы о высшем образовании сгинули в архивах НКВД, и, чтобы быть пропущенным в Публичную библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, приходилось каждый раз предъявлять

---

* *Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 121.*

** Соловьев *Вл. Соч., т. 2, с. 309—310.*

справку о реабилитации, где было указано, что до ареста он работал в газете...

В 1967 году первый вариант рукописи был отправлен в журнал «Новый мир». Впрочем, особой надежды на публикацию не было: над самым популярным литературно-художественным журналом сгущались тучи, а Солженицын уже был в опале... Через два месяца пришел ответ, вполне характерный для того времени:

«Уважаемый Иван Иванович!

Ваша работа о репрессиях, потерях периода культа личности, вне сомнения, имеет немалую ценность исторического свидетельства, документа. Но, к сожалению, о публикации ее сейчас не может быть и речи. Надо сказать, что за последние годы мы получили сотни такого рода записок, написанных с разной степенью литературного умения, независимо от этого сильных, впечатляющих своим фактическим материалом, самим своим содержанием. Кое-что мы напечатали, кое-что отобрали на будущее. Однако публикация подобных материалов сопряжена с рядом трудностей, и прежде всего с тем, что журнал не может посвятить многие страницы «лагерной теме».

По характеру издания журнал обязан заниматься по преимуществу современностью. И хотя мы отлично понимаем, что каждый, писавший о прошлом, да еще столь трагическом, вновь и вновь переживает это прошлое, и само это стоило немалых волнений,— мы ничем не сможем помочь ни Вам, ни многим другим, вспомнившим о своем крестном пути.

Думаем, однако, что труд Ваш не пропадет. Такого рода свидетельства, как Ваши, рано или поздно увидят свет или явятся ценнейшим материалом для историков. Мы бы посоветовали Вам послать один из экземпляров рукописи в Институт марксизма-ленинизма, где существует специальный отдел для сбора такого рода рукописей.

Зам. главного редактора А. Кондратович.
12 мая 1967 года».

Сколько внутренних противоречий и скрытого драматизма в этом на первый взгляд спокойном отказе. Ведь еще совсем недавно «Новый мир» публиковал воспоминания генерала Горбатова, прошедшего через тюремные пытки и колымские лагеря...

Работа над рукописью продолжалась — и вот ее новый переработанный и дополненный вариант лежал передо мной. Организовать, именно организовать положительную внутреннюю рецензию — это все, что можно было тогда сделать. В какой-то мере утешало, что экземпляр рукописи хранится в Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС,— стало быть, потомки прочтут. Тогда же я попросил Ивана Ивановича написать о том, что было в его жизни до ареста: о комсомольской юности, о коллективизации... Через два года семидесятишестилетний автор принес новую рукопись — «Какими мы были». Но на сей раз я не успел даже отрецензировать ее: в смутном декабре

1982 года мне пришлось уйти из издательства «по собственному желанию».

Мы с Иваном Ивановичем перезванивались, а его «лагерную рукопись» прочли тайком еще несколько человек. Тайком — потому что действовала статья закона, запрещающая чтение и распространение «антисоветчины», и никто толком не знал границы, где критика существующего положения вещей становится антигосударственным деянием.

Но время шло, время привело нас к апрелю 1985 года, с которого ныне отсчитывают перестройку. Старое, отживающее уступало неохотно, и еще в середине 1987 года издательства, цензура были вооружены прежними установками, о чем сужу как свидетель, потому что именно в ту пору у меня в Москве выходила книга. Однако гласность уже пробовала голос. В январе 1988 года я позвонил Ивану Ивановичу: «Немедленно несите рукопись в Лениздат. Ее обещают включить в план...»

Работая над текстом, я с согласия автора ввел несколько сюжетов из рукописи «Какими мы были», которая, возможно, тоже увидит свет. Пришлось сделать и одно изъятие — убрать последнюю главу, представляющую собой не воспоминания, а попытку исторического очерка о личности Сталина и его зловещей роли в нашей истории. После всего, что опубликовано за последнее время, эта тема потребовала бы от автора нового осмысления, а годы не те...

Ему восемьдесят четыре. «Мне отмщение и аз воздам». Что ж, справедливость торжествует. Но, как правильно замечено, у нас для этого нужно долго жить.

Игорь Куберский,
член Союза писателей СССР

Оглавление

# Часть первая

## Глава первая



## Глава вторая



## Глава третья



## Глава четвертая



## Глава пятая



## Глава шестая

## Глава седьмая



# Часть вторая

## Глава восьмая



## Глава девятая



## Глава десятая



## Глава одиннадцатая



## Глава двенадцатая



## Глава тринадцатая



## Глава четырнадцатая

## Часть третья

### Глава пятнадцатая



### Глава шестнадцатая



### Глава семнадцатая



### Глава восемнадцатая



### Глава девятнадцатая



### Глава двадцатая

Иван Иванович Ефимов

# Не сотвори себе кумира

Заведующий редакцией **В. Ф. Лепетюхин**
Младший редактор **Е. Т. Смирнова**
Художник **Н. Н. Гульковский**
Художественный редактор **А. А. Власов**
Технический редактор **В. И. Демьяненко**
Корректор **Т. П. Гуренкова**

ИБ № 5164

Сдано в набор 20.06.89. Подписано к печати 03.01.90. М-17501. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарн. журн. рубл. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,10. Уч.-изд. л. 25,22. Тираж 150 000 экз. Заказ № 153. Цена 1 р. 70 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

**Ефимов И. И.**

Е91 Не сотвори себе кумира.— Л.: Лениздат, 1990.— 430 с.

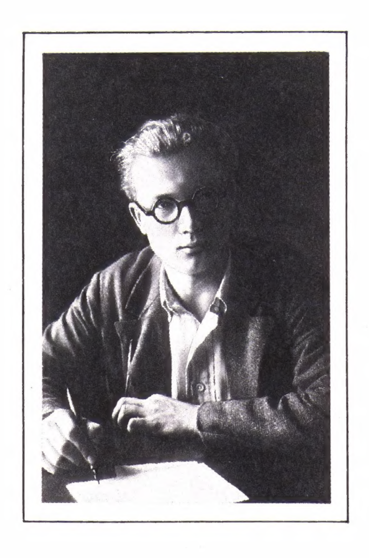
ISBN 5-289-00720-2

Судьба автора — нередкая для его поколения. Во время Октябрьской революции ему было одиннадцать лет, а в девятнадцать он стал коммунистом. В 1937 году журналист И. И. Ефимов по ложному доносу был арестован. Следствие, тюрьма, лагерь в Сибири, побег, участие в Великой Отечественной войне под чужим именем — свое было у него отнято — и, наконец, 1956 год, принесший ему реабилитацию и восстановление в партии... Обо всем этом он рассказывает в своих воспоминаниях.

**Е $\frac{0503020000—041}{М171(03)—90}$ 15—90** **63.3(2)**

И. И. ЕФИМОВ

# НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА



Ни в тюрьме, ни в лагере, ни после побега, когда 16 лет мне пришлось жить под чужим именем, я не вел никаких записей. Работая над этой книгой, я в основном полагался на память да на те немногие документы, которые удалось разыскать. Допускаю, что кое-где память меня подвела. Пусть же о точности и правдивости рассказанного судят мои современники.

Иван Ефимов

1 р. 70 к.

И. И. ЕФИМОВ

# НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА